

Н О В Ы Й
М И Р

4



1976



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 4

Апрель, 1976 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|------|
| МОЛОДЫЕ ГОЛОСА — Стихи. Предисловие Е. Вишукорова | 3 |
| ЛИЛИЯ БЕЛЯЕВА — Семь лет не в счет, повесть. Предисловие Александра Рекемчука | 35 |
| МАРК ХАРИТОНОВ — День в феврале, повесть. Предисловие Д. Самойлова | 108 |
| ЕОРИС ВАСИЛЕВСКИЙ — Учительница, рассказ. Предисловие Юрия Трифонова | 146 |
| ЕВГЕНИЙ ПОПОВ — Рассказы. Предисловие Василия Шукшина | 164 |
| ДИНА КАЛИНОВСКАЯ — Парамон и Аполлинария, рассказ. Предисловие Валентина Катаева | 173 |
| ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ | |
| Д. СОЛОВЬЕВ — Записки рабочего. Предисловие В. Елисеевой | 185 |
| НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ | |
| ЭДУАРД РОЗЕНТАЛЬ — Жан-Пьер и другие... | 212 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| АЛЕКСАНДР ПАНКОВ — Всегда в пути | 225 |
| Ю. СМЕЛКОВ — Обновление конфликта. Заметки о современной драматургии | 234 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| Вл. Цыбин. Зерна таланта.— Л. Аннинский. У бывших романтиков.— Ирина Вишукорова. «Люблю я этот мир земной...».— Вик. Ерофеев. Когда герои меняются местами.— Вс. Сахаров. Возвращение замечательной книги.— М. Эпштейн. Всечеловечность русской классики. | |
| <i>Политика и наука</i> | |
| Н. Мор. Летопись великой жизни.— Ю. Каграманов. Насилие: проблема старая или новая? | 271 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

КОРОТКО О КНИГАХ — В. Гейдеко. — Л. Леонов. К. Федин. М. Шолохов. Слово к молодым. ♦ А. Василевский. — Сергей Мнацаканян. Станционная ветка. Стихи. ♦ С. Троицкий. — Е. С. Кулябко, Е. Б. Бешенковский. Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. ♦ Игорь Волгин. — Геннадий Бубнов. Связующая нить. ♦ М. Андцыферов. — Л. Таганов. На поэтических меридианах. ♦ А. Курячий. — Н. Вельмина. Ледяной сфинкс. ♦ Л. Василевский. — Мы — интернационалисты. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании. ♦ А. Яковенко. — П. А. Игнатовский. Общественное производство советской деревни

280

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

287

МОЛОДЫЕ ГОЛОСА



Этот номер журнала полностью посвящен молодым писателям. Открывает его подборка стихов молодых поэтов.

Большинство поэтов, представленных здесь, публикуют свои стихи впервые. За спиной многих из них, несмотря на молодость, уже немалая трудовая биография. Им есть что рассказать, есть чем поделиться.

Они еще только ищут свою дорогу, но их первые шаги внушают мне надежду. Я думаю, что они останутся в литературе. Чувствуется, что они серьезно относятся к своему поэтическому делу. Не все совершенно порой в их стихах, но есть главное — стремление найти и высказать правду, донести до читателя продуманное и пережитое.

Некоторые поэты уже публиковали свои стихи в «Новом мире». И радует, что наша творческая дружба продолжается. Я надеюсь, что их имена и имена других молодых поэтов неоднократно будут появляться на страницах нашего журнала. Мне хочется пожелать им доброго пути.

Е. ВИНУКUROV.

ЕВГЕНИЙ БУНИМОВИЧ

ЧИЛИ

1

Тонкая ленточка странной страны,
столь же далекой, как серпик луны,
столь же прекрасной, как яркие звезды,
столь же печальной, как зимние гнезда!
К нам приезжала твоя молодежь —
тот же лохматый, вполкомнаты клещ,
общие судьбы и общие песни...
Только летят сумасшедшие вести:
пятеро суток — а значит, пять лет! —
держался в Сантьяго университет.
Сотни убитых — и песни из камер!
Сдан государственный ими экзамен.
Чили имело мадонны овал,
Чили,
с которым
я танцевал,
Чили,
которое здорово пело,
может,
сейчас ожидает расстрела...
С Чили кричали мы: «Но п а с а р а н!»
Чили, мы выживем с тысячей ран!
Слышишь, Земля, мы с тобой не ослабли!
...ленточка Чили —
как рана от сабли.

Сентябрь, 1973.

2

Чино

У Чино все чин чинарем!
Закутана в пончо гитара.
Мы весело песню споем,
как пел ее Хара!

У Чино все чин чинарем!
И он не расплатится — дудки!
«Университет. Концепсьон» —
нашивка на куртке.

Мы весело песню споем
о том, как вернется, вернется
Чинито в родной Концепсьон...
Ах, как хорошо нам поется!

У Чино все чин чинарем!
И весело, весело Чино,
и этого мы не поймем,
и этому нету причины!

Чтоб съездить домой в сентябре,
он вкалывал летом в Сибири...
Чуть-чуть не хватило — спасибо судьбе!
Его не убили!

Его не убили — все чин чинарем,
он жив, он поет об отчизне...
Сил — много! Рубли — наберем!
Хватило бы жизни...

У Чино все чин чинарем!
Беда его не научила!
Мы непобедимы — пока мы живем,
пока улыбается Чино!

У Чино все чин чинарем!
— Кончишь — останешься? Временно?
— Нет, нет! Меня ждет Концепсьон.
Чили. Латина Америка.

Апрель, 1974.

3

Марио

Марио заполняет анкету,
заполняет ответами шелковый лист.
Место рождения — Земля, планета.
Национальность отца — коммунист.
Цель поездки — в любви объясниться.

Социальное положение — книгочий.
Есть ли родственники за границей —
три миллиарда минус несколько сволочей.
Адрес — прочерк. Подпись и точка.
Смелее, девушка! Ставьте печать.
Эта анкета заполнена точно.
Марио может так отвечать.

Май, 1974.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

Андижанская осень

Я уезжал всегда из Андижана.
И помню бесноватый ваш базар,
Где я взрывался в ядрах баклажана,
В тех зеркалах, лиловых как пожар.

Здесь пестрота глаза мои пронзала
Раздором красок — не было иных, —
Тифозной, знойной зеленью вокзала,
Ферганским шелком пятен нефтяных.

Я ускользал от прозы шелудивой,
Ей жизнью заплатив, но взял взамен
Творения единственное диво —
Сырую радость глинобитных стен.

В сокровищнице зрелости и лета
Я нищенствовал, вымогая дар.
Еще бы чуда да побольше света —
Я получил бы солнечный удар.

И поезд гулкий отходил угрюмо,
Горел родной вечнозеленый ад,
И всплесками пылающего шума
Шел бешеный, как юность, листопад.

Текла полями хлопковая вата,
Шли спины сборщиц сторбленной волной,
И небо небывалого охвата
До горизонта шло передо мной.

Шел листопад, смола в котлах кипела...
Но время есть из этих чуждых стран
В забытый сон уйти осиротело,
В полдневный возвратиться Андижан.

12 июля 1975.

Беркут

И наперерез напряженному кряжу
Бросается беркут, пытаясь развить,
Крылом размотать эту синюю пряжу,
Небесного шелка незримую нить.

Он хочет продлить неизбежность сниженья,
Вертясь на оси, потянуть канитель.
За облако спрятался — в бездне круженья
Отмечена когтем незримая цель.

Устал я бродить, собирая глаголы,
И сделаться словом раздумию лень,
И сладко упасть, как упала на доли
Незримого беркута цепкая тень.

11 мая 1974.

МИХАИЛ ШЛАИН

Самолет

Летчик над Царским Селом
Мягко, свободно, стремительно
Вычертил эпсилон
Мелкой иглой истребителя.

Здесь над блокадным кольцом,
Раненный, в сорок проклятом
Шел он над самым дворцом,
Падал над парком мохнатым.

Ныне в полуденный час,
Верный военным могилам,
Грузный седеющий ас —
Он наслаждается миром!

К солнцу повел полосу.
Словно на отмелях встали —
Стаи экскурсий вниз,
Птиц
 промежуточных стаи.

Все затаилось, следя
За крутизной пилотажа.
Газовая струя
Таёт пером от плюмажа.

Громче мотора мотив!
Тень по траве просквозила!
...Урну с водой уронив,
Об утес ее дева разбила.

Синий безоблачный день
В легком полотнище ветра.

Души ушедших людей
Стали бесплотны, бессмертны!

Снова в зенит не дыша
Вышел комочек металла.
Пушкинская душа
Здесь над отчизной витала.

И боевой самолет
Не суеверные тени —
Ищет живую
ее,
Место ее растворенья.

Земля

Низко-низко летит самолет,
Два огня вечереют на крыльях.
Кто-то весть о себе подает
С полустанка в зарницах ковыльях.

Мир заважничал после грозы,
Не приемлет он свойского пыла,
Народился в нем новый язык —
В мокрых запахах черпает силу.

Для него еще нету ключей.
Старожилы такого не помнят.
В эту раннюю ночь из ночей
Дышат липы и дикий шиповник.

Все вокруг — только ступишь за дверь —
Преисполнено свежего смысла.
Суеверьем окутались числа,
Каждый шаг — это символ теперь.

Все предметы стекаются в образ,
В ореолах густых фонари.
На шоссе накренился автобус,
Как оса, золотистый внутри.

Одиноко стоит на холме,
Будто путник, на что-то надеясь.
Вышла женщина. Видно во тьме —
На руках ее спящий младенец.

И еще за грядою камней
Уже где-то глубокою ночью
Разговор многоруких теней —
Это группа дорожных рабочих.

Вот они перекресток прошли
И к стене подступили дубравной,
И забрезжило чувство Земли...
Той, что пишется с буквы заглавной.

ВАДИМ РАБИНОВИЧ

В хранилище старинных рукописей

Над манускриптом в час ночной,
когда над сторонами улиц
сойдется тьма и схлынет зной,
устануясь в текст, смешно ссутулясь
над манускриптом в час ночной.

Прилежно воспроизведу
округлые черты латыни.
И как бы невзначай войду
в миры, исполненные стыни,
в отяжелевшие миры,
в гранит замшелый, мрамор битый,
запечатлевшие пиры
и вид пирующего сытый.

Средневековая латынь.
Почти что варварская проза,
тускнеющая, как латунь
или как медь...
Но Крест и Роза
начертаны внизу листа —
наверно, Розенкрейцер автор...

А за окном шумит листва —
не нынче отлетит, так завтра,
как полова иль голова...

Все мертвое. Латынь мертва.
И все же не дают покоя
поставленные вкось слова
давно истлевшею рукою,
слова, поставленные вкривь
в строке, что надломилась клином,—
наверное, владел порыв
безвестным автором старинным.

Не понимаю языка.
Зато изгиб пера,
смятенье
строки,
четыре завитка,
с листа сбежавшая рука
вполне заменят разуменье
не знающему языка.

Наверно, на душе его
в ту пору беспокойно было,
когда для взора моего
волнение жуткое явила
латынь.
И мне передалось
от букв, поставленных нелепо...

Так всякий раз уходит лето
в осенний день, слепой от слез...

Сшибайтесь, буквы, так и смяк,
как перволед, ледащ и тонок!
И лишь тогда поймет потомок —
если, конечно, не дурак —
меня, моей строки излом
в единоборствии со злом
и букв разлад мой с тем и с этим...

Отметим, скажет он, отметим!

Ода бороде

Остриженный на западный манер,
чиновник безбородый не в пример
боярам меднорожим и дремучим,
к которым применил одну из мер
капризный царь, терзаемый падучей.

Лишь ножницы, наострены как нож,
коснутся бороды —
трепещут выи.
И валятся к стопам волосы седые,
бесчестя их владельцев ни за грош.

Да будет безбородою Россия!

Всем, кто обритый, — стыд и срамота.
Кровавых подбородков нагота
перед толпой гогочущей пылала.
Обида темная по всей Руси орала
в жестоких складках сомкнутого рта.

Однако что об этом говорить —
Как после драки рукава сучить.

Когда бы все осталось, как прежде,
то можно было б в бороде кромешной
улыбку, простодушие, усмешку,
печаль от собеседника сокрыть,
не бриться по утрам
и не будить
жену
электробритвы свиристеньем...
Чесать ее,
поглаживать, любить,
а по субботам черной басмой мыть
и хною золотить по воскресеньям.

Норд-ост
 с размаху
 Мачты книзу
 гнет.
 Тогда мне моря,
 Моря было мало...
 Мне и сейчас
 Его недостает.

СЕРГЕЙ БОБКОВ

Внутренний дворик

Внутренний дворик в квадрате стеклянно-железобетонном,
 как в обрамлении строгом коллаж.
 Ветер сюда забегает ребенком, играющим в салки;
 солнце здесь оберегает даже пылинки движенье,
 словно ревнитель словесности букву в родном языке;
 тут сквозь метлахскую плитку, сквозь шероховатый асфальт
 каждой травинке растется, как маменькиному сынку;
 тонкий березовый проблеск — деревья носит названиее,
 в пепле и снеге зигзагами
 множась по окнам
 приплюснутых трех этажей,
 чтобы свободу! покой... и лесную прохладу
 жадно предчувствовать любящим было дано.

Ожидание

Опутав, рук не развести,
 И сердце оплеть омелью,
 Печаль без усталости владела
 Тобой, как шуткой травести.

Афиши, листья, этажи
 В калейдоскопе дней мелькали,
 Раскрашенные ламп мелками
 Для просветления души.

Но ты мерцала отрешенно...
 А мне все думалось: вот-вот
 Придешь в себя —
 и с небосклона
 Звезда лиловая стечет.

Бессонница

В сон... как в снег из саней —
 освежает!
 Над землею звезда блуждает,
 в щеку колет, как репей.

Знаю, небо — как двор монетный,
 знаю, небо — прокрустово ложе,
 слышал версию:
 есть планеты,
 с несравненно нашей схожи...
 Но я вовсе не астроном,
 чаще думаю об ином.
 ...Ты почто-прочно,
 несусветная,
 золотая,
 ветхозаветная,
 проникающая миры,
 сквозь окна
 морозную сетку
 вдруг бросаешься на прорыв?
 В душу смотришь.
 И к сердцу льнешь...
 Все как будто к себе зовешь.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

* * *

Станиславу Нейгаузу.

Мы долго бродили по снегу и мраку,
 Мы долго бродили,
 Как бродит вино,
 Съестные припасы скормили собакам
 И снег ворошили.
 И было темно.
 И лес принимал нас в заснеженный хаос,
 С калитки замок отцепляли, как бант,
 Вступали, звонили —
 И дверь открывалась
 И к нам на крыльцо выходил музыкант.
 Он сед был, как страус,
 И странен, как кактус,
 Он звал нас войти и теплом обдавал.
 И казус прихода и лепета казус
 Лепили лица его строгий овал.
 В тепле окрылялась,
 Плыла, как венчанье,
 Попытка разгадывать тайну лица:
 Он весь был прощенье,
 Он весь был прощанье,
 Прощанье вне времени и без конца.
 И было в нем все изначально и зыбко,
 Скорее он верил в изгиб, чем в размах,
 И он улыбался,
 Но эта улыбка
 Лишь губы ломала
 И стыла в глазах.

Казалось, он только касался — не трогал,
 Ступал, а не шел меж кустами в саду,
 И плавали тихо в нем боль и тревога,
 Как плавают листья в осеннем пруду.
 И вся паутина знакомства, наитья
 И полуулыбок и полуречей
 Прочнее была, чем причина сожиться
 Его с толстокожей семьей мелочей.
 И мы уходили, как мелкие сошки,
 Не зная, что из-под опущенных вежд
 Седой музыкант
 Наблюдал из окошка,
 Курил
 И не стряхивал пепел с одежд.

ПЕТР КОШЕЛЬ

* * *

Дверь отворяется, входит отец:
 — Дзе маці? —
 Дверь отворяется, входит мать:
 — Дзе бацька?

И так они ищут друг друга, ищут,
 а вьюга свищет вокруг и свищет,
 и стены хаты дрожат от ветра.
 Отец мой Женя и мама Вера.

Дверь отворяется, входит отец:
 — Дзе маці? —
 Дверь отворяется, входит мать:
 — Дзе бацька?

На этом зябком горчайшем свете
 один, не верующий в бессмертье,
 стирая поздние злые слезы,
 стою и слушаю их вопросы.

Дверь отворяется, входит отец:
 — Дзе маці? —
 Дверь отворяется, входит мать:
 — Дзе бацька?

— Дзе маці?
 — Дзе бацька?

* * *

Насильственно вживается художник
 в гремучесть электричек, в мелкий дождик,
 в шершавинку садового листа.

Что до того, что мир дисгармоничен,
 когда под светлым перехлестом птичьим
 летит страна на ранних поездах.
 И будущее там, за полустанком,
 совсем не неожиданным подарком,
 и хоть не тело — душу доведут,
 и, может быть, великая заслуга
 найти себе за полустанком друга,
 не выжимая из него слезу.
 Метафора и образ — все понятно,
 но все ж не этим проступают пятна —
 родимые — на веке и судьбе.
 Да, там с гармошкой молодежь с гулянки,
 да, там неверья жалкие останки,
 и это все, как боль, сидит в тебе.
 Насильственно вживается художник
 во все, что позже станет непреложным
 для двух десятков мокнущих людей.
 У небогатой каменной ограды
 они стоят, как юные солдаты
 у знамени, и нет его святей.
 Ну дай им бог.
 А он уже за гранью
 деревьев, электричек, мироздания,
 проглядывает в запахе земли.
 Им втискиваться в линию вживанья,
 а он уже самим существованьем
 с днем будничным по общей схеме слит.

ЕВГЕНИЙ ГЛУШАКОВ

На Перекопе

На Перекопе день и ночь дожди.
 Нет фуража. Соломенные хаты
 Обглоданы. Соленые жгуты
 Забытых солнц протянуты в закаты.
 Трава чернее маузера. Степь.
 Клинок зари навыворот из ножен.
 И снова брошен в ножны... В небе смерть
 Нагадана. В степи закат стреножен.
 Повозки вязнут в осени. Ржаной
 Тяжелый хлеб горбатится в ладони.
 Навстречу свет ракет сторожевой.
 И сухо-то единственно — в патроне.
 Знобит Сиваш. Мгновенный выскерк лиц,
 Чьи батальоны — пополнение мраку.
 И конница — степная стая птиц,
 Раскрывшись, из воды летит в атаку.
 Чахотка фанатичных батарей
 Слышна вдали. В объятия шрапнели
 Ложится ночь. И люди — вслед за ней,
 На заграждение набросав шинели.

Заря в дожде. Безумствует рассвет.
 Рассеян фронт. Освещены кострами
 Окрестные холмы. Светает. Смерти нет.
 Забвенья нет. Бессмертье, Слава с нами!

Солнечный горн

Сброшен ли, выбит ли прочь из седла,
 Встать не сумеешь достаточно быстро,
 Вдруг удивившись, как странно светла
 Струйка на темной щеке у горниста.

Вырвешь, как жало, пробитый мундштук.
 Ну и, поскольку теперь ты — пехота,
 «К бою!» — сыграешь красиво и плотно,
 С должным изяществом выполнив звук.

И, проклиная пропащую лошадь,
 Шашкой, навек прикипевшей к руке,
 Не одного еще, верно, уложишь,
 Прежде чем рухнешь спиной к реке.

Руки раскрыв над качнувшимся склоном,
 В смерти самой не забыв про врага,
 И не услышишь, как солнечным горном
 Вечный отбой проиграет река.

АЛЕКСЕЙ ДИДУРОВ

Описание реки Самотеки

В эти первоосенние ночи не нужен никто.
 В первый раз посетило меня состоянье такое:
 Не усталости, не одинокости — это не то, —
 А простого покоя. Верней, непростого покоя.
 Это чувство отвязанной лодки, хлопка парусов...
 Я брожу по району, пока не мигнет на востоке.
 Давних лет и любовей не след уже — поздно! — но зов
 Еще явственен в сонных глубинах дворов Самотеки.
 Здесь все лучшее в жизни мне было без меры дано.
 Здесь все то, что во мне было лучшего, отдал без меры.
 Никого. Все разъехалось. Завтрашним жить? Все равно,
 Кто ни встретится, уже ощущается привкус измены.
 Не слышу однолюбом. Ко многому в жизни готов.
 Просто все, без чего не могу, я оставил в истоке,
 На берегах погребенной в асфальте реки Самотеки,
 На берегах, для меня обезлюдевших. И без мостов.
 ...Это чувство отвязанной лодки... Шаги одиноки...
 Ночь выносит теченьем своим из сетей проводов
 Городскую звезду на небесную мель на востоке...
 Вот картинки, знакомые детям больших городов.

Элегия

Начинается дождь. Продолжается август.
Первый лист запылал у окна моего...
И все ближе его беспросветная старость —
Все заплачут по лету со смертью его...
Чуть рассвет — уж в прихожую сходятся музы
И, меня ожидая, судачат о том,
Что недорого головы зрелых арбузов
Загорелый мудрец продает за углом.
Может быть, на окраинах есть уже осень...
Я доеду до Крымского и поплыву
На трамвае речном, на пустом и курносом,
За окраинной осенью через Москву.
И приснится средь ночи какого-то года
Одинокая женщина возле воды
Как бесстрастный редакторский отзыв природы
На сезонные, скорые наши мечты.
Ведь еще не успели стереться пластинки —
Уж бормочет трансляция по кораблю!
Лето кончилось. Танцев не будет. Простите
Капитану поспешный привет сентябрю...
Лето плачет дождями. Оно умирает.
Осень плачет дождями. Она родилась.
Почему никогда никому не хватает
Свыше спущенных сроков на радость и власть?
Видно, злая обида творца или жадность
До конца нам испить не дает ничего...
Продолжается дождь. Продолжается август.
Первый клен запылал у окна моего...

В октябрьском лесу

Свод эмалевый словно расколот —
Сетка веток с обеих сторон.
Холод золота. Солнечный холод.
Стынут руки, а я ослеплен.
Птиц не слышно. Что клеть птицелова —
Облетевший шалаш вдалеке.
Лишь порхает какое-то слово
В просветленной и полой башке.
Не за ним ли — куда уж деваться —
Я сошел далеко за Москвой?
Уж не им ли пора врачеваться,
Как собаке лесною травой?
Лес. Октябрь. Четверг. Полвторого.
Пух земли, твердь высоко над ней.
И знобящее, светлое слово.
Не «любовь». И не «жизнь». Холодней.
Слово мечется с норовом птички,
То в груди верещит, то в мозгу.
Да невмочь перепеть электрички,
Там, за чащей, летящей в Москву.

ПОЛИНА РОЖНОВА

Вологда

Я помню Вологду. Тогда
 тобой была я так любима,
 как небом вешняя вода.
 Неверно, что невозвратима
 любовь твоя!
 Ведь я люблю
 и снега путаный прилив,
 и частоту ограды длинной
 чугунной, и над бузиной
 единственный мотив печальный:
 «Как будто вечен

час прощальный...» —

и кружевную сень вокзала...
 О если б все начать сначала!
 Березы к небу по прямой
 черте растут. Как ветрен мой
 путь — по сравненью с этим ростом!
 Все, что могло достаться просто,
 с трудом давалось.
 Все, что трудно,
 назло как будто в руки шло.
 Я помню Вологду. Светло
 в ее стенах. Немноголюдно.
 О кто бы знал, какое чудо
 прохладу ощущать ветров,
 которые со всех концов
 земли стремятся по утрам
 к ее высоким куполам!
 О кто бы знал, какую силой
 ее простор необозримый
 способен сердце наделить!
 Но если оборвется нить,
 что руки связывала прежде
 с ее травой, с ее землей,
 о кто бы знал, в какой надежде
 придется пребывать, чтоб право
 ту нить связать — завоевать!
 Я до сих пор, Россия-мать,
 колдобины твоих дорог
 благословляю. Кто бы мог
 представить, как мгновенен путь
 от Вологды — и как далек
 обратный, если повернуть!..

Аисты

Летали аисты над миром,
 а мы стояли, и смотрели,
 и думали: то всплеск метели!..
 А в небе крылья шелестели,
 то бронзовели, то взвивались,
 то с пламенем соприкасались
 щек... И казались — да, казались! —

в нетленном снеговом обличье
неуловимым танцем птичьим.
Летали аисты.. Летали...
Как шали на ветру витали,
светлее облаков, светлее
звезд, что сияли и внимали
нам с тех бесчисленных холмов,
где за победу в битве сшали
герои пройденной войны.
Над миром аисты летали.
А нам казалось — в дальней дали
в тугие белые спирали
полотна белые свивали
все женщины над прорубями
и снова, снова полоскали...
И мы смотрели, и молчали,
и ниже, ниже опускали
глаза над мирными холмами.

НАТАЛЬЯ СТРИЖЕВСКАЯ

* * *

Россия. Осень. Сквозняки
В квартирах. Золото, и холод,
И оловянный сгиб реки
Иголок тысячью исколот.

Идет уборка по лесам,
Сметает ветер паутину.
И не по дням, а по часам
Дождь совершенствует картину.

Под елями растут грибы,
Тихонько листья раздвигая,
Натянута на лук судьбы
Разлуки тетива тугая.

Темнеют тучи над водой
И сталкиваются за рощей.
И с каждой новой бедой
Жить все больней, больней и проще.

Мудры осины и строги
В сентябрьском золотом сеченье,
И идеальные круги
На пнях снимают огорченье.

Брусники бисера нарви,
Составь себе букет кленовый
И до морозов доживи,
Потерей высвеченный новой.

* * *

Так хочется стиха,
Простой упругой ткани,
Где тишина тиха
И, как вода в стакане,
Стоит в строфе строка.

Так хочется дышать.
Спокойно и глубоко
Все, что дано решать,
Решить — и вся морока.
И людям не мешать,
И боль не заглушать.

Так хочется вздохнуть
Свободно и печально,
И жизнь повернуть
Как будто бы случайно,
Лишь строчкой помянуть
Потом когда-нибудь.

Е. СЛАВОРОСОВА

Здравствуйте, люди!

Солнце рассыпало рыжие космы,
Лезут в глаза золотые вихры.
Люди, прохожие, мы — микрокосмы.
Как удивительно: все мы — миры!

Небо расколется в праздничном громе,
Вспыхнет огонь, хлынет дождь навесной.
Люди, глядите-ка, мир наш огромен,
Как он широк и просторен весной!

Таёт цветенье над садом фруктовым,
С плеч опадает невестин наряд.
Люди, ответьте: какие вы, кто вы?
В лица смотрю всем прохожим подряд.

Сердце сегодня диктует законы.
И, утопая в кипящей весне:
Люди, прохожие, будем знакомы.
Если бы только ответили мне!

Время исканий и время прелюдий,
Ветром надежды мой парус надут.
Здравствуйте, люди, да здравствуют люди!
Люди по улице шумной идут.

Подмосковье

Ах, Люберцы и Бронницы,
Родная сторона.
И в сердце что-то стронется
И зазвучит струна.

Поля и рощи — признаки
Родной моей земли,
И облака — как призраки,
Скользящие вдали.

Ржаную, синеглазую,
Склоненную к ручью,
Ее по речкам сразу я
По чистым узнаю.

Ветрами берег высечен,
Зовет к себе волну.
Найду ее из тысячи
И выберу — одну.

Кто видел раз, тот влюбится.
И взяли в плен меня
И Бронницы и Люберцы,
Их ласка и броня.

Россия — ширь огромная,
И лес, и луг, и лог.
Но Подмосковье скромное —
Уже Москвы пролог.

ИРИНА ГРИЦКОВА

Что любовь? Черета, вереница:
То надежда, то радость, то страх.
Словно в зеркало, смотрится в лица.
Остановится в чьих-то глазах.

Мучит нас. Суета, расставанье...
В жизни все, говорят, неспроста.
А потом перехватит дыханье
Наступившая вдруг пустота.

Так со дна ледяного колодца
Вынимают пустое ведро.
... Только эхом в душе отзовется
Принесенное ею добро.

Река

Мы все говорили с тобой не о том,
 Не веря внезапной находке.
 ... Вот так глубину измеряют шестом,
 Над речкою свесившись с лодки.

Тогда мы боялись друг с другом молчать.
 Остаться вдвоем было внове.
 И я не умела еще различать
 Тебя в каждом жесте и слове.

А ты, не спросивши — вольна, не вольна, —
 Моей заправляешь судьбою.
 ... За что ж мне удача такая дана,
 Что я до сих пор не нащупала дна
 И тянет магнитом меня глубина
 Реки, что зовется
 Тобою?

ВЕРА ИГЕЛЬНИЦКАЯ

Из лирического дневника

1

Там, где с неба летели звезды,
 а ранили землю камни,
 там, где мне сказать,
 что мне хорошо,
 было нечестно,
 а что плохо —
 неискренне, —
 там вода набегала,
 как сердца толчки.
 Там и словом «прости»
 я тебя наказала.

2

Что чувства уходят,
 при встречах мы замечаем.
 Что встречи ушли,
 узнаём при встречах с другими.

«Конец» — это слово,
 которое вставим мы в нашу размолвку.
 Но разве закроешь ее
 этим маленьким словом...

3

Гул л и в е р

Гуллив е р во сне был лилипутом.
Он взды хал но ча ми об лег чен но.

Ну а у тр ом, от кры вая д ве ри,
он с мо трел се бе под но ги — на про хо жих.
Так, со гнув шись, вы хо дил из до му,
так, со гнув шись, брал ся за ра боту.

И дав но его ду ша сми ри лась:
ста ла в ров ень с те ми, с кем вст ре ча лась...

Толь ко те ло оста вало сь пре жним.

Гуллив е р во сне был ве ли кан ом.
Он взды хал но ча ми об лег чен но.

Ну а у тр ом, от кры вая д ве ри,
сни зу в верх с мо трел он на про хо жих.
И ду ша его оп ять сми ри лась:
ста ла в ров ень с те ми, с кем вст ре ча лась.

Толь ко те ло оста вало сь пре жним.

То бы ла ду ша его ог ром ной,
то оп ять с жи ма лась до пре де ла,
как ме ха не ви ди мой гар мо ни.
В слу шал ся в не слы ши мую пес ню
Гул лив е р. За пел...
И стал по зтом.

4

Из мно гих раз ных вин
не ро жда ет ся
од но на сто яще е ви но.

Но из мно жес тва
мел ких вин
ро жда ет ся
од на боль шая ви на,
ко то рая на зы ва ет ся
од но чес твом.

5

Боль ше все го
я бо юсь не об ра тим ости.
Ча ще все го
меня сра жа ет об сто ятель ст во.
Силь нее все го

меня ранит мысль,
 что мой след
 отдает меня
 в чужие руки.

6

Сначала ушли от меня твои глаза —
 моя улыбка улыбкою быть перестала.

Потом ушла от меня твоя нежность —
 тогда мои глаза ушли от меня.

Теперь уходи весь —
 я все равно не замечу.
 Я слепая!

МИХАИЛ ЧЕРДЫНЦЕВ

Яблоко

Вот яблоко, лежащее в ладони.
 Не ведая судьбы людской, оно
 Подвержено одним с людьми законам,
 Одной судьбе земной подчинено.

Томит его одна земная страсть:
 В сырую землю, умерев, упасть
 И, переставши быть собой,
 Начать, в который раз, со смертью бой.

Стать яблоней, чтоб в полуденный зной
 В тени ее спокойно спали люди
 И яблоки парили над землей
 На фоне неба, как на синем блюде.

Но руку протяни и ветку тронь —
 И тяжесть шара ощутит ладонь.

Послесловие

На все меня благослови!
 Благослови меня на смерть,
 Благослови на ожиданье,
 На одиночество мое,
 На боль к другим, на состраданье,
 Благослови на бой, и труд,
 И на единственный мой путь,
 На жизнь, на горе, на печали
 Благослови меня вначале.

Не сетую и не ропщу,
Не жду, другого не ищу.
Не выбираю, не торгуюсь,
Всему спокойно повинуюсь.
Но полон каждый день тревог,
Не смог, а мог бы, не помог,
Не сделал что-то, не сказал,
Не устоял, не написал...
И все стучит апрельский дождь,
И злость меня бросает в дрожь,
И весь закат весной в крови...
Все пережить благослови.

Я прожил столько лет не так,
Не час, не день. И не пустяк,
Когда охватывает ночь,
Когда дышать уже невмочь,
И хочется бежать, кричать,
И снова жизнь свою начать.

Но время — тополиный пух
не потревожит скрипом слух.

А правда есть в моем пути,
Благослови ее найти!

* * *

Ни в чем не виноват. Ничем не обессужу.
Такие, брат, дела, когда в тени раки
Чужую боль в себе до боли в сердце сужу,
И странные слова оно заговорит.

Такие вот дела. Жара. Прозрачный воздух
Повис над гладью вод, где плещется молва,
О том, что ремесло мое легко и просто,
Влагаются в уста неловкие слова.

Молва молвой, ну что ж, а если бы и вправду
Летало над столом гусиное перо,
Прекрасные слова врывались в стих исправно
По графику души, словно состав в метро.

Но, видно, дело в том, что, позабыв о боли,
Твердят вокруг всегда о таинстве святом...
И невдомек понять, что сердце поневоле,
Как автогеном, жжет бумагу за столом

И пишет приговор по самой высшей мере,
Ни пить, ни есть, ни спать —
Слова, слова, слова...

И легче горло сжать, собрав все силы в теле,
Чем легкое перо подвинуть вбок едва...

С. МОРЕВ**Судьба земная**

Волненье ржи
 Июльскою порой
 Напоминает
 Шаг землепроходца.
 Судьба земная —
 Вот ее пароль,
 И на него ей солнце
 Отзовется.
 И ты, поэт,
 Волнуйся, словно рожь,
 Благословляй
 Судьбу свою земную
 И лишь тогда
 Поэзию пожнешь —
 Народную. Бессмертную.
 Ржаную.

ЛЮБОВЬ ВОРОПАЕВА**Сыновья**

По голубой росе ножонками босыми,
 Я знаю, мой малыш, проходишь по утрам
 И в светлой полосе из солнышка и сини
 Отчаянно спешишь, как будто по делам.
 А рядом старый пес ворчит неудержимо,
 Хвост высоко подняв по доброте своей,
 И полукруг берез с настойчивостью мима
 На коврике из трав изображает фей,
 И ветер, лету рад, несет за мечтами,
 И туча проплыла, дождевками полна.
 А много лет назад над этими местами
 Владычицей была Жестокая Война.
 И эти вот леса, искрящиеся солнцем,
 Которые — смотри — качаются, шурша,
 Скрывали партизан и маленьким оконцем
 Светились изнутри, как русская душа.
 Да, выжили не все... Но выжила Россия.
 Смеется мирный лес под трели соловья...
 По голубой росе ножонками босыми,
 Как чудо из чудес, шагают сыновья.

Читаю стихи

Я ставлю вопросы, которых, наверное, нет,
 Читаю стихи и гляжу в удивленные лица...
 Бывает, к примеру, такое, что ночью не спится
 И в доме горит до утра непогашенный свет?

...Читаю стихи. Переполнены мною они...
Гляжу, ожидая обыденно даже провала,
Как смотрит порой осветитель из полуподвала
На сцену, где он каждый день зажигает огни.

ЕВГ. БЛАЖЕЕВСКИЙ

.

Когда птенец, не знающий полета
И силы притяжения гнезда,
Восходит одиноко над болотом,
Как маленькая черная звезда, —
Под ним сентябрь ветвеет, и дымится
Нутро трясины с самого утра,
И старенькая мама, мама-птица,
Лишается красивого пера.
Оно летит в безмолвие лесное
И, тихо завершая свой полет,
Ложится с облетевшею листвою
На первый, голубой от неба лед.
Детеныщ, не имеющий подобья,
Обороти прощальный взгляд на лес.
За этот выбор платят только дробью
Да одичалой пустотой небес...

.

Над поселком метели тень,
Снег зализывает пороги.
Нет письма семнадцатый день,
Видно, письма замерзают в дороге.
Но мне чудится, вдоль проводов,
Что под тяжестью снега провисли,
На Москву, на Казань, на Ростов
Улетают солдатские письма.
Улетают без марок они,
Голубые бумажные ранцы,
И летят на родные огни
Поцелуя и чувства эрзацы.
И мое в их несметном числе
Полетело гонцом виноватым
К вам, Марина, чей голос и след
Затерялись за военкоматом.
К вам — мое в их несметном числе...
Но письму не хватило отваги:
Было проще и было честней
Не касаться бумаги.
Не касаться, поскольку давно
Это все отцвело, отболело.
Я любовь положил под сукно,
Как забытое, прошлое дело...
Над поселком метели тень.

Я уже не ищу подмоги.
 Нет письма семнадцатый день.
 Видно, письма замерзают в дороге...

Баллада о беглеце

Бежал мужчина на рассвете
 Туда, где лодка у причала.
 И, расставляя ему сети,
 Погоня по полю рычала.
 Он продирался через лес,
 Ломая взрыв куста коленом.
 Прислушивался, падал, лез
 На склоны, уходя из плена.
 И вот, удерживая грудь
 И сердце, стукнувшее в глотку,
 Мужчина выбежал на путь
 И впереди увидел лодку.
 Она дрожала у доски,
 Толкалась пойманно, как чалый,
 От нетерпенья и тоски
 Стука в терпение причала.
 Казалось — вот и повезло:
 Бери весло — и разве горько
 Взглянуть, как будто на село,
 На прошлое свое с пригорка?..
 Но оказалось, что оно
 Влечет неотвратимей, пуще,
 Чем алкоголика вино
 Или воронка — сор плывущий.
 Мужчина рухнул на настил,
 Вдохнул дыхание норд-веста
 И понял, что остаток сил
 Истрачен в суматохе бегства.
 И, разворачивая грудь,
 Безропотный, как вол в загоне,
 Он двинулся в обратный путь —
 Лицом к погоне...

* * *

Зачем прибегаешь из области лет,
 Ушедших в преданье, ко мне на свиданье под утро?..
 Куда исчезаешь в ленивый февральский рассвет,
 Когда на земле существу неуютно и утло?..
 Чья давняя-давняя радость подходит тайком
 К моей пересохшей, к моей воспаленной гортани,
 Когда согреваю себя благодатным чайком
 На детстве настоянных, утренних воспоминаний?..
 Какая заминка!.. Какой безмятежный провал!..
 Какая в провале на миг возникает картина!..
 А все потому, что над городом май пировал
 И время мое, как и всякое, необратимо.
 За окнами город гремит на трамвайных путях,
 И на повороте скрежещут холодные рельсы.

Но тут выручает второй и десятый пустяк,
 Второй и десятый... Припомни на миг и согрейся.
 Идет каботаж вдоль знакомых излучин и мест,
 Забытые люди восходят, избегают по сходам...
 Я ими заполнен, как птицами утренний лес,
 И то, что случилось, вторично случилось сегодня.

ЕЛЕНА МУРАВИНА

Лексика

Там с девушкой через забор соседа
 Под вечер говорит, и слышат только пчелы
 Нежнейшую из всех бесед.

А. Ахматова.

Но я с садами просто незнакома.
 Я знаю скверы — там в рядок скамейки,
 И знаю парки — там аттракционы,
 А вот чтоб сад, забор, скамья, качели —
 Такого нет, на то я горожанка.
 Еще, наверно, монастырь неплохо:
 Тяжелая стена и узкая калитка.
 Но о калитках я читала в книгах —
 Всю жизнь ходить приходится сквозь двери.
 И потому я лишена беседы
 И в основном встречаю разговоры,
 А разговор — он сладким не бывает,
 Хоть иногда бывает интересным,
 А иногда так даже задушевым.
 Нет, задушевно — трудно не в саду.

* * *

Ты только не обидь меня.
 Я попросила снисхожденья,
 Я не просила восхищенья,
 Я не просила преклоненья,
 Я и любви не попросила...
 Ты только не обидь меня.

ВАЛЕРИЙ КСАЯНЦ

Пролетка

На самолете путь короткий.
 В экспрессе — свет и благодать.
 Но я мечтал достать пролетку!
 Но я мечтал: достать пролетку...

— Простите, что еще достать?

Пролетку! Ту, что — в мрак и в ливень,
Чтоб думать, чувствовать, любить!
(Пускай за то мне «за шесть гривен»
на пять рублей переплатить.)

Народ в автобусе потеет.
Трамвай срывается рывком.
И начинают — кто быстрее,
А там лети хоть кувыркком.

Но я мечтал достать пролетку!
Но я мечтал: достать пролетку...
Чтоб думать, чувствовать и млеть,
Чтоб ближе солнце разглядеть!

— Ну вот, нашел чего хотеть.

И вдруг однажды в Ереване
Из-за угла — удар под дых —
Мечты и мистики на грани
Упряжка с парюю гнедых!

Шагали баснословно гордо
Два струнноногих рысака,
И тот, который с белой мордой,
Мне поклонился свысока...

А дальше: разговор короткий,
Ведь я мечтал: достать пролетку...
Я так мечтал достать пролетку!
А где достанешь в наши дни?

— Гони, отец, в Еребуни!

Я восседал в своей коляске,
Как древний царь земли армянской,
Когда «барев!» кричали мне
Мальчишки, мчавшие за ней.

Когда ж, пространство обезличив,
Перемололи кони в дрожь,
Я попросил у дяди Мкртыча:
— Зачем ты песни не поешь?

Ты видел этот лист живой
Недвижным — он окован ранью,
И в неподвижности его —
Томительное ожиданье.
Не мыслит он себе подлог
В том, что придет к нему, быть может,
И невозможного по коже
Струится леденящий ток.

Он ждал, немой и обреченный
На вид, но ветер шелестит —
И лист, так звонко изумленный,
Зеленым пламенем горит.

ВИКТОР КОРКИЯ

..*

Сжигают листья. Тянет дымом
из скверов, проходных дворов,
и дворники неуголимо
толкнутся около костров.
Все видят всё, и всем все ясно.
Дымятся Чистые пруды.
Мы тоже смотрим неотвязно
на эти долгие труды.
Сжигают листья. Нелюдимы,
синеют дворники во мгле.
Все так же неисповедимы
пристрастья наши на земле.
Но и у дворников от дыма
нет-нет да и блеснет слеза,
ведь и у них непоправимо
все те же самые глаза.
И мы все смотрим неотвязно,
слез не решаясь утереть.
Мы знаем: не смотреть пристрасно
для нас — как вовсе не смотреть!..

..*

Как беззаботно дух мой хочет
подняться над умом моим!
Уже из стольких одиночеств
я выбирался, невредим.
Я жил уже. И некий опыт
меня уже отяготил.
Зачем же время так торопит,
зачем, пока достанет сил,
я должен видеть землю эту,
листву землистую на ней
и о своем кричать по свету,
чтоб близким делалось больней,
чтоб, взбудораженные криком,
они смотрели на меня
и в их непониманье тихом
достоин жалости был я?..
Как знать, быть может, лучше будет,
если мое умрет со мной,
ни человека не осудит,
не станет ничему виной?..

ИГОРЬ СЕЛЕЗНЕВ

Якиманка

Необходимость подвести черту
под жизнью старой требовала встряски,
позора непростительной огласки.
Какую жизнь я видел на свету!
С постели встав, придя на Якиманку,
Смотря на окна, думал спозаранку,
что новая судьба возьмет приманку.
И утром приходилось одеваться
и переулков Якиманки гул
вбирать, со старым чтоб размежеваться.
Мне надо было чем-то становиться.
А в понедельник полночь — не черта.
А полночь была перед ним вчера.
А стало ни за что не зацепиться.
И числа приходили каждый раз.
Лежала снега елочная вата.
А жизнь стоит, хитра и старовата,
на улице моей, у самых глаз.
Стоял стеною високосный год.
За декабрем стеною возвышался.
А я к нему скользил и приближался.
И жизни ощущался поворот.
Мне улица была моя длинна...
И жизнь была открытые ворота
и до небес свободная дорога.
Но старая судьба мне не видна.
Хоть можно было мне сидеть и видеть,
что снега белого не пересилить.
Пора идти. На улице темно.
На Якиманке посмотреть в окно.
Там можно безо всякого труда
в дом попроситься и войти туда,
а после выйти через дверь входную.
Здесь возраст мой — и жизнь начать вторую.
...И очень скоро минул Новый год
на Якиманке белой, у ворот.
И все по новой началось тогда!
Но ясно, что последний раз начался.
Я видел ведь, когда он намечался,
когда еще!.. И стала жизнь — тверда.
Еще не все... А прежний год остался
и старым Новым годом приближался...
Так это моя старая судьба
по старому, отстав, крадется стилю.
И я тринадцать дней ее осилю:
там, впереди, пройдет она, слепа...

Маросейки больше нет.
Маросейки нет на свете.

В наших окнах белый свет,
как тогда на Маросейке.

Мы останемся одни.
И увидим мы сквозь ветки:
он такой, как наши дни,
как зима на Маросейке.

Этот свет неистребим.
Станем молодыми — сами
мы отправимся за ним
с бесконечными глазами.

Просыпаться или спать —
видеть до конца сквозь веки:
как тогда на Маросейке,
родины не исчерпать.

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

Левша

Левша сковал гвоздочки для подковок
Игрушке царской — аглицкой блохе.
Конечно, был он преизрядно ловок,
Но посвятил усилья — чепухе.

Дается ж людям бесполезный дар!
Иной искусник не такое может:
Из маковинки сделает футляр
И внутрь — пылицку-скрипочку положит.

Бес, не иначе, помогает им,
Чтоб искусить сопоставленьем ложным,
И делается малое — большим,
Великое становится возможным.

А все масштаб. Подумай: я и ты —
Из космоса, — и даже с самолета...
На нашу жизнь посмотришь с высоты —
Какая ювелирная работа!

Январь. Метро

Как рыбы морские от пены
Холодной, от резкой волны
Уходят за влажные стены,
В таинственный плен глубины, —
Так мы от бездомной метели.
От снега спустились туда,
Где в темные мчались туннели
Мерцающие поезда.

Я помню — народ в галерее,
И свет, и сталь, и стекло,
И, как в меховой душегрее,
Блаженный озноб и тепло,
И гул, и движение в туннеле,
И снова — огни, поезда...
С каким нетерпением глядели
На них пассажиры тогда!

Я тоже летел в ослепление.
Я тоже смотрел второпях.
Но помню на ближнем сиденье
Ту женщину с пряжей в руках.
Стара, молода ли, не знаю,
Но часто как сквозь забытье
С тех пор я в душе оживляю
Небесные руки ее.

И вижу я тонкие спицы,
Пушистый клубок шерстяной,
И руки, как две голубицы,
Колеблются вновь предо мной.
И гул, и качанье вагона,
Туннельных огней кружева...
И руки, как двое влюбленных,
Которым не нужны слова.

И снова — движение, движение!
И свет уносился стремглав,
Как будто бы на погружение
Сверкающий шел батискаф.
В соленых провалах отвесных
Он падал слепящей иглой!
И хари чудовищ безвестных
Светились за фосфорной мглой.

Но женщина не замечала,
Задумчиво к пряже склонясь,
Какая там бездна зияла,
Какая там нечисть вилась.
Страшилища очи вперяли
С угрозой в наше жилье!..
Но теплое что-то вязали
Спокойные руки ее.



ЛИЛИЯ БЕЛЯЕВА

★

СЕМЬ ЛЕТ НЕ В СЧЕТ

Повесть

«Беляева Лилия Ивановна родилась в Дорогобуже Смоленской области. Окончила филологический факультет Тамбовского пединститута. Работала в комсомольской печати Тамбова, Вологды, Южно-Сахалинска. Участвовала в Читинском семинаре молодых литераторов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Первая повесть Лилии Беляевой, «Яблоки на свадьбу», была издана во Владивостоке Дальиздатом. Вторую, «Квартира с видом на море», напечатал журнал «Нева»...»

Это из биографии. Сюда можно добавить, что Л. Беляева успела побывать на целине, ездила по Сибири и Дальнему Востоку, «ходила» на сейнере вокруг Сахалина и что там же, на острове, ее приняли в партию.

Что же дало ей все это как писателю? Несомненно, богатство жизненного материала, разнообразие характеров, ситуаций, конфликтов.

Для Беляевой характерно, можно сказать, яростное вторжение в нашу повседневность. Проблемы гражданственности, социальной ответственности человека перед собой и обществом — такова «стихия» творчества писательницы.

Перед нами писатель со своим взглядом на жизнь, с ясно выраженной позицией и темпераментом борца против бездуховности, против забвения высоких нравственных завоеваний нашего общества. Беляева стремится показать героя в остродраматической ситуации и при этом помнит о достоверности быта, о точности психологических мотивировок.

Александр РЕКЕМЧУК.

Часть первая

— **П**ассажирам, вылетающим рейсом девять, Южно-Сахалинск — Москва, подготовиться для выхода на посадку!

Евгений Петрович захлебнулся шампанским, закашлялся и в последний раз с надеждой оглянулся на дверь. Но там, как и два часа назад, подремывал старик в ливрее.

Дверь распахнута настежь. Высокий проем темен и пуст.

Зажмурился, отвернулся поспешно. «Все, значит... все... Как? Ничего, никогда? Навсегда? Навек?»

И вдруг... мелькнуло... затрепетало... полетело навстречу светлое, стремительное.

Вскочил...

Вбежала девушка... официантка... Та самая, кажется, что обслуживает их столик. Верно. Вон и родинка. Черная грубая родинка на пухлой щеке.

Упал на стул. «Что же ты-ы? Ну разве можно так? Уж и попрощаться нельзя? Нелепо! Дико!» — говорил, обратясь к пальме в дальнем углу ресторана и не видя ее.

— Уху-хух,— выдохнул большой, тяжелый человек, Рябов.— Может, стукнуть, тебя, Прозоров, а? — спросил сырым, подземельным басом.— Как, поможет?

— Пассажирам, вылетающим рейсом девять, Южно-Сахалинск—Москва...

— Встали. Пошли,— приказал Рябов, поднимаясь во весь свой устрашающий рост. Евгению Петровичу показалось, что невысокий потолок вздрогнул и подался вверх.— Летишь, ангел! Летишь, человек! — сказал Рябов и вздохнул, шумно спустив воздух сквозь круглые волосатые ноздри.— В Москву... в Москве... о Москве...

— Да-а... в Москву. Черт побери, в самом деле... Несколько часов — и...— отозвался Евгений Петрович и вдруг увидел ярко-зеленую искусственную пальму в углу, а белые скатерти на столах и алые вперемежку с серыми квадраты пластика на полу показали ему такими нарядными, праздничными... «Что ж, как хочешь. Твое право. Пусть. Пожалуйста. Кончено. Так чего ж?» — сказал про себя быстро, великодушно и решительно. Он был уже не здесь, а там, далеко-далеко, в столице, другой человек, обновленный, независимый, свободный от всяких неприятных, путаных, бесперспективных сахалинских мыслей. Э-э! А чего это Рябов как-то чудно глядит на него из-под своих страховодных бровей? Что с ним? Впрочем, а-а-а!.. Какое это все имеет значение? Теперь? Москва! Евгений Петрович раскашлялся уже притворно, чтобы слезы радости, ослепившие его, имели причину. Впрочем... чего там! У него есть полное право плакать от радости, да!

Рябов крикнул официантку. Евгений Петрович опередил его, бросив на стол три десятки, хотя знал, что обед стоит значительно меньше. Но черт побери! Это же его последний сахалинский долг! И кончено! И до свидания! Официанточка подрастерялась, улыбается, не верит. Молоденькая еще. Бери, бери! Пользуйся, девочка! И родинка у тебя не такая уж... Даже напротив.

— Вот что, Прозоров...— начал было Рябов, когда они вышли на бетонное крыльцо.— Что же ты, Прозоров, понакрутил? Не моя забота, факт, а все ж... Корявенько. Хотя, конечно...

Евгений Петрович наклонил голову, затаился и смотрел, как ветер сдувает с бетонных ступенек свежие снежинки, обнажая грязноватый ледок.

— Хотя, конечно,— повторил Рябов медленно, нудно, останавливая время.— Задачку сочинил, надо ж... К чему я только? Раньше... теперь толку-то... Молчу. Точка.

Евгений Петрович поднял голову. Рябов смотрел мимо.

Евгений Петрович смолчал. Да и чего ерепениться? Рябов из рамок не выходит. Даже Рябов. Соображает, что не тот случай... Ну?

Евгений Петрович спустился с крыльца, пошел к ограде, отделявшей площадку аэродрома и летное поле. Рябов догнал его, встал перед ним, голый рукой схватился за железную обшнудевшую шишку калитки.

— В общем, Прозоров,— тянул, насупись,— я тебе всякие пожелания про счастье и прочее гундосить не стану. Сам разобраться способен что к чему.

Между тем все улетающие девятым рейсом, измятые объятиями, измусоленные поцелуями, все, кроме Прозорова, уже спешили следом за дежурной по белому полю к самолету, голубевшему вдали. У Евгения Петровича от нетерпения сами собой заплясали ноги.

— Я про свое скажу,— не отступал Рябов.— Ты работник добросовестный, тянул как положено. Сегодня я тебя теряю. Печально. Точка. В случае чего — пиши, всегда назад приму. Ну, пошел! Эх ты...

— Спасибо. За все,— сказал Евгений Петрович, тронутый последними словами Рябова.

Обнялись. Освобождаясь от медвежьей лапки, Прозоров успел подумать: «Назад?! Кончено. Забыто. Крест».

Он проскочил в калитку и бросился к самолету. Однако у трапа споткнулся. У трапа беззвучно плакала молодая женщина в белой пушистой шапочке, некрасиво свисшей на ухо. И эти распухшие веки, размазанная губная помада... Женщина прощалась с высоким пехотным капитаном. Пальто на ее торчащем вперед животе крепко натянулось — даже нитки видны, которыми пришиты большие круглые пуговицы.

— Что же вы? Поторопитесь! — крикнула сверху стюардесса и движением руки в перчатке предложила Прозорову поспешить к ней.

«Нет, нет и нет! — твердо сказал он себе, поднимаясь по ненадежному, шатающемуся трапу. — Я поступил и разумно и честно. Устоял. А то бы вот так бы... И лучше туда не глядеть».

Отдавая билет стюардессе, он, однако, еще раз оглянулся на пару внизу. Пехотный капитан пытался освободиться от хватающихся за него женских рук. Наконец это ему удалось, и он бросился вверх по трапу.

«Ну вот...» — с новым облегчением за себя и несколько насмешливой жалостью к капитану подумал Прозоров.

Но капитана вдруг развернуло на сто восемьдесят, и он со звериной быстротой соскочил вниз и, отбросив чемоданишко, обеими руками обхватил застывшую на ветру женщину.

Евгений Петрович закусил кислую веревочку от ушанки, в последний раз оглядел с верхней ступеньки трапа сиротливое зимнее пространство, заставленное по горизонту неровной чередой заснеженных сопок, и неожиданно резко, как сдернутый кем-то, шагнул вниз.

— Гражданин! Вы летите или нет? — крикнула ему вслед стюардесса.

Опомнился. Мать честная! Чего это с ним вдруг?

— Лечу, — ответил стюардессе. — Конечно, лечу.

— Тогда входите! — приказала она, и он рад был послушаться этого вятного, раздраженного голоса самого благоразумия, пригнулся и нырнул в тесное, душноватое нутро самолета.

От злой тоски не матерись,
Сегодня ты без водки пьян.
На матери-ик, на матери-ик
Идет последний караван,—

орали хмельные парни, сидевшие впереди Прозорова. У них были растрепанные шевелюры, сытые плечи, обтянутые грубыми свитерами с воротами, похожими на шины. Над ними в сетке понабросаны ушанки, мичманки, бушлаты.

Евгений Петрович отодвинул все это легкомысленное холостяцкое барахло, ловко пристроил оленьи рога, сел в кресло.

— Куда, граждане, путь держите? — спросил у парней милиционер, проверявший паспорта.

— В Николаевск-на-Амуре! Оттуда — в загранку! — весело гаркнули парни и завели еще оглушительней:

На матери-ик, на матери-ик...

— Граждане пассажиры! — сказала белокурая сероглазая стюардесса и улыбнулась так, чтоб ее улыбки хватало на всех. В ее юном протяжном говоре, подрисованных глазах, в высокой воздушной прическе было нечто утонченное, нездешнее, обещающее. — ...и застегните ремни!

Евгений Петрович с готовностью выполнил просьбу хорошенькой девушки, откинулся на спинку кресла, торопясь окончательно ото-

рваться от бывшего и всеми нервами, жилками, порами приобщиться к будущему.

И — вот оно, это долгожданное мгновение! Самолет взревел, развернулся, пронесся полем и соскользнул наконец с промерзшей, обветренной земли.

Евгений Петрович сидел у иллюминатора, но только раз захотел взглянуть на землю, где прожил семь лет, и увидел ее — сопки, пади — скомканную, в пятнах белого и бурого. «Вот там... где-то», — подумал с состраданием к Рябову и вообще ко всем людям, которые остались далеко внизу.

Стюардесса проносила мимо поднос с журналами и газетами. Взял что подвернулось. Удача. «Советский спорт». Любимая, родная газетка. Отыскал рубрику «Бокс», прочел: «Особенно интересной оказалась встреча москвича Д. Петрова и американца Т. Орта. Поначалу инициатива была у американского боксера. Он провел серию удачных молниеносных ударов. Д. Петров растерялся, побывал в нокауте. Но сумел в конце концов собраться и ринулся в бой. Сеть обманных движений, нырки, уклонь, неожиданный мощный удар в нижнюю челюсть — и противник в нокауте. Победа! Победитель!»

Сквозь азартно оскаленные зубы сорвалось:

— Молодец, парнишка! Молодец!

Обнаружил: набухли, напряглись мускулы, словно сам изготовился к бою. Усмехнулся, расслабился. Вот чем и хороша эта газетка: пусть на мгновение, но превращает тебя в соучастника великих, победных сражений, встряхивает, освежает, бодрит.

Задержался взглядом на блеклой газетной фотографии Фила Эспозито, знаменитого канадского хоккеиста. Длинный нос, складки кожи под широким костяком подбородка — лицо как лицо. Пробежал глазами под снимком: «Мне повезло, я стал хоккеистом, а не водителем самосвала или чернорабочим, что уготовила мне судьба, а это уже многое значит. Но я никогда не предаюсь иллюзиям. С тех пор как я подписал первый контракт, хоккей стал моей профессией. Жизнь есть жизнь. И если вы думаете, что в мире спорта она строится как-то по-другому, то вы ошибаетесь. Это нелегкая жизнь. Если вы не даете соответствующую продукцию, то вы не нужны команде. Только так!»

Опять посмотрел в лицо Фила, но уже пристально, приветственно, с симпатией, как на живое, готовое улыбнуться своей, ободряюще.

Внезапно поблизости женский голос позвал сердито:

— Оля! Да Оля же!

Насторожился, оглянулся. Женщина в красном платье тянула по проходу между кресел девочку лет пяти. Девочка обиженно хмурила шоколадные бровки, хлопала синими исплаканными глазами.

— На-ка, на-ка возьми! — ни с того ни с сего взвился Прозоров и, еще не зная толком, что отыщет и даст, полез по карманам. Нашел конфеты, целых две. «Отступного! — саданула под дых злая поворотливая мысль. — Ублаготворить вознамерился? Откупиться?»

— Оля, да Оля же, скажи дядечке спасибо! — настаивала женщина, дергая девочку за руку.

Девочка зажала конфеты в кулаке, насунулась и молчала.

— Неблагодарная! — ужасалась мать.

— Нет, нет, что вы! Не надо! Не обязательно! — истово деликатничал Прозоров.

Глянул в иллюминатор. Там клубились гигантские оранжевые облака. «Не простые облака. Нет. Взрывные. Последствия космической катастрофы». Рябов сказал. Выволок из шахты молоденького крепильщика Васяткина, отдышался, пристал: «Куда путь держим, добрый мо-

лодец? В медвытрезвитель? В тюрьму? На помойку? Второй раз с бутылкой под землей ловлю. Беда! Штангу забросил. Угу? Выходной костюм пропил. Угу? Полуандра, Васяткин! Караул! Спасайся, пока не опоздал!» И потом ни с того ни с сего про облака и космическую катастрофу... «Рябов? Васяткин? Зачем? — рассердился Прозоров. — Был Рябов — кончился. Лечу. Самолет. Москва».

— Татарский пролив! — крикнул мальчишеский голос.

Соседка Евгения Петровича, грузная некрасивая женщина в спортивной куртке и брюках, чем-то напоминающая вахтершу шахтоуправления, тотчас потянулась смотреть. Евгений Петрович посомневался чуть и уступил женщине свое удобное место у иллюминатора.

— Великое спасибо, — тщательно выговорила она. — Я, простите, Латвия, обмен опытом, рыбообработка, первый раз Сахалин. Замечательно. Та? — Она уже смотрела вниз. — Замечательно! Та!

— Конечно, — вежливо ответил Евгений Петрович, тешась собственным великодушием.

— Во сколько мы прилетаем в Москву? — спросил мужчина за его спиной.

— В пятнадцать двадцать. По-московски, разумеется.

— Благодарю. Пора переставить часы по-столичному.

«О да! Пора! Пора!» — с восторгом нетерпения согласился Евгений Петрович и передвинул стрелку своего золотого «Полета» на восемь часов назад.

Выходило, в Москве сейчас глубокая ночь, самый сон. Интересно, получила ли Лариса его телеграмму? Должно быть, получила. Вот удивилась! Впрочем, он прежде послал ей письмо, где подробно объяснил, когда собирается рассчитаться и приехать. И все-таки удивилась. Телеграмма такая штука... И, конечно, помчалась в магазин, накупила того-сего... А может, у нее и так все было. Вполне вероятно. Есть же холодильник. «ЗИЛ». Или не «ЗИЛ»? Ну да не все ли равно какой. Он послал ей деньги на самый хороший. Сразу как приехал на Сахалин. Да, да... именно. Лариса еще письмо прислала... Как же, как же, он помнит, отлично помнит! Длинное такое письмо... Благодарила, объясняла, как это прекрасно для Аленки — холодильник, потому что и молоко, и соки, и все остальное надолго сохранится свежим... Письмо умилило и растрогало его. Он помнит! И расстроило! Еще бы! Не успели пожениться, едва ребенка родили... Год с небольшим и пожили всего вместе и на тебе — расстались... Год и четыре месяца, счел нужным уточнить Евгений Петрович, но и такая точность его не удовлетворила, и он сосредоточился опять и наконец сообщил себе: год, четыре месяца, шестнадцать дней. Вздохнул с облегчением. «Помню. Все помню. Прекрасно помню! Да, расстались. Девять тысяч километров разделили нас... Шутка ли! Но жизнь есть жизнь... Она часто не считается с человеческими желаниями и бессовестно навязывает свои условия, жертв требует, жертв», — убедительно объяснял себе Прозоров.

— Амур! — вскричал мальчишеский голос. — Вон, вон и вон!

— Лямур? — спросили по-французски и рассмеялись.

«Так. Скоро Хабаровск, — отметил Евгений Петрович. — Ай да Ильяшин, ай да молодчина!»

Но более всего молодцом чувствовал себя он сам. Вот же как хорошо он все помнит! Даже подробности... Когда он в первый раз обнял ее и поцеловал... Где это было? Вот... забыл... Но не важно! Главное он помнит. Так вот, когда он ее обнял и поцеловал, она долго, стыдясь, прятала лицо у него на груди. Потом спросила: «Ты очень меня любишь?» «Да», — сказал он. «Мне еще никто не говорил это, — сказала

она.— Понимаешь?» «Да»,— сказал он ответственно. «Ты очень-очень меня любишь?» — допытывалась она потом изо дня в день. «Очень-очень».

«А разве я не имел права отвечать ей так? — внезапно, словно кто-то выразил сомнение, спросил Евгений Петрович.— К кому до нее я относился настолько хорошо? Нравилась. Бывало. Пользовался. (Грубо, но точно.) Не больше».

Нет, не больше. Ни разу ни за одной девицей не бегал сломя голову, ни от одной не сходил с ума. «Что ж, вероятно, все дело в характере». Так решил. Не с его сдержанным характером сходить с ума от чьих-то красивых глаз, талии или там длинных ног. Он не такой идиот. Серьезное, спокойное чувство — это да, это он может. Вот они и пожевились. И почтительная, покорная привязанность к нему Ларисы вполне удовлетворяла его, радовала, льстила самолюбию, и он сам испытывал к ней все нарастающую доверительную нежность.

Да, они жили прекрасно. Ни ссор, ни взаимных упреков. Теща плакала от счастья, глядя на них...

— Наш самолет приземлился в аэропорту «Хабаровск». Температура за бортом минус двадцать восемь, сила ветра пять метров в секунду.

Парни в свитерах с воротами-шинами разом поднялись, похватали свое барахлишко, в последний раз прогорланили лужеными глотками «На матери-ик, на матери-ик...». На их места пришли краснощекие с мороза старичок и старушка и долго совместными усилиями пристраивали в сетке кошелку с чем-то не то льющим, не то бьющимся.

Старушка уселась и радостно оповестила всех:

— А мы в Арысь едем. Есть такая станция. Там у нас дочка в диспетчерах, а зять в начальниках. Может, кто знает, что это за станция такая?

Прозоров сморгнул. Он знал. И посмотрел на улыбающуюся старушку с недоумением. Он никак не мог себе представить, что станция Арысь все еще существует в этом мире, что кто-то стремится туда попасть и при этом способен улыбаться. Ну нет уж! Он не позволит своей памяти затащить его на станцию Арысь. Память... Ох уж эта память... Ни с того ни с сего заработала, вытащила на свет божий такое... Столкнула ни с того ни с сего такие отдаленные времена, обстоятельства, людей живых, сегодняшних и тех, что были когда-то и канули... Игра воображения, как говорится... Но иногда получается очень даже забавно, а иногда — не того, неуместно, ни к чему. Так что на всякий случай он был осторожен со своей памятью... Он у нее весь на виду — вот в чем штука. Он вообще старался не увлекаться воспоминаниями. Пустое занятие, если разобраться. Память памятью, жизнь жизнью.

— Значит, никто не знает, какая это станция? — огорчилась старушка.

— Значит, никто,— быстро ответил Прозоров, без надобности достал носовой платок, смахнул им с колен словно бы одному ему видимую пыль. Пыль станции Арысь.

— У вас ножичка не найдется? — потянулась к нему через проход седая дама в очках. На ее худых пальцах, покрытых лиловой старческой пленкой, сверкали кольца и перстни.

Прозоров с преувеличенной радостью дал ей нож.

— Это дочка все: приезжайте да приезжайте к нам на станцию Арысь! — не унималась старуха.— Приезжайте да приезжайте!

Стюардесса поднесла поднос с конфетами. Прозоров не хотел конфет, но взял одну и поблагодарил девушку с не соответствующей моменту пылкостью. Толстый мальчишка догрызал яблоко и этим тоже

показался приятен Прозорову, целесообразен, как символ его собственной устойчивой принадлежности сегодняшнему дню.

Женщина («Рыбообработка») вынула из полиэтиленового мешочка два бутерброда с красной икрой и один протянула Прозорову. Он отказался, приложив руку к сердцу, и с удовольствием наблюдал искося, как эта, в общем, симпатичная латышка аккуратно управляется с бутербродами, ни крошки не роняя на свои выутюженные светло-серые брюки.

Однако вся эта смиренная возня вокруг уже беспокоила Прозорова, а неподвижность самолета и молчание моторов показались ему подозрительно затянущимися.

— Мы собираемся лететь или нет? — сердито спросил он в воздух.

Но на стене впереди уже вспыхнуло «No smoking!», и знакомый голос стюардессы приказал пристегнуть ремни. Последнее к Евгению Петровичу не относилось — он и не подумал отстегиваться, а теперь напрягся весь, по-ребячьи как бы подключая свои усилия к усилиям моторов, наконец-то взревелих.

Взглянул на часы и вдруг почувствовал себя одураченным. Надо же, прошло около двух часов, а он все еще недалеко от Хабаровска и, следовательно, от Сахалина. А впереди? Восточная Сибирь, Западная, Урал, десятки городов и еще одна посадка. «Лучше не думать об этом. И чего это я вообще взвинтился! — одернул себя. — Лечу? Лечу. Аэрофлот гарантирует безопасность? Гарантирует. Все прекрасно. Все? А что же не прекрасно? Сам начальник шахты провожал. Ну, конечно, если бы не его командировка в область... И все-таки в аэропорт Рябов мог не ехать. Поехал, за такси уплатил. Почему? Не подвел я его. Что правда, то правда — тянул. Согласился на три года, а отбарабанил... Ничего себе! Хо-хо! Впрочем, что «хо-хо»? Семья есть семья. Не так ли? Мы же не потому решили расстаться, что плохо относились друг к другу. Наоборот. А разве Сахалин мне дался легко? Между прочим, за все семь лет ни разу отпуск не использовал... Ни разу. Удивительно? Еще б!

А в первый вечер, как приехал в этот Снежногорск, — продолжал Евгений Петрович, обращаясь к жене, — видела бы! Сошел с поезда и остолбенел. Сопки, сопки... Со всех сторон сопки, а в середине — я с чемоданом. Как... таракан в банке. Дождь по шляпе стучит, под ногами живая грязь, кисель, месиво. Так называемые комнаты для приезжих где-то в поднебесье как в насмешку. Не идти надо, а карабкаться, лезть. И лез, тащился по таким крутым лестницам, какие разве на подъемном кране увидишь, обходил кривобокие сарайчики, шлепал по чьим-то раскисшим огородишкам, слышал чьи-то сонные голоса: «Выше! Выше!» Куда же выше? Не к богу ж в рай! И первое, что спросил у дежурной по комнатам для приезжающих: «Где тут у вас почта?» Решил рано поутру дать тебе телеграмму, чтоб срочно слала деньги на обратный проезд... Поставил на чемодан грязные туфли, не зажигая света, разделся — и бах в холодные простыни. Как ядовито они пахли стиральным порошком! И, представь себе, стонал от одиночества. А наша комнатка на Арбате, где горячие батареи, и твои волосы на подушке, и Аленка чмокает соской во сне... Просто раем представилось! Неоценимым, брошенным даром, преглупо... Впрочем, я писал тебе об этом, должна помнить...

Что я как будто оправдываюсь? — удивился Евгений Петрович. — Не оправдываюсь, — пояснил себе, — а так, вспоминается. Естественное состояние всякого отъезжающего. Любопытно все-таки, как, чего, почему, отчего... Так что там было дальше?..»

...Вошла высокая старуха. Дежурная. Зажгла лампочку на скрытом шнуре, приказала:

— Вставай! У нас эдак не положено.

Прямо надзирательница... Разозлила... Встал, однако, оделся, сел. Старуха с чайником вернулась. Чашку принесла, варенье в тарелке, рыбы кусок, хлеб.

— Ешь давай. Первый раз на Сахалине? Оно и видно! Что ботиночки, что манеры. Кету пробуй, сама солила, варенье черносмородиновое, сама варила. Надолго сюда? Где же приткнуться собираешься? Инже-не-ером? Горемыка ты, горемыка...

Подхватила его грязные туфли, ушла. У него неостало энергии оборвать грубую бабку, он начал есть и не заметил, как съел все, что было на столе.

— Сапоги купи резиновые. Долго живут,— поучала старуха, представляя к порожку его начищенные туфли.— Дороги бетоном застилают-застилают, а глина здешняя знай себе прет.

Сытый, согревшийся, он уснул под верблюжьим одеялом, которое, оказывается, лежало под подушкой, и проспал мгновение своей решимости немедленно покинуть Сахалин.

Проснулся оттого, что его трясли за плечо.

— Сам вызывает! Вставай давай вскорости! — строго шептала давешняя старуха.— Чайку глотни — и руки в ноги.

Рябов начал с того, что больно жиманул ему руку и вызвал по телефону бухгалтера:

— Люби и жалуй. Маркшейдер. Срочно оформишь по всем статьям и все как полагается.

Евгений Петрович не успел ничего ответить. Рябов пропустил его впереди себя, повел по длинному темному коридору шахтоуправления и своим ключом открыл одну из одинаковых, обитых коричневым дерматином дверей.

— Твой. Устраивает?

Евгений Петрович помялся у порога. Высокое окно, полузакрытое шелком, большой полированный стол, на нем зеленый телефон и набор авторучек «Ракета», целеустремленно вытянувшихся, готовых... Справа у стены чертежный стол, и кресло, и копировальный стол, и еще шкаф с книгами. Красиво, удобно, чего говорить. И все-таки... Прозорову хотелось сказать, что он, собственно, еще ничего не решил бесповоротно, что... Рябов подтолкнул его рукой в спину, закрыл за ним дверь и ушел. «Нечего мудрить!» — так надо было понимать. А спустя примерно полчаса Евгению Петровичу положили на ладонь тяжелую пачку десятирублевок, а еще через некоторое время он, запыхавшийся, влетел в отделение связи и на бланке телеграфного перевода вывел огромную, по тем его понятиям, сумму и приписал: «Ларочка все порядке первое можешь вычеркнуть целую...» «Первое» — это и был холодильник согласно списку, который они набросали с расчетом на три года...

«Что ж,—вновь обратился Прозоров к жене,—я таки доставил тебе удовольствие перечеркнуть пунктики нашего реестрика один за другим все. И более того... Правда, на это ушло не три года... Но какое это теперь имеет значение! — Евгений Петрович слегка раззадорился.— Семья обеспечена»,— горячо сообщил себе. Он обеспечил ее, мужчина, отец. И не как-нибудь, с кондачка, в обмен на совесть и честь, а самым законным, достойным образом. Семь лет проишачил! Семь лет! Каково? То-то! Что ж удивительного, если он возвращается теперь в прекрасную кооперативную квартиру, где есть и прекрасная мебель, и ковры, и телевизор высшего класса! «На телевизор этот самый и шубку из искусственной норки мои отпускные и пошли. Отпускные за три года. Вернее, компенсация,— вспомнил Прозоров. И это воспоминание о собственной самоотверженности было ему приятно.— Ком-

пенсация — и тю-тю отпуск, отдых! Да-а... Ну мог бы, мог! Прилетел бы! Вернулся! — сердится он вдруг как бы на того себя, который не совсем готов любоваться такой убедительной самоотдачей. — А куда б? После трех лет? В ту же комнатушку на Арбате? Благодарим покорно!

Все правильно, — с некоторым надрывом переповторил он, и хотя жаждал жить мыслями о прекрасном будущем, его опять потянуло вспоминать ушедшее, и скорбеть, и ужасаться. И чтоб при этом непременно присутствовала жена, смущенная, смиренная, преисполненная почтения к его сахалинскому существованию. — Ах, Лариса, Лариса! — вздыхал он, делая вид, что жена действительно рядом и слышит. — Ты и вообразить не можешь все эти однообразные, тусклые осенне-весенние дни в этом богом забытом городишке! Снежногорск... Что представляется? Город? Городок? Чепуха! Бесконечные лестницы... Зимой обледенелые, летом осклизлые от сотен грязных сапог. В столовке, в вестибюле — слякоть. Магазинышко под названием «Смешанный». Это значит в одной его половине навалены коробки с обувью, игрушки, женский трикотаж, а во второй — консервные банки, кисельный концентрат, яблоки, выпачканные картофельным крахмалом.

И эта, — Прозоров неприязненно покосился на соседку, — туда же: «Ах, замечательно!» Что замечательно? Что? Изо дня в день ни свет ни заря сапожищи на ноги — и топай как по болоту, увертывайся от машин и туда, туда, во-он где копер торчит! Ну не копер, не понять тебе небось, что это такое в точности, а вон где двухэтажка белеет. «Ах, как все прелестно-интересно!» Что?! Кинотеатрик на триста посадочных мест? Дом культуры, куда хорошо раз в месяц какие-нибудь эстрадники завернут?

А ходила ты по пурге? — продолжал горячиться Евгений Петрович. — По настоящей сахалинской пурге? Когда снегу по грудь? Когда себя вытаскиваешь из сугробов с трудом? А ты знаешь, как это — откапывать полузадохшихся из-под снежной лавины? А ты вкалывала лопаткой на железной дороге, чтоб, значит, целый паровоз из-под той же лавины вывезодить? Час, пять, восемь? Знаешь, что такое ответственность почти за тысячу человек? Моральная? Бери выше — прямая судебная. Возблагодарим же, Лариса, аллаха, — сказал сурово, обращаясь к жене, — за то, что Сахалин кончился для нас столь благополучно. Что было, то было, что есть, то есть»...

Взглянул на часы. Сорок три восьмого по-московски. Лариса встала, конечно. Хлопочет на кухне. Возможно, кормит Аленку. Если Аленке в первую смену. По всей вероятности, в первую. Первоклассники всегда в первую. Свет горит, посуда блестит. Кофе пахнет. Утром кофе пахнет особенно хорошо. Свет, тепло, тишина — и пахнет кофе... О-ох!

Евгений Петрович так явственно ощутил мирную прелесть утра в чистой, сияющей кухне, что вдруг потянулся сладостно и, закрыв глаза, вдохнул в себя воздух, словно и впрямь наслаждаясь растворенным в нем комфортным ароматом. Ах, как хорошо жить на этом свете! Особенно после перенесенных лишений и неудобств!

— Граждане пассажиры, приготовьте столики для ужина!

Открыл глаза и очень удивился, что все еще находится в самолете, что до Москвы лететь и лететь.

Есть? Нет, он не станет здесь есть. Он будет есть там, у себя, в своей собственной квартире, со своей семьей.

И он опять решил обмануть время. Сказал соседке:

— Я сплю, прошу не будить.

Закрыв глаза, напряжением тренированной воли подавил в себе всяческие настроения и скоро действительно спал и проспал вплоть до того часа, когда самолет закружил над Подмосковьем.

— Как! Уже?! — изумился Прозоров, словно его застали врасплох, и мысли его взметнулись беспорядочно:

«Ну вот же, Лариса, вот... Все хорошо. Мы уже близко, рядом... Где ты? В аэропорту, конечно... Ждешь, волнуешься. И я... Кинешься... И я... Кинемся... Как же! Непременно! Сколько лет, сколько лет! Но не зря, не зря! Помнишь, как думали? Целую ночь. А утром решили все-таки не спешить. Я — еду, ты — остаешься. Пока. А когда я осмотрюся на этом чертовом Сахалине, вызываю тебя с ребенком. Ты плакала. А мне легко ли было решиться? Но если комната в Москве, теплая, в центре? И ребенок? И бабушка? А там... Вместе решали. Помнишь? Ты, я... Но не зря! Не зря!»

— Снижаемся-а-а! — заорал мальчишка.

Евгений Петрович опомнился, взял себя в руки и заключил вразумительно: «Все, что ни делается, все к лучшему. И то, что ты, Лариса, не испытала прелестей сахалинского существования — твое счастье. Ты никогда не сможешь упрекнуть меня в том, что таскал за собой, мучил и так далее. Как мадам Левицкая, жена главбуха, красавица с наклеенными ресницами. Жизнь! Она требовала платы — мы расплатились. Мне тридцать пять. Разве много? Тебе и того меньше. Семь лет... Не в счет. Все будет как надо».

Подался к иллюминатору. Белые, чистые снега внизу, кое-где заштрихованные серым карандашом — деревья, кусты...

Самолет с легу толкнулся о московскую землю и вдруг помчался по ней с такой напряженной скоростью, словно в мгновение разувьерился в ее прочности и собрался опять взмыть в небо.

Ан нет, все в порядке, остановился... стих...

«И Аленка! Аленка! — поспешно вспомнил Евгений Петрович. — Вот уж кто кинется! Вот кто обрадуется! Ребенок, дочь... Моя дочь! Рога везу... Ей! Буду в зоопарк водить, на елку... туда-сюда...»

Он испытывал что-то вроде вдохновения, он был твердо уверен, что истекают последние минуты случайного, малозначительного периода его существования и вот-вот перед ним развернется уже совсем настоящая, красивая, полноценная Жизнь. Как будто была необходимость — на брюхе по мокрому, скользкому забою, долго, до ломоты в локтях, в шее, и вот все кончено, тебя подхватили и прямо из тьмы на солнце, на воздух, на простор!

Вышел из самолета, с наслаждением задышал легким морозным воздухом. Солнце блестело на заледенелом слегка асфальте, и это казалось Евгению Петровичу тоже очень бодрящим, красивым, хотя идти было трудно, ноги скользили, приходилось семенить.

Вместе с толпой вошел в длинный остекленный коридор аэровокзала. Увидел первых встречающих, их вытянутые, ждущие лица, и уверенность внезапно покинула его. Он испугался, что не узнает свою жену.

И узнал. И обрадовался этому чрезвычайно.

Лариса стояла у стеклянной стены слева, в солнечном пыльном луче. Евгений Петрович шел по правой стороне, и ему, чтобы добраться до жены, надо было пойти наперерез толпе, преодолеть общее движение по прямой. Повернулся решительно и двинулся напролом, не обращая внимания на окрики недовольства, на то, что чья-то корзина больно прошлась по его голой руке, и предстал перед женой несколько запыхавшийся и очень довольный осуществленным прогывом.

Она же, не замечая его, стоящего рядом, продолжала, приоткрыв рот, озабоченно перебирать глазами идущих. Смешно, конечно. Только Евгению Петровичу отчего-то смеяться не захотелось. Он протягивает руку, чтобы положить на плечо женщины. Рука замирает на лету.

«А точно ли это Лариса, жена? Не обознался ли? Ну как же, вот эти брови... Глаза карие... И рот ее. Правда, она кажется поменьше, чем я предполагал. Хотя и на каблуках. Но в общем... Лицо круглое, ее лицо, — анализирует далее. — Пудрится. Глаза подвела. А раньше подвела? Серьги носит. Длинные. А раньше носила такие? — Силится вспомнить и не может. Смущается, краснеет даже и тут замечает на женщине темно-коричневый искрящийся мех... — Шуба... Норка искусственная...» И произносит внятно, с легонькой укоризной:

— Лариса!

Женщина вздрагивает, точно ее разбудили внезапно, поднимает к нему лицо, замечает рога в его руке. Рога как рога. Забинтованные, чтобы не попортить. Но ее глаза вроде как не сразу понимают, что это такое... ширятся изумленно... Она стискивает перед собой руки и произносит низким, срывающимся, незнакомым голосом:

— Ты?! Я рада... я очень, очень рада...

Губы ее дрожат, глаза полнятся слезами. Она силится улыбнуться, говорит:

— Какой ты длинный! Такой дли-инный! Я искала поменьше... поэтому...

Он ставит портфель на пол, освободившейся рукой привлекает женщину к себе, целует в щеку. И тоже улыбается, почти смеется, делая вид, что нисколько не смущен, что все это так мило, забавно, пикантно даже...

Они выходят из здания аэровокзала. Немножко на ходу спорят о том, кому нести оленьи рога. Евгений Петрович побеждает, утверждая, что и рога, и портфель, и чемодан ему настолько легко держать в руках, что не о чем и разговаривать. Он не врет, и ему приятно сознавать, что он нисколько не врет сейчас своей жене и не доставляет ей никаких неудобств.

Он подводит ее к стоянке такси. Она оглядывается нетерпеливо и начинает говорить о том, что, должно быть, придется долго ждать, что лучше ехать автобусом-экспрессом, что на такси разъезжают главным образом провинциалы, которым хочется шикануть. Он не спорит с ней, догадываясь, отчего она завела весь этот разговор: она тоже делает вид, что все и обыкновенно и нисколько не тяготит ее.

Сидя в такси, она опять говорит, поглядывая на него сбоку настроенно и пытливо.

— Знаешь, когда я получила твою телеграмму... Ночью принесли, в одиннадцатом... Такой оглушительный звонок! Кошмар! Мальчишка... Как доверяют? Читаю — ничего не понимаю. Неужели? Звоню маме. Тоже не поверила. Правда дикость какая-то? Аленка проснулась. Фотографию твою достала, смотрела... Отец поверил сразу, бренди купил... Они у нас, ждут... пироги пекли. Я тоже... Меня с работы еще вчера отпустили. У нас в библиотеке как узнали... Аленка в школе. Я все-таки послала. Или не надо было?

— Почему же? Школа есть школа, — отвечает он, уже не так остро чувствуя неловкость. Он глядит в боковое окно на весело скачущий мимо березовый подлесок, на огромные рекламные щиты и постепенно шалеет от стремительной комфортабельной езды, от предвкушения грядущих радостей.

...Маленькое ушко жены. Вокруг него закрутилось случайно колечко темных волос. Умиленный этим зрелищем, погладил ее руку. Она вздрогнула, склонила голову, покраснела и показала ему совсем юной, почти девочкой, с этими опущенными ресницами, в этой зеленой вязаной шапочке с куцым козырьком.

— Я как будто встретил тебя вот только что... в первый раз... В ле-

су, помнишь? Ты такая молоденькая, свежая,— шепнул улыбающимися губами.

Она глянула исподлобья недоверчиво. Он увидел пучок тоненьких морщинок, тщательно запудренных в ложбинке между бровями. Выдержал ее взгляд, улыбаясь в ответ как можно простодушнее. И признался себе: «Да, лгу. Но из самых лучших побуждений лгу! Надо же начинать... Как-то это все сбалансировать, организовать, настроить... настроиться...»

...Его дом произвел на него впечатление с первого же взгляда. Ему даже показалось, что, засыпая в своей пустой сахалинской квартире, где, кроме стола, кровати и табуретки с электроплиткой, ничего не было, он видел воображением именно эту семнадцатизэтажную нежно-сиреневую громаду, снизу доверху сияющую стеклом окон. И никаких потеков, никаких швов, кое-как замазанных битумом. Никаких балконов, этих убогих висящих траншеек. Лоджии, длинные, глубокие. Поди ж ты!

— Сквозное проветривание,— спешила объяснить жена.— Высота два семьдесят. В ванной и уборной импортная керамика. В кухне польский линолеум. Помнишь, я писала? Кухня десять метров.

— Одного не понимаю,— Евгений Петрович взял жену за плечи,— как это ты, такая маленькая... и вдруг в таком доме, и не на окраине где-то, а почти в центре? Я-то считал, вовсе непрактичная.

— Я же писала тебе! — отозвалась женщина, и голос ее прозвучал чуть-чуть капризно. Похвала польстила ей.— Я писала, как одни мои знакомые, Севастьяновы, отказались от этого кооператива... Дарья... «Нет и нет...» Уже первый взнос внесли, а Дарья вдруг — «нет и нет». Ты как раз деньги прислал. Ты замечательно вовремя деньги прислал. Восторг как все получилось!

— Понятно.— Евгений Петрович продолжал разглядывать дом. Попытался наудачу отыскать свои окна. Но все они были столь одинаковы и столь согласно излучали таинственный голубоватый полусвет величавого умиротворения и комфорта...— Лариса, Лариса-а.— Евгений Петрович порывисто, благодарно притиснул женщину к себе, и так они стояли некоторое время...

...В лифте, обитом изумрудным пластиком, в голубоватом свете плафона Евгений Петрович увидел в руках жены оленьи рога. Бинт, которым они были обмотаны, успел загрязниться, и Прозорову стало как-то сразу неловко перед всем этим солидным, нарядным домом и за свою щетину, вылезшую в полете, и за мятые брюки, и за дешевое пальтецо с выгоревшим цигейковым воротником, и за свою голую холостяцкую квартиру с облезлым табуретом, откуда он решился так вот вдруг перемахнуть сюда. «Завтра с утра»,— подумал поспешно о необходимости обзавестись одеждой, достойной дома, где собирался жить.

Кроме того, надев новую московскую одежду, он окончательно развяжется с Сахалином, стряхнет последнюю сахалинскую пыль и...

— Оправдал! Оправдал! — веселенько приговаривал низенький короткошей человек, напирая на него животом. Тесть. Схватил за руки, принялся трясти.— Вот оно, истинное отношение к женщине, жене! Рыцарь! Джентльмен! Благороднейший поступок на фоне современной молодежной действительности! Истинное, Лариса Ивановна! — прокричал в сторону дочери, грозно выпучив глаза.— Цени, Лариса Ивановна. Цени и чувствуй!

Лариса собралась было что-то ответить, и резкое, недоброе, судя по вспыхнувшему взгляду, но перетерпела, наклонилась снимать сапо-

ги. Однако — Евгений Петрович заметил и это — на щеке у нее запыхало багровое пятнышко, будто ее щипнули, и расплылось.

— Цени, Лариса Ивановна! Цени! — не унимался родитель и, видимо приятно ошарашенный собственным красноречием, пробовал держаться осанисто, выпячивал подбородок, выставляя вперед ногу.

— Я ценю, ценю! — вдруг выпрямилась дочь и стукнула каблук-ком.— Чего ты? Только и делаю! Что пристал? Прошу! Прошу-у!

— Ох, ох, и сказать нельзя, от души ведь,— отступил старик, как всегда, впрочем, отступал прежде при малейшем неудовольствии своей разьединственной.

— Здра-авствуйте, голубчик,— сквозь одышку пропела толстая, болезненно-сонливая теща, протягивая Евгению Петровичу пухлую ручку с золотым тусклым колечком.— Проходите... что же вы... все свои... будьте как дома...

— Сказала! — фыркнул ее муж.— Он и есть дома!

— Ох я глупая, беспамятная,— всполошилась старая и прямодушно пояснила: — Да ить сколько времени пропадал! Тут уж и как звать-величать позабудешь, не то что...

Лариса издала сквозь сомкнутые губы какой-то короткий странный звук, рванула с головы шапочку, бросила ее, не попав, на вешалку, красная, встрепанная, закричала тонким, злым, бессильным голосом:

— Чего вы топчетесь на одном месте? Идите есть! Идемте садиться! Что надо? Чего-о-о-о-о?!

Испуганный старик задышал часто и тяжело и молчком юркнул в дверь. Старушка же помедлила ретироваться. Она прежде перекрестила воздух перед дочерью, прошептала огорченно:

— Господь с тобой! Иль опять нервы? Вот ведь горести-и-и...

У Ларисы мелко-мелко дрожали губы. Она стиснула рот, повернулась к зеркалу и уставилась в него пустыми, невидящими глазами.

— Ушла я, ушла.— Старуха поднесла фартук к губам вроде бы в знак молчания, исчезла.

— Лариса,— выговорил не без натуги Евгений Петрович, так как решительно не знал, что ему следует сказать при таких непонятных обстоятельствах.

— Что? — Она отыскала в зеркале его глаза и, как послышалось ему, с каким-то ожесточенным, напористым вызовом повторила: — Что?

— Не понимаю... Зачем же так? — Евгений Петрович постарался на всякий случай говорить мягко, успокоительно.— Старики все же... Любят тебя.

— Ох! — Она ртом сделала глубокий вздох.— Что ж... действительно... я извинюсь.— Увидела свое отражение, провела ладонями по скулам, путанными движениями обеих рук повытаскивала шпильки из косы, закрученной на затылке, и наново уложила ее на прежнем месте.— Видишь... зеркало? Видишь, какое?— спросила, не оборачиваясь, и пальцем заскользила по овальной гладкой раме.

— Очень красивое,— признал Евгений Петрович и обратил внимание на то, что в длинном широком зеркале ее небольшая фигурка в юбке и свитере глядится как-то случайно, ненадежно вроде бы. А косу она, пожалуй, закручивает слишком... Может, это последняя мода такая? И серьги... Тоже чересчур.

— Я его в комиссионке нашла. Ужасно дешево! Ужасно повезло! — Она повернулась к нему.— Ну пошли, пошли? — Слово это он тянул и ей пришлось дожидаться его.

Она делала вид, что ничего не произошло. Что ж, не произошло так не произошло. Ему не хотелось задумываться, портить свое счастливое

настроение, рисковать своей радостной уверенностью в том, что теперь он может все, что будет только так, как он захочет.

Он прошел в ванную. словно подтверждая нелепость всяких унылых, неудобных мыслей, здесь все блестело, блистало новизной, чистотой, разумностью: никель, кафель, стекло, фаянс. Пахло духами, эликсирами, хорошим мылом.

Евгений Петрович умылся, причесался, вошел в большую комнату. Солнце резануло по глазам. Проморгался. Пригляделся. Огромное, во всю стену окно вобрало столько яркого, резкого сияния, словно специально для того, чтобы наилучшим образом высветить и подать каждую вещь. Для него, для Прозорова.

Сверкали, лоснились, искрились широкие и узкие, вертикальные и горизонтальные плоскости, округлости, отражая в себе лаковое сияние паркетного узора. Проблескивали серебром пучки колосев на голубых оконных занавесях, колоннами сдвинутых по сторонам.

Лариса обходила родителей, целовала, просила прощения.

— Садись, зятек, усаживайся! — ободрившимся голосом призвал тещь. — Что? Засмотрелся? То-то! Красота? Живите, радуйтесь! Пришло! Рюмочку, рюмочку пожалуйста!

Евгений Петрович сел на один из мягких стульев с изогнутой круглой спинкой, взял в пальцы рюмку, откинулся. Удобно, черт побери. И пахнет до чего вкусно! Добротной домашней пищей.

— А вот колбасичка, сервелат настоящий, а вот буженинки отведайте.

Теща тянет к нему тарелки, а тещь знай подливает в рюмку и коммандует:

— Раз, два, дебет, кредит, итого! Что, крепко кусается? Бренди! А ты что думал! Итого! — напирает на «о» и «г» и счастливо улыбается превосходными вставными зубами. — Пей, зятек! Такой день! За счастливую и полнокровную!

Задумывается на миг, лезет в карман, достает пузырек, кусок марли, торопливо капают из пузырька и вставляет мокрый кусочек в ухо. На красном, вспотевшем лице его смущение и решимость.

— Я прочту знаменитую неумирающую поэму русского поэта Александра Пушкина, — возглашает торжественно и принимается:

Горит восток зарею новой.
Уж по равнине, по холмам
Грохочут пушки, дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам...

Лариса сидит напротив. Евгений Петрович видит ее точно анфас, как на фотографии для пропуска. Она много пьет и громко невесть отчего хохочет. А то вдруг остановит на нем изумленный взгляд и ни с места... «Отвыкла», — догадывается Прозоров и оглядывается назад, чтоб досмотреть, какова она, последняя стена этой красивой комнаты, и думает мимолетно о том, что так оно, в общем-то, и должно быть, должна была отвыкнуть, как и он сам, впрочем, если честно... Ну да ничего, дело наживное, поправимое, было бы желание...

Стена оформлена великолепно. Пианино темно-вишневого цвета и такой же стеллаж... застекленный, а внутри аккуратные ряды книг, новеньких.

Но что за картинка над пианино? Фрукты на ней, что ли? Или овощи? Или пасхальные яйца? И трамвай при них. Трамвай ли? А может, крейсер? «Убрать, — решает Евгений Петрович. — Непременно убрать. Потактичнее, конечно, как-нибудь...»

— Картина? Ну что? Как тебе? — внезапно спрашивает жена. — Какие краски! Какая экспрессия! Находишь?

Он оглядывается, чтобы узнать, не шутит ли. Нет, рвет в клочки бумажную салфетку, но не шутит. Подведенные черным глаза остановились и глядят пронзительно, чуждо, как в смотровую щель.

— Интересная картина... да... весьма, — медленно выговорил он. — И фон... тоже... весьма.

— В художественном салоне... полмесяца назад... Безумно дешево! — задыхаясь, пояснила женщина. — Безумно! — Она прикрыла глаза веками и помотала головой. Казалось, сомлела от восторга, засевшего в ней с минуты покупки.

— Все ясно, все ясно, — сказал Евгений Петрович, имея в виду прежде всего то, что жена его Лариса ясна ему, в общем-то, как божий день. Свойственная ей прежде наивная восторженность сохранилась, а может, даже приумножилась. Подходяще. Неожиданности ему ни к чему. Подхватил с тарелочки половинку яйца, намазанную маслом, прожевал с удовольствием.

— Теперь я вам в прозе... от души, — откашливается в кулак и крикливым, деланным голосом возвещает теть. — Ну, значит, велит царь Петр Лексеич (тогда так друг дружку величали) привести к нему оружейника прекрасного. Ну, значит, входит в палаты царские тульский мастер в кафтане (по-нашему, по-современному, костюм это мужской) и говорит...

— Как видишь, отец по-прежнему любит пересказывать исторические романы. И все почему-то о Петре Великом, — вдруг холодно и устало сообщает Лариса. — Если слушать моего отца, можно подумать, что время остановилось еще когда и намертво. Если слушать моего отца...

Евгений Петрович видит, как ее пальцы, маленькие, аккуратные, с ноготками, отливающими перламутром, безостановочно рвут бумажную салфетку, как будто работу делают и спешат уложиться в ограниченный срок. Ему становится не по себе, беспокойно как-то... Хотя причины-то вроде нет...

Старательно пяля глаза на тестя, он вынужден признать с неприятным смущением, что знает о своей жене Ларисе примерно столько, сколько о героине полузабытого романа, так, в общих, зыбких чертах. Вот, например, эта ее привычка смотреть в упор? Давняя или благоприобретенная? А вот этот жест, каким она оттягивает от шеи высокий ворот черного свитера? И почему черного? Это что, ее любимый цвет или дело случая? А вот эта манера покусывать губы? А то, что произошло в передней? Как понять?

— Лариса! А где же Аленка? Скоро?

— Вот-вот. В школе, — быстро ответила жена и испуганно оглянулась на дверь.

Ее голос иссяк. И она опять посмотрела на него как на нечто по-тустороннее, внезапно возникшее из ничего.

— Отвыкла? Да? — Он постарался улыбнуться.

Не ответила, выпила рюмку залпом и долго не могла поставить ее прямо: пальцы не слушались, блики на перламутровых ногтях дрожали.

— Ну, значит, приносят ему челобитную, заявление по-нашему, по-современному, — возвысил голос теть. — Слушайте меня! Меня слушайте! Лариса!

— Да, отвыкла, — горько, трезво сказала женщина и спрятала непослушные руки в колени.

— Не дури! — прикрикнул на нее отец и стукнул ладонью об стол.

Со стола упало и покатилось что-то тяжелое. Должно быть, яблоко или апельсин.

— Ванюш, не кричи, в ушах ломит,— вздохнула теща, очнувшись от сонного забытья, в которое погрузилась после первой рюмки.

Тесть отошел от стола, включил телевизор. На экране возникла сетка — неподвижные линии, цифры, круги... И загремела музыка, оглушительная, словно звуки навалом сгружали в гулкую пустоту. Выключил. Постоял не у дел.

Солнечный луч пронзил хрустальную вазу с фруктами. Глядя на эту вазу, Прозоров пообещал жене:

— Лариса, все будет хорошо, абсолютно все.

«Интересно,— неожиданно подумалось ему,— если бы я встретил ее сейчас... Как? Обратил внимание? Женился бы? А что! Пожалуй... Да, пожалуй,— поторопился с ответом.— Глаза красивые... руки... Симпатичная, полненькая брюнетка, голосок звенит... манит... Все при всем, как говорится».

— Далеко школа? — улыбаясь, спросил жену, сердечно желая облегчить ей первые шаги к взаимопониманию.

— Я писала тебе,— отозвалась она без улыбки, явно не оценив его великодушных усилий.

— Что ты все «писала, писала!» — внезапно, сам того не желая, взорвался он.— Сказать трудно?

— Школа недалеко... совсем... два квартала всего,— объяснила послушно, покусывая губы, и остекленевшими глазами уставилась на сияющую вазу. Дернулась, добавила с нервным вызовом: — Ее приводят обычно.

— Лари-иса-а! — Тесть шагнул к дочери, вжал кулаки в свою жирную грудь.— Возьми в разум... Человек для тебя все! — возопил страдальчески.— Не пьет, не курит, жизнь оборудовал, благоустроил, комфорт самый обстоятельный! Чего еще надо? Какого дьявола?!

— А-а-а! — Лариса подскочила, взмахнула руками, словно собралась взлететь или бить посуду, но только сникла тут же вся, втянула голову в плечи и расплакалась, причитая сквозь всхлипывания: — Понимали бы. Комфорт... Боже мой, боже мой...

— Мы с матерью десятой доли того не имели. И то! — вопил тесть, но уже торжествуя. Он наслаждался легко одержанной победой и нисколько не сомневался в силе собственной логики.

В прихожей позвонили. Евгений Петрович отреагировал первым, пошел открывать.

— Здравствуйте, Евгений Петрович,— сказал ему среднего роста плотный человек в серой шляпе и остро, неприязненно и независимо взглянул сквозь очки.— Вот ваша дочь Алена.

— Спасибо,— протянул, примеряясь, Прозоров и инстинктивно выпрямился, чувствуя благодарность к своему высокому росту, к бесценной возможности глядеть на многих прочих сверху вниз.— Спасибо, спасибо! — Как если бы сказал: «Хорошо же, я еще займусь вами».

А между ними двумя подрагивал белый помпон на голубом колпачке.

Очкастый человек первый сошел со своей позиции и сделал шаг к лестнице, которая вела вверх.

— До свидания, Карлсон! — тоненьким призывным голоском прозвенел голубой колпачок с белым помпоном. Девочка смотрела вслед уходящему.

Евгений Петрович увидел кромку светленьких волос, начесанных на лоб, и серый крупный глаз. «Мои волосы! Мои глаза!» Что-то взорвалось в нем, сдавило грудь тоскливой болью. Схватил ребенка, притиснул к себе, перенес через порог, ногой захлопнул дверь, и первое,

что сказал дочери, задыхаясь от стремительных движений и ревности, было:

— Почему Карлсон, Аленка? Аленочка? Какой он тебе Карлсон? Товарищ Карлсон, надо говорить. Дядя Карлсон в крайнем случае. Он немец, что ли?

— Нет, он просто Карлсон,— сказала девочка, удивляясь большими ясными глазами.— Карлсон, который живет на крыше. Мы уже давно уговорились. Такая книга есть. Хорошая такая,— как будто прежде, чем принять его в игру, она считала нужным обстоятельно объяснить правила.— Это дядя Толик... Мы с ним дружим...

— Ясно,— сказал Прозоров, замолчал и выпустил руку дочери на свободу.

— Он хороший,— осторожно, не слишком доверяясь, проговорила девочка.— Он мне книжки читает... всякие... Мы с ним в уголке Дурова были...— Интуитивно почуяв опасность, нависшую над дорогим человеком, девочка заговорила быстрее, мило шевеля выпяченными губенками: — Дядя Толик умеет из снега жирафа делать, и лебедя, и кенгуру. У него Кир есть, скворец, он всем «доброе утро» говорит... Честное слово!

— Да? — пробормотал Евгений Петрович.

— Да,— сказала девочка, оглядывая его с серьезным, осторожным вниманием.— А вы... мой папа... Я сразу догадалась.

— «Ты» я, Аленка! «Ты»! — тихо, ужасаясь, проговорил Прозоров, присел, прижался неловко к маленькому шаткому тельцу. Встал.

— Ты... папа,— послушно попробовала повторить девочка.— Мама читала мне письма... твои... папа. Только я думала... вы... ты::: не такой большой... папа.

Девочка с его серыми глазами, с его светлыми прямыми волосами продолжала выдавливать из себя слово «папа», а он с обидой неизвестно на кого чувствовал, что совершенно чужд ее жизни, ее интересам и еще совсем неизвестно, чем все это кончится.

— Ты как учишься, Алена? — спросил внезапно и строго.

— На четверки и пятерки,— с вежливой готовностью ответила девочка.

— Четверки — плохо, не годится,— сказал Евгений Петрович все тем же нарочитым, так называемым отеческим тоном.— Ты должна иметь одни пятерки. Я помогу тебе. Я схожу к твоей учительнице... познакомлюсь. Я регулярно буду просматривать твой дневник.— И чем дальше, чем суровее говорил, тем большую неуверенность чувствовал в себе.— Я рога тебе привез,— вспомнил вдруг с надеждой.— От оленя. Вот они, вот тут где-то, ну да, в углу, вот, видишь? Надо только бинт размотать. Сумеешь?

— От оленя! От настоящего? — воскликнула девочка и открыла рот так широко, что стала видна пломбочка на коренном зубе. Съежилась и с опаской нежного, пугливого зверька подобралась к рогам, тронула и замерла.

«И все? — подумал Евгений Петрович.— Странный ребенок... А я бы? Схватил, растеребил, бесился бы от радости... в свои семь... нет, как же, ей восемь уже... конечно, восемь, разумеется, восемь...»

...Когда тесть и теща уехали к себе, а дочь уснула, Прозоров с женой тоже прошли в спальню и не сговариваясь остановились в нерешительности друг против друга.

— Что все это значит? — спросил он.

Жена поняла его сразу.

— Это значит,— сказала она и лишилась голоса, стиснула рукой горло, досказала: — ...что... молодая женщина... молодая женщина... в течение семи лет... Молодой женщине,— громко и внятно произнесла

наконец, — легко быть одной? Семь лет? Одной? Возможно? — И в упор, не отнимая руки от горла, уставилась на Евгения Петровича отчаянными глазами.

Евгений Петрович не сладил со своим лицом. Его растянуло чудовищное изумление. К такому повороту событий он совершенно не был подготовлен. Он никогда и не предполагал ничего подобного. Почему? Ну хотя бы потому, что она, вот эта женщина, жена, регулярно, ни разу не выбившись из ритма, раз в месяц посылала ему письмо. Сообщала, что купила и какая погода... интересовалась его здоровьем... «Кажется, в этих случаях положено кричать и давать пощечины?» — подумал он тупо.

И вдруг ему захотелось смеяться, хохотать... над собой... над ней... над всем миром. Его провели, обманули, облапошили! И только потому, что письма приходили регулярно, раз в месяц... Такие заурядные, безобидные... Только что, сию минуту, он имел все... И вот — ни дома, ни семьи.

— Ты... любишь... его? — спросил, глядя в пол, и зевнул. Нервы. С ним всегда так, когда нервы сдают. Опять зевнул помимо воли.

— Он меня — да, любит, — слышал как со дна темного колодца.

— А ты его? — Евгений Петрович постарался сдержать зевок и еще постарался, чтоб голос его звучал твердо и мужественно. Он уже знал, уверен был, что она ответит ему безжалостно и непреклонно: «Да, люблю». Или виновато, но только все-таки: «Да, да, люблю». И они, слова эти, прозвучат равнозначно: «Уходи».

— Какое это имеет теперь значение? — прошептала женщина вяло и печально. — Ох, Женя... Ты попробуй, постарайся понять, представь себя на моем месте.

— Гм, — сказал он и сел. Устал и решительно не понять, что тут к чему.

...Помогал мне... Мебель покупал... У него вкус... втаскивал... расставлял... гвозди вбивал...

— Гвозди, вкус... Если бы я знал, что этим кончится, я бы приехал раньше.

— Так я же писала, писала тебе... может, после трех лет и вернешься? Вспомни.

— Между прочим, — отчеканил, — если бы я вернулся в Москву после трех лет, у нас не было бы этой квартиры.

Девочка, спавшая в своей кровати, завозилась, проговорила невнятно, вздохнула во сне. Оленьи рога она все-таки разбинтовала. Они стояли сейчас на ее тумбочке, оплетенные ленточкой с бантом.

— Тише, — сказал Евгений Петрович. — Тише, не разбуди дочь.

Женщина рывком подняла мокрое, увядшее лицо с взъерошенными темными бровями.

— Я хотела, я честно хотела приехать к тебе. А ты? Что ты писал мне? Написал, что зря, что лучше мне в Москве. Ждать. Чего ждать? Я несколько раз предлагала, просилась... Ну вспомни, вспомни!

— Выходит, я один во всем виноват? — спросил Евгений Петрович, глядя на спящую дочь.

— Выходит, я одна виновата?

— Ничего не выходит. Черт знает что выходит, — сказал он, не отрывая глаз от спящей дочери. — Во всяком случае, я-то думал... Вкалывал и надеялся, верил! — Он возвысил голос, пытаясь разжечь в себе праведный гнев, соответствующий ситуации: — Как приходилось? Нужно бригаде новый забой начинать среди смены — меня с постели поднимают. Сапоги натяну — и пошел. Ночь, пуржит. С фонарем в руке прешься, карабкаешься... Черт побери!

— Ты хороший... ужасно хороший, правильный, достойный,— жадно прошептала женщина, и в голосе ее он уловил наконец надломленность, раскаяние. Но, странное дело, это его не обрадовало, не утешило и даже не очень-то удивило.— Ты безумно хороший, безумно! Я даже не знала! — твердила женщина, кусая губы.

— Чушь! — отмахнулся он.— Так как же? Любишь его? Хочешь быть с ним?

— Я все объясню, все. Я и хотела... Только не в письме. В письме нельзя все и чтоб было понятно.— Она тоже, как и он, смотрела на спящую девочку.— Сама не понимаю, как это произошло. Но семь лет! Семь лет! — Умолкла, затравленно оглядываясь, и вдруг прошептала, задыхаясь: — Одна... утром, днем, вечером... Дома... в библиотеке... Даже в библиотеке... Книги, полки, книги... Что книги? А ночью? Особенно ночью...— Она бросилась к окну, задернула плотнее тяжелую занавесь.— И небо... Без конца, без края.

Ему почудилась фальшь, рисовка в ее словах.

— Так как же? — грубо, беспощадно повторил он.— Ты хочешь быть с ним?

— Подожди, подожди! — шептала женщина, закрыв глаза.— Аленка? Да, конечно. Но она спит, и такая маленькая, беззащитнее меня. Ведь старею, старею... А как же? Грипп... эпидемия... Первый раз десять дней болела. Вылечила... Через неделю еще одна волна. Два месяца лежала. Температура, рвота, кровь из носа. Ноги отказали. Ей было тогда пять с половиной. Он за врачом бросился, потом еще несколько раз... И анализы носил и лекарства приносил. По магазинам бегал, варил и нас кормил.

— А твои родители что ж?

— Они сами свалились,— стертым голосом отозвалась женщина.— Я же писала тебе, писала! Нет! Не могу одна! Не могу! — вскрикнула, схватилась за голову, закачалась на месте.— Пусть я безнравственная, пропавшая, пусть ничтожная — не могу! Пусть я маленький человек... Что ж? И права страдать не имею? Терпела, сдерживалась. Долго!

— Терпела... сдерживалась...— Прозоров посмотрел на олени рога, оплетенные ленточкой.— И нашла утешение! — Он старался говорить свысока, лзвительно. Увы, никакой жгучей ревности он не испытывал, и это раздражало его и сердило.— Также мне, нашла... Какой-то коротышка! Очкарик! — подхлестывал он свое мужское самолюбие.

Нелепость собственного положения очевидна для Прозорова. И он чувствует свое право встать и уйти. А между тем продолжает сидеть. Что же мешает ему быть решительным? Усталость? Или вот этот кривой, нелепый бант на оленьих рогах, завязанный неумелыми детскими руками?

— Или... или,— нечаянно проговорил вслух.

— Женя,— вздохнула женщина слабо и покорно.— Ты так старался... Я понимаю, ценю.— Она все еще стояла спиной к окну и, вдавлив ладони в щеки, замученно глядела в пол.— Делай что хочешь. Твое право. Не обижусь. Чего уж? Что сделаешь, то и верно и правильно.

— Чушь! — досадливо откликнулся он и опять сидел, молчал.

Внезапно где-то за толщей стен раздались три протяжных, стонущих вопля. Потом еще.

Евгений Петрович поднялся скорее машинально, прислушался.

— Ее муж — каким-то утробным шепотом объяснила женщина, и паркет скрипнул под ее ногами.— Умерла. Позавчера утром. Троллейбус водила. Красавица. Самая настоящая. Полиартрит. Ей столько же лет, как мне. И вдруг... Это ее муж. Электрик. Он просто с ума сошел. Страшно!

Он слышал, как у нее стучат зубы. Повернулся. Она вся дрожала и ежилась, обхватив себя руками.

— Как я боялась... Вдруг — смерть. Или война. И это... Еще один страх. Как ты узнаешь? От кого? Что сделаешь? Ты там... работаешь, стараешься, а я тут... Теперь все знаешь. Я решила сразу, честно... Пусть! Только скорей! Устала...

Черный свитерок ее задрался сбоку, помпезная башенка на голове развалилась, и освободившаяся коса свесилась беспомощно и невинно.

Порывистое чувство смущения и жалости толкнуло его к женщине. Он обнял ее, стараясь успокоить и согреть. Какое-то не до конца освоенное ощущение вины перед ней защемило его сердце...

— Ну что ты, что ты... Довольно об этом, хватит, успокойся, — говорил он, с невольным умилением слушая возбужденный сверх меры голос и наивные покаянные слова. Губами тронул ее косу там, где она намечалась едва. Теплый оранжерейный запах каких-то полузабытых духов шевельнул его ноздри. Вспомнилось давнее. Как познакомились.

И она и он кинулись разом к одному подосиновнику. Она приехала за грибами с отцом, а он, Евгений Прозоров, ниоткуда не приехал, жил тут, в Краскове, под Москвой, снимал дешевый угол и пришел в лес, чтобы позаниматься — экзамены сдавал за четвертый курс.

Она первой схватила гриб, прямо вырвала из земли, и подняла на него, Прозорова, румяное счастливое лицо. Он сказал ей что-то вроде: «Грибы не свекла. Их следует срезать, чтобы грибочка оставалась в земле. У вас есть нож?» «Ой! Обязательно? — огорчилась она и по-детски подобрала под зубки нижнюю губу. — Ножа нет». И смотрела на него исподлобья, зависимо, виновато, словно ее отчитывал школьный учитель. Повернулась, пошла прочь, опустив голову.

Он заметил голубые, легкие тени на белом, там, где слегка поднялись материю углы худых лопаток, и как между ними кротко, женственно, мило лежала темная аккуратная коса с алым бантом на конце. Вдруг захотелось настичь и обнять это слабое, юное существо, защитить, что ли... От чего? От кого?

В то время ему было двадцать семь. Она на пять лет моложе. Чувствовал же он себя лет на двадцать старше. Она умиляла его своими наивными суждениями, неумемным ликованием по малозначительным поводам. Торопливо, кое-как готовилась к экзаменам, но когда получила посредственную оценку, недоумевала и страдала.

Когда они поженились, ее родители уступили им двенадцатиметровую комнату, а сами переместились в восьмиметровую.

Он полгода ходил к ним просто в гости и хорошо узнал, что люди они по теперешним временам, когда у подъездов пасутся личные «Волги», «Москвичи» и тому подобное, весьма скромно обеспеченные. Эти штапельные шторы на окнах, дешевенький тюль, пластмассовый зонтик абажура, кроличий воротник на зимнем пальто Ларисы... Но он ценит искреннее гостеприимство, добрую заботу о нем, одиноком, неухоженном, не слишком сытом студенте.

Когда бухгалтер узнал, что Прозоров учится почти на все пятерки, рассудил уважительно: «Суть явления и есть в том, как человек относится к своему долгу, стремится ли в цель попасть, в самое яблочко». При этом Лариса глядела на Прозорова с торжеством первооткрывателя — вот, мол, какая я, какую редкость отыскала там, на ярмарке.

Она вообще не переставала умилять Прозорова. В частности, своим простодушным доверием к нему, серьезному, малоразговорчивому человеку. И своим восторгом по поводу того, что у него высокий рост, и он разбирается во всех этих головомомных интегралах, дифферен-

циалах, и что он учится в «серьезном» Горном институте, в то время как она — в «простом» библиотечном.

— Собственно,— сказал он, продолжая вдыхать меркнувший аромат,— я приехал не для того, чтобы скандалить, рвать и тому подобное...

— Какой ты хороший! Ты все понимаешь! Ты сильный! — шептала женщина и льнула к нему.

Аромат померк окончательно. Пахло обыкновенно — волосами.

— Вот что, давай-ка спать,— сказал он.— Я устал. Чертовски.

Она замерла в его руках, отстранилась.

— Хорошо,— сказала кротко. Помолчала, повторила чуть громче:— Хорошо.

Повернулась и вышла.

Он скинул с себя одежду, забрался в постель, во что-то ласкающее, шелковистое, и ему показалось, что именно этого он жаждал всегда и больше всего... Чтоб голова тонула в подушке, чтоб можно было закрыть глаза, ничего не слышать, кроме собственного дыхания... Впрочем, он успел услышать еще шум льющейся в ванной воды, успел подумать, что это она умывается. «Мне бы тоже помыться не мешало»,— сказал себе, но то ли наяву, то ли уже во сне — не мог сообразить. Мертвая усталость навалилась на него, расплющила...

...Ему приснилось, будто он ползет по штреку. Нет, по рассечке... извивается в тесной мокрой щели. На крестец жмет аккумулятор, руки вязнут в грязи. Подслеповатый луч фонарика с каски тычется туда-сюда и не дает вовремя заметить острые выступы. То головой стукнешься, то плечом врежешься. Саднит, ноет там и тут. И давит, давит... сверху, с боков... снизу... Вот-вот холодная мокрая порода сомкнется вокруг горла — и он услышит хруст собственных хрящей. Попался! Пропал!

Только нет, это и не рассечка вовсе, а длинная узкая раскомандировка второго участка. В оконной раме сереет то ли весенняя, то ли осенняя картинка: ребристый скат сопки, утыканный черными остовами сгоревших деревьев. Стук-перестук. Это на последних минутах перед сменой отыгрываются «козлятники». Топорщатся жесткие складки на рукавах серых роб. Озорной блеск зубов сквозь табачную муть. Запах портянок и резиновых пропотевших сапог. Собственно, сам-то он зачем здесь в этом новом... новом? Ну да, новом костюме? Ах да, надо принять зачет у новичков-крепильщиков. Он примет, он готов. Только стук домино слишком уж бесконечный, терзающий барабанную перепонку. Или это гроб заколачивают? Кто-то умер, говорили. Кто? И за окном такая стылая, омертвевшая серятина. Спрятаться бы, забиться в глубокое, в теплое и не слышать. Он идет в дальний угол раскомандировки, а там занято, сидят на корточках два удивительно знакомых паренька, и один из них при виде инженера выкрикивает бойко: «Паспорт крепления восьмой лавы имеет...» Евгений Петрович зажимает уши, ничком ложится на пол и вдруг обнаруживает, что опять ползет по грязи. Пробует оторваться от нее, но грязь не пускает. Все-таки он делает отчаянное усилие, вскакивает и бежит туда, к теплу, к свету, как мнится ему. Увы, ноги тащат его назад, к черным, давно остывшим после пожара остовам деревьев на ребре сопки. Ботинки вязнут в мерзлой грязи и остаются позади, а он бежит против воли туда, где свищет ветер, расхватывая из-под одежды его последнее тепло. «Зачем?!» — кричит он чуть не плача, но ничего не может поделать, ноги не повинуются ему и влекут к мертвым деревьям, и ветер безжалостно вылащивает его из одежд. И вот он уже совсем голый мечется среди черных, обугленных стволов.

Очнулся. Подтянул сползшее одеяло. Высоко над ним, как бы рея в свободном пространстве, мерцают, чуть-чуть покачиваясь, три желтых шарика — прелестная маленькая люстра. Евгений Петрович глядит на нее с благодарной нежностью. Она освобождает его от мерзких ощущений недавнего сна, возвращает в реальный мир чистоты, красоты, уюта. И даже длинная водянисто-голубая щель между оконными занавесками кажется ему красивой. Правда, откуда-то оттуда несет холодом, но и холод какой-то приятный, облагороженный... Прямо перед собой в затененном уголке Евгений Петрович обнаруживает спящую девочку. Насторожился, покосился вбок — нет, кроме него, на широкой кровати никого.

Водянисто-голубая щель в окне светлеет постепенно. Худенькая бледная рука девочки, свесившаяся с темного одеяла, становится все белей, холодней с виду. Да и, пожалуй, в комнате вообще слишком холодно. Евгений Петрович опустил ноги, подошел к окну, отыскал, прикрыл форточку, поглядел на улицу и раздумал возвращаться под одеяло.

В ранней зеленовато-сизой дымке перед ним предстала Москва. Раскинулась... стелилась... возвышалась... возносилась... Белые, голубые, сиреневые, желтые кубы и параллелепипеды домов как будто вздымались и несли высоко над собой легкое зимнее небо с прощальным, уплывающим помаргиванием далеких звезд.

Евгений Петрович был босиком. Однако ноги его не чувствовали холода. Они спрятались в густом ворсе ковра, цветом напоминающем кисель из концентрата.

Евгений Петрович пригляделся к жилой башне напротив. Аскетическое ультрасовременное однообразие вертикальных и горизонтальных линий, знающих себе цену в перенаселенном городе. А вот окна — совсем иное дело. Какие занавески! Сколько тюля всевозможных оттенков! С помощью окон счастливые квартиросъемщики оповещают мир о собственном процветании. Не иначе.

Евгений Петрович увидел между лиловой вывеской «Ромашка» и оранжевой «Подарки» прямо-таки открыточную красоту моста, изящно, грациозно изогнувшегося над бездной. А вон и то здание, вон оно, огромное, похожее на книгу, раскрытую первым солнечным лучам, сверкающее металлом, стеклом, пластиком. Оно действительно было изображено на открытках, которые продавались в Снежногорске. И обольщали, травили воображение.

Москва... Евгений Петрович видит аллеи фонарей, тонкий розовеющий иней на деревьях, слышит тугой уверенный шум первых машин по чистому просторному асфальту. «Завоеватель, — думает он о себе с легкой иронией, — А разве нет? Что ж, Женька Прозоров, что ж... Как бы там ни было, ты все-таки одолел, осилил, смог?»

Затренькал, скрежеща на повороте, дальний трамвай, выплыли из тумана три свежепозолоченные главки старинной церквушки, прилепившейся к подножью огромного серого здания.

Москва! Вот же она, вот — пристанище избранных, мечта тысяч и тысяч! «Столица», «столичное»... Провинция вечно будет заморожена этими словами и вечно будет рваться сюда. Но только некоторые одолеют, осияют, победят и утвердятся. Он, Прозоров, один из них. Недавний коренной обитатель серенького городишка — и на тебе, москвич. Победитель!

Эх, видели бы его сейчас! Чтоб всех одним махом! Всех, кто когда-то ни во что его не ставил, не считался, отшвыривал.

...Он всех их помнит, никого не прости. И ту губастую продавщицу, которая ни с того ни с сего набросилась на него и поволокла к выходу, брызгая слюной:

— Пошел, пошел вон! Шаромыга, знаю таких! Гляделками зыркает, а в кармане дыра. Стянуть ладишь, что плохо лежит? Щас как свистну милицию!

А Юрку не тронула. Юрка вышел сам, скинул с новеньких шевютовых брюк ниточку и сочувственно пояснил:

— Это она тебя потому, что ты одет уж больно не очень...

И Юркину б мать сюда. Пусть бы глаза вытаращила. Он хорошо запомнил ее сытые-пресытые руки в веснушках, набухшие белым жиром, ее приторные и тоже как будто жирные духи, ее привычку к месту и не к месту вставлять «мой муж, майор...»: «Так у тебя, мальчик, мать есть, а отца нет? Бывает... Ты пей, пей кисель, тебе небось редко приходится пить такой сладкий кисель, а он у нас киснет, все равно выливать. Мой муж, майор, вообще кисели не обожает».

Он бы не прочь, если бы его увидела сейчас и рябая больничная завхозиха, которая умудрялась таскать своему поросенку по ведру молока, в то время как другие пекли оладьи из картофельных очистков пополам с лебедой. Раз, заметив, что на нее и на поросенка уставились сквозь щель сарая три пары голодных детских глаз, она позвала лстывым, вспугнутым голосом:

— Подьте сюда, детки. Я вас молочком попою.

— Не надо,— ответил старший брат.

— Не надо,— неуверенно примазался к нему Женька.

Но младший, беспшанный, в полосатой кофте (американская помощь) на раздутом животенке, молчком торопливо потопал внутрь сарая, где чавкала и повизгивала от удовольствия важная розовая свинья.

Старший брат перехватил дурачка, безжалостно размахнулся, хлопнул его по тощему заду и пояснил:

— Мы не нищие. Понял?

Вовка забыл зареветь. Он уставился на них огромными от невольного недоумения глазами и попытался все уладить по-хорошему.

— Там моко! Моко там! — незлобиво, терпеливо убеждал он их, бестолковых и злых.

И уж конечно, стоило бы, чтоб его видела сейчас тетя Лида, жена материного брата.

Брат матери — профессор, лингвист. Его имя можно прочитать на обложках увесистых «кирпичей». Это что-нибудь да значит! В том смысле, что когда надо хоть чуть надбавить себе цену, кидаешь как бы между прочим: «Когда я в последний раз останавливался у дяди-профессора в Москве...»

Мальчишкой, надо признать, он частенько использовал эту возможность. А у дяди, между прочим, останавливался всего один раз. Но с него хватило и этого. Профессор-лингвист заметил его лишь в тот миг, когда Женька переступил порог и поставил у ног свой облезлый, с перебитым хребтом чемодан.

— А! — произнес профессор. — Очень приятно. Ты кто ж такой? А! Принимай, Лидочка!

И исчез за одной из нескольких стеклянных дверей.

Лидочка, миниатюрная брюнетка в зеленом переливчатом халатике, тотчас пригласила его на кухню и принялась щедро кормить и расспрашивать. Ах, чего она только не подсовывала ему, чего он только не попробовал впервые в жизни! Отварную семгу! Кетовую икру! Торт! Пирожки с мясом и рисом!

И там же он впервые в жизни увидел, что по ковру, пушистому, как мех белого медведя, можно ходить...

— Иди! Иди! Ничего с ним не сделается! — сказала поощритель-

но тетя Лида мягким, разнеженным голосом, очень довольная тем, какой эффект производит ее быт на захоластного мальчишку.

— Значит, мать все пьет? — спрашивала, усадив его в кресло. Сама она тоже села в кресло напротив, покачивая ножкой в парчовой туфельке на острейшем каблучке, покуривая сигаретку. — Какой позор! Как можно женщине — и так опуститься! И мужчин водит? Какой ужас! А у тебя что же, одна рубашка? Майки нет? Кошмар! Ну разве можно рубашку прямо на голое тело! Грызи орешки. Это миндаль.

Крошечной ручкой с красными длинными ногтями она изредка трогала зачехленный свой плоский бесплодный животик.

Подкупленный необыкновенным вниманием, осоловелый от обильной чудесной пищи, он на все вопросы праздной, скусающей женщины давал исчерпывающие честные ответы и продавал, продавал мать...

Тетя Лида закурила новую сигаретку и принялась спрашивать его о планах на будущее.

— Кем же ты собираешься быть? — поинтересовалась, наблюдая за колечком дымка, поплывшим ввысь.

— Художником, — признался он.

— Художником? — переспросила женщина. — Ах! Художником! — И с легкой, насмешливой улыбкой поглядела вдруг на его латаные колени, на его скособоченные ботинки. — Ну-ну... Как говорится, нашему бы теляти...

Ошеломленный, раздавленный...

— Мне пора... Спасибо...

Задерживать его не стали. Уже от порога, выпустив сигаретный дымок на лестничную площадку, тетя Лида сердечно пообещала:

— Я пришлю тебе майки. Непременно. Рубашка на голое тело... Нехорошо.

У, как рассвирепела мать, когда узнала, что он был у дяди!

— Зачем, на кой черт полез туда? Кто тебя просил? Кто тебя звал? Получил? Так тебе и надо! Я лезу? Юлю перед ними? И когда юлила, когда угодничала, помнишь? Нашел людей! Нужны они были! Ишь ты, в какое начальство выкарабкались, что уж и не доплюнуть... Благодарительница нашлась: маечки пришлет. Пошла ты со своими маечками к такой-то матери!

«Ну и все. Хватит!» — решил он и испытал при этом такое глубокое, радостное умиротворение, словно и впрямь все, что он пожелал, сбилось сейчас вот тютелька в тютельку и он отомстил всем, кому надо.

Разумеется, он знал, что есть еще люди, которые с немалым интересом поглядели бы на него в этот великий миг его жизни. Но он подозревал, что с ними было бы не так просто... И Евгений Петрович постарался забыть об их существовании. В конце концов, он сам велен выбирать себе подходящих зрителей...

Он смотрел на одинаково отсвечивающие окна соседних домов и думал: «Хорошо, в сущности, что все мы тут сами по себе, ни я их не знаю, ни они меня. Независимость. Равенство. Нейтралитет».

Хорошая мысль эта возвратилась к другой, тоже хорошей, праздничной: «Дотянулся-таки, достиг... Победителем смотрю. А что? Не имею права? Да ну! — Обратился к себе торжественно и насмешливо одновременно, с высоты девятого этажа обозревая столицу: — Тебе нужен был презренный металл? И ты заимел его. Тебе нужна была Москва? И ты получил ее. Поначалу, правда, как бы в кредит. Что Москва и все ее соблазны, если в твоём кармане бренчит мелочишка? От полочки до полочки. Грошовая, унижительная экономия. И двенадцать метров на троих. Да еще в коммунальной квартире, где ванна и, простите, туалет на девять человек. Сиди дожидайся невесты чего,

смакуй бумажные обещания, утешайся тем, что есть и другие, живущие не лучше».

И вдруг появляется возможность все перевернуть. Тебе протягивают, можно сказать, звезду с неба. Что же, отмахнуться и наплевать? Так, что ли?

...В первые минуты, когда на его стол в управлении Дорстрою навдвинулся этот рыжий Рябов, он, Прозоров, как-то не охватил вопрос в целом. Он еще жил под впечатлением своей недавней удачи. Других после института распределили черт-те куда, а он, как и рассчитывал, получил возможность остаться в Москве. Комиссия учла, что у него грудной ребенок и московская прописка. А Дорстрою — это не очень далеко от его дома — требовался маркшейдер. Согласились взять и без практического опыта. Зарплата не ахти? Но на первых порах сойдет. Командировки? Тоже не мед. Ну да и не может все сразу в идеале. От командировок, с другой стороны, прямая экономическая выгода семье.

Рябов кидал фразы громко, властно, неулыбчиво, так, словно диктовал условия перемирия с ним, с Прозоровым:

— Сахалин. Снежногорск. Шахта. Из года в год перевыполнение плана. Переходящее знамя держим — не оторвать. Следовательно, по-ясняю, регулярная прогрессивка, премиальные. Двухкомнатная квартира сразу по приезду. Я с вашим делом уже ознакомился. Из института — сюда. Подходите. Да и чего вам тут? — Рябов небрежно оглядел комнату, где стол напирал на стол, а единственный телефон идиолом возвышался посредине на тумбочке. — Мы ценим молодых специалистов. Нужны они нам. Чего долго думать! Билет в руки — и айда своим делом заниматься. Жить. Далеко зову? Пятнадцать часов лету. Только и всего. Так ведь жить!

И такая сила убежденности сосредоточилась в его подстрекательском голосе... И самый его вид вызывал совершенное доверие: прекрасное ратиновое пальто, пыжиковая ушанка, перчатки желтой кожи. И зарплата. Да таких денег, которые предложили вдруг ему, молоденькому инженеришке, не получает, пожалуй, и сам начальник Дорстрою!

Однако он преодолел болезненный соблазн тотчас вручить Рябову «да». Он подумал о Ларисе. Именно, Сахалин и Лариса. Совместить и представить это было невозможно. Хотя бы потому, что у Ларисы даже в меховых варежках мерзнут руки.

Когда же он как бы между прочим, укладываясь в постель, рассказал жене о предложении хваткого сахалинца, она на какое-то мгновение отняла ребенка от груди и сидела, задумчиво глядя на свои голые ноги в стоптанных тапочках.

— Это прекрасно, — сказала вдруг и опять, только крепче, прижала ребенка к соску. — Неужели не понимаешь? Это все равно что выиграть в лотерею. Многие делают. Уезжают на какое-то время... Зарабатывают... возвращаются... Что же тут такого? Едем.

Он опешил.

— Лариса, это же Сахалин, край света, маленький городок, никаких удобств. Холод, валенки, дожди. Подумай все-таки.

— Что думать, что думать? Другие живут? И мы потеряем. Было бы ради чего! Вместе. Это и практично и романтично!

Она уложила девочку в кроватку, обняла его и, сияя глазами, по-детски нетерпеливо убеждала:

— Такая громадная зарплата! И квартира! И мы же не на всю жизнь! Аленка растет... Надо же думать. И потом, Сахалин... Я читала... тайфуны, цунами, киты плавают... Ой как интересно...

«Вот оно как дело было,— подытожил Евгений Петрович.— При полном взаимопонимании. При стопроцентном обоюдном согласии. Семь лет, а не три, как намеревались? Так ведь, кроме всего прочего, засасывает, черт поберет! Надбавки плывут, наплывают. Типичная болезнь дальних мест! А привычка? Начинаешь-то как? С нолика. Чужак. Ничей, неустойчивый. А оглянешься вдруг — вот те на! Уже всем знакомый, втянулся, внедрил, пустил корешки. Дни как из пушки. Вот и попробуй освой дело, притрись к людям, прорасти, а потом оторвись, кинь. Очень умно? Очень легко? Бирюков из планового пять лет безвыездно, а Дьяконов из БРИЗа и все девять. А я вот семь. Ни много ни мало. Вот уж дальше — двадцать два, перебор».

Он ни разу, пока стоял у окна, не оглянулся на стену, за которой, должно быть, спала жена. Но он все время помнил об этой стене, и стена как будто то и дело прерывала его размышления, напоминая ядовитым, иезуитским шепотком: «А она-то изменила тебе, между прочим... И что же дальше? А?»

«Изменила? — отозвался наконец, глядя на старинную церковку, кротко сияющую золочеными луковками.— Изменила... Как изменяли до нее тысячи, а может быть, и сотни тысяч. Изменяли... изменяют... будут изменять. А я что ж, должен — раз, и все порушить? Из-за того, что она изменила? Только потому? Так, по-вашему? — Он посмотрел на стену, как на старую, навязчивую склочницу.— А сам-то я, сам?» Тут он остановился, передохнул, не позволил себе особо углубляться, посмотрел на дочь. Она спала в прежней позе, свесив с темного одеяла узенькую руку. «Мне тридцать пять,— думал Прозоров.— Пора, пора жить... успеть! Красиво жить, весело! Она честно призналась. С ходу. Глупенькая. Знала бы! — И он опять остановился. И поспешно взглянул на спящую девочку.— Какая слабая у нее рука. И шейка. И этот остренький подбородок. Дочь... девочка моя», — размышлял он и дальше только о том, о чем стоило думать человеку, желающему поскорее принять окончательное, бесповоротное решение и жить согласно этому решению. «Да, деньги! — пылко, едва ли не вслух выкрикнул он.— Да, ради них я семь лет жил без семьи! А что я без денег? И ты? И тот? И пятый-десятый! Мозглявый книжник, и ты дрогнешь голосом, если вздумаешь всерьез уверять: «Не имей сто рублей...» Чуть! Кто знает, как это просить, пусть и близкого знакомого: «Нет ли у тебя займы...» — «Ох, как некстати! Вот если бы ты вчера спросил...» Деньги плюс опыт. Сахалинский семилетний опыт. Семечки? «Специалист». Просто и весело. Уценивающий привесок «молодой» отвалился как не бывало. «Ах, какой вы мещанин, однако! Обломок! Пережиток! Язва этого самого... а еще интеллигентный человек!» Кто это? Кто? — Мгновенно, как в целях контробороны, опять развернулся к окну.— Уж не вы ли, вон там, за гардинами цвета маринованной свеклы? Знаешь, куда я пошлю тебя, слюнявчик, чистоплюйчик самоуверенный? К... Понял, куда? — Евгений Петрович стиснул кулаки, и ноздри его заходили от возбуждения. Он был готов биться с целым миром за право жить так, как ему хочется.— Какое, позвольте спросить, у вас самое яркое воспоминание детства? — потребовал он ответа у гардин цвета маринованной свеклы и у других, цвета яичного желтка.— Может, то, когда вас сводили в зоопарк? Или купили породистого щенка для вашей забавы? Или книжку подарили в картинках?

День у папы выходной —
Нынче будет он со мной...

Ах, как трогательно! Идиллия! Так вот, я, Женька Прозоров, семи лет разодрал эту книжонку в клочья. Библиотекарша глаза выпучила:

«Ужасный ребенок! Просто дебил!» Где ей было понять, как я ненавидел красивого, опрятенького мальчика в зеленом свитере и красных ботинках! Мне было столько, сколько ему, и у меня не было отца. Я ждал его изо дня в день, изо дня в день, всю войну. Жрал какие-то горько-сладкие ягоды. Они за уборной росли, за сараями. Черные такие ягоды... Чтоб только не сосало, не выкручивало в животе. И ждал, ждал... Это позже, лет в пятнадцать, узнал, что паслен — растение ядовитое и прочее и прочее. Так что заткнитесь вы там, за шелками и тюлями!

День у папы выходной...

Идите вы...»

Спящая девочка шевельнулась. Евгений Петрович тотчас услышал. Осторожно подошел, прикрыл голую руку одеялом и еще постоял, задумчиво глядя на тонкую шейку и доверчиво повернутое к нему лицо.

«Все... точка... И никаких,— просипел ожесточенно.— Я свое отбарабанил. Теперь пусть другие... там... туда... Сахалина хлебнут... узнают, почем он, «длинный» рубль. Нароботался, заработал, хочу жить. Государство о чем печется? Чтоб и я и прочие вкалывали как люди и жили как люди. Чтоб рос наш материальный уровень. Довольно набедовали,— заявил Прозоров.— Он не кретин,— сказал про себя.— Он поступит самым благоразумным образом. Порядочно, ответственно. Он сохранит семью. Это во-первых. Во-вторых, постарается здесь, в Москве, найти прилично оплачиваемую работу. Халтурить? Нет, не халтурил и не собирается. Не в его характере. Он будет деловым, исполнительным работником. Он будет заботливым отцом и мужем. У него все для этого есть. И воля. Воли ему не занимать. В этом мире, где все наперегонки спешат устраиваться, хватать лучшие куски, чего-то добиться, не имея воли? Смешно сказать! Он давно усвоил эту истину и пустил в дело. Взять случай с боксом. Уже на первой тренировке ему такшибанули в глаз, что пришлось с неделю носить повязку. Потом размозжили нос. И сейчас, если присмотреться, переносица торчит криво. А ведь тогда ему было что-то около шестнадцати. На очередную тренировку он притащился с разбухшим носом, затянутым повязкой. «Ты что, вовсе дурной, шкет?» — удивился тренер. Он промолчал и надел перчатки. Он хотел стать чемпионом своего родного деревенного райгородка и стал им. Цель была — проверить себя и поверить в себя. А от живописи отказался? Уж как больно, как невозможно было! Только ведь и тут не расслабился, в одну ночь переломил себя. Так-то. И в дальнейшем... сумеет, осилит... Расслабляться некогда. Как без компромиссов? Кто обходится? Черта с два! — И тут опять вспомнил о стене, разделяющей его и жену.— Глупости! — сказал Прозоров.— Интеллигентские штучки. Сопли-вопли. Беллетристика. Сколько ж можно?!» И решительно направился в соседнюю комнату.

Там на тахте, среди цветастых подушек лежала женщина в бледно-розовой шелковой рубашке. Она посмотрела на него затравленными черными глазами. Перехватив его взгляд, смутилась, поджалась, попробовала прикрыться.

— Зачем? — спросил он и отвел ее руки.— Зачем? — И раздернул розовый шелк на груди, и бросился, и затих, тяжело, жарко дыша.— Я тебе не противен? Нет?

— Нет, нет, что ты! — обморочно прошептала она.— Мне ужасно тяжело. Всю ночь не спала. Думала, думала... Мне...

— Хватит. Довольно,— приказал он.— У нас дочь.

— У нас дочь,— как эхо повторила женщина, размякая в его объятиях.

В поле его зрения попал остекленный стеллаж. «Очкарик... Интеллектуал... Ишь! — произнес, обращаясь к нему с небрежной издевкой. — Продам. Обменяю. Все продам. Все обменяю».

...На голубом пластике кухонного стола чудесно блестит фарфор кофейного сервиза. Похлопывая ладонью только что выбритые щеки, Евгений Петрович с детской радостью наблюдает, как в хрупкие чашечки льется горячая ароматная жидкость. Отхлебнул, взял только что созданный женой бутерброд, сказал:

— Я привез все деньги... на кооператив. Можем хоть сегодня окончательно. И еще останется довольно.

— Как хорошо! — Жена разволновалась, чашечка с кофе дернулась в ее руке, и несколько капель пролилось на шелковый халатик. Что же мы в полной тишине? — сказала она. — Хочешь музыку?

Протянула руку к крошечному радиоприемнику, чем-то похожему на сервизную чашечку. Приемник тотчас оповестил: «Санта-Крус. В последние месяцы город потрясла целая серия преступлений. В лесу, недалеко от городской окраины, были обнаружены трупы пяти студентов местного университета».

— Опять эти ужасы, — огорчилась женщина, покрутила рычажок, и в кухню, рационально обставленную польским гарнитуром, впрорухнула мелодия из «Гаянэ».

...В это утро он сам отвел дочь в школу. Аленка послушно позволяла держать ее руку, складно отвечала на все его вопросы и лишь раз проявила строптивость, когда он хотел перевести ее через дорогу:

— Не здесь, не здесь! Мы с дядей Толиком там переходим!

Впрочем, хоть Евгению Петровичу и было неприятно, он не стал нянчить в себе это чувство, рассудив: «Так и должно. Привыкнуть должна. Не все сразу».

Возвращаясь, он впервые сам своим ключом открыл свой почтовый ящик и вытащил пачку свежих газет. Автоматический лифт (скорость подъема 0,65 м/сек) бесшумно вознес его на девятый этаж.

— Отлично, — сказал Евгений Петрович, приостанавливаясь у своей двери. — Отлично все. Откуда — и куда! Самая суть: откуда и куда.

...Костлявая голодная мать все сидела у окна и ждала... И когда вдали на пыльной дороге показывался солдат с вещмешком и трофейным аккордеоном, роняла из рук все, что держала, и, простоволосая, выпучив глаза, мчалась вон, отшвыривая детишек. А потом рвала на себе ворот, металась по полупустой комнате и кричала охрипшим голосом: «Подлец! Сволочь! Щенки вы для него! Щенки! На потаскуху променял! Подыхайте с голоду! Кому сказано, подыхайте! Ну!»

...Ходил с мешком по чужим, давно убраным огородам, копался в земле, выковыривая случайно застрявшие картофелины, ворошил ботву. За ним смирно семенял бесштаный, в полосатой кофте трехлетний брат Вовка и тоже ковырял землю. До тех пор семенял, пока не слег в лихорадке. Земля на тех чужих огородах была сухая, затоптанная теми, кто ходил до них. Земля в могиле, куда мать опустила Вовку, пахла такой страшной, приторной, мертвой сыростью, что хотелось скулить от ужаса.

Мать несла гроб сама, прицепив к нему лямку. Гроб свисал у нее с шеи на грудь, маленький и узкий, из белых занозистых досок. Так носят еще барабан. «Гы-ы-ы-ы...» Он плетется за ней один. «Гы-гы-ы», — давится мать. Босые ноги, ее и его, бесшумно вязнут в серой пыли прикладбищенской улицы.

...Во-он откуда он начал свой путь! Вот с какого dna ему пришлось подниматься!

Что, он проглотил недостаточно для того, чтобы теперь поступить так, как считает разумным? Мало? — спросил у тех, невидимых, но все еще выжидающих, и недобрая усмешка перекосила его губы. Выбросил руку, схватился за ручку своей внушительной, обитой черным дерматином двери, рванул от себя. Дверь не поддавалась. Запертая. Требовался ключ.

— Женя,— сказала жена, едва он вошел.— Может быть, у тебя есть настроение по магазинам пройтись? Тебе же надо придеться. Или как ты? Потом?

— Нет,— сказал он, с неприязнью оглядывая в зеркале свое ношеное пальто.— Сейчас. Сейчас же.

...Вернувшись домой и разложив покупки на кровати, Евгений Петрович еще раз принялся по совету жены примерять новые костюмы.

— Ты ужасно, ужасно красивый! — охала она, бегая вокруг него.— Особенно в этом темно-синем. Тебя бы твои сахалинские ни за что бы не узнали!

— Да? Ну спасибо!

Он обнял жену. Ее мысль о том, что он стал неузнаваем для прошлого, была ему особенно приятна, ибо гарантировала безопасность. Хотя о какой опасности речь? Сдвиг, Женя, сдвиг мозговой коры, не иначе. Костюм хорош. Костюм что надо. В таком-то костюме не то что, а и...

Евгений Петрович повернулся к жене, предложил:

— Вот что, сегодня же соберем знакомых. Ты своих, я своих. Выпьем, поболтаем, музыку заведем. Что?

— А что? А что! — Она схватилась за это обеими руками.— Ой как хорошо! Ой как хорошо! Я сейчас же за телефон сяду! — В ее развинченном, нервическом голосе звучала жажда перемен, потрясений, жажда жизни.

«Мы не так уж плохо понимаем друг друга»,— заключил он.

Слышно было, как простучал лапами по жестяному оконному карнизу тяжелый голубь, потоптался, примачиваясь поудобнее.

...Первым гостем был Пашка Внуков с женой.

— Gute Nacht, mein lieber Freund! Доброй ночи, дорогой друг! — возгласил он, появляясь в дверях со шляпой, вскинутой над головой. Ловко и небрежно швырнул шляпу на вешалку, стиснул Евгения Петровича в объятиях, оттолкнул, спросил угрожающе: — Ты че же, мать твою за ногу, за семь лет ни строчки? Вроде не ссорились? Пашка Внуков не отдавил вроде твою любимую мозоль?

Ответа дожидаться не стал, расхохотался, разглядывая Прозорова сквозь круглые золоченые очки:

— Пижон! Ишь как обарахлился! А помнишь товарную станцию? Эхма! Куль-то, куль с сахаром... Как он тебя к земле припаял. Полный нокаут!

Пашка хохотал с удовольствием, широко разевая рот и высунув язык лопатой. И, казалось, веснушки на его толстой нежной морде тоже весело приплясывают.

— А какой ты был! Ну, Женя! Тощий! Кочерга! Злющий, в драных солдатских сапожищах. Тьфу!

Евгений Петрович не утерпел и тоже рассмеялся невесть чему. Может, тому, что Пашка сохранился в своем первозданном виде, хотел быть счастливым и был им. И рядом с ним как-то неуместно было маяться, задаваться, так сказать, мировыми проблемами.

— А ты-то, ты-то? — в тон Пашке спросил сам.— На заду латка,

эдакая колоссальная коричневая бабочка! Как тебя в овощехранилище величали? Силосник! Жрал что ни попадя. Тьфу!

— Ну, знаете ли... Нашли что вспоминать, — ленивым басом промолвила толстая блондинка в каракулевом манто, Пашкина жена. — Помоги мне раздеться, лапа. — Она медленно и как бы брезгливо стянула с рук замшевые перчатки.

— Действительно, нашли что, — согласилась Лариса, ревнивыми глазами и несколько зависимо разглядывая дорогостоящую гостью.

Пашка быстро, умело принялся раздевать жену. Он стоял на одном колене, посапывая, расстегивал ее высокие сапоги, когда в дверь опять позвонили.

Вошла женщина в черной шубке и такой же шапочке, скошенной на одну бровь. Поздоровалась, улыбнулась, приоткрыв на мгновение яркие молодые зубы. Впрочем, не так уж она была молода. Евгений Петрович углядел голубоватое свечение, словно кожа на ее висках истончилась от времени. А синие дерзковатые глаза уже начинала оплетать прочная паутинка морщин.

— Дарья, Даша, вот молодец! — Лариса чмокнула ее в щеку. — Но почему одна? Где муж?

— Занят и не совсем здоров.

Дарья небрежно расстегнула пуговицы своей не очень новой шубки. Евгений Петрович помог снять ее. Поблагодарила кивком головы, скинула шапку — освобожденные волосы просыпались на плечи.

— Вы знаете, у Даши муж — журналист! Книжки пишет! — сочла необходимым объяснить Лариса. Она продолжала зависимо поглядывать на Пашкину жену, на ее тяжелое тело, затянутое в золотистую царственную ткань. — А сама Даша — зав читальным залом. У нас зал на сто двадцать мест...

— Руки хочу помыть, Ларисик, — сказала Дарья. — Я же прямо с работы. — Она тоже косилась на Пашкину жену, и глаз ее при этом искрился весельем. От какого-то озорного нетерпения она даже переступила ногами в черных брюках.

— Ах, *ich bin glücklich!* Я счастлив! Ах, ах! — воскликнул Пашка ей вслед трагическим, шутовским голосом и плотоядно облизнул толстые губы. — Да, милоч! Я ж тебе сюрприз соорудил! Еще какой! Я Огородниковых отыскал и соблазнил! Обещались быть!

— Каких Огородниковых? — Евгений Петрович машинально наблюдал за ленивыми, изящными движениями рук Пашкиной жены, стоявшей у зеркала. Она подправляла прическу — сложное блюдо из белокурых завитков. — Это те, что ли, дворники, что ли?

— Кхе-кхе! — Пашка ухмыльнулся. — Это ж когда было! Забыл диалектику! Подскажу: все двигается, мельтешит, меняется. Придут — обалдеешь. «Дворники»!

Подошли еще две гостьи со стороны Ларисы, тоже библиотекарки, девушки в возрасте от двадцати пяти до тридцати. Одна маленькая, пухленькая, с желтой челочкой. Остальные свои волосы она разделала пополам, стянула аптечными резинками, и они торчали у нее из-за ушей как два снопика. Другая девушка, длинная, худая дальше некуда, с черными волосами, подстриженными как у пажа, была из тех, что носят туфли без каблуков, очки и сумку через плечо.

Их явно тяготило ущербное положение одиноких дев, и они, чтобы скрыть это даже от себя, принялись уже от порога щebetать зауценными, беспечными голосами о том, какая хорошая погода, как смешно молодой милиционер поскользнулся и упал, как «к нам в библиотеку прибежал чудесный черный пес и никак — представляете? — как не хотел обратно на улицу».

Все уже сидели за столом, тесно заставленным едой и питьем, когда в дверь позвонили еще раз.

— Они! — Пашка значительно поднял палец и поскакал открывать.

Из памяти Евгения Петровича выплыло подвыцветшее от времени видение — он и она плечо к плечу. Он — сутуловатый, угреватый парень в костюмишке из какого-то колючего материала. Молчаливый, сосредоточенный, то и дело сморкающийся в огромный грязноватый платок. На лекциях сидит возле самой кафедры и строчит, строчит... У него лучшие на курсе конспекты, но «напрокат» или списать не даст ни за что. Любое общественное поручение выполняет неукоснительно. Если общественность, мучаясь и не решаясь, выбирает провинившемуся меру наказания, он всегда поднимает руку за самую суровую. Слова «надо проявить принципиальность», «со всем чувством ответственности», «моральные устои», «высокое звание советского студента» легко и жестко срываются с его узких губ. Его фигура на курсе — нечто вроде живой шкалы студенческих добродетелей. Преподаватели то и дело ставят его в пример. Студенты подсмеиваются над ним, но и уважают его. Ходят слухи, что он зубрит даже сидя в уборной и самостоятельно, неизвестно зачем, одолевает французский язык.

Она всегда рядом с ним. Худосочное создание в дешевом платьишке и уродливых ботах на тоненьких стойких ногах. Тоже не отличается разговорчивостью и тоже усердно конспектирует, и взгляд ее бесцветных глаз такой же независимый и безразличный ко всем и всему, что творится вокруг.

Они поженились еще до института, где-то у себя, то ли в Рязани, то ли в Казани. Жили не в институтском общежитии, а на квартире. Потом стало известно, что они подрабатывают на жизнь дворниками при жэке, что им дали комнату. Потом им удалось получить постоянную московскую прописку.

Они в объяснения не вступали, продолжали вести себя так, как будто вокруг беспредельные, безжизненные льды Антарктиды, а из живого — только они двое, стойки, первопроходцы, и все их спасение — в них самих. Как ни странно, их даже побаивались. Неизвестно, какую опасность они представляют, но лучше держаться от них подальше.

...Дверь отворилась, и вошла Огородниковы, и при виде их Евгений Петрович испытал нечто вроде восторженного ужаса, как если бы ему навстречу шагнула парочка марсиан.

Она, высокая, загорелая, спортивной выправки, была ловко затянута в пурпурный брючный костюм с серебряной пряжкой на поясе. Из-под клепа брюк мелькали при каждом ее энергичном шаге сверкающие туфли. Дивные темно-рыжие волосы дымились вокруг ее головы упругим искристым облачком.

Он, тоже высокий и загорелый, всем своим обликом напоминал тренера международного класса.

Улыбаясь, они обходили гостей, каждому протягивая сильные руки с отполированными ногтями, распространяя незнакомый крепкий аромат. И все невольно смущались и чувствовали себя польщенными, кроме, разумеется, Пашкиной жены. Даже мебель, даже праздничный стол, казалось, потускнели, стушевались в присутствии столь блистательной пары.

— Дети мои! — томным басом позвала Пашкина жена. — Кончайте церемонию! Я есть хочу!

Призыв был поддержан, и скоро смех, звон рюмок, стук вилок о тарелки слились и восторжествовали над голосами.

Первым, насытившись, заговорил Пашка. Развалясь на стуле, впро-

чем, не так чтобы очень уж непристойно, он рассказывал о судьбе сокурсников. О том, что Гошка Пегов, «ну, тот, здоровый такой лоб из флотских», как распределился в Кемерово, так о нем ни слуху ни духу.

— Пропал! Ах нет, на днях в газете про него цельный очерк. Орден заполучил, шахту в передовые вытащил! Ну дак ведь неудивительно, в нем это всегда было — силища, напор, ярость. Молодчага, ничего не скажешь! И мне лично приятно, что такой вот значительный человек, а я его знаю. Или не признаёт теперь, не поздоровается? Черт его... Люди зазнаются быстро. Чудаки! Все одно все помрем!..

Вспомнили Леху Удальцова, который в Воркуту завербовался. По сведениям Пашки, Леха накалымил там как следует, наражал троих, написал и защитил диссертацию «Методы экономической оценки механизированных крепей с учетом производственно-технических параметров». Или что-то в этом роде.

— Ну, этот-то голова! Ему на роду написано ученым быть. Призвание!

Огородниковы безмолвствовали, но улыбались якобы заинтересованно, покуривая сигареты, и не глядя стряхивали пепел точно в пепельницу. А Евгений Петрович голову на отсечение готов был отдать: не помнили Огородниковы ни Лехи Удальцова, ни Гошки Пегова, а только придуривались, и поди ж как удачно!

— Встретил я возле метро «Дзержинская» этого, конопатого, ну, что стишки в институтской газетке писал,— продолжал воспоминания Пашка,— Илюху Корабельникова! Помните? Одет не шибко, ботиночки на кождерьме, а уж ноябрь, снежок сыплется. «Чего это ты такой?» — интересуюсь. «А я,— говорит,— только-только с женой разошелся». Голову свесил, посоловел, переживает. Затащил его в кафе близлежащее, попоил, покормил. Оказывается, заделался он профессиональным поэтом и полюбил по стране разъезжать. А жене нужен, что ли, вечный командировочный? Да и без особых заработков? Она его и «психом» и «шизиком». Не осознал! Ну и поплатился. Нет, не осуждаю, упаси бог! Каждому свое! Все одно все помрем.

Огородниковы улыбались и стряхивали пепел не глядя точно в пепельницу.

Вдруг Дарья, эта тихонькая, в черных брючках, с распущенными по худой спине волосами, уставилась на Пашку и сказала в полный голос:

— Вы прямо-таки блестящий рассказчик! Столько тонкости, непосредственности, юмора! Вам бы на сцену, перед массами. Успех! Не пробовали? Вас бы закидали...— Она выдержала подозрительную паузу, затаилась сигаретой так, что пепел просыпался на ее белую шерстяную кофточку, и, не выпуская Пашкину физиономию из-под прищелы своих синих дерзких глаз, досказала: — Цветами... букетами... Право!

— О! Благодарю! Danke schön! — Пашка осклабился и приложил пухлую руку к карманчику, под которым мирно трепыхалось его добродушное сердце.— Я и пою, между прочим. Вот послушайте, из нашего студенческого капустника.— Снял руку с пиджака, забарабанил ею по столу и запел веселым фальшивым голосом:

Горняки — ребята сила,
Горняки — ребята класс,
Только девушек красивых
Не хватает вот у нас.

Кто как умел подтянул, и даже Огородниковы помычали в такт.
— В одном я убежден: человек обязан трудиться. Без работы, без

своего дела он уничтожил бы сам себя, как бы помер преждевременно,— сообщил Пашка ни с того ни с сего и искательно поглядел на Дарью умными оплывшими глазками.— Разумеется, всяк труд на благо общества. Соответственно. Верно?

Ему ответила, улыбнувшись нерешительно, одна из библиотечных дев, пухленькая, в тесном платье:

— Я все могу себе представить, кроме одного: как это сидеть дома... без коллектива? Правда, Дарья Николаевна?

Дарья Николаевна промолчала, улыбнувшись слегка сквозь дым сигареты. Зато девица с прической пажар, строго поглядев сквозь очки на блюдо с заливным, подтвердила решительно:

— Совершенно невозможно представить!

Пашкина жена, брезгливо стягивая с апельсина шкурку, откликнулась томным басом:

— Тоже считаю... женщина обязана работать. Коллектив... это стимул, он помогает не распускаться... следить за собой... заботиться о собственной внешности.

Заговорили о телевидении, потому что работал телевизор — там грациозно и бескровно сражался балетный Спартак с балетными врагами.

— Есть очень серьезные, полезные передачи, например «Кинопанорама», «Клуб кинопутешествий»,— демонстрировала свою телеэрудицию маленькая библиотекарьша.— Но огромный процент совершенно пустых... Все эти детективы... Кому это нужно?

— Ну, знаете ли! — Пашкина жена раздирала апельсин на дольки.— Зачем вам вечером заузное? Вечером после работы следует развлекаться. И массу вполне удовлетворяет то, что показывает теле. Я сужу по своим драмкружковцам. Обыкновенные, средние люди, и подавай им обыкновенное, среднее, не мудрствуя лукаво. Дважды два!

— Позвольте! — оборвала Дарья, и ноздри ее тонкого вздернутого носа затрепетали.

— Пожа-алуйста! — разрешила Пашкина жена и, улыбнувшись Дарье ласково, предупредительно и безразлично, сунула в рот апельсиновую дольку.

— Черт-те что! — пробормотала, растерявшись, Дарья, достала из пачки новую сигарету, стиснула между пальцев.

Она, может, сказала бы и еще что-нибудь, но Пашка упредил, воззвал с хорошо разыгранным нетерпением:

— Нелли! Детка! Кстати! Я совсем забыл спросить! Как тебе этот фильм? Ну, как его? Вчерашний?

— Да так себе.— Не торопясь, с прилежно закрытым ртом Нелли прожевала апельсиновую дольку.— Про охоту... Франция... Впрочем, есть кое-что... Девушку насилюют, потом убивают...

— Ну хоть хорошо убивают? — игриво привередничал Пашка.

— Да... любопытно...

— Чудовищно! — пробормотала Дарья.

— Вы тоже видели? — слегка изумилась Нелли.

— Нет. Но... тем не менее... Чудовищно! Потому что как же так... — Дарья вместе со стулом отодвинулась от стола.

— Женя! Женя! Что же ты? Гостей развлекать надо! — испуганно позвала вдруг Лариса.— Даша не пьет, не ест. Пусть и Паша пьет и ест...

Евгений Петрович подсел к гостье, но она не дала ему рта раскрыть:

— О, не беспокойтесь! Я не скучаю. Нисколько! Напротив! — Закинула ногу на ногу, пустила дым колечком.

«Заигрывает,— решил Прозоров с самоуверенной поспешностью.— И как это муж... такую ее... одну пускает?»

— Ваш муж пишет... О чем, простите? — спросил первое, что пришло в голову.

— Да, да, очень интересно: о чем? — вклинился Пашка и склонился к спинке ее стула, словно собрался возлечь на плечи женщины ручным ягуаром.

— О разном,— сухо ответила Дарья.— О войне... он воевал... о сегодняшних проблемах...

— Муж... писатель... Как интересно,— промолвила Нелли и вдумчиво посмотрела на Дарью.— Интересно... вот такая работа... Ну, писатели там, журналисты... что она дает? Конкретно?

— В каком смысле?

— В самом прямом. Для жизни. Рублей триста — четыреста в месяц получается?

— Нет,— сказала Дарья, растирая недокуренную сигарету в пепельнице, и тотчас достала из пачки новую.

— Битте, битте! — подсунул Пашка со своей зажигалкой.

— Не-ет? — озадачилась Нелли.— И воевал... И пишет. И не получается? И это жизнь? Довольствуетесь... Но какая же это жизнь? Это... так... существование. Для женщины необходимо...

— А позвольте! — Дарья встала, чиркнула зажженной сигаретой по воздуху.— А позвольте нам с мужем судить, что необходимо для нашей жизни и...

— Пожа-алуиста! — разрешила Нелли, приподнимая бровь в снисходительном недоумении.— Мы не на собрании... в тесном кругу. Кто что думает, то и говорит.

— Товарищи! Давайте же горячее есть. Я сейчас принесу. Что же мы? — виновато суетилась Лариса.— У меня купаты... горячие купаты...

— Спасибо, Ларочка, я уже сыта,— остановила ее Дарья, взяв за руку.— По горло. Пора и честь знать. Пора домой.

...Стукнула входная дверь. Лариса вернулась одна.

— Какой темперамент! Какая женщина! Термоядерный взрыв! Исчезла... не снизошла! — плачевно запричитал Пашка.

— Я забыла вас предупредить.— Лариса глянула в сторону своих библиотечных коллег.— И как это я забыла! Она не любит таких вот... знаете ли... ну, чересчур откровенных разговоров о деньгах... и всякие такие шуточки.

— Ну знаете ли! — Нелли пошевелила плечами, упрятанными под сверкающую ткань.— Психопатизм элементарный! Фарисейство и ханжество!

— Не психопатизм! Не ханжество! Характер! Принципы! Вы не понимаете! — вдруг выкрикнула маленькая библиотекарьша, и снопики волос гневно задрожали по обе стороны ее скулсившегося лица.

— Ну где мне! — Нелли улыбнулась библиотечной деве ласково и небрежно.

— Однако... в самом деле... если глубоко задуматься... Что это она ни с того ни с сего, в общем? — развел руками Пашка.— Я лично — граждане не дадут соврать — вел себя в полном соответствии с памяткой НОТ, прикнопленной к двери нашего отдела... А именно: «Не стыдись элегантности! Будь особенно корректен с женщинами!»

— Друзья! — подала голос Огородникова.— Не будем углубляться. Мы собрались по иному поводу. Будем терпимы. По-моему, эта женщина достойна всяческого уважения. Заниженные требования... Что ж, она придерживается неких... так сказать, классических построений... Немножко старомодно, но мало ли... Меня лично тронула

ее безоговорочная преданность мужу. Это так по-русски. Одним словом, ничего из ряда вон, в сущности... О чем спорить?

Огородникова задержала вопрошающий взгляд на Прозорове. Он кивнул. В сущности, что же... действительно... Дарья как Дарья...

Внезапно его окликнула Нелли:

— Евгений Петрович! Все-таки это на грани патологии! Вскочить... испортить всем настроение... И хоть бы повод серьезный был! Свинство! Натуральное свинство! Согласны? По совести? От души?

По совести, от души — ему самое время рявкнуть этой выхоленной комнатной собачушке: «А пошла ты!..» Пашкина жена, приподняв художественно подрисованную бровь, ждала ответа. Но разве так уж ему необходимо связываться с Пашкиной женой? Разве он, вообще говоря, собирался перестраивать мир? Или когда верил, что от его усилий что-то существенно изменится?

И Евгений Петрович Прозоров слегка вздохнул, чуть-чуть улыбнулся и нешироко развел руками. Где-то, когда-то, у кого-то он подсмотрел этот универсальный спасительный жест, обозначающий все что угодно вашему собеседнику. Нехитрый жест этот, как ни странно, ни разу не подводил его. И сейчас сработал безукоризненно.

— Ну вот именно! — удовлетворенно произнесла Нелли, вернула соболиную поддельную бровь в исходное положение и вышла.

Худая очкастая библиотечка успела громко и непреклонно заявить ей вслед:

— Вы! Вы! Это действительно ужасно! И как хорошо, что нетипично!

Пашкина жена не обернулась. Может, ей было лень.

— Жизнь сложна, полна неожиданностей, — счел необходимым проинформировать Огородников.

Огородникова в знак согласия приспустила подзеленные веки. Поднялась, огляделась, держа рюмку высоко над собой, как факел, произнесла строго и значительно:

— Товарищи! Мы тут заговорились и забыли о главном. Я предлагаю встать и выпить за героя дня, за хозяина этого милого дома. Подумайте, представьте: человек бросил Москву, отправился в эдакую даль! Семь лет! Разве это не подвиг! Какую самоотверженность надо иметь, волю, чувство долга.

Гости загалдели одобрительно. Прозоров разобрал отдельные несвязные возгласы:

— ...Еще бы не герой! Всякий, что ли, решится? Сахалин есть Сахалин. Да еще в шахте!

Но поначалу Евгению Петровичу показалось, что тост Огородниковой выспрен и содержит в себе тайную, тонкую насмешку над ним.

Он даже хмуро сказал вслух:

— Да нет, чего...

Ах, как на него накнулись! Уличали в излишке скромности, советовали отказаться от ненужного позерства, убеждали дружно, заботливо, настойчиво и беспорядочно:

— Все время зовут осваивать Дальний Восток! Ехать! А все едут? Все? То-то!

— Я вот струсила. Ой! — громко призналась желтая библиотечка, глядя на всех честными детскими глазами из-под кривоватой челки. — Мне предлагали на выбор под Кустанай или под Новгород. Я поехала под Новгород, в деревню, в страшную глушь. Все-таки Москва рядом. И три года всего. А Сахалин... Страшно представить! А вот вы! А вот вы!

В растерянности Евгений Петрович опрокидывает машинально

рюмку, другую... Несвязные вопли восторга звучат для него громче, оглушительнее, глаза окружающих сияют ярче, преданней, любвейнее...

Разве сам он считал себя когда-нибудь героем? Нет. Но цену себе всегда знал. Да, семь лет — это семь лет. Они говорят «герой»? Ну это уж слишком. А впрочем...

Он размякает окончательно, приятные мысли просятся наружу...

— Спасибо... вам! — произносит Прозоров. — На Сахалине... действительно... как везде, думаете? Просто? Не-ет... Там шахты какие? На юге, где японцы были? Частная собственность... разные хозяева... У каждого своя система координат... Что потребовалось? В единую систему... увязать, привязать и так далее... Я принимал, рассчитывал, увязывал... Оставил след... Не так же... Кроме всего прочего... А как же?

— Тихо! Тишина! — опять раздался властный голос Огородниковой. — Прошу поднять бокалы за женщину, жену и мать. За хозяйку этого дома! Такая самоотверженность — семь лет одной растить ребенка! Верить мужу, ждать его, понимать и разделять чувство долга, которое руководит им! За вас, милая Лариса! За ваше благородство, за вашу любовь и верность!

Прозоров увидел, как вскочила, снова села его жена, хотела что-то сказать, разинула рот и не смогла, лицо ее побагровело, жалкие глаза наткнулись на его взгляд и отпрянули в испуге. «Так тебе и надо», — подумал он.

— Милая! Не смущайтесь! Зачем? — Над нею наклонилась улыбающаяся Огородникова. — Мы же искренне, от души. Чтоб муж ваш, — погрозила Прозорову пальцем, — ценил вас... и не зазнавался. Уж эти мужчины!

— Молод-цы! Молод-цы! — проскандировали гости, заполнив рюмками пустоту над столом и весело, дружелюбно улыбаясь хозяевам.

...Приблизительно в полночь, после тостов за родных и близких, за любовь, за жен, за девушек и детишек и еще за что-то, тотчас выскочившее из нетрезвой памяти, Евгений Петрович потащился в ванную освежиться холодной водой. За ним увязался Пашка. Корчась от беззвучного смеха, он шептал:

— Видал? Нелька-то моя? Во баба! Ни-ни, я не в обиде! Пускай развлекается. Я и сам не теряюсь. Но... — Пашка набрал в рот воды, побулькал, выплюнул, — но работаю тихо, аккуратно, чтоб ни Нельке, ни начальству никакого беспокойства. Нелька-то, конечно, знает. И молчит. А чего ей? И живем мы, милок, таким образом, душа в душу. Пойди найди другую такую мирную, крепкую семью!

— А что же генерал? — спросил Евгений Петрович, припоминая, как в свое время Пашка боялся и робел своего высокого тестя.

— Нету генерала, помер генерал, — вздохнул Пашка и запечалился. — Хороший, боевой старик был, честный, уважительный. Нелька-то моя это уж как лишай на суку, плесень декоративная. Ей-богу, жалко мне старика было, когда он смотрел на Нельку в последний свой час. Умный же, стоящий, и такое у него в глазах... Тоска, понимаешь. бешеная... Так и не сообразил, как у него в доме, пока он воевал командовал, такое дерьмо произросло. С тем и помер. — Пашка снял очки, почистил глаза пальцем. — А помнишь, Женька, как мы с тобой в армии служили? — Пашка сдернул с лица Евгения Петровича полотенце, которым тот утирался. — Помнишь, как радовались чистой постели и каше горячей? — Пашкин голос осел от тоски и ярости. — Мы, голоштанники бездомные.

— А как в шахте вкалывали? — спросил Евгений Петрович. — Деньжата на институт заколачивали?

— Во! — воскликнул Пашка, точно журавля в кулак поймал. — И уж теперь не робей, Женька, живи на всю катушку. — Пашка полез обниматься. — Не отрывайся теперь, а лепись! Худо отрываться от своих. И все как по маслу... Где служить-то думаешь? А ты не думай. Обеспечу. Друг я тебе или нет?

Евгений Петрович тоже не на шутку расслабился. Обнялись, покачались на месте.

— Я теперь, брат, ложе боевого генерала занимаю! — сообщил Пашка, отцепляясь. — Знал бы старик — расвирепел! Ого-го как! Очень его смущало, что я на Нельке женился аккуратно перед самым распределением. Говорю, мудрый старикан был, пронзительный.

...Гости расходились. Проворнее всех одевались подружки-библиотечарши. Обволакивая двойной подбородок лиловым шарфом, Нелли сказала им:

— Подвезти вас? Пожалуйста. У меня машина.

— Благодарим! Не нуждаемся! — горячо отозвались девы-принципалки и канули в ночь.

— Как зна-ете, — благодушно проговорила Нелли, дожидаясь, когда Пашке удастся затянуть все пряжки на ее усложненных сапогах.

Огородникова укуталась с помощью супруга в пышные белые меха. Огородников застегнул крупные сияющие пуговицы на своем пальто безукоризненного кроя.

Почему-то и Лариса и Евгений Петрович не стовариваясь оделись и пошли провожать Огородниковых на улицу.

Когда эта пара прекрасно натренированных сообщников выходила из подъезда, Евгений Петрович заметил, как торопливые запоздавшие прохожие вдруг сбавляли шаг. Размеренной, легкой походкой королевской четы Огородниковы проществовали к своей длинной черной машине, которая благодаря своим очертаниям казалась мчащейся даже в неподвижности. Это была какая-то иностранная марка. «Что за чушь! — опешил еще раз Прозоров. — Откуда все это у них?» Он поискал глазами Пашку. Но тот уже разворачивал бывшую генеральскую «Волгу», обремененную наследницей.

— Мы надеемся, — обратилась к Евгению Петровичу Огородникова и одарила улыбкой, — что вы непременно придете к нам. У вас очень-очень мило. Мы чудесно провели время. — Она стояла спиной к фонарю, и белый мех лучисто дымился вокруг ее прямой подтянутой фигуры.

Длинная, может быть, даже гоночная машина Огородниковых бесшумно сорвалась с места и помчалась по шоссе куда-то туда, в неизвестную даль, где все так блистательно, утонченно, загадочно... И задние огни над колесами их авто пылали рубиновыми звездами, продолжая приковывать внимание поздних зевак.

Что-то насмешливое, подманивающее почудилось в этих огнях Евгению Петровичу, призыв и издевка.

— У всех машины, — тихо, осторожно сказала жена.

— Права. Надо иметь машину. Раз уж мы приобщились... протиснулись... — сказал Евгений Петрович с холодной лихостью игрока, решившего не отступать. Усмехнулся: — Ну и удавы эти Огородниковы! Ну и крокодилы!

— Что ты выдумываешь! — прошептала Лариса и присела от ужаса. — Такие милые, интеллигентные люди!

— Удавы! Крокодилы! Мы по сравнению с ними так... мелкие грызуны... Тяготеем к стандарту, Чижик. А интересно, к какой именно золотой корове они присосались? Очень интересно.

Часть вторая

...Евгений Петрович еще отсыпался, когда загредел телефон. Пашка.

— Я к тебе с деловым предложением, паря...

— Ты мне скажи сначала, чем занимаются Огородниковы,— не утерпел Евгений Петрович.

— А-а-а! Любопытство заело? — Пашка похихикал в трубку.— Фига! Не скажу. Сам пошевели мозгами! Сейчас! Сейчас! — крикнул он кому-то там, должно быть Нелли.— Женька, так ты как насчет трудоустроиться? Собираешься вскорости или дурака повалешь? Я к чему? К тому, что могу отрекомендовать тебя нашему управлению. Соображай: одно дело ты с улицы заявляешься, другое — уважаемый человек представит! Не сомневайся — я уважаемый! В нашем обществе что главное? Правильно, труд! А я свои сто процентов даю. Непременно! Непрестанно! Сейчас, сейчас! — крикнул он опять.

«Ну и типчик ты, Пашка,— подумал Прозоров, повертел трубкой в воздухе, ткнул ее на место.— Ну и типчик,— повторил и вздохнул. Впрочем, без особого осуждения.— Свой все-таки человек, откровенный, душа нараспашку. Циник, конечно. А я что, святой? Вот забьются... помнит. А что я ему, в конце концов?»

И пахнет чудесно: кофе, свежими булочками.

— Женья! Завтрак готов! — зовет из кухни жена.

— Сей момент! — весело откликается он, надевает шапку, набрасывает пиджак и выходит за газетами, насвистывая от хорошего, легкого настроения.

Возле почтовых ящиков звенит ключами какой-то тип, мужчина в лыжном костюме. Увидел Прозорова, выронил ключи, но тотчас поднял и произнес негромко:

— Доброе утро.

— Доброе утро,— в тон ответил Евгений Петрович и глянул ему в глаза.

И не нашел глаз. Круглые стекла очков, залепленные световыми бликами, скрыли их выражение. Это раздражило Прозорова. Ему показалось, что над ним насмеются исподтишка. Его правая рука сжалась в кулак, кулак налился тяжестью. Все-таки пересилил себя, отвернулся, засвистел, зашагал вверх по лестницам, забыв про лифт. Разозлился на собственную рассеянность и словно в наказание заставил себя и остальной путь до девятого этажа проделать скорым шагом.

Вошел к жене в кухню, бросил вместе с газетами:

— Повстречались! Как же! Этот... твой... очкастый...

Ложка с сахаром в ее руке скакнула испуганно. Сахар просыпался на стол.

— Поздоровались... чинно, благородно,— успокоил и усмехнулся.

Она опустила ложку в кофе и стала мешать и мешала долго-долго, не поднимая головы.

— Его здесь скоро не будет,— проговорила смиренно. Ее опущенные веки дрожали.— В Туркмению уезжает, в экспедицию... Он по микрофлоре специалист.— Ее голос потускнел от печали и от только что отпустившего испуга.

— Очень любопытно! По микрофлоре! — Евгений Петрович чувствовал, что его опять захлестывает раздражение, на этот раз от ее стороннего, страдальческого шепота.

«Самое разумное... самое лучшее, по-моему,— уговаривала она себя и все быстрее, энергичнее и бессмысленнее крутила ложкой в кофе.— Что же еще?» Она подняла глаза на него и, смущаясь, заверила: — Это самое правильное, пусть... через неделю — и все!

В ее осмелевшем голосе он учуял искреннее нетерпение покончить со щекотливым делом раз и навсегда и уже готовое восторжествовать облегчение. Это вдруг задело его. «Бабы! Вот они — бабы!» — подумал желчно. И — странно — все в нем как бы расслабилось, к нему вернулось доброе расположение духа.

— Эх вы, бабы,— проворчал презрительно и великодушно.— Все вы... Что ты, что твоя... эта... как ее, Дарья,— вспомнил внезапно женщину с синими дерзкими глазами и ту минуту, когда она хохотала и пускала дым кольцами.— Тоже небось не прочь мужу изменить.

Ах, как он хотел сейчас, чтобы было именно так, а не иначе!

— Ее муж любит. Ужасно! — быстро и пылко проговорила жена.— И она его. Ужасно!

— Что ж, красив? Знаменит? — Он опять злился.

Лариса то ли вздохнула, то ли усмехнулась и погладила себя по щеке.

— Он старый... Умный, правда, говорят... Но старше ее на двадцать лет. Правда, ужас? Я его покажу тебе когда-нибудь. Как можно любить такого? По-сумасшедшему? Не понимаю! — Она продолжала гладить себя по щеке.

— А остальное ты все понимаешь? — рявкнул он, окончательно выведенный из себя этим ее нелепым жестом.

— Ты что? Что ты? — Она уставилась на него недоуменно.

Ее настроение передалось ему. «В самом деле, что это я? — подумал он и только тут сообразил, что стоит в шапке.— Подраспустился... да... весьма... Нехорошо. Глупо. Надо держать себя в руках».

— Лариса... чепуха какая... ты уж прости меня... Не выпался, что ли? — пробормотал он и пошел в прихожую снимать шапку.

Ему навстречу зазвонил телефон. Тесть звал в гости. Евгений Петрович поблагодарил и сказал, что придут непременно.

— Правда, Лариса? Придем? Все трое? — крикнул жене, заискивая.

Вечером отправились в Кузьминки.

Поели отличного украинского борща со сметаной, выпили рому из зеленопузого керамического медведя. Аленка баловалась с котом, взрослые беседовали о том о сем, смотрели телевизор, грызли семечки. Было тепло, покойно, тянуло в сон. Тесть опять читал из «Полтавы», объяснял значение слов «ботфорты» и «мушкет».

А Евгению Петровичу вдруг пришло в голову, что тесть его, этот налившийся нездоровым жиром маленький бухгалтер, одинок и несчастлив. Он втянулся и прожил жизнь однообразную, размеренную, правильную и только теперь, выйдя на пенсию, осознал, что вот и все, кончено. Растерялся, недоумевает и страдает запоздало. Смешно? А смеяться не хочется. Каждого где-то там, за углом, сторожит старость. Слава аллаху, ему, Евгению Петровичу, нет резона задумываться о ней — он еще молод, у него сухие, крепкие мускулы, он многое не только хочет, но может, может!

...Когда уходили, часы на стене — подарок тестю от сослуживцев — пробили одиннадцать усердных монотонных ударов.

Евгений Петрович единым махом подхватил дочь на руки и без раздыха, в хорошем темпе донес до вагона метро.

Дома, помогая девочке раздеться, вспомнил вдруг, что давно не

беседовал с ней, устыдился и решил срочно восполнить этот досадный пробел в программе семейного благополучия.

— Ну как твои рога... от оленя? — спросил между прочим, присаживаясь на детскую кровать. — Еще не разонравились?

Поглядел, закрыла ли она ноги одеялом, поднял с пола, повесил на спинку кресла красные колготки.

— Нет, — отозвалась тихо девочка и натянула одеяло на глаза. — Только теперь они не мои, — глухо донеслось до Евгения Петровича.

— Почему не твой? — удивился он и оттянул одеяло так, чтобы видеть ее лицо.

— Их мама взяла... в прихожей прибьет, а... а не над моей кроватью.

— Да? Ну и что ж, — не очень уверенно проговорил Евгений Петрович. — Все равно они твои. Пусть и в прихожей, но твои.

— Нет, теперь они не мои, — упрямо отказалась девочка. Большие серые глаза налились слезами, губы распустились и запрыгали.

Наедине с женой Прозоров резко спросил:

— Зачем отняла у Аленки рога? Я ей привез!

— Что? Рога? Опять придираешься? — Жена вздохнула порывисто, заходила туда-сюда, то закрывая, то открывая глаза. — И все по пустякам... Любой пустяк — и крик... Рога ребенку... Зачем? Глупости! В рогах дело? Я же вижу... чувствую... Как же можно так жить? Рога все сейчас в прихожей вешают. Лучше куклу купи. Она до сих пор любит в куклы играть. Неужели нельзя спокойно спросить? Боже мой! — Нечаянно дернула за бусы. Порвались, посыпались на пол. Наклонилась собирать.

Евгений Петрович тоже наклонился и стал молча помогать ей. «Мог спокойно спросить? Мог! — убеждал себя. — Вот черт! Псих... Базар развел... Вот же не ору, не психую, а тихо подбираю эти проклятые стекляшки!»

Жена продолжала говорить. Не видя сопротивления, она все смелее, многословней укоряла его, стыдила, совестила.

— Ни черта ты не понимаешь! — внезапно против воли взорвался он, бросился в ванную и долго стоял там под жестким, холодным душем. «Вот что, надо быть вместе, все время вместе, — думал он, безжалостно растирая тело грубым полотенцем. — Вдвоем... там... тут... Скорее сблизимся, притремся, привыкнем. Старая истина! Как забыл?»

Дней десять подряд они были «без никого». Вместе завтракали, убирали квартиру, покупали мясо и хлеб, варили, а вечером отправлялись то в драму, то в консерваторию, то в оперетту.

В самом деле, их отношения становились теплее и проще. Евгению Петровичу нравилось, что у театральных подъездов на его жену заглядывают мужчины, а ей — что его не обходят вниманием женщины. Они то и дело шутили по этому поводу. Приятно было слышать внезапную трель театрального звонка и одними из первых входить в прохладный полумрак партера, разворачивать свежий листок программы и, сидя в удобном кресле, наблюдать, как двигаются и говорят там, на сцене, красивые, нарядные мужчины и женщины. Нравилось антракты, возможность побродить по фойе среди зеркал, фотографий актеров, чувствуя себя легко и независимо в толпе хорошо одетых людей, завернуть, между прочим, в буфет и, положив в карман горсть дорогих конфет, вернуться в зал.

Все эти вечера о дочери заботились тесть и теща, так что тут был полный порядок.

Как-то, проезжая мимо «Детского мира», Прозоров вспомнил, что собирался купить дочери куклу. Домой вернулся с самой дорогой иг-

рушечной красоткой, которая к тому же умела что-то там говорить и ходить.

Алена кукле обрадовалась несказанно, прижала к себе и тоненько заскулила от восторга и счастья.

— О! Какая замечательная! Ужасно! — воскликнула жена и осторожно потрогала роскошную куклину прическу. — Но, между прочим, Женя-Женечка, — она нежно-небрежно мазнула пальцем по его носу, — мог бы дешевле. Там же огромный выбор! Ты уже не на Сахалине. Забыл? Тех сумасшедших заработков нет и не будет. А машина? Сам же решил. Снимаешь, снимаешь с книжки... Доснимаешься!

У него отказало дыхание. Тяжелая беспричинная злоба вскипела в груди и, раздирая горло, рванулась наружу.

— Слушай... ты... Чижик... — прохрипел он. И умолк. Говорить нечем. Пальцем отдернул от горла крахмальный ворот рубашки. Отскочили, стукнувшись об пол, пуговицы. Глотнул воздуха. Полегчало... отлегло... Пошел в ванную, смыл пот со лба, причесался и вдруг почувствовал нечто вроде творческой радости. А как же! Вот ведь сумел, удержался, переломил себя, взнуздал, а уж как кипел, как завелся, у-ух! Что ж, это очень хороший признак. Это значит, что вот-вот и у них с Ларисой действительно все образуется окончательно и навсегда.

Вернулся в кухню.

— Правда, чудесные гренки? — робко, выжидающе спросила жена. — Я с сыром... в тостере... Нравятся тебе?

— Очень, — ответил Евгений Петрович и решительно откусил от жестковатого хлебца, пахнущего горелым. «Что ж, — подумал он, — если трезво... она права. Деньги... Вода? Вода. Пора о работе подумать».

Нашел Пашкин телефон, позвонил.

— А-а, сибарит, очнулся наконец? — спросил вечно юный, энергичный Пашкин тенорок.

— Ну как там? Или забыл? — промямлил Евгений Петрович, несколько смущаясь своего положения.

— Я! — весело ужаснулся Пашка. — Друг я тебе или не друг? Картинка такая, — заговорил деловито и даже бранчливо. — Есть тут одно прелестное местечко... разведаль, обговорил. Будешь доволен. Приходи с бумагами хоть завтра к одиннадцати.

— Хорошо, Паш, спасибо.

— Да, кстати! Я сказал этому товарищу, что ты с Сахалина рога привез. Так что прихвати, не забудь. Понял?

Евгений Петрович не ответил.

— Понял, спрашиваю? Тебе-то они на кой?

— А может, и на кой? — хмуро оборвал Прозоров. Он подумал о дочери.

— Мила-ай! — Пашка никак зевнул. — Брось ерундить! Окладчик-то поболее двухсот... кабинетик... телефончик... Неужто не подходит? Осознай: мы-то украинцы, а куда вдруг? Так уж не подведи меня, захвати рожки. Товарищ увлекается. Ублажи! Грошовый-то сувенирчик. Не взятку ж я тебе предлагаю дать, мать твою за ногу!

— Ну? Что? — подскочила жена, едва он положил трубку. Черную трубку с антрацитовым блеском. — Ну что? Ну как? Устроил? Что? Где? Кем? — треплет за рукав.

— В порядке, — откликнулся и поддельно равнодушно присвистнул. Отыскал взглядом рога, прибитые над дверью прихожей, и долго вприщур глядел на них.

— Оклад какой? Оклад? Две будет? Нет? А?

— Больше. — Евгений Петрович поглядел на себя в зеркало. «А что? Отлично выутюженные брюки, крахмальная рубашка, тщательно причесанные волосы. Вполне приличный человек». — Рога надо только

снять. Отнести... товарищу... в качестве сувенира.— Он продолжал смотреть на себя в зеркало. «Да, да, нормальный человек. Со своими достоинствами, слабостями... Так оно и идет...»

— Больше двух? Ужас! — Жена схватилась за голову, глаза ее чудесно сияли.— Рога? Вот эти? Всего-навсего? Сними заради бога! Отнеси! Надо ж так сразу... великолепно! Какой замечательный у тебя приятель! Настоящий друг!

— Хватит причитать,— прервал он, поморщившись.— Надо еще посмотреть,— добавил заносчиво. Хотя чувствовал уже, что дело решено и смотреть нечего. Вот только рога... Дурак, не привез больше. Да кто ж знал!

— Па-па,— услышал очень тихий, придавленный зов.— Папа...

На пороге спальни стояла Алена. В белом праздничном фартуке поверх темного школьного платья. Напрягши слабую шею, она пыталась проглотить что-то, больно застрявшее в горле.— Папа, ты совсем-совсем отдаешь мои рога? Совсем-совсем? Зачем, папа? Ты же сам говорил... Ты же сам! — Она как будто не узнавала его и пугалась невозможности узнать.

Евгений Петрович сморгнул, откашлялся без надобности и, не глядя на ребенка, проговорил с напускной важностью и приторным заискиванием:

— Видишь ли... Так надо... Ты еще маленькая, Алена. Маленькая девочка... даже не октябренок, да? Но подрастешь и поймешь, что бывают такие моменты, когда... когда...

— Ну что ты ей объясняешь! Глупости! — как будто рассердилась на него жена, но он сейчас же догадался, что она несколько не сердита, а почувствовала слабость его позиции и бросилась ему на выручку.— Глупости! Ей куклу купили какую, а она опять про эти рога. Капризы! Совсем разбаловалась! — тараторила женщина.— Ты завтракала? Нет? Боже! В школу опоздаешь! Ешь скорее! А бант как завязала? Ужас! Иди перевяжу!

— Я сама,— сказала девочка побежденным голосом и беззвучно притворила за собой дверь.

Муж и жена Прозоровы умно и понятно поглядели друг другу в глаза, сошлись, обнялись в едином желании ужиться, свыкнуться, слюбиться, несмотря ни на что, порывисто благодарные один другому за эту готовность.

Потом жена сидела перед зажженным торшером и, растопырив пальцы, мазала ногти лаком. Пахло остро и не неприятно.

Евгений Петрович стоял у окна, бесцельно уставясь взглядом в сырой серый сумрак, натекавший сверху и быстро расплывшийся по земле. Был январский полдень, но казалось, это вечерняя плотная мгла уничтожает контуры домов и деревьев, убивает краски.

— Слышишь? — спросила жена. Она приподняла кисточку, возвела глаза к потолку.

Где-то высоко над ними на угрюмой вопросительной ноте гудел самолет.

— Я ужасно боялась,— прошептала женщина.— Но теперь ты здесь! Какое счастье! Ничего не боюсь! Правда, правда!

— Да ты небось не слыхала, как гудят настоящие немецкие бомбардировщики,— сказал он.

— Нет, конечно,— сказала она.— Но видела в кино, и читала, и мама рассказывала.

— Ну, тогда конечно,— согласился он и подумал о том, какая она все-таки маленькая.

— А ты слышал, как гудят немецкие самолеты? — спросила она,

домазывая мизинчик.— Ты хоть что-нибудь помнишь о войне? Ты хоть что-то понимал тогда? Или вы сразу сели в поезд и уехали?

В общем-то, она близка к истине, так оно и было: они сразу сели в поезд и уехали.

...Поезд уже набрал порядочную скорость, и они вскочили в него на ходу. Мать ухватилась за поручни, придавив их с Андреем своим огромным животом.

— Держись, Женя, держись, Андрюша, держитесь, детки! — умоляла мать.

Всего этого могло не быть, если бы он не потерялся в муке, в густом удушливом тумане из белой муки, заволокшей вокзал. Он совсем пропал в этой муке, а когда наткнулся на материн мягкий живот своим зареванным лицом, она уже успела растерять вещи, а поезд уже уходил, все быстрее постукивая колесами на стыках.

В конце-то концов люди как-то умялись и втиснули их в вагон. Но тут что-то ухнуло, и вагон словно бы подскочил, и опять ухнуло — поезд дернулся и жестко тормознул. Взрослые кинулись к выходу узнать, в чем дело. Он бросился за ними, хотя вслед раздался протяжный, натужливый, как мычание, материн вопль. Он решил, что это она хочет остановить его, и не оглянулся.

Ухнуло еще раз, и еще, и еще...

Кое-как протиснув голову между чьих-то голых ног, он увидел с площадки вагона обыкновенную траву, только очень высокую, ярко-зеленую, а над ней чистое голубое небо. В этом чистом голубом небе, остро посверкивая крыльями, метались самолеты, штук пять-шесть, словно играли в салки, и висел угрюмый, воющий, напористый гул.

— Путь разбомбили! — прокричали снаружи. — Такая ямища — вагон стоймя уйдет!

Высокая трава нетронута, волнисто отливала шелком, а над ней вытанцовывала желтая бабочка, тоже какая-то очень новенькая, очень яркая.

Вдруг один самолет смешно перекувырнулся, пыхнул дымком, словно кто-то в нем раскурил трубку, и изо всех сил помчался к земле, растягивая за собой черную полосу дыма. Он упал на землю быстро, словно брошенный с высоты, и там, где сверкнул в последний раз, розово вспыхнуло и громыхнуло.

— Что это? Что? Немец? Да? Так ему и надо! Ура-а-а! — весело заорали дети.

— Наш,— ответил взрослый голос.— Нашего. Эх, сынок...

Еще один самолет задымился и, переворачиваясь так и сяк, словно сломанная игрушка, закувыркался к земле. Дети на этот раз молчали.

— Немец. «Мессершмитт»,— объяснил взрослый.

Желтая бабочка трепетала крыльями над зеленой травой. Дети молчали.

В конце концов путь восстановили, поезд тронулся, и он вернулся к матери. Рядом с нею на чьей-то розовой подушке лежал тугой тряпичный комочек — его новорожденный брат.

— Как нам повезло! Какое счастье! Перед нами эшелон начисто! — шептали женщины срывающимися голосами.

— Счастье... счастье... повезло,— отзывалась мать. Губы у нее были белые и жесткие, как картонные...

— Что ты молчишь? Что ты молчишь? Я же тебя спрашиваю!

— Да нечего рассказывать,— ответил он.— Ничего интересного. Эвакуировались, и все.

Она была маленькая, удивительно маленькая, до смешного, до обидного... Эхма! Маленьких взрослые люди обязаны оберегать от всякого такого и прочего. А как же? Только так.

...Спустя примерно три месяца Евгений Петрович Прозоров сидел за столом в своем небольшом кабинетике и просматривал бумаги, ласково шурясь от веселого, молодого апрельского солнца. Между делом он думал о том, что сегодня славный денек, настоящий весенний, что после работы ему надо получить зарплату, что здесь, в управлении, он ровно два месяца...

Под одной из бумаг стояла изящная подпись — «К. Загородников. И. о. главного инженера». Неизвестная фамилия, выведенная тончайшим пером, чем-то расстроила его.

— Загородников! — вслух насмешливо произнес Прозоров.

И сейчас же понял, откуда в нем досада и раздражение. Огородниковы... Загадка... Как они сумели перевоплотиться и подняться до оптимальных высот благополучия и самоуверенности? Пашка, черт, отделяется шуточками, темнит, интригует... Они молчат. Как будто провалились. Пренебрегли, значит. Вот то-то и досада! Валяй, можешь сколько влезет критиковать, поносить, охаивать. Кривляние! Не больше. Им-то что от твоего крика? От твоего пренебрежения? Они-то первыми рванули финишную ленточку, а ты отстал. На кой им теперь знакомство с каким-то едва-едва обарахлившимся инженеришкой. У них свой круг, клан. «Мы надеемся, что вы придете к нам...» Снизости, обнадежили... и забыли. А он-то, выскочка, уж и эскизы набросал: как будет общаться в их изысканном, утонченном кругу... развлекаться... трепаться... на равных. Ан стоп! Не зарывайся! «Ладно. Обойдемся,— властно успокоил себя.— Что главное, в конце концов? У-о-ох! Работа. Работа. Работа. У кого хочешь спроси. И вовсе не обязательно раздумывать о каких-то там Огородниковых. Нечего-то нечего... А все ж обидно,— прорвалось опять.— Работа, работа, работа! Спокойно, Прозоров! — заботливо приказал себе.— А с работой у тебя все обстоит как надо. Исчезает очередной рабочий день. Как? Нормально, достойно. Два месяца всего, а уже есть благодарность от начальства. Так держать, Прозоров!» Незаменимый? Он?! Ну нет, не такой дурак тщеславный, чтобы считать себя незаменимым. Наблюдал, знает — свято место пусто не остается. И на его стул, как и на всякий другой, занимаемый им, найдутся десятки других Евгениев Петровичей или Степанов Степановичей, которые справятся с делом ничуть не хуже его.

А почему нет? Взять сегодняшний случай. Всю неделю обзванивал, составлял справку о состоянии травматизма на подшефных предприятиях за полгода.

Составил и с полным, как говорится, удовлетворением понес...

Но там даже не глянули: «Спасибо, я уже взял данные в другом управлении...»

Так что хочешь — в корзину бумажку бросай, хочешь — используй ее по своему усмотрению... Вот так.

Сознавать это Прозорову не обидно, а если и обидно, то самую малость. Он объясняет это возрастом, убеждая себя, что в тридцать пять человек мудрее, чем в двадцать, и выражается это, в частности, и в таком вот желании быть как все, не лучше, не хуже, не выделяться, не выпендриваться, простите за выражение. Словом, «скромный труженик». С него и довольно. Только в душу не лезьте. Понять не поймете, а шуму... Да хорошо еще, если от чистого сердца...

Обо всем этом Евгений Петрович думает хладнокровно и как о чем-то вполне узаконенном, неизбежном и обыкновенном.

В последнее время он все чаще склоняется к мысли «вообще». Возможно, по контрасту с вполне определенными рабочими обязанностями и такими же определенными обязанностями семейными. Ему, например, доставляет странное удовольствие обнаруживать в себе какие-то не слишком приятные качества и при этом думать: «Ну и что? Чего же мне этого стесняться? Если это есть во мне, значит, и в ком-то еще, и еще, и еще. Я — как и все человечество...»

В молодости, помнится, он, напротив, стремился обособить себя и свой способ восприятия мира от всех людей и их способа восприятия и часто с упоением говорил себе: «Вот так я, и только я, во всем мире умею видеть, чувствовать эту ночь, это таинственное, пугающее движение облаков... И никто, никто, кроме меня!»

Теперь же приуставший, обремененный житейским опытом Евгений Петрович при всяком удобном случае старается подчеркнуть свою заурядность, свою общность с человечеством.

Солнце между тем перелилось со стола на стену. Глянул на часы. До конца работы шестнадцать минут. В перспективе представил себе, как получит деньги, примет от гардеробщика свое любимое светлое пальто и выйдет на улицу, где тренькает капель. Вот-вот начнут рваться почки, запахнет цветами, задышит жаром лето, он с семьей сядет в самолет и улетит куда-нибудь на юг, в Крым или на Кавказ, к пальмам, на горячий песок. Ни в Крыму, ни на Кавказе он не был ни разу в жизни.

Вдруг в кабинет без стука влетел Сеницын, молоденький инженер с Иисусовой бородкой и Иисусовыми вислыми усами. Страдальчески сцепив перед собой руки замком, он принимается бегать по кабинету и панически рассказывает:

— Вы только представляйте! Шеф лепит выговор Воздвиженскому! Второй! Это значит непременно вынудить человека по собственному желанию! Почему все? Только потому, что Воздвиженский отказался дать в оперативке выполнение, а подписал чистые данные. Шеф смолчал — и вот итог. Низость какая! Представляете?

— Нет, пока не представляю, — ответил Евгений Петрович, с симпатией наблюдая за энергичной, бестолковой беготней молодого человека. — Не представляю, потому что не знаю подробностей.

— Так ведь все равно, это до крайности возмутительно! — Сеницын стукнул кулаком о кулак. — Этак могут и с каждым...

— Успокойтесь, — говорит Евгений Петрович, закуривая, и щелчком отправляет пачку сигарет к краю стола, где приостановился Сеницын.

Он уже не в первый раз вот так вот вбегает к Прозорову и с нетерпеливой откровенностью рассказывает о фактах несправедливости, потрясших его неокрепшую душу. Почему получилось, что для своих откровений он избрал Прозорова? Как догадывается сам Евгений Петрович, Сеницыну импонирует его сахалинская биография, для Сеницына он, как для школьника, нечто вроде Амундсена. Ну и, по всей вероятности, Сеницын чувствует, что на Прозорова можно положить — не выдаст.

Евгения Петровича такое к себе отношение интеллигентного мальчика отчасти забавляет, но и трогает, конечно. Хочется искренне помочь ему обрести жизненную стойкость.

— Да, разумеется, всякая несправедливость возмутительна, — говорит Евгений Петрович, наблюдая сквозь дым, как нервно шевелятся длинные красивые пальцы Сеницына, разминающие сигарету. — Но ес-

ли поставить вопрос иначе? Кто такой Воздвиженский? Юнец? Нет. Сорокалетний мужчина. Знал он в данном случае, что делал? Знал?

— Ну-у, видимо,— прихмурился Сеницын.— Но... все-таки!

— Что «все-таки»? — жестковато переспросил Евгений Петрович... — Воздвиженский совершенно сознательно шел на конфликт. Он знал, каковы будут последствия. Следовательно, он уверен в себе. Следовательно, у него для этой уверенности есть веские основания. Это одно. Второе — шеф. Что он поставил в вину Воздвиженскому? То, что тот не справился с командировкой? А такое невозможно?

Сеницын присел на стул, торопливо курит и слушает. Слушает хорошо, внимательно, упершись взглядом в пол.

— Но ведь все говорят! — вскакивает внезапно.

— Все говорили и про снежного человека и про летающие тарелки,— спокойно умиряет его запальчивость Евгений Петрович.— Короче, вступать в это стороннее путаное дело можно, но обязательно.

— Не знаю, не знаю,— морщится Сеницын, отмахиваясь от дыма своей сигареты.— Мне несколько не по себе... Хотя, видимо, действительно, если лезть во все... И если бы хотя бы Воздвиженский попросил... Но ведь как, не реагируя... Ах, черт, как все сложно, однако! — И Сеницын давит сигарету в пепельнице как некую тварь, наконец-то пойманную и достойную умерщвления, вздыхает виновато, но с облегчением, как обычно после разговора с Евгением Петровичем.

Евгений Петрович удовлетворенно глядит ему вслед. Вескость собственной аргументации не вызывает у него никаких сомнений.

...Звонит телефон. С третьего этажа. Шеф.

— Вы подготовили материалы относительно состояния вентиляционной системы на шахте «Молодежная»? — Голос усталый, нетерпеливый.

Корректно, бодро, четко:

— Материалы подготовлены. Готов доложить.

— Прекрасно. Завтра в десять прошу. Будьте здоровы.

Пиу-пиу-пиу...

Подумалось мимолетно: «Гляди, какой вежливый! А рога не поморщился — заграбастал...»

Убрал бумаги, запер ящики стола и собрался уходить, когда его белый элегантный телефон зазвонил еще раз.

— Евгений Петрович? — спросил незнакомый уверенный женский голос.— Добрый вечер! Не вспоминайте. Конечно, забыли. Огородникова. Мы два дня как из Карловых Вар. Да, отдохнули чудесно. Я к вам по важному делу. Шучу, конечно. Завтра в семь у нас собирается небольшое общество. Очень будем рады видеть вас с супругой. Надеюсь, не пожалеете... Благодарю за комплимент, но я в гвоздь вечера не гожусь, нет. Организовать, чтоб было интересно, постараюсь. Должна быть известная чтица поэта Брюсова и одна совершенно оригинальная художница. Итак, ждем вас. Привет жене.

«Ишь ты, ишь ты, какая приятная неожиданность! Хо! — насмешливо и радостно выдохнул Прозоров.— Ошибся, простачок! Не пренебрегли. Желают видеть, влекут в свой круг. Спроста? Черта с два! С ними такого, зуб даю, не бывает. Но все-таки зовут, нужен! Там разберемся... Любопытно, что за собрание обещает быть? Какое оно, гнездышко у этих стервятников? Что-что? Я их оскорбил, опорочил, в то время как они, «не жалея сил», «собственным трудом» и так далее? Что вы! Вам показалось! Какие «стервятники»? Никакой неразберихи. Все отлажено, упорядочено, обосновано. Малюсенькое «но»... Разумеется, с узкой, негосударственной, обывательской точки зрения. Но... есть местечки выгодные и есть не очень. Вот эти выгодные местечки и

предпочитают Огородниковы. Остается уточнить детали. Распрекрасный, однако, сегодня денек!»

...Евгений Петрович вышел из управления в пальто нараспашку и, помахивая рукой с зажатыми в ней перчатками, пристроился к потоку пешеходов, заполонивших тротуар.

Он шел беззаботной мальчишеской походкой, как ходят обычно в первые теплые весенние вечера, еще не привыкнув к ним, и умилялся всему, что видел вокруг, даже луже на асфальте и копошащимся в ней воробьям.

Увы, долго наслаждаться лирическими благами нельзя. Он, Е. П. Прозоров, человек семейный. У него пропасть забот. Во-первых, сберкасса. Внес на свой счет запланированные пятьдесят рублей и вышел на свет божий с сознанием добросовестно выполненного долга.

Теперь галантерея. Жена просила купить носовые платки и две катушки белых ниток. Что-то она собирается сшивать этими белыми нитками? Мать моя! Да тут никак эти самые грации! Французские! Она-то бегала, искала...

Проехав пять остановок в метро, Прозоров идет далее пешком. Воздух заметно отяжелел и холодит щеки. Однако телу под ратином тепло и уютно. А дом, его дом, — вот он, сотни метров не будет. В обеих руках Евгений Петрович несет сетки-авоськи, полные всякой всячины.

Когда он только что приехал и не огляделся еще как следует, то думал, что его дом, сиреневая башня, сооружение особенное, оригинальное. Оказалось, нет. Таких сиреневых башен в их районе пять. Сначала, фасадом к шоссе, тянутся по горизонтали три белые пятиэтажки, а потом высится семнадцатизэтажная сиреневая башня, еще три пятиэтажки и еще сиреневая башня.

Прозоров слышал разговоры, что, мол, эта однозначность повторения наводит уныние и скуку. Нет, не согласен. Лично ему нравится геометрическая четкость современной застройки. Вообще он все более склонен любить всякую определенность и упорядоченность, систему, одним словом. И даже на расчерченное белым пунктиром шоссе, на знаки перехода улицы он взирает почти что с удовольствием. Существующие вокруг система и порядок всякий раз убеждают Прозорова в том, что жизнь его семьи, упорядоченная его собственными усилиями, протекает разумно, правильно, достойно.

Сахалин? Какой Сахалин? Разве в его жизни был Сахалин? — на ходу подумалось ему. У-у, как это далеко и неправдоподобно! И вдруг оглянулся в смущении. Почудилось, словно вот только что кто-то небрежно и грустно хохотнул ему в самое ухо и позвал: «Женя!» Но, ясное дело, никого. «Бывает же... Должно быть, от усталости. Устал и не заметил», — успокоил себя. Толчком воли застопорил мысли на скором отдыхе, так и не позволив себе признаться в том, что его уверенное настроение спугнул и обесценил на миг знакомый, независимый, милый хохоток, залетевший из прошлого...

Но сетки потяжелели будто. Остановился, повесил на штакетину, закурил.

Рядом продавала мороженое девушка в белой шапочке на вспененных волосах. Она посмотрела на него и улыбнулась. У нее был милый курносый нос и веселые глаза.

В благодарность он решил купить мороженое.

— Пожалуйста, одно... нет, три, — сказал он.

— Пожалуйста, три, — ответила она, сияя глазами.

— Вы всегда здесь? — спросил он.

— А вы не замечали? — спросила она.

На загорелом пальце у нее блестело обручальное кольцо.

Что ему нужно было от нее? Ничего, в сущности. Но если бы она не улыбалась ему изредка, он бы давно кинул недокуренную сигарету и ушел.

В конце концов он ушел и дорогой догадался, в чем тут дело. Дело в том, что ни он, ни она ничем не были обязаны друг другу. Просто улыбались, и все. И это было похоже на отдых.

...Он поднимается на второй этаж своего дома, открывает почтовый ящик. Так и есть — пусто. А это значит, что дочь Аленка и сегодня, как каждый день, своевременно вынула дневную почту.

Свои обязанности регулярно, на высоком уровне выполняет и жена. Она успевает приготовить завтрак, убрать в квартире, прежде чем уйдет в свою библиотеку. Вечером быстро и как-то незаметно что-то там стирает, гладит, штопает, и, таким образом, у них всегда в доме чисто, можно вкусно поесть и отдохнуть в уюте и спокойствии. К этому стоит добавить, что жена его Лариса, не в пример некоторым женщинам, всегда, даже дома, красиво одета, тщательно причесана. Приятно смотреть, когда она, такая аккуратенькая, чистенькая, сидит в кресле и быстро-быстро мелькает спицами, а вокруг нее пушатся клубки разноцветной шерсти.

«Вот так и живем!» — думает Евгений Петрович, вставляя ключ в дверную скважину.

Жена в отужуженных техахах и в пестрой кофточке подскакивает к нему, целует в щеку, хватая сетки, ужасается их тяжести, многословно жалеет его, укоряет в том, что он не жалеет себя, и уходит в кухню, покачивая широкими бедрами, плотненько обтянутыми модной дерюжкой.

Евгений Петрович забирается в ванную, закрывает дверь на защелку, раздевается и, глядя на себя в зеркало, улыбается освобожденно. «Все, на сегодня кончено. Финиш. Добежал. Вот они — его законные владения, его стены, его двери, его собственное пространство, прочно отгороженное от остального мира».

Он думает так каждый раз, возвращаясь к себе, и каждый раз эта отрадная мысль нежит его сердце.

Он поворачивает краны, и вода послушным ровным дождем льется ему на руку, не горячая, не холодная, а точно такая, какую хотел он.

«Смешно? Да ну! Я смешон, Прозоров? Может быть, может быть», — размышляет Евгений Петрович, смывая под душем рабочий пот и обращаясь невесть к кому, кто, однако, словно бы подслушал сегодня его мысли и не того... сморщился, недоумевает... иронию изобразить настроился. «А зря! Невпопад! — предостерег Евгений Петрович, крепко растираясь намыленной мочалкой. — Погоди с иронией-то! Поостерегись! В мою бы тебя шкуру! И чем раньше, тем лучше. А я бы поглядел... Воля, свобода, независимость — вот что такое отдельная квартира. Человеку до зарезу необходима отдельная квартира, потому что ему необходима хоть временная, от и до, но абсолютная уверенность в том, что он сам по себе, сам с собой, сам для себя. Будь благословенна отдельная квартира! Будь благословен тот, кто планирует и строит современное многоэтажное жилье, где все для человека и за человека! Будь благословен!»

Да, разумеется, он, Прозоров, отчасти удовлетворил свою мечту о собственном уединенном пространстве там, на Сахалине. Но именно отчасти. Настоящая квартира — нечто большее, значительнее, чем просто убежище. Всем своим содержимым она обязана настраивать тебя

на полный отдых. Поэтому в ней тебе должно быть не просто уютно, но уютно особенно, так, чтобы, глядя вокруг, ты был бы свободен от суетных, невольных, принижающих мыслей: «А у других куда лучше, со-временнее...» Нет, квартира обязана уже от порога радовать тебя, и успокаивать, и наполнять свежей уверенностью в твоих возможностях, в том, что ты не отстал... Только так. А как иначе?

Намыливая голову и вспоминая многословные ласковые укоры жены, Евгений Петрович рассказывает себе: «Ну, то, что не жалею себя, преувеличение. Но, конечно, для семьи стараюсь... все делаю, что от меня зависит. Не уклоняюсь, как другие. Вчера ковер выбивал. Позавчера в кухне потолок красил... этой... как ее... водоотталкивающей эмульсией. Квартира требует постоянного внимания, мужской силы и мужской сноровки. Надо. Все надо».

Зажмурился, намыливая лицо, и внезапно представил бытовку при шахтоуправлении окнами в ельник и душевую окнами на море. И как хохочут мужики, кидая друг другу из кабины в кабину соленые шуточки, и как стекает черная коллективная шахтерская грязь в решетку на плиточном полу. Как шумно, по-лошадиному отфыркиваясь, моется Рябов и приговаривает: «Ах, черт! Ах, дьявол! Ай, красотища!» Как движется, переваливаясь слегка, в раздевалку, массивный и словно бронированный, красный, с пылу с жару, точно только что выкованный, и посвистывает. А на спине, под лопаткой движутся два схлестнувшихся шрама, похожих на зарубку топором. Корявая, крепкая зарубка аккуратно против сердца. «Товарищ начальник! — кричит кто-то любознательный, из новичков. — Это у вас с войны? На спине-то?» «Угадал, родной!» В раздевалке не торопясь натягивает слинялую тельняшку. Потом быстро, как по сигналу тревоги, вталкивает ноги в шевиотовые брюки и так же, без интереса, сует руки в рукава пиджака. И вот уже нет его тут, одно затяжное послегромовое колебание атмосферы. И застенчивое, унижительное желание не попадаться ему на глаза, которые умеют вдруг так глянуть из-под страхолудных бровей, с таким каким-то излишним удивлением, что сама собой приходит на ум глупейшая мысль: «О чем он? Как? Мол, как оно рядом очутилось? Пристроилось? Такое-эдакое по фамилии Прозоров... На кой?»

«Но... Но при чем тут Рябов? А? На кой мне он, Рябов? А?» — со злым восхищением обращается Прозоров невесть к кому и чему, но что существует, однако, совершенно определенно и подсовывает Е. П. Прозорову куски отброшенной жизни.

Раздраженной рукой он выключает душ, вышагивает из ванны, набрасывает на себя большое полотенце и почти успокаивается. Натягивает отглаженные и заранее повешенные женой на радиатор трусы, майку, носки, пижаму, вспоминает веселую девушку-мороженщицу и как она улыбалась ему, и успокаивается совершенно.

В кухне его ждет ужин: горячие котлеты из домашнего фарша с тушеной картошкой, чай с вишневым вареньем и куском пирога.

— Когда успела?! — поощрительно удивляется он, поднимая вилку над дымящейся пищей.

— Надо же! — смеется Лариса, расправляя бумажные салфетки в стакане. — Посмотри, как чисто у нас стало с этим свежим потолком. Ты молодец!

— Ну, Аленушка, докладывай, как твои успехи в школе? — деликатно жуя, осведомляется Евгений Петрович у дочери и старается глядеть на нее как можно проникновеннее.

Девочке, ясное дело, льстит интерес взрослых. Она перестает есть и, то и дело встряхивая головой с ярким бантом на макушке, взахлеб принимается перечислять все, чем был заполнен ее школьный день.

— А я ка-ак сяду на перила, ка-ак покачусь. А Юрка Зайцев ка-ак налетит на меня сзади. А мы ка-ак упадем!

— Да что ты? На бетонные ступени?! — ужасается мать.

— Дело не в этом, — говорит Евгений Петрович и хмурится. — Алена, разве ты не знаешь, что съезжать по перилам опасно, а главное, это непозволительное баловство?

Девочка опускает голову и молчит.

— В школе существуют определенные правила поведения, — развивает свою мысль Прозоров. — Каждый школьник обязан эти правила выполнять. Невыполнение правил ведет к неразберихе и несчастным случаям. — И так далее в том же роде. Он — родитель и обязан использовать каждую свободную минуту для воспитания дочери. — Ты поняла меня, Алена? — интересуется он под конец.

— Да, папа.

— Больше не будешь кататься на перилах?

— Нет, папа.

— Вот и умница. — Евгений Петрович дожевывает кусок, подходит к девочке, обнимает ее за плечи и стоит так некоторое время. Вероятно, это должно означать, что если в дальнейшем она будет так же быстро, покорно признавать свои ошибки, то может рассчитывать на снисхождение и ласку.

Евгений Петрович, допивая чай, вспоминает, что во вчерашней «Вечерке» описывалось происшествие: няня оставила коляску с младенцем возле магазина, а какая-то авантюристка вытащила его из коляски и пыталась просить «под грудничка».

— Да, да, да, — сказала жена, вытирая стол тряпкой. — Я читала! Ужас! — И Алене: — Слышишь? Вот почему детям нельзя гулять на улице дотемна. — И Евгению Петровичу: — Знаешь, что еще удивительно? У нас в библиотеке значительно сократился интерес к художественной литературе. А вот научно-популярную, документальную требуют и требуют. Необъяснимо, правда?

Он пожимает плечами. Хочет сказать, что она уже раз пять, не меньше, сообщала ему об этом своем открытии, но не говорит.

Улучив момент, Алена попросилась на часок к подружке. Ее отпустили, наказав надеть пальто и плотно застегнуться, потому что мало ли что подружка живет через дверь, а вдруг на площадке сквозняк? А?

Оставшись наедине с женой, Евгений Петрович кивнул игриво в сторону холодильника:

— Давай?

— Давай. — И вытащила заолодевшую бутылку муската.

— Ну, будь здорова! — сказал Евгений Петрович и медленно, наслаждаясь, вытянул из рюмочки вкусную влагу. И вспомнил вдруг, что куплена грация, сбегал в прихожую, вытащил сверток из кармана пальто.

— Да что ты? Французская?! И мой размер? — разволновалась женщина, тотчас скинула с себя одежду и принялась примерять грацию, стоя у зеркала.

Евгений Петрович включил телевизор, упал в кресло и стал смотреть парное катание на коньках. Но у жены что-то там не ладилось, и он встал, чтобы помочь ей. Но когда в голубоватом полумраке увидел эти мягкие контуры женского тела, быстро сходил проверил, крепко ли заперта входная дверь, поднял женщину и понес ее, шепча игривую, разжигающую чепуху...

— Нет, ты все-таки ненормальный! — фальшиво возмущалась она потом, собирая выпавшие из волос шпильки, пошла к зеркалу и продолжила примерять грацию. — Ни с того ни с сего. Ей-богу, ненормальный! — слышал он ее несерьезную воркотню.

Привел себя в порядок, плюхнулся в кресло перед телевизором, где на этот раз под меланхоличные переборы гитары шли куда-то вдаль дама в длинном платье и господин в котелке и с тростью.

— Эй! Чирик! — позвал жену. — Знаешь, кто мне сегодня звонил? Огородникова! Пригласила нас с тобой на завтра. У нее собираются. Великосветский раут. Хочешь?

— Еще бы! Что ж молчал? Непременно! Ужасно интересно! — Она поворачивалась перед зеркалом и так и этак, оглаживая себя поверх натянутой наконец грации. — В ней и пойду, и живот совсем не заметен. Ой! А ты знаешь, какое у меня платье есть? Один раз надевала. Чудо! Вот увидишь. Настоящее мохеровое. Не проси, сейчас не покажу, завтра перед самым выходом. Умрешь, просто умрешь!

Она давно умолкла и вышла из комнаты, а он по странному капризу памяти продолжал слышать ее слова, непрерывно и однообразно возникающие где-то в глубочайшей, беспросветной пустоте.

Он пробрался в спальню, быстренько разделся. Но уснул не сразу. Возникла потребность еще раз вспомнить прожитый день. Он перебрал в памяти кое-какие основные подробности, представил себя в разных положениях с разными людьми и нашел, что все прошло вполне на уровне. «Что ж, были минуты недовольства, некоторые срывчики, — признался себе Евгений Петрович, зевая. — Но, известно, человек никогда ничем не бывает доволен совершенно». Свалился на бок и уснул с ощущением полной гармонии со вселенной.

Вечером следующего дня Евгений Петрович искал запонки и случайно наткнулся в глубине стола на медную четырехугольную коробку. Вытащил, подержал в ладони, поглядел на магнитную стрелку, как она пляшет вправо-влево, вправо-влево... Перевернул коробку обратной стороной: «Штурману нашему Е. П. Прозорову от коллектива шахты «Дальняя» и от меня лично. Г. Рябов».

Усмехнулся. Было дело...

— Чего ты застрял? Поспеши! — крикнула из спальни жена.

— Спешу!

...Было дело... Это когда же? Лет шесть назад. Летом. Бригада Шеремета на рекорд пошла. Креперную выработку впервые применили. Рябов сам вечером явился:

— Торопись, штурман! Нарушение. Бригада не может стоять.

Ну, ясно... Тот, кто имеет власть, что ему главное? Чтобы бригада не стояла...

По всему предварительным данным — сброс пласта... затянут вниз... по хвосту видно. Для верности надо затащить сверло и пробурить метров на пять.

Но Рябов и дослушивать не стал, завелся:

— Какой сброс? Чего городишь? Чего сверло тянуть? Я нюхом чую — вверх пласт! Что у меня, опыта не хватает? Разосторожничался! Время! Время!

Рябов вышел он, Прозоров. И еще раз, когда сбойку на отлично провел.

Рябов к себе вызвал, протянул вот этот самый горный компас:

— Чепуховина, а глянешь когда...

И насчет тридцати персональных процентов к месячному окладу. Деловой мужик, ничего не скажешь...

— Поспеши! Опаздываем!

Сунул компас обратно в стол, пошел в ванную бриться. Брился и размышлял о том, что все, в общем, проходит, что все, в общем, что ни делается, к лучшему, что вот сейчас он отправится в гости и никого из начальства не обязан ставить в известность, где будет. Никаких неручных вызовов. Спокойный, независимый явится к Огородниковым

в своем отличном голландском костюме, сером, с серебристой полоской, и постарается произвести там приятное впечатление, чтобы и в дальнейшем Огородниковы звали его и привечали.

Вдруг за дверью заклацали кастаньеты, отрывисто застонал аккордеон, грубый женский голос потек медленно и медвяно.

— Вы-хо-ди! — услышал зов жены.

Прошел в большую комнату. Пусто. Крутились диски магнитофона. Пожал плечами.

— Обернись! — приказали сзади. — Ну? Что?

Обернулся. Лариса шла на него мелкими, убористыми шажками, поднимая руки над головой и щелкая пальцами, стараясь попасть в ритм музыки. На ней было пушистое платье. Серое... И голубое тоже... И как бы обындевшее и слегка колючее на ощупь...

— Где... ты... его... взяла?

— Та-та-та-та... та-та... — подпевала женщина, продолжая щелкать пальцами и настойчиво изображать испанскую танцовщицу. — Как где? Купила... случайно... Англия... Чистый мохер... — Ее голос был обезоруживающе беспечен. — Ну? Как? Убила?

— Убила, — выдохнул он и припал спиной к дверному косяку. — А теперь сними. Хватит.

— Что это ты? С ума сошел?!

— Сними! — Бросился к магнитофону и срыву остановил его.

— Ты это всерьез? Тебе не нравится-я? — Она подошла к нему с уже мокрыми глазами. Он увидел, как вскинулись, искривились в горькой обиде ее удлиненные карандашом брови.

— Нет, нет, — забормотал он, отводя от нее глаза. — Просто... да... просто в нашем городе... в этом Снежногорске... была пропасть таких платьев. — Солгал и постарался улыбнуться. — Не знаю почему, но пропасть...

— Да-а-а? А я случайно... через знакомых... Ну, ладно... что ж... если не нравится, сниму, — проговорила обидчиво и покорно.

— Нет... пусть... Я так... Тебе идет, — отступился он. — Очень идет. Я вижу теперь.

— Нет... правда? Я же говорила тебе! Говорила! — И пошла к зеркалу.

Когда жена, занятая примеркой бус, не могла заметить, он протянул руку к ее платью. Пальцы коснулись нежного пуха и заняли.

И тотчас после этого рискованного поступка он словно в поисках спасения obeжал глазами комнату, все эти полированные поверхности, все эти первосортные штучки цивилизации.

— Знала бы ты, как там было! — взмолился, цепляясь взглядом то за телевизор, то за шелковую шляпу торшера. — Скоростная проходка. Сумасшедший темп. Давай, давай! Надо начинать новый забой среди смены — меня вызывают. Зима, за полночь, пуржит. Бреду, тащусь из сугроба в сугроб... Покрутился, ничего себе.

Ему показалось, что он уже рассказывал об этом жене. Ну да ладно! Было. Было. Трудно? Трудно!

— Бедненький мой... Ужасно! — горестно вздохнула женщина и прижала его руку к своей груди. — Как хорошо, что все кончилось. Как хорошо!

— Хорошо! Да! — кивнул рьяно и встряхнулся. — Пошли. Опаздываем.

Мать честная, куда он попал! Уже от входной двери начинало казаться, что это и не квартира вовсе, а макет квартиры на международной выставке мебели. В просторной прихожей с зеркалом во всю стену вас просили повесить пальто в глубину черного лакированного шкафа,

отделанного серебряной чеканкой. Чтобы снять, положим, сапоги, вы имели право воссесть в одно из двух кресел, обитых невиданной экзотической тканью. При этом вам светил мраморный ангел, скромно стоящий в углу с электрическими свечами в воздетых руках, и чуть-чуть насмешливо улыбался вашей оробелости и смущению.

Дальше — больше: огромный толстый ковер под ногами, шкура леопарда, небрежно распластанная у камина, хрустальная люстра, а под ней белый рояль со свечами в позолоченных подсвечниках.

В соседней комнате, спальне, опять толстый, от стены до стены ковер, розовый, с порхающими там и сям пестрыми птичками и прочее и прочее.

— И еще одна комнатка, — скромно улыбаясь, сказала Огородникова и, шурша шоколадным шелком брючного костюма, провела любопытствующих в уютную келейку, где торжествовали высветленные изумрудные тона. — Детская, — сказала Огородникова и вздохнула озаченно. — Юрий!

Подросток, сидевший лицом к окну, вскочил, обернулся, вежливо склонил голову:

— Добрый вечер.

Приглаженные волосы его блестели, переливаясь то ли от воды, то ли от бриллиантина. На столе за его спиной громоздились учебники английского языка и словари.

Огородникова взглянула на часы, висевшие у нее на золотой цепочке, как медальон.

— Тебе остается заниматься восемнадцать минут.

— Да, мама.

— После чего...

— ...пью свою простоквашу. И пожалуйста, разреши прийти в гостиную послушать.

— Хорошо, — не сразу отозвалась Огородникова. — Но если ты...

— Постараюсь, мама...

— Поверю. Учти — в последний раз.

— Да, мама.

— Какой у вас сын! Какой воспитанный! Просто чудо! Серьезный! Дисциплинированный! Таких детей теперь и не бывает! — восклицали гости, возвращаясь в комнату с белым роялем.

— Что вы, что вы, — протестовала, впрочем, без энтузиазма, Огородникова. — В нем столько легкомысленного, максималистского, детского.

Пашка Внуков потянул Прозорова за рукав, отвел в сторону, сделал вид, что демонстрирует ему бронзового танцующего Шиву, похожего на спрута со своими многими руками.

— Что, паря? Обалдел? — спросил тихо.

— Еще бы! — отозвался Евгений Петрович, трогая пальцем холодный медный живот Шивы.

— То-то! — возликовал Пашка и щелкнул Шиву в лоб. — А ты обрадовался, на Сахалине Клондайк застолбил! Дурень! Дите! Букварь! Усек теперь, к какой золотой коровенке они присосались? Два языка вызубрить — шутка ли? Дипломы с отличием — тоже не фунт изюму. Капитал, паря! Осознали и не расплыли абы на что, а вложили в стоящее дело — за рубеж добились назначения. Слышал, в одной стране препаришный климат. А они? Себя не пожалели. А че им климат? Умеют!.. Ума палата. Почитай! А как же? Сила! Авось пригодится.

— Ну-с, пора заечь! — громко, торжественно возвестил Огородников, щелкнул пистолетом-зажигалкой и наклонился над черной дырой камина.

Вспыхнула, затрещала сухая береста, запахло смолкой, лесом.

Огородникова выключила люстру. Огородников дождался, пока пламя расцвело пышно и стало похоже на игрушечный пожар, выпрямился, обернул на себе серую бархатную куртку с костяными пуговицами.

— Ну-с, пока суд да дело, выпьем слегка? — спросил оживленно. И первым стоя красивым движением поднял хрустальный бокал с вином, болтающимся на донышке. — А ля фуршет! А ля фуршет! Прошу, прошу! Шотландское виски! Яванский ром! «Белая лошадь»!

Гости окружили стол. Замелькали в руках бокалы, бутылки, вилки с закуской. Пляшущий огонь камина засверкал переменчиво на гранях хрустала, на женских украшениях.

«Черт побери, да неужели я когда-то был на Сахалине?» — Прозоров с бокалом в одной руке и тартинкой в другой усаживался в кресло возле огня.

Напротив него, тоже в кресле, восседала массивная длинноносая дама, назвавшаяся критикессой Аидой Лентиной. Надкусывала шоколадную конфету и, утомленно приспустив веки, как бы через силу, из великодушия рассуждала:

— Я не могу с вами согласиться. Ни в коем случае. Это довольно милая картинка. Эти ночные, сумрачные эпизоды... Этот неуловимый диссонанс... зловещего морского пейзажа... Эта звенящая цикада, олицетворяющая страсть... Это находки... это образы... Режиссер невероятно талантлив, самобытен, интеллигентен.

Из своеобразного кокетства или еще почему эта дама не выговаривала шипящие и «ч», заменяя их «ф». Получалось «лефит» вместо «лежит», «фто» вместо «что», «пейзафа» вместо «пейзажа».

— Интеллигентен? Хо-хо! — разгневался, и, казалось, не на шутку, плечистый блондин в клетчатом пиджаке, вскинул голову и сделал два решительных шага вперед и столько же назад. — Интеллигент от слова «телега». Не больше. Знаю я его. Хам! Я снимался у него. Вырезал! Почему? Не счел необходимым объяснить. — Блондин возмущенно потряс остатками длинных кудрей и грозно уставился на пламя огня в камине. Припудренные мешки под его серыми, некогда красивыми глазами подергивались.

— На мой взгляд, — вкрадчивым, обезоруживающим полупшепотом заговорил Огородников, одинаково улыбаясь всем, — на мой взгляд, картина заслуживает внимания. В ней есть личность. Подумайте, какая лавина энергии, предприимчивости! Каков размах мечты! Пусть порочной, бредовой, бесчеловечной, но размах, перспектива!

— А мне, признаться, — заявил Пашка Внуков, вытирая салфеткой жирные, вкусные губы, — все эти бесконечные гонки, драки, крики напоминают винегрет, эдакое необычайное оживление овощей.

Он бросил салфетку, не сходя с места, на стол и попал.

В комнате рассмеялись. И самым громким, роскошным смехом — широкоплечий блондин в клетчатом пиджаке. Огородников подошел к Пашке и похлопал его по плечу — мол, благодарю, выручил, а то, чего доброго, заспорили б тут всерьез, как будто их для этого звали, — взял железный прут и полез в камин подбодрить огонь.

Критикесса и блондин зашептались о чем-то, как видно, интимном и чрезвычайно забавном. Она даже толкнула его пальцем в бок. А он, уже отойдя к креслу, где сидела его юная беременная жена, все еще продолжал посмеиваться, играл плечами, поводил тазом. Широко раскрытые болезненные глаза жены зачарованно следили за ним. Она робко, уклончиво улыбалась и перебирала худыми пальцами кисти пончо, из которого как-то нелепо и жалко торчала ее голая девичья шея. Вдруг, уловив какой-то тонкий намек своего кумира и повелителя, юная женщина, торопясь, раскрыла свою сумочку и подала ему трубку и

бисерный кисет. Казалось, даже ее светлые распущенные волосы, и бархатная ленточка, стянувшая их, и синее пончо — все ласково светится, переливается наивной преданностью плечистому потрепанному мужчине с самодовольным лицом.

Евгений Петрович перевел взгляд на Ларису. Она сидела на диване рядом с Пашкиной Нелли. Приоткрыв рот, страдальчески сведя брови, восторженным взглядом перескакивала от лица к лицу, от предмета к предмету. Отметил: положила обе руки на плотно сдвинутые колени. Наивная попытка выглядеть скромно и достойно среди столь блистательного общества. «Как просто сделать ее счастливой», — подумал не без досады. На ее платье он старался не смотреть.

— Евгений Петрович, дорогой, — неожиданно обратилась к нему Огородникова, — я думаю, вы уже освоились. Как видите, все люди милые, расположенные. Не откажите рассказать о Сахалине. Это исключительно интересно. — Огородникова смотрела ему прямо в зрачки своими ясными, настойчивыми, подгримированными глазами. — Мы все с величайшим удовольствием выслушаем вас.

Огородников издали незаметно наблюдал за этой сценой, ожидая результата.

«Ага... ясненько... я приглашен сюда в качестве закуски... салат... Нет, как нечто остренькое... для начала», — догадался Прозоров. Он сидит где? У камина. Он пьет отличное вино. Ему позволили попить ногами леопардовую шкуру. Искусственную, впрочем... Но все-таки. А теперь, значит, с него потребовали плату. Обычное дело! Жизнь! Только что он может рассказать о Сахалине? Им, утонченным, самоуверенным, всезнайкам и докам? Да и язык у него... Заурядный язык техспеца.

— Что-нибудь особенное... экзотическое... типично сахалинское, — подсказывает Огородникова, и тонкая требовательная улыбка застревает на ее лице. — Например, о тайфунах.

— Попробую.

Прозоров усмехается, оглядывается, краем глаза видит жену. Ах ты боже мой! Как осунулось, вытянулось ее круглое личико. Бедное создание, она на пределе, она боится, что он не выдержит экзамена. Нет, на нее просто смешно смотреть. Лучше смотреть на Нелли, в ее сонные, ленивые глазки.

— Что такое тайфун? — заговорил Евгений Петрович, обращаясь к Нелли, которая сквозь хрустальную рюмку разглядывала огонь. — Злой ветер и лавина воды. Думаю, всемирный потоп вот так и проходил. Что случается? Всякое. Дома тонут... нет, не большие, конечно, на окраине где-нибудь, в низине. Деревья выворачивает, столбы телеграфные сносит, глядишь — несется поток, пенится, а в нем чего только нет: доски, обувь, толь, ведро — всякое...

В комнату вошел подросток, этот благовоспитанный, с прилизанной головкой, неслышно сел на стул и уставился на Евгения Петровича.

— Случается, размывает железнодорожное полотно, поезда останавливаются. Еще что? Связь телефонная нарушается. Невесело, одним словом.

— Как же там, простите, люди живут? — скучающим голосом заинтересовалась Нелли.

Все рассмеялись.

— Очевидно, привыкли, втянулись... Иначе ж... — самоуверенно вымолвила критикесса и почесала мизинцем веко.

«Офевидно... инафе ф...»

— Живут. Работают. Что ж... — счел необходимым пояснить чем-

то задетый Прозоров. Почувствовал, что надо бы еще что-то добавить, порезоннее, но не нашелся, только руками развел.

— Люди живут там потому...— самоуверенный хриплый мальчишеский возглас прорвал едва восстановленную тишину,— потому что им интересно! Интересно, и все!

— Юрий! — Огородникова поднялась.— Что еще такое! Ты знаешь, что...

— ...я не имею права вмешиваться в разговоры взрослых. Прошу прощения. Молчу.— Мальчишка выпрямился и благонравно прикрыл колени ладонями.

— Продолжайте, Евгений Петрович, продолжайте.— Огородникова улыбнулась ему и села в позе орлицы, готовой взлететь при малейшем намеке на опасность.— Например, о цунами.— Опять мельком взглянула на часы, покосилась на дверь. Должно быть, уже не на шутку волновалась, как там художница и чтица Брюсова, не подведут ли.

— О цунами? — Прозоров чувствовал себя виноватым за внезапный разлад и с готовностью принялся рассказывать.

Слушали хорошо, тихо, даже взволнованно. Часто-часто дышала беременная, потрескивали головешки в камине. Мальчишка подался вперед и глядел прямо в рот Прозорову. Только критикесса думала свое, исподлобья глядя на юную беременную женщину далеким, завистливым и слегка ироническим взглядом.

— Было две гигантские волны. Накрыли весь поселок и потянули за собой в океан. Многие погибли потому, что как только первая волна схлынула, они решили, что все, можно спускаться с сопки и спасти хоть что-нибудь. Но тут...

Из-за стены послышалась старая военная песня.

— Вот, пожалуйста! — сказала Огородникова и поглядела на стену удрученным взглядом. Пересилила себя, улыбнулась, развела руками.— Как ни жаль, но нам, представьте, придется менять эту квартиру. Увы, за стеной живет сумасшедший. Старуха с совершенно сумасшедшим сыном. Его контузило лет тридцать назад, и с тех пор ему все хуже и хуже.

— Ему было восемнадцать лет, когда его контузило в голову,— тихо сказал мальчишка.— После десятого на фронт ушел. В сорок первом...

— Действительно,— глядя на сына в упор, сказала Огородникова,— все это вполне объяснимо... Но, согласитесь, крики ночью... под утро... Мы же не можем...

— Мной не оперируйте. Я лично привык и могу,— перебил мальчишка.

«Ну шельмец! Ну паршивец! — подумал Прозоров, не без удовольствия обнаружив столь опасную трещину в капитально воздвигнутом благоденствии Огородниковых.— Стоп! У тебя тоже дочь растет,— напомнил себе вдруг.— Как все обернется, знаешь, что ли?» Нахмурился, отвернулся от мальчишки, прислушался к голосу Огородникова-отца.

— Вот вам и хваленые интернаты! Причем лучший из лучших! К сожалению, мы вынуждены были оставить его.— Огородников шагнул по комнате размашистым, вольным шагом, демонстрируя при этом отличную посадку головы.— Он смеет перебивать мать! Смеет вмешиваться в разговоры взрослых! На что это похоже? Я спрашиваю тебя!

А песня за стеной все жила.

Сначала слова ее как бы летели над Прозоровым, почти не задевая. Но в какой-то непойманный момент они нахлынули, оторвали его от кресла, от света, звуков, запахов тысяча девятьсот шестьдесят такого-

то года, подхватили и понесли... И вынесли в затоптанную привокзальную полынь сорок первого, ужав при этом до размеров семилетнего пацаненка.

...Полынь пахла горькой, горячей от солнца пылью и бездомностью. И голодная слюна, то и дело забивавшая рот, была горькой и вязкой, как клей.

Но тошнотворнее всего был запах дезинфекции, застоявшийся надо всеми этими женщинами, детьми, стариками и старухами, копошащимися вокруг, кричащими, поющими колыбельные песни, рассказывающими, как жили совсем недавно, сколько блинов пекли зараз, сколько меда ели, как, в какой момент застало их известие о войне и что сказал, уходя на фронт, их муж, отец, сын...

Их высадили из поездов, чтоб пропустить через мытье в дезинфекционной бане, а потом погрузить в вагоны и отправить в глубь Средней Азии.

Отправки они ждут третьи сутки. Для них жжет с высоты белесое казахстанское солнце, для них бьет толстая струя воды из железного крана, для них гремит оловянное горло репродуктора:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

То и дело подходят бесконечные эшелоны, останавливаются ненадолго. Из них выскакивают солдаты в шинелях и ушанках, расхватывают из квадратной узкой дыры обособленного домика положенный им пайковый хлеб и по гудку паровоза сбегаются вновь, тяжело топоча сапогами. Буфера бьют друг о дружку, скрипит песок на рельсах от первого оборота колес, и вот уже эшелон мчится во весь опор в разверстую глубинную даль, и уже нет его — заглохло железное, скрежещущее, ненасытное — война.

Старший брат и мать с грудным затерялись где-то тут, но искать их лень. Солнце до того напекло макушку, что на ней как будто лежит горячий блин.

Тут и станция, и каждая шпала, и вся степь вокруг — дезинфекционная камера!

Глаза слипались от жары, от голода, от вялых, однообразных мыслей. Поэтому он сначала уловил запах, а потом увидел: солдат несет полбуханки пайкового хлеба с пайковой селедкой. Ему в глаз попала соринка. Он приостановился, положил паек возле своего кирзового сапога и принялся тереть глаз.

Солдат возился с глазом, чертыхался и ничего не замечал вокруг. Женька подобрался весь, цапнул хлеб и бросился бежать.

— Сто-ой! — закричал солдат.

Женька враз оробел, распустился и встал, хотя отбежал на вполне безопасное расстояние, в степь.

Солдат подбегал, громыхая сапожищами. Из рукавов его шинели торчали кулаки. Вокруг не было ни души. Какая-то одинокая букашка ползла по серому стеблю полыни. Солдат наступил на нее сапогом.

— Нате, нате, нате! Я не кусал! — бормотал Женька раздавленным голосом и тянул трясущиеся руки с хлебом.

Хлеб уперся в жесткое сукно солдатской шинели. Но солдат не глядел на хлеб. Он глядел на Женьку. Глаза у него на белом лице были черные и жуткие.

— Ах вот ты какой! — тихим, подкрадывающимся шепотом проговорил солдат. Черные глаза его вспыхнули. — Как ты мог? Хлеб у солдата? — шептал солдат и с присвистом сквозь стиснутые зубы втягивал воздух. — А я-то... верил! Вы подрастаете... Лучше нас... А ты...

— Натe, нате, нате! Ну пожалуйста, ну возьмите! Я нисколючки не укусил, ни крошечки, не лизнул даже! — без умолку надсаживался Женька, тыча полбуханкой в солдатское железное сукно.

Солдат охнул, осел в полынь, сдавил голову руками и пробормотал:

— Врешь! Врешь! Надо. В том-то и дело — надо. Всем надо! — Неожиданно подтянулся к Женьке, сгреб его руками, поддернул к себе, дыхнул в ухо горячим: — Прости меня, пацан. Забудь. Бери хлеб, бери весь, ешь!

Сквозь слезную муть Женька увидел вдруг женщину. Она стояла в полыни неподвижно, приткнув к открытой груди спеленатого младенца. Движением головы женщина отбросила с лица волосы, и Женька узнал в ней свою мать. Ее грудь, которую ребенок держал за сосок, была вся на виду, тугая, белая, как снежный ком.

Солдат глядел на эту грудь, на распоряжающегося ею младенца.

Ногами развалив высокую загрубелую полынь, Женькина мать шагнула к солдату, оторвала ребенка от груди, протянула ему и сказала:

— На. Подержи.

Ребенок обиженно мяукнул. Солдат в смущении отступил, сдвинул ушанку к затылку.

— Ничего! Держи! — подбодрила его Женькина мать и положила живой кулечек в его ладони, подставленные корытцами, а сама скинула с ноги туфлю и потрясла — либо камешек выкинула, либо песок ссыпала.

Солдат сначала присел словно от большой, внезапной тяжести, но потом выпрямился, качнул шуточную ношу скованными, непривычными руками, покраснел малиново и пробормотал сквозь растекшиеся губы:

— Вот оно какое... Такое, оказывается... как его... ну, в общем, теплое... копошится...

— Тебя как зовут? — спросила Женькина мать, вытряхивая другую туфлю.

— Владимир. Смоленский я, вяземский. А что? — Солдат разглядывал младенца и морщился от веселого глуповатого недоумения.

— Значит, быть ему Владимиром, — сказала Женькина мать.

Она взяла у солдата распищавшегося новокрещенного Владимира и вернула ему свою грудь.

Солдат смотрел на мать неотрывно, во все глаза. Губы его дергались, он что-то силился сказать, но вместо этого потянулся к матери весь, преданно, охранительно и еще как-то непостижимо для детского ума.

И мать не отстранилась, не остереглась, а подняла к нему спокойные мягкие губы. И в этот миг он, Женька, открыл вдруг, что глаза у солдата вовсе не черные, а светлые, и что он вообще очень красивый и молодой, и что мать с легкой, кудрявой головой, с алыми бусами на загорелой шее тоже совсем еще молодая и красивая. Пожалуй, он никогда больше не видел ее такой красивой ни до, ни после... Вспыхнуло и погасло...

А со стороны вокзала гремело:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна-а-а...
Идет война народная,
Священная война.

И все это, вместе взятое, называлось станция Арысь.

Арысь? Как он очутился на станции Арысь? Он не желает! Не желает думать ни о чем об этом!

Но все-таки думает, черт побери! Среди тех, кто умирал тогда, в сорок первом, втором... были лучше его. Действительно, если разобраться, кто он сейчас? А кем мог быть? И уже совсем дурацкое, заметив этикетку на уголке полотняной скомканной салфетки: «Вязьма? Смоленской области? Неужели это там делают сейчас такие штучки? Неужели там тихо-тихо и вот эти салфеточки стопочками? А бои за Вязьму? Никаких боев за Вязьму? Ни в каких военных сводках про Вязьму? Никаких военных сводок вообще?»

В конце концов он крепко разозлился на свою податливость и благодаря этой здоровой нетерпеливой злости выдернул себя из засасывающего водоворота прошлого и отряхнулся от блажных, прилипчивых, развинчивающих вопросов.

— Отправляйся к себе! Сейчас же! Я с тобой еще поговорю! — прикрикнул на сына Огородников.

Мальчишка резко крутанулся и вышел. Прозоров с безотчетным злорадством посмотрел ему вслед.

Он приготовился рассказывать о Сахалине дальше. Он придумал о чем: как идет на нерест горбуша, какое это необыкновенное, почти устрашающее зрелище, когда рыба к рыбине, плотно, неудержимо, и вода словно кипит, ну и так далее.

Но Огородникова включила телевизор, широкоэкранный, цветной, а вскоре объявилась долгожданная художница. Курчавая, смуглая, она воздела молодые руки кверху и закружилась посреди комнаты в оранжевом платье, шелестящем, как ворох осенних листьев. Широкий подол, вовлеченный в кружение, взлетел, превратился в солнечный диск и пал к ногам хозяйки послушными кокетливыми волнами.

О Прозорове забыли.

— Марина Rogozovskaya, — представила Огородникова. — Почти единственная в своем роде. Платье, которое вы видите, сделано ею самой.

— Белый мадаполам, — звучным лукавым голосом продолжила художница. — Но его присутствие незаметно, не так ли? Платье написано масляной краской. Секрет предварительной пропитки лично мой. В этом платье гастролировала за рубежом скрипачка Глауфрова.

Присутствующие ахали, охали, трогали платье кончиками пальцев. Художница смеялась, вертелась, возвращая вечеру утерянную было окраску беспечности, легкости, праздничности.

Огородниковы стояли рядом в сторонке и улыбочиво, покровительственно и чуть-чуть свысока наблюдали происходящее. «Львы, когда они сыты, позволяют антилопам пастишь поблизости», — припомнилось Прозорову читанное когда-то. На него размалеванные декоративными мазками тряпки не произвели впечатления. Он продолжал сидеть в кресле возле камина. Он чувствовал себя неприкаемым. Его как будто одурачили. Заставили ступешеваться, едва явилось «второе блюдо», вот это вертлявое, бойкое, экстравагантное существо. А его, Прозорова, не дослушав, уже забыли. Легко и просто. Со всем его Сахалином.

И вдруг он оскорбился. И за себя и за Сахалин. И демонстративно отвернулся к телевизору.

Его очень крепко одурачили. Может, он никогда в жизни не чувствовал себя таким одуроченным.

По телевизору во весь дух мчался паровоз и тянул череду вагонов и черный длинный бредень дыма. Евгений Петрович засмотрелся на этот густой бестолковый дым и подумал, что паровоз — образец безо-

бразной расточительности. Паровоз уничтожает уйму угля, а результат? Коэффициент полезного действия? Три процента! Девяносто семь процентов энергии буквально в трубу! Нелепость? С необъяснимой, чуть насмешливой симпатией поглядел Евгений Петрович вслед устарелой, неразумной, задающей от спешки машине.

— Жень, ты что?! — горячо, влажно зашептали Прозорову в ухо. — Чего надулся? Ты смотри, смотри! Какие люди! Видел, что ли, такое на своем Сахалине? — Жена нетерпеливо дергала его за спиной.

— Между прочим, — он грубо отбросил ее руку, сжал зубы, — между прочим... Чижик... там тоже... люди живут...

Лариса отпрянула и отошла робко, неслышно в этом пушистом своем, как будто обываевшем слепка, а на самом деле, нежном и теплом платье... Вон оно! Ослабел... ошалел, опьянел... И попался... Нечего было пить, болван! Слабак! Размазня!

С маху бросил ладонь на глаза. А когда открыл глаза, то там, на диване, где только что сидела его жена, увидел совершенно незнакомую женщину. Корона черных тяжелых волос, высокий лоб, черное платье, а на нем, на этом суровом, мертвом фоне, живым, чувственным крестом две голые руки, две узкие страдающие кисти.

Это было? Неужели? —

произнесла женщина, пристально вглядываясь во что-то дальше, еле различимое, и умолкла, устала будто. Но широкий, низкий раскат ее голоса, казался, еще продолжал колебать воздух и огонь свечей, зажженных над клавиатурой рояля.

«Ага, чтица, — догадался Прозоров и заставил себя вспомнить, что сидит в удобном кресле и огонь камина нежно дышит ему в щеку. — Гляди и чувствуй! — сказал он себе. — Красивая женщина читает Брюсова. И тебе тоже. Сколько бы желающих нашлось очутиться на твоём месте! А ты...»

Это было? Неужели? —

громче, увлеченней повторила женщина и как бы в забытьи приоткрылась кончиками пальцев к переносице.

Нет! и быть-то не могло.
Звезды рдели на постели,
Было в сумраке светло.

«А ты? А ты? — соображал Прозоров. — Ну не глупо ли обижаться на Огородниковых? Язвить? За что? Только потому, что они не все внимание сосредоточили на тебе? Вон же художница, получила отставку, и ничего, сидит жуёт тартинки. А ты особенный, что ли? Ох уж эта заскорузлая плебейская заносчивость! Чумная плебейская спесь! За Сахалин обиделся... Тоже еще... Что, может, любишь его без памяти? Нет, но все-таки... Что «все-таки»? Что «все-таки»? Это... вокруг — и Сахалин... Сравни! Совместимо? Фу ты, глупость какая! — Евгений Петрович крутнул головой, усмехнулся. — Ну конечно же, никакого сравнения! Даже смешно». Откинулся на спинку кресла и точно очутился в ненавязчивых, мягких объятиях и осознал наконец, что никогда прежде, ни при каких других обстоятельствах он не чувствовал себя дальше от Сахалина и связанных с ним воспоминаний, чем сейчас, здесь. Даже представить невозможно, что он не так уж давно месил грязь малюсенького шахтерского городка пропотевшими сапожищами. Внезапное чувство освобождения охватило Прозорова, заставило улыбнуться блаженно и бессмысленно. Это была немного истеричная улыбка человека, который минуту назад думал, что болел неизлечимо, но вот ему представили неизвестные доселе убедит-

тельные доказательства ошибочности такого диагноза. И он горячо, нетерпеливо поверил в свою неуязвимость.

Сквозь туман таинственный
Голос слышу вновь,—

проник в его уши протяжный шепот,—

Голос твой единственный,
Юная любовь!

В чтении надменной женщины была напряженная, до дрожи, размашистая плавность, подобная лету качелей. Каждое слово она начала чуть глуше, а заканчивала звонче, облегченной, словно заставляла его внезапно взлететь ввысь. Еще немного — и Прозоров поддался колдовской власти этого торжествующего в тишине голоса. Его подтолкнуло, закачало, раскачало — не остановить: вверх-вниз, вверх-вниз... И жутко и сладко до головокружения. Сумрачная, дикая лесная чащоба, грузно, опасно нависшая над ним, вдруг представилась Евгению Петровичу. Там, на Сахалине, он как-то забрел в такое глухое, сырое место. Лиственницы, ели, осины, лопухи-гиганты — все росло тут до того густо, жадно, неукротимо, что он оробел вдруг и бросился туда, где мирно, дремотно, понятно светило солнце и где обыкновенная плешивенькая тропинка висала себе и висала в кургузеньких бамбуках.

Тихо наклоняется
Призрак надо мной,
Призрак улыбается,
Бледный и земной.

В груди заскребло, заныло, да так явственно, что Прозоров оглянулся — не слышит ли кто. Но все сидели неподвижно, приспустив веки.

Вот зажглись жемчужные
Звезды в небесах,
И слова ненужные
Снова на устах,—

тосковал одинокий голос, изнуренный страстью и недоумением. А Прозоров, утирая пот с висков, закрыв глаза, ошеломленно и зло уверял себя: «Ну и что? Что? Она читает. Они слушают. Всего-то. Ну, Брюсов. А что Брюсов? Умер давно. И мне наплевать. На него и на его стихи! Да!»

Открыл глаза, углядел кружево комбинации, белеющее чуть изпод черного платья чтицы, и почувствовал с облегчением, что таинственная власть ее голоса над ним слабеет. Чтобы закрепить свою независимость, встал, подошел к столу, выпил залпом рюмку коньяка, еще и еще, не глядя по сторонам. А потом, когда чтица умолкла, подошел к ней на беспомощных пьяных ногах, потребовал строго и убежденно:

— Не надо Брюсова! Никаких стихов! Мало ли... К черту! Мы все со станции Арысь... Только тихо... я понимаю... ни к чему. Арысь-брысь! Правильно? Брюсов... Ну и что? Мы все не просто... Хватит! Помер давно! А мы живые! Во взаимном уважении и сочувствии! Прошу, требую — не надо поддаваться! Не надо останавливаться! Вперед и вперед, и ни-ка-ких!

Все смеялись. Чтица тоже улыбнулась, обмочила в бокале губы и стала прощаться, деловитая, неподкупная, величавая.

...По дороге домой Евгений Петрович протрезвел. Он брел, сунув руки в карманы расстегнутого пальто, уставясь взглядом в мокрый, разящий сыростью асфальт, и подводил итоги: «Вот, значит, как это будет. Культурное времяпрепровождение. Красиво, вежливо, то... се... Немного юмора, немного вина, разговорчики о том, о сем, стихи, свечи... И я тут же. «Евгений Петрович, дорогой, будьте любезны, положите в камин полешко. Прекрасно. Благодарю вас, благодарю...»

В узком каменном переулке, куда они завернули, было как-то особенно сумрачно и сонно. И звезды казались отсюда дальше, недоступнее, словно мерцали не у поверхности небесного океана, а из самой его глухой глубины.

Вдруг Прозорову показалось, что переулок и небо над ним вздрогнули. Из распахнутого окна старинного дома с колоннами ударили два мощных фортепьянных аккорда. И на непокрытую голову Прозорова обрушилась с гулом и звоном лавина гневных, вопрошающих звуков. Прозоров инстинктивно отшатнулся от темной расщелины окна и замер, схватившись рукой за каменный выступ. Старая отсыревшая штукатурка раскрошилась под пальцами. Он услышал, как она просыпалась на асфальт, потому что внезапно опять стало тихо, отчетливо тихо после такого неистового, разрушительного грома.

Прозоров отпустил выступ, шагнул было прочь, мимо. Тинь-тинь — робко, просительно вскрикнула ему вслед клавиша. Остановился, поднял голову к черному четырехугольнику окна.

— Женя, Жень, мне холодно. Чего ты? Идем! — звал голос.

Кого? Его, что ли?

— Ночь темная, два часа, — ныла и сердилась женщина. — Не имеют права. Людям спать мешают. Есть постановление Моссовета. Специальное. Вот нахалы.

Тинь-тинь?.. — доверчиво спрашивала одинокая клавиша. Тинь-тинь? — и в темном воздухе сверкнула Прозорову на миг зовущая, преданная полуулыбка. Обеими руками он потянулся к колонне, и обнял ее, и прижался к ней весь, ободрал скулу о выщербленную штукатурку и не почувствовал боли.

...Он забыл раздеться. В пальто, в грязных ботинках прошел в спальню, сел на постель. Сидел долго, свесив ненужные руки.

И так и эдак пробуя расстегнуть грацию неподдающимися утомленными пальцами, полуголая женщина время от времени заглядывала в его раскрытые остановившиеся глаза, но они не отвечали ей.

— Ты как теледиктор. Вроде смотришь в упор на меня, но вовсе меня не видишь, — попробовала она шутить.

Он не откликнулся, не сморгнул. Ее для него не существовало. Он сам по себе — она сама по себе. Так она, должно быть, поняла, и, вероятно, поняла правильно. Внезапный страх сковал ее лицо, замер в глазах.

— У тебя была женщина, — прошептали ее омертвевшие губы. — Я чувствую, чувствую! — твердила она с возрастающим ужасом перед опасностью опалы и одиночества. — У тебя была баба! Проститутка несчастная!

Она корчилась, тщетно в который раз пытаясь расстегнуть «молнию» на спине и высвободиться из тесного шелкового мешка. А он посмотрел наконец на нее и увидел, как из-за туго натянутых краев материи вспучиваются изолитки ее полноты, как от крика безобразно вздулись жилы на ее розовой шее.

— Молчи, дура, дрянь, — устало сказал он, не поднимая обвисших рук.

— Что? Как?! Хам! — очумело и жалко вскрикнула женщина.

— Хам, — равнодушно подтвердил он. — Хам, Лариса, хам.

Обхватил голову растопыренными пальцами и стал качать ее туда-сюда, к правому плечу — к левому плечу, убаюкивая застрявшую в ней боль.

Наутро, едва очнувшись от сна, подхватился, отыскал еще непробированный эспандер и принялся усердно тянуть.

Жена лежала на спине, закрыв глаза, но не спала. Он заметил это по нечаянному движению ее губ.

— Лариса,— позвал смиренно, продолжая что есть мочи растягивать туго поддающуюся пружину.— Я здорово перепил вчера. Прости, если что не так... И давай больше ни в какие компании, никаких пьянок. Ну их к бабушке!

Она разлепила ресницы, громко, страдальчески вздохнула.

— Скажи спасибо, что родителям не позвонила,— отозвалась с плаксивым, напускным презрением.— Да, да! Вчерашнее твое хамство — это... это...— Она приподнялась, пытливо поглядела на него, готов ли он оценить сполна ее благородство.

— Спасибо,— покорно сказал он, из последних сил растягивая эспандер.— Спасибо.— Отдохнул, подумал, приступил к прыжкам.

— Тебе что, яичницу, омлет? — спросила она никаким, будничным голосом, и он понял — старается. Тут поневоле растрогаешься.

— Хочешь, я сегодня зайду за тобой после работы? Пойдем куда-нибудь. На какую-нибудь выставку, что ли... Погуляем. Или в кино... Как? — спросил ее в полный голос, чтоб она услышала там, в кухне.

— Правильно! — откликнулась она быстро и что-то уронила, но не разбила, кажется.— Правильно! Ты ни разу у меня не был. Вот будет здорово. Ужасно!

Она очень, очень спешила успокоиться и старалась говорить с ним так, словно ничего не произошло. И люстра, три легких прелестных шарика, покачивалась над ним так, словно ничего не произошло.

...В этот вечер и еще вечеров десять подряд он заходил за ней в библиотеку.

— Ты? Ну сядь вон там, полистай журналы,— подчеркнуто наплевательски встречала она его, не покидая своего рабочего места за деревянным барьерчиком, и продолжала с преувеличенной сосредоточенностью общаться со своими читателями.

Хо-хо... детский кроссвордик. Ну конечно же, она ждала его и рада ему, вон как сладко завибрировал ее голосишко, обращенный к лысому большеухому старику:

— В таком случае рекомендую сборник современных английских новелл.

— Читал, барышня.

— Сборник современных итальянских новелл?

— Тоже читал.

— Тогда...

Она необыкновенно, навязчиво заботлива. А все потому, что это час торжества ее разбуженного женского тщеславия. «Смотрите! Смотрите все! — как будто слышит он ее безжалостный наивный вопль, обращенный ко всем женщинам мира, и к одиноким — прежде всего.— Вон он, мой муж, моя собственность! Ждет меня и нисколько не пылит. Какое послушание! Видите? Видите? И ведь не заморыш какой-нибудь, нет! Настоящий стопроцентный мужчина! Мой!»

Она сама рассказывала ему, как это с ней происходит. Она вообще не умеет ничего попридержать в себе и успешно уничтожает всякую иллюзию загадочности своих поступков и порывов. Это, ко-

нечно, сильно упрощает отношения. Тот, очкарик, может, именно в этой неумемной ее откровенности находил утешительную для себя прелесть? А что? Должен же был он в чем-то находить ее.

...В библиотеке Прозоров, разумеется, часто видел тех двух девиц-принципиалок: толстушку с двумя желтоватыми хвостиками, торчащими из-за ушей наподобие снопиков, и худую, черноволосую, похожую на пажа-переростка. Обе они ходили, важно закинув головы, здоровались с забавным нелепым высокомерием. Он слышал их подчеркнута официальные, прокурорские голоса, которыми они разговаривали с читателями. Особенно та, очкастый паж. «Чудные, чудные все мы, люди»,— усмехался и смутно чувствовал, что в чем-то как-то эти две упрямые девушки родственны ему. Обнаружить это было почти так же неприятно, даже оскорбительно, как открыть вдруг зловещую, противоестественную связь между собой — молодым, здоровым, энергичным, и дряблым, унылым тестем.

И все-таки однажды в гостях у стариков Прозоров испытал не только снисходительную жалость к смешному пузатенькому читателю могучих, деятельных, деспотичных личностей. Неожиданно острый кончик этого случайного, предназначенного другому сострадания кольнул в сердце самого Прозорова, словно и он тоже кончился весь, вышел, выдохся, ни на что толком не годен уже, никому всерьез не нужен, и не заметил сам, когда это произошло с ним. Прощаясь, он порывисто стиснул руку своему нечаянному собрату, но тот отшатнулся от него с гримасой боли и недоумения на добром скучном лице.

Что же касается девушек-библиотекарш, то и с ними Прозоров, сам того не желая, здоровался как-то уж очень свойски, участливо, не считаясь с их дурацкой слепой заносчивостью.

Несколько раз, мельком, встречал он и ту, Дарью, в брючках и неизменной белой шерстяной кофточке. Она подходила к нему первой, смело протягивала руку и улыбалась, щуря синие дерзкие глаза. Он видел частый тонкий переплет морщинок возле ее глаз и на вздернутом худом носике, хорошие молодые зубы, сияющие чистым блеском. А однажды успел разглядеть аккуратную, еле приметную штопку на белой кофточке,— должно быть, проггла горячим пеплом от сигарет.

И хотя она была любезна с ним и кокетлива, пожалуй, его не оставяла трезвое подозрение, что все это чепуха, привычная, мгновенная самозащита, ловкая, лукавая, обаятельная импровизация на тему «какое мне дело до вас, Е. П., а вам — до меня?».

Что ж, обижаться не за что, глупо. У каждого из них своя, отдельная жизнь.

И все-таки Прозоров только делал при ней вид, что нисколько не задет, усиленно беспечно улыбался и пытался острить ей в тон. Но едва она уходила — «Работа, работа, понимаете ли!»,— он с безответным недоумением глядел ей вслед, на ее разбросанные по плечам и взлетающие на ходу легкие темные пряди. Сама того не подозревая, она раздувала в нем какую-то притаившуюся, тихо тлеющую тревогу, которая потом долго, болезненно остывала в нем.

Это особенно беспокоило Евгения Петровича в часы досуга. На работе же он чувствует себя в полной безопасности от подобных смущающих душу мыслей. Работа, которую он знал и толково выполнял — чему прямое свидетельство уважение сослуживцев,— неизменно поднимает его в собственных глазах. «Как трудящийся человек я полезен обществу. Вот главное, что определяет мою настоящую

цену», — рассудил он раз навсегда. Все остальное, всякие чувствования, поступки, не относящиеся непосредственно к его деловому «я», представлялись ему несущественными, нестоящими, чтобы на них задерживать внимание.

Он хочет от жизни простоты и ясности и не желает искусственно и бессмысленно усложнять ее всякими-разными самоковыряниями, достойными разве что слезливых старых девиц, которым больше делать нечего.

А у него дел хватает. Некто Тихонов, инженер по технике безопасности шахты «Светлая», жалуется на свое полубесправное положение и на грозящее увольнение, «что есть беспринципная месть начальника шахты Андреева, который не терпит вынесения сора из избы».

В короткой записке Андреева, пришпиленной к многостраничной жалобе Тихонова, сказано лишь, что молодой специалист Тихонов обладает вздорным, вспыльчивым характером, рубит сплеча, отчего страдает авторитет уважаемых людей и производство.

Сдержанный, деловой тон записки вызывал невольное доверие, а многословная жалоба, написанная скверным почерком, полная восклицательных знаков, как будто в самом деле неприлично громко вопила и скандалила.

Евгений Петрович отрывает уставшие глаза от бумаги, глядит в огромное пустое окно, в голубую, освежающую взгляд небесную высь и думает о том, что жизнь каждого человека и состоит в основном из разного рода взаимоотношений с людьми, из сомнений, удовольствий, подозрений, тревог, связанных с теми, от кого сам зависишь и кто от тебя зависит. И есть способы сделать эту зависимость необременительной для себя и есть способы превратить ее в тягостную, мучительную обязанность. Этот Тихонов, прав он или нет, все равно неприятен ему, потому что явно из тех, кто не хочет или не способен строить свои взаимоотношения без вывертов, под контролем разума и воли.

Лично он, Прозоров, умеет жить в коллективе. Бывало, уживался и с весьма неприятными людьми, которые относились к себе с безоговорочным забавным уважением и считали, что если им доверено руководить, одно это доказывает их всестороннюю незаурядность, и позволяли себе с апломбом невежд судить о тех сторонах жизни, о которых знали понаслышке.

Разумеется, можно было оборвать, противопоставить собственное суждение. Наверное, можно было... только стоило ли? Из-за чепухи рисковать положением? Трепать нервы? Евгений Петрович, сколько помнит себя, ни разу не сорвался. Он здраво продумал этот древний вопрос и настроил себя на целомудренную сдержанность по отношению к тем, от кого зависел. Приложил усилия, воспитал себя соответственно. Уверен — и делу от этого только польза.

Поглядел на дверь. Точно там кто стоял — одобряющий, кивающий, улыбочивый.

Но там... сидел Рябов. За широким своим столом с шахтерской каской посреди. И морщился, и кривился, и нетерпеливо щелкал пальцем по каске. Выслушивал настырного, прилипчивого участкового механика Лапшина.

Человечишко этот, желчный, вкрадчивый, с неопытными волосенками, был, ясно, неприятен Рябову. И, вероятно, посильнее, чем ему, Прозорову, случайному свидетелю их разговора.

Когда Лапшин исчез за дверью, Евгений Петрович улыбнулся Рябову сочувственно и сказал:

— Типичный склочник. Глядеть и то тошнит. Его, что ли, забота? Вечно суется в чужие дела! Все считает себя умнее всех!

— Мало, мало приятен,— ласково отозвался Рябов.— Не люблю. Ну и что? — И вскинул на Прозорова холодные, примеривающиеся глаза.— Что?! Противен — и точка? И по домам? Критику наводит — и сразу в склочники? А если по существу, если дело говорит? — И ни с того ни с сего поднялся и, повернувшись к Прозорову спиной, лицом к окну: — Ты умирал хоть раз? Нет? Зря. Умирать полезно. К смыслу жизни прорываешься напрямки. Истинно, брат.

Евгений Петрович вздохнул, покрутил головой и вдруг сплюнул и вслух выругался нехорошо в своем респектабельном московском кабинете:

— Опять? К черту! «Рябов, Рябов...» Дался же! Нету! Нет! Зараза!

Покосился на дверь. Был. Стоял. Ждал. Чего? Чего ему надо от Прозорова?

В дверь стукнули. Евгений Петрович обрадовался живому звуку. Заглянула кудрявая девичья головка, построила удивление на розовом личике и скрылась.

Вспомнилось о весне, о капели за окном. О необходимости разобратся с жалобой.

Ну-с, как он поступит с этими, да вот — Андреевым и Тихоновым? Чью сторону возьмет? А вот так — беспристрастно. Именно. Несмотря на антипатию к скандалисту-инженеру и симпатию к его начальнику. Это во-первых. Это во-вторых. И в полном соответствии с законом. Это во-вторых. Что от него и требуется как от честного, добросовестного работника. Тем более что никаких страстей не хватит, если их тратить на каждую входящую-исходящую. Ну, как? Устраивает вас такая постановка вопроса... Рябов?

Прозоров кладет перед собой девственный лист бумаги и принимает сосредоточенно скрипеть пером. «А все-таки почему, почему Дарья Севастьянова? — внезапно прокрадывается в надежные, строгие рассуждения новый посторонний смущающий вопрос.— Откуда это чувство зависимости от нее? Неудобства? Пожалуй, даже робости?» Но тут очень кстати, спугивая мелкую, мирскую заботу, звонит телефон. Междугородная. Сосредоточенно, не перебивая, выслушал, вежливо, вразумительно ответил. Там, за сотни километров, несомненно, остались довольны его выдержкой и деловой хваткой. Удовлетворенный, отхлебнул воды из стакана. Поморщился — перестояла.

...Поигрывая веточкой сирени, в добром расположении духа Евгений Петрович Прозоров отправился после работы в библиотеку к жене, чтобы увести ее в Сокольники, на выставку аттракционов.

Лариса, ясно, возликовала, быстренько убрала свой стол, схватила сумочку:

— Готово. Побежали!

Но мимо прошествовала строгая девица-паж Алевтина, кивнула Прозорову, по обыкновению снисходя как бы, а у Ларисы спросила тоном классной руководительницы:

— Прозорова, ты не забыла поручение?

— Ах! — смутилась Лариса.— Жень, нужно к Дарье зайти, зарплату отдать. Забегим? Дарья заболела. На минутку. Ладно?

— Ну-у... ладно... — протянул Прозоров и обнаружил в своем безмятежном фальшивом голосе знакомую ноту тревожного любопытства.

— ...И увидишь ее мужа. Посмотришь, как это: молодая, приятная такая — и с таким стариком... — ублажала его дорогой жена, уверенная, что идет он к Севастьяновым через «не хочу». — Послушай, не говорила я тебе? У него же еще и ноги нет. Представляешь? Ужас! По колено...

Часть третья

...Севастьяновы жили на первом этаже блочной стандартной пятиэтажной конструкции, которые в совокупности образовали московские, киевские, сахалинские и так далее Черемушки. Их дом к тому же давненько утратил свой первородный рафинадный цвет. Несчетные дожди оставили на нем серые расплывчатые следы. Но вокруг него так высоко, густо громоздились волны свежей майской зелени, что неприглядная эта пятиэтажка вопреки очевидному выглядела белоснежным лайнером в океанских волнах.

У подъезда Севастьяновых высился пирамидальный тополь, а у его подножья раскинуло ветви гибкое деревце, опушенное нездешним лиловатым цветом.

Дверь открыла девушка в веселом азиатском платье.

— К Севастьяновым? — спросила без улыбки и ножом, который держала в руке, указала направление. По ее спине поверх переливчатого нерусского узора медленно стекала тяжелая белокурая коса.

Пахло пережаренным мясом, пряностями раздражающе резко и вкусно. А где-то в глубине квартиры звенел ликующий младенческий голосишко:

Вы машины, вы машины,
Вы не можете без шины!

Девушка исчезла в кухне.

Прозоровы подошли к закрытой двери Севастьяновых. Но невольно заглянули в соседнюю приотворенную и увидели ребенка, осыпанного светлыми спутанными кудрями. Он весь вместе с розовым пластмассовым горшком, на котором сидел, был залит солнцем.

— Это ты стихи сочиняешь? — спросила умиленная Лариса.

Ребенок повернул к ней смуглую щекастую мордочку, посмотрел узкими карими глазами, ответил небрежно:

— Нет, я просто балуюсь.

Прозоров стукнул в дверь. Она тотчас распахнулась. Высокий седой человек в цветастом фартуке, с шумовкой в руке встал в проеме, глянул на них и, нисколько не смущаясь ни фартука, ни шумовки, представился:

— Севастьянов Алексей Федорович. — Пригласил войти, извинился: — Тут у меня, понимаете, срочное дельце.

И исчез в сторону кухни.

— Как, Маша, пора? — донесся оттуда его озабоченный голос.

Дарья сидела в старинном вытертом кожаном кресле спиной к письменному столу. Солнце свободно било в незанавешенные стекла, и темно-русые, небрежно разбросанные по плечам волосы Дарьи, пронизанные солнечным светом, казались рыжими. Дарья сидела, подбрав под себя ноги, закутанная пушистым пледом в алую и черную клетку. На тонкой ее шее белела повязка, видимо компресс.

— Здравствуйте, — сказала беззвучно, одним движением смеющихся губ и с лукавым огорчением пальцем показала на свое перевязанное горло: — Болит.

Спрятала руки в плед, глазами предложила сесть напротив, возле круглого стола, стоящего посреди комнаты.

Если исключить пространство, которое занимали ее кресло, два

стола, и нишу, где за драпировкой пряталась кровать, то все остальное место слева направо, снизу вверх принадлежало в этой комнате книгам. Даже красивое овальное зеркало было подвешено к стеллажу. Ну, естественно, и пахло книгами. Правда, не так чтобы очень, но запах перележалой бумаги и пересохшего клея все-таки чувствовался. Под письменным столом тоже белели пачки книг. И одна, толстая, темная, лежала на подоконнике, под стаканом с ландышами. На белой скатерти стола лежал грязноватый фанерный ящик, посылка. Прозоров прочел на оторванной крышке обратный адрес, выведенный расплывшимися чернилами: «Ташкент. Улица Навои, 14, кв. 2. Каримов Р. Д.».

Дверь отворилась. Вошел Севастьянов. Обими руками он держал обмотанный полотенцем котел. Осторожно поставил его на металлическую решетку.

Котел был таким горячим, что Прозоров на расстоянии ощущал раскаленный металл.

— Еле успел. Еще две минуты — и прощай плов, здравствуй каша, — сказал Севастьянов и шумно, с удовольствием вздохнул.

Следом за ним с огромным пустым блюдом вошла девушка в азиатском платье.

Блюдо поставили посреди стола. Принесли тарелки и ложки. Девушка с неулыбчивыми светлыми глазами делала все быстро и бесшумно. Ее худое, легкое тело словно плясало под просторным куполом платья. Грузным маятником ходила белокурая коса.

— Вы извините, мы ведь на минутку, — сказала Лариса и поднялась. — Мы только деньги отдать. Вот они, пожалуйста, Дашенька. Мы в Сокольники, аттракционы смотреть.

Дарья вытащила руку из пледа, подошла, раскрыла для ответа рот, но закашлялась.

— Нет. Не пойдет, — сказал Севастьянов и поставил перед Ларисой тарелку и рюмку. — Не полагается. Прошу присесть. Есть закон.

Может быть, он шутил, но глаза его серые под черными угловатыми бровями посмотрели на Ларису строго и властно.

Девушка рылась в посылке. Доставала и разворачивала свертки, пакетики, кулечки, и чем дольше продолжала она это свое одинокое молчаливое занятие, тем ниже и ниже склонялась ее круглая гладкая голова. И вдруг тук-тук-тук — застучали по мятой бумаге капли слез.

— Маша! Машенька! Где же Тимур? — быстро спросил ее Севастьянов, поглядел на гору свертков, выхватил из одного что-то блестящее, оранжевое, оказавшееся маленьким стеганым халатиком. — Ты глянь, Маша! Только глянь! — звал он. — Ай да бабушка, ай да бабушка! — Он держал халатик высоко над собой и так, чтобы милая забавная вещица целиком была залита солнцем. — Маша, Машенька, да ты только взгляни! — не отставал Севастьянов. — Только взгляни!

Девушка покосилась исподлобья на халатик, весело трепыхавшийся на солнце, и улынулась.

Севастьянов повесил халатик на стул, пятерней провел по седым растрепавшимся волосам, постоял в коротком раздумье и снова стремительно исчез из комнаты, а вернулся с бутылкой вина, большим чайником для заварки и чашками. Откупорил бутылку, разлил вино по рюмкам, поставил всем по чашке. И мимоходом успел еще прикрыть высунувшуюся из пледа ногу Дарьи, подвинул ее тяжелое кресло ближе к общему столу.

Маша вытряхивала из кулчков в вазу восточные сахаристые сладости.

— Довольно! Все! Тимке! — пресек ее рассеянные действия Се-

вастьянов, сграбастал и сунул весь ворох гостинцев обратно в ящик и поставил его, прикрыв крышкой, на письменный стол рядом с пишущей машинкой «Еrika».

Со спины он выглядел сутуловатым. Но сначала виделись только его глаза, полуприкрытые веками и все-таки большие, усталые и слишком терпеливые для такого порывистого человека.

Это уже позже заметил Прозоров, что у Севастьянова жестко вырезанный крупный нос, прямая, длинноватая, чуть усмешливая линия, сдвинувшая губы.

— Тимка-а! — заорал вдруг Севастьянов. — Иде ты-ы?! — Он снял с котла крышку и шумовкой, морщась от густого, жаркого пара, стал перекладывать рассыпающуюся аппетитную смесь из риса, мяса и моркови на блюдо. Маша наливала в чашки крепкий горячий чай.

Дверь приотворилась. Вошел давешний кудрявый мальчик с карими нерусскими глазами.

— Товарищ Каримов, вы заставляете себя ждать! — заметил ему Севастьянов, натянул на мальчика халатик, сунул ему в руку ложку и, держа его на согнутой руке, другой поднял рюмку:

— Что ж, Машенька...

Но тут зазвенел телефон, запрятанный где-то между книгами. Севастьянов поставил рюмку и щека к щеке с ребенком подошел к телефону.

— Ты, Леня? Опять? Нет, Леня, не будем. Не пойдет. Нет, Леонид Михалыч, нет, товарищ Давыденко.

Трубка кричала, сердилась, умоляла — это было слышно, хоть слов не разобрать.

Ребенок подумал и стукнул по трубке ложкой. Прозоров зачем-то оглянулся на Дарью. Она сидела, по-прежнему укутанная пледом, из которого торчали только ее голова да рука. В руке, в худых пальцах, покачивалась кружка с горячим молоком. Молоко ей успел приготовить Севастьянов. Морщинистая белая тряпочка на тонкой шее перекосилась, сдвинулась, и сбоку высунулись ушастые концы узелка. Ничего прежнего, загадочного, вызывающего непонятное беспокойство в ней для него уже не было.

Женщина не заметила его взгляда. Неотрывно, с азартным ребяческим изумлением она смотрела на Севастьянова словно на чудо, на фокус, который все силалась и никак не могла объяснить. Прозорову показалось даже, что она за весь вечер ни разу не оторвала от мужа глаз. «Сколько же лет они вместе?» — подумалось ему.

— Нет, Леня. Нет, — не возвышая голоса, сказал Севастьянов и положил трубку.

Севастьянов, по-прежнему прижимая к себе ребенка, поднял рюмку. Не стовариваясь все встали. И Дарья тоже со своим молоком.

— Маша, а Маша? — сказал Севастьянов и потерся щекой о щеку ребенка. — Давай, знаешь, за что выпьем? За твое счастье. Не надо, не делай большие глаза. Я правду говорю. Встретить, полюбить замечательно хорошего человека... А он как тебя любил! Разве это не счастье, Маша? Милая, милая, девочка, ну? Пусть недолго. Но как!

— Ох, Алексей Федорович! — прошептала Маша и покачала головой. Рюмка в ее руке накренилась, и в тарелку с пловом полилось вино. Она раскрыла глаза, мокрые, нетерпеливые. — Я сама иногда не верю, что было. А уж было, было! Ох, Алексей Федорович, Дарья Николаевна, хорошо — вы есть, вы знаете, помните. Было!

Выпили. Ребенок, сидя на коленях Севастьянова с набитым пловом ртом, попросил:

— Спой пло стаканчики! Ну спой пло стаканчики!

— Сначала прожуй, проглоти, запей чаем. Прекрасно. Молодец,— сказал Севастьянов и запел:

Стаканчики граненые
Упали со стола,
Упали и разбились,
А с ними жизнь моя-я.

У него не было ни голоса, ни слуха. Но мальчик, удовлетворенный вполне, счастливо рассмеялся.

— А помните? — Маша разругивалась, перекинула косу на грудь и то заплетала натуго, то распускала пушистый кончик.— Помните, как Малик из рейсов возвращался?

— Помню, Маша, помню,— кивал Севастьянов.— И как плов учил нас всех делать, песни свои узбекские пел.

— А как он Тимку на руках качал? Целыми ночами. Тимка сколько болел — вспомнить страшно. И плакал, плакал. А Малик качал... слова разные нежные... А самому утром в рейс. Помните?

— Помню, Маша, помню.

— А се такое зизнь моя? — с запоздалым, но решительным интересом спросил ребенок, ковыряясь в плове.— Се такое зизнь моя? — И чтобы привлечь внимание Севастьянова, боднул его в грудь.

— Жизнь моя? — Севастьянов придавил пальцем его смуглый курносый нос.— Пиу-пиу-дзинь-дзинь... — применил, так сказать, прием отвлечения, неоригинальный дальше некуда.

Мальчик посмеялся, но так, из вежливости разве, и повторил упрямо:

— Се такое зизнь моя?

— Ну-у-у... — Севастьянов оглянулся на Дарью как бы за сочувствием и помощью.

Она ж, однако, сделала ему большие растерянные глаза, усмехнулась, облизнулась даже: мол, попался — выкручивайся. Сам! Сам! А мы поглядим!

— Ну-у... Это мама Маша... красивая... добрая... жизнь твоя, — неуверенно сообщил младенцу Севастьянов и с деланной горькой укоризной глянул на Дарью.— Ишь, смысл жизни ему объясняй. Доразвивали! Вот что, Тимка, — сказал грозно.— Рости! Вырастешь — узнаешь, в чем тут смысл. Первый, сам узнаешь, что такое жизнь твоя, чего она стоит. А пока ешь. Больше съешь — скорей вырастешь!

Дарья торжествовала.

— Молоко пей, пока не остыло! — крикнул Севастьянов.— И нечего...

— А помните, как Малик? — Маша встала, подошла к окну, засмотрелась.— Тополь сажал. И абрикос... Никто не верил, что приживутся, а он как поедет к родителям, так саженыцы везет. Правда, Тимур на Малика похож? — спросила, внезапно обернувшись.— Светленький, а похож? Дарья Николаевна?

Дарья истово кивнула. Как перекрестилась. Опять зазвонил телефон. Опять Севастьянов с ребенком на руках подошел, взял трубку и спокойно сказал:

— Слушаю вас, Виктор Юрьевич. Думал, Виктор Юрьевич. Понимаю вас вполне. В том-то и дело, что для вас это только четыре необязательных абзаца. Но это для вас. Для меня это потеря мысли. Потеря истины, какой-то ее очень значительной части. Постарайтесь понять и меня. Нет, Виктор Юрьевич, не вижу необходимости, не

согласен, не соглашусь. Кончайте эту канитель, возвращайте рукопись.

Севастьянов держал трубку искалеченной рукой. Его седые волосы, прямые и жесткие, нелепо, проволочно топорщились на макушке.

«Вот ведь... Ишь ты... А он? Он? Ты? Сам? — вдруг пробилось в голову Прозорова.— Когда и где, кому?»

Ах, какой коварный вопрос пробрался в голову Евгения Петровича! Но Евгений Петрович оказался на высоте, вовремя заметил опасность и скинул хитрый вопросик со счетов одним верным, не раз выручавшим приемчиком. «Что и говорить, мы с Севастьяновым разные люди,— сообщил он себе с некоторой, положим, кротостью.— И обстоятельства жизни разные. Да и все люди вообще разные». И вопросик, должно быть сперва казавшийся очень горячим, способным зажечь целый пожар в душе гражданина Прозорова, скоро задохнулся, как спичка, брошенная в сырой навоз.

— Даша, что ж молчишь? — громко позвал Севастьянов и виновато-шутливо перечислил: — Погорела твоя Флоренция, и Рим, и Неаполь. Мечта детства, одним словом. Обидно?

— Обидно,— отозвалась Дарья.— Триста страниц. Три года работы. Севастьянов постоял, глядя в пол, но вдруг вскинулся и сказал бедово:

— Ничего! Повоюем! — Подмигнул Дарье, притиснул к себе стихнувшего ребенка.— А ну, за Тимку! — потребовал, шагнув к столу.

Выпили за Тимку. Ели плов, подливали в чашки крепкий, темно-коричневый чай. Время от времени Прозоров как бы нечаянно взглядывал на Севастьянова. Тот тоже сидел ел плов, пил чай. Ребенок засунул голову ему под мышку и сосредоточенно грыз баранью кость. Севастьянов сидел, как все, но Прозорову чудилось, что — чуть в стороне и как бы над. Но не только над ним, Прозоровым, надо всеми, кто тут есть. И это его утешало. А когда Севастьянов останавливал на нем свой спокойный усталый взгляд, Евгений Петрович думал — впрочем, не без запинки, — что если с кем вообще и стоило поговорить... обо всей этой путанице... о жизни, одним словом, то разве что вот с ним, с Севастьяновым. Один на один. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...»

С ним. И с Рябовым. С Рябовым? Но... А с кем же еще, если не с ними? Но...

И как-то так вроде нечаянно получилось, что Прозоров Е. П. вдруг превратился в мальчишку. Словно бы не он учился в институте, защищал диплом, работал в шахте и не на нем надет дорогой модный костюм. Он почувствовал себя босоногим пацаном и увидел то давнее летнее утро, когда на их улице появился первый солдат с войны, из самой Германии, из самого Берлина,— рыжеусый, потный, растерянный дядя Фока. Остановился, не дойдя до дому, сбросил в пыль заграничный аккордеон, сгреб ручищами жену свою, Скворчиху по-соседски.

— ...В техникум документы мои отнес... готовиться помогал... задачи со мной вместе все перерешал... Помните? — то едва слышно, через силу, то торопливо, с вызовом струился горький и счастливый, сам себе удивляющийся голос Маши.

...Когда Скворчиха отняла лицо от груди дяди Фоки, оно было все в красных рубцах — это ордена и медали отпечатались на нем, и те, что слева, и те, что справа.

— А помните, сколько он у вас книг прочитал? Наверное, почти все...

— Помню, Маша, помню.

...Дядя Фока с раннего утра и до ночи сидел в сенцах на табурете, посвистывал весело, хвастал, что за всю войну ни одна пуля его не зацепила, и задешево латал всякую рвань, которую несли ему ближние улицы. И умирал. Он умирал потому, что в окопах простудил почки. И все знали, что он умирает, а он сам — не знал. «А то бы стал, что ли, с чужим барахлом возиться, свистел бы весело?» — рассуждал Женька Прозоров и жалел дядю Фоку за неведение.

...И однажды не выдержал, подошел к дяде Фоке и, глядя в его доверчивые глаза, сказал:

— Вы ничего не знаете, хоть и медалей вон сколько и ордена. Вас обманывают, а вы верите. И мать моя обманула. Отец не на фронте погиб... чего там... он к другой бабе ушел.

— Женя,— сказал дядя Фока и взял его грязную холодную руку в обе свои мозолистые и теплые.— Крепись, Женя. Не озлобляйся, Женя, нельзя. Мать гордая у тебя, вот и врет. Горько ей, Женя. Война проклятая. К людям надо с сочувствием, Женя.— Дядя Фока загляделся на дальнее кудластое облачко, белую кляксу в синем небе, и вдруг ойкнул тонюсенько, как ребенок: — Ой, мамочка моя... Славното как! Жить бы, жить!

И понял вдруг пацан самое непостижимое: знает дядя Фока про свою близкую неминуемую смерть.

— ...Он и мертвый... помните? Красивый лежал. Лицо доброе. Только бровь левая... рассекло... и рубчик. «Как бабочка на иглу». Его товарищи-шоферы говорили... грудью на баранку. Они говорили, Малик сознательно машину поперек, чтобы этот пьяный самосвал остановить. Правда, похоже?

— Очень похоже, Маша. Так оно и было, по всей вероятности.

«Нет. Нельзя. Ни с ним, ни с Рябовым,— приказал себе тот Евгений Петрович, который больше всего заботился о независимости.— Глупости все это. Бред. Каждому свое. Им нужны бури? Пожалуйста! Я же им не мешаю! Я же их не неволю!»

Вспомнил, как чертовски удачно вышло с квартирой там, на Сахалине, в первый день, как замечательно, что он отказался от нее в пользу музыкальной школы. И как несказанно, наивно обрадованный Рябов схватил впопыхах его за руки, тряс и кричал: «Родной! Умница! Душа!»

Рябов, должно быть, и в мыслях не держал, что отказаться от квартиры человек способен неожиданно для себя, вопреки своей натуре. А возможно, ему очень уж хотелось лоб в лоб столкнуться с таким отчаянным бытовым героизмом.

Так или иначе в выигрыше остался он, Прозоров. Дошлый, устрашающе прямолинейный Рябов был сбит со следа, углядев вокруг физиономии Евгения Петровича застенчивое сияние благородства и бескорыстия. Сквозь эту-то дымку, надо полагать закрепившуюся в памяти, и не смог ни разу пробиться его обыкновенно цепкий, раздающий взгляд. Прозоров обеспечил себе безопасность. Ну а старался не лезть лишний раз на глаза Рябову — так, на всякий случай... Мало ли! И все-таки, все-таки... полного ощущения безопасности вблизи Рябова, надо признаться, не было.

— А се такое зизнь? Се такое зизнь? — вдруг вновь ожил упрямый младенческий голос.

«Жизнь — одна. Разъединственная — вот всё, что надо о ней знать», — подумал Евгений Петрович упрямо и неподкупно.

— Пей чай, Тимка, — сказал Севастьянов и закрыл Тимкин рот чашкой.

— Дашенька, — проговорила сердечным, пьяненьким голосом Лариса. — До сих пор не понимаю, почему вы от кооператива отказались. Деньги у вас были, дом такой чудесный. Нам-то из-за вас, конечно, повезло. Но вы тут, в книгах... Это же тяжело и ни к чему. Как в библиотеке.

— Мы отказались потому... — сказал Севастьянов. — Мы путешествовать решили.

— По Северному морскому пути, — прохрипела, натужив горло, Дарья, сморщилась от боли и закашлялась.

— Ах, Алексей Федорович, — прошептала Маша и низко опустила голову. — Ах, Дарья Николаевна! — И колечки белокурых волос на ее висках закачались. Она медленно водила пальцем по радужным узорам на своем платье. — Неправда все это. Когда Малик погиб, вы от кооператива отказались. Что ж, я совсем глупая?

— Да ладно, Маша! — сердито перебил ее Севастьянов. — О чем разговор! Жене моей, видите ли, плед захотелось. Дорогуций! Вынь да положь!

— Но если бы... Если бы вы ушли тогда... не знаю... — Маша подняла голову, посмотрела перед собой легким честным взглядом. — Я повеситься надумала, приготовила. Все равно было. А как бы Тимка?! А?! — вскочила, подхватила сына с колен Севастьянова, прижала к себе, да так нерасчетливо, что мальчик айкнул от боли.

— Диктофон приобрела! Тоже больно надо! — гнул свое Севастьянов. — Полная бесхозяйственность! Безалаберщина! Легкомыслие! — Шагнул к Дарье, поднял над ней руку и положил ладонью на ее лоб. — Э-э-э, товарищ, — сказал тихо, — да у вас никак температура вверх скачет...

Дарья молчала. Но из-под руки большой и сильной на Севастьянова глядели два ее ярких глаза, до краев заполненных страдальческим счастливым изумлением.

И увидев это и еще не успев осознать ничего толком, Прозоров произнес про себя: «Оля». И — точно сильный ветер качнул деревья, поднял под себя травы. Спихватился, но было уже поздно. Его протянуло и не отпустило лицо женщины. Он узнал эти остановившиеся влажные глаза... Он узнал эти беззаветно полураскрытые, подрагивающие, как бы мгновенно расцветающие губы. Перед ним обнажилась тайна той мучительной, тревожной зависимости, которую он неизменно испытывал подле Дарьи Севастьяновой, чужой жены. Она, Дарья Севастьянова, скрывала в себе ту безрассудную, самоотверженную, ликующую страсть, на которую способны, должно быть, только женщины... редкие женщины... очень-очень редкие...

(Окончание следует)



МАРК ХАРИТОНОВ

★

ДЕНЬ В ФЕВРАЛЕ

Повесть

В натуре Гоголя, в его творчестве немало загадочного. Некоторые загадки Гоголя, может быть, легче разрешить средствами искусства, нежели средствами исследования. Недаром образ великого писателя давно привлекает внимание наших романистов. Молодой прозаик Марк Харитонов (в недавнем прошлом учитель, журналист, переводчик) написал повесть об одном дне жизни Гоголя. Это день в середине февраля 1837 года. Париж, шумное время, карнавал. Уже несколько дней как в России убит Пушкин. Возможно, дипломатическая почта, опередив обычную, уже принесла во французскую столицу трагическую весть и через несколько часов она дойдет до Гоголя.

Как личность, как духовное явление Гоголь исключительно сложен. Писать о нем — значит, вникнуть и вжиться в уникальный душевный мир, порой причудливый и фантастический. Во многом это удалось Марку Харитонову.

Он рассматривает Гоголя в переломный момент, перед получением известия, многое определившего в судьбе гениального писателя.

Гоголь и Пушкин даны в ненавязчивом, тайном сопоставлении. Это две точки зрения на ужасающую действительность николаевской России, два мироощущения, два направления ума, из которых потом вырастала и синтезировалась великая литература русского реализма XIX века.

Марк Харитонов нашел свои яркие краски для изображения сложного героя повести. Гротескные фигуры карнавала — как бы отблеск гоголевского гротеска, манера его зрения.

Я уверен, что Марк Харитонов найдет своего внимательного и благодарного читателя, который оценит незаурядно написанную страницу из жизни Гоголя.

Д. САМОЙЛОВ.

...Вдруг стало видимо далеко во все концы света.

Н. Гоголь, «Страшная месть».

1

— **О**го, чудище! Действительно le bœuf-monstre¹! Симон, Никоша, а?.. Ха-ха-ха! И где такого выискали? А мясники-то, мясники! Кто здесь более монстр!

Влажные зубы Данилевского поблескивали, смех его вызывал мысль о сочно брызжущем во рту персике; так смеются отменно здоровые люди. Низенький Симон тоже подпустил междуиметие хохотка; он мало что видел сквозь плечи толпы, сколь ни тянулся на цыпочках. Приятель их держался чуть позади. Его тонко сжатые, как бы прикуснутые губы оставались безулыбчивы, веки были набухшие; притиснутый к фонарному столбу, вознесенный на неудобный его пьедестал, он напоминал востроносого нахохленного аиста, глаза которого средь общей сутолоки вот-вот подернутся дремотной серой

¹ Бык-чудовище.

пленкой. Но то была обманчивая видимость; прищуренный взгляд ухватывал все, что коротко открывалось сквозь чашу голов и шляп: слоподобного быка с золочеными рогами, под пурпурной бархатной попоной, страховидных Гераклов его свиты с палицами и лавровыми венками на головах, музыкантов с размалеванными рожам, в африканских нарядах. Жандармы прокладывали быку дорогу, и их деловитое участие усугубляло оскормину чего-то бутуфорского, ненастоящего во всем этом карнавальном раздолье. Свирепая от природы морда быка — древнего залога и символа плодородия — выглядела забавной в украшениях из перьев, как карикатура волка в бабушкином чепце; способные внушить трепет производительные части располагали к фривольному гоготу — не le bœuf-monstre, а скорей le bœuf-gras, жирный бык, под стать роженой публике. Это был ее праздник — чего он хотел еще, какой ждал яркости, жара, какого взрыва необыденных чувств, какого откровения для зяблой души своей? Последнюю неделю его одолевало необъяснимое беспокойство, словно отдавался во всем существе гул дрожащей где-то струны, разогнавшаяся была работа завязла, изменив окраску жизни, и он оттягивал свой выезд из Парижа, зачем-то дожидаясь карнавала...

Толпа проволокла их за собой. К плечу прижалась упругая женская мякоть. Спина Арлекина, пышущая потным, запаренным теплом, подступила под самые глаза, так что стал заметен лопнувший на лопатке шов между пестрыми лоскутами. Костюм служил, видно, не первую службу, еще пахло от него лавандой, употребляемой против моли; теперь цветные его треугольники оправлялись от сундучного обморока, с наслаждением потягивались, вдыхая уличный воздух, терлись безглазыми рыбьими щечками о рукав соседки-домино: «Какие вы нежные, какие гладкие». — «Еще бы не гладкие! Лионский атлас, по шестнадцати франков метр». (Ах, как не подпустить в глаза пыль!) — «Мы, кажется, встречались в прошлом августе?» — «О, мсье, здесь все так одинаковы». — «Нет, я узнаю вас по благоуханию. Какие чудные духи!» — «Вам нравится? Жаль, что еще не выветрилась ромашка. Кстати, куда лучшее средство от моли, чем лаванда. Я уж не говорю о табаке. Что за варварская привычка посыпать платье табаком!.. О, мсье, вы, однако, позволяете себе!» — «Теснота, мадемуазель, нас просто прижали. Какой нынче славный праздник, не правда ли? Редкостное разнообразие нарядов. Тут тебе и Испания, и Индия, и Китай. В один день пройдешься по всему миру. Да, мадемуазель, только на праздниках и живешь по-настоящему. Жаль, что они так редки. Прозябать в тесноте сундука, среди будничных рубашек, добро если приличного полотна, а то ведь ношенных-переношенных, — разве это жизнь? Это, я скажу вам, существование». — «Ах, праздники так быстро кончаются». — «Мне кажется, мадемуазель, мы с вами долго еще не расстанемся. По меньшей мере до завтрашнего утра. Я чувствую по запаху своего хозяина, мы еще... Молчу, молчу... Миль пардон, меня снова притиснуло». — «Ничего, мсье, ничего... мне ваше тепло даже приятно...»

Данилевский, Симон и Гоголь с трудом удержались рядом против наплыва, где люди лишались отдельных свойств и воли, становились частицами потока, булившего в отвесных каменных берегах со щетиной труб на геометрических уступах. Нечленораздельный гул забивал слух, как вата в больших ушах. Чей-то безнадёжный тенорок вился поверх голов, ища потерянную супругу: «Annette, où es-tu? Annette?» «Me voilà!»² — дурашливо пискнул Данилевский и сам первый захохотал. Он нынче беспрестанно радовался — как будто все

² «Где ты, Аннет?» — «Я здесь!»

это пенное празднество с ночным фейерверком и балом в Орёга было устроено ради них, нежинских бурсаков, встретившихся в столице мира; даже place de la Bourse³, где жил Никоша, он внезапно растолковал как «площадь бирсы» и долго по этому поводу веселился. На сей раз Симон не поддержал его; он уловил кислую гримасу Гоголя и понял, что надежнее до поры помолчать. Ему никак не удавался верный тон, и он все время с досадой чувствовал, что не показывает себя в настоящем виде — как будто физически ощущался тесноватый жесткий цилиндр, который закрывал его высоко облысевший, по-сократовски обширный лоб, лишая значительности остальное лицо с серыми бакенбардами и ужасно мелкими чертами. Он злился на самого себя даже за то, что с утра хотел потщеславиться новым жилетом из совершенно особенной переливчатой ткани, а теперь нарочно застегнул сюртук на все пуговицы, но опять же об этом помнил. Оба спутника его раздражали: раздражало дурацкое добродушие Сашко, его карнавальная полумаска, щегольские усики под ней и не по возрасту нежный девичий подбородок и то, что он звал Гоголя Никошей, а у самого это без запинки не получалось, раздражала и постная физиономия знаменитого приятеля, замеченная наконец даже Данилевским.

— Ты что, опять нездоров? — озабоченно спросил он.

— Да, — словно обрадовался тот подсажке, — сам не пойму, что такое в брюхе творится. Так и тянет, и выворачивает, как черт рукавицу. Маржолен третьего дня сказал, что желудок мой расположен не как у обычных людей. Вроде бы повернут вверх ногами.

Симон с сомнением покосился на его худощавое, но свежее, даже в легком румянце, лицо. О господи! поди ему верь! Что за охота выставлять свою необычность и на каждом шагу напускать туману, словно не переставая кого-то сбивать со следу?

— Не требует ли он жертвоприношений? — оживился Данилевский. — Мой, кажется, тоже заурчал.

— Нет, нет, — с каким-то даже испугом отмахнулся тот. — У меня и аппетита никакого. Просто черт знает что за напасть.

— Расчертыхался, — сказал Сашко. — Что на тебя за стих находишь: точно твой Иван Никифорович, двух слов без черта не пропустишь.

— Есть грех, — хмыкнул Гоголь. — Прицепится черт за язык... вот, сам же и тянет. Дождется, мошенник! Схвачу самого за хвост! Только у него теперь и хвоста нет, я думаю. Это был бы по нынешним временам моветон, а черт наверняка о моде печется, как монах о спасении души; мода ему вместо священного писания.

Негромкий смех его звучал отрывисто и как-то дергано; но Данилевский был рад, что приятель хоть малость оживился. Облака, к полудню закрывшие небо, чуть прояснели, толпа одета была совсем повесенному. Они с Симоном шли в одних сюртуках, только Никоша, мерзнувший даже дома, накинул еще плащ. И подумать только, что сейчас разгар февраля, что в России где-нибудь свищет вьюга и инеем замерзает у губ дыхание, — проберет меж лопаток от одной оглядки. А здесь посреди открывшейся площади кувыркались и ходили на головах фигляры в трико телесного цвета — казалось, совсем нагишом; на помосте жонглеры перебрасывались чугунными шарами и кидали в цель ножи. Факир в желто-зеленой турецкой чалме и халате, украшенном звездами, опускал в рукав по очереди голубиные яйца и тут же выпускал из другого рукава белых голубей; они кружились над площадью, как подхваченные ветром доскуты. Симон невольно потянулся поближе; у него был насущный интерес ко всяческим шарлатанам и уловкам их, в кои бесполезно было вникнуть. Голуби, есте-

³ Биржевая площадь.

ственно, заранее прятались в широком рукаве, яйца собирались тоже в какой-нибудь секретный мешочек, он без труда это проследил. Но тут яйца стали появляться вдруг из факирова рта, они выдувались на губах маленькими белыми пузырями, семь штук как одно,— да и в этом можно было бы разобраться, если бы восьмым не вылезло самое крупное, по виду куриное; фокусник держал его в горсти, чуть охватив ловкими пальцами, а когда пальцы открылись, на ладони среди обломков скорлупы возник желтый, еще мокренький, липкий цыпленок и вздрагивал взъерошенной головкой.

— Bravo, bravo! — шумел над самым ухом Сашко.

Симон со скептической усмешкой оглянулся на Гоголя — того рядом не оказалось. Вместо него в лицо дохнула вином и луком коровья морда с доброй улыбкой на мокрых губах; язык, похожий на шершавую губку, потянулся к щеке Симона.

— Но, но! — брезгливо отпрянул он и оттолкнул похабную рожу.

Корова подалась назад, заплетаясь ногами, обутыми в две пары плохо начищенных сапог, потом вдруг наклонила рога, весьма твердые на вид, и пустилась на обидчика. От внезапности Симон подпрыгнул и с проворством, удивительным для его комплекции, увернулся от нападения. Корова сдержала разбег и стала готовить маневр для новой атаки. Среди толпы, всегда жадной до испанских зрелищ, уже начал раздаваться круг с Симоном посередке, но, к счастью, скотина опять запуталась в своих нетвердых конечностях, и Данилевский подоспел оттащить приятеля в сторону.

— Эх он тебя! — начал было он, но тот поспешил отвести неуместное веселье:

— Сочинитель-то наш где?

— То есть... в самом деле. Эгей, Никоша! — спохватился Данилевский и стал оглядываться в толпе.— Никоша-а!

— Эге-гей! — приложив ладони раструбом ко рту, закричал и Симон, впрочем, не слишком громко, в меру приличия; он уже понимал, что безнадежно сыскаться в таком столпотворенье. Они ведь даже не заметили, в какую минуту потерялись.

— Эх, нехорошо,— огорченно сказал Сашко.— Как он теперь один? Да еще нездоров.

— Не беспокойся за него,— махнул рукой Симон; в отсутствие Гоголя он сразу ощутил странное облегчение.— Он, может, нарочно скрылся. С него станется.

— Да, его не всегда поймешь,— согласился Данилевский.— Подумаешь, у него и впрямь не все как у нас: и желудок вверх ногами и нервы из какой-то особой материи да вперекрут натянуты.

— Э! — тот засмеялся язвительно.— Нервам его другой бы позаиводвал. Если тут и болезнь, то не лишенная расчёту.

— Какой тут расчёт? — возразил Сашко, озадаченный столь неожиданной и злой горячностью. (Они между тем продолжали свой шаг по улице. С проезжавшей повозки кто-то обдал их пригоршней конфетти. Туча с профилем носорога набухала впереди, в просвете меж домов.) — Иногда, верно, сам усомнишься: не выдумывает ли? Но была бы с того радость. А то ведь мучается. Бывает, душа болит, на него глядя. Он, верно, человек мнительный и склонен к преувеличениям, но нарочно... зачем?

— Значительности прибавить, значительности, простодушный ты человек. Она стоит радости. Таинственность очень бывает полезна.

— Что ты хочешь сказать? — спросил Данилевский; даже под нашлапкой очков было видно, как он нахмурился.

— Ничего-с. Исключительно ничего-с,— ответил Симон; он сам уловил в себе неушедшую напряженность и даже повел плечами, что-

бы расслабиться.— Я просто хочу понять, что он такое. В чем его фокус? Мне это практически интересно. Если бы я его совсем не знал! То-то и наглядно, что свой, однокорытник. Образование — сам знаешь, какое у него образование. По всем предметам шел ниже меня. Современные идеи? Какие у него идеи! Спроси, держал ли он в руках хоть одно новейшее сочинение? Словом, знает и видит не более нас с тобой. Даже, если на то пошло, менее. Я тебе по страницам готов показать кучу несообразностей в его знании жизни. Но тут-то начинается туман. Мы видим дерево, скажем — дерево, видим даму,— он указал на встречную незнакомку в мантилье,— по-человечески скажем — дама. А он примется уверять, что это не так просто, что под мантильей, глядишь, кроется переодетый мужчина или черт знает кто еще и что наши глаза вместе со всем нашим здравым смыслом ничего не стоят. А мы не думаем, зачем ему надо мир выставить лишенным оснований, смешным и сомнительным; нам забавно, мы доверчиво рады рукоплескать. Тут свое искусство, своя механика. Без смеха, пожалуй, не проглотили, испугались бы. И вот сами не заметим, что понятия меж тем сдвинулись. Что взгляд смущен и нет прежнего доверия к порядку вещей.

— Но критика...— заикнулся было Сашко.

— Бог мой, критика! Только по нашей российской неразвитости можно поднять столько переполоху из-за этой критики. Как будто каждый из нас не мог бы сказать в сто раз реальнее и про взятки и про злоупотребления! В Европе любая газета полна такой критики, что нашим олухам и не снилась. И ничего, не икают. А тут и взяточник черт-те что, и невзяточник не легче. Тут не критика, тут надо бы понять — что. Переполюжились, может, не совсем зря, да только сами не знают причины. Реальные люди и отношения его не слишком-то занимают. Он смотрит сквозь них, сквозь нас с тобой, разве что использует при случае для своих целей. А так он не знает, что с ними делать. Вот, едва почуял на себе трезвый взгляд, проверку ума реального — и нет его; миг испарился... если хочешь причину его исчезновения.

— Ну знаешь, Симон!

— Кстати, давно хотел просить: избавь от этой школярской клички. У меня есть свое имя либо фамилия; я, слава богу, Иван Симоновский. Тебе небось хвост не отъедают... Ладно, предположение мое — это, конечно, так... к слову пришлось. Я не настаиваю.

Он знал, что перегнул лишнего, но был все же доволен. И не скажешь чем, а доволен. Обычно серая кожа щек его даже порозовела. Цилиндр сам собой сдвинулся на затылок, пуговица сюртука расстегнулась. Повеселевшим взглядом окидывал он все более густевшую толпу. Не в пример Петербургу здесь на улицах было куда больше женщин, и это радовало взгляд. Приятна была сама их походка: они скользили по замусоренной мостовой бесшумно, как на балльном паркете, касаясь земли только носком невесомейшей туфельки...

— Бог мой, как трудно жить с притязательными людьми! — хмыкнул Сашко.— Нет им наслаждения. Казалось бы — такой день! Идешь не важно куда, в кармане деньжата не важно откуда, на душе легко. Дыши, восторгайся. Хочешь пить — пей, хочешь поесть... Кстати,— вспомнил он,— как насчет идеи заглянуть в храм? Я за разговором и голод забыл, а это, по мне, мена неравная. Жаль, Никоша был не в духе, он дивно умеет расстрополить аппетит.

— Э, бокальчик-другой «каше блан» не хуже с этим справится. Еда едой, а горло промочить давно кстати. Русскому человеку надобно выпить, чтобы включиться в веселье... Ха-ха-ха! — заводил он себя

на лихой лад. — А потом не грех и о душе позаботиться, как ты считаешь, Сашко? Найдется в Париже с кем отогреть душу?

— В Париже-то? Ого-го! — крикнул Сашко, и они, взявшись за плечи, пошли вдоль по мостовой.

Впереди, в устье уличной расщелины, выглянуло из-под туч уже закатное, красное солнце, расплескалось по просторным окнам, невозможным в зябких северных домах. Мимо прокатил медленный караван повозок и кабриолетов, битком набитых ряжеными. На уровне третьих этажей вышагивал смельчак на ходулях; в красном огне заката он казался зеленым, словно гигантское насекомое, дерганым настойчивым шагом стремившееся к известной лишь ему цели с риском каждую минуту быть сбиту толпой и грохнуть о мостовую. Солнце налитым пьяным глазом подмигивало в просвет его вознесенных ног.

2

Он тщетно озирался в поисках товарищей. Порывисто, по-птичь поворачивал то в одну, то в другую сторону лицо, на котором красовался теперь неудобный картонный нос кульком с бахромчатыми усами, наползавшими на самые губы. Плащ был вывернут красной подкладкой вверх, и во всем его костюме — слишком зеленых панталонах, слишком синем сюртуке и чересчур пестром жилете, в чересчур больших и не в меру накрахмаленных воротничках (правый высунулся выше левого, а из-под шейного платка торчали белые тесемки) — проявилось вдруг что-то неумышленно маскарадное.

Он отстал от приятелей лишь на секунду, чтоб, отвернувшись, незаметно переменить вид, а потом озадачить внезапно голосом ярмарочного крикуна с веселой малорусской добавкой — словом, позабавить заготовленной придумкой, окончательно выправив настроение, которое сам было замутил. Но чуть он замешкался, как Сашко с Симоном бесследно затерялись в толпе. Это можно было предвидеть, он недаром так поспешал, чуть не запутался в завязках; но оказавшись один, пожалуй, не огорчился. Напротив, он испытал явное облегчение.

Это было чувство почти невесомой свободы среди чужой, лишенной лиц толпы. Он был не связанная ни с кем частица, никто ничего не ждал от него и не требовал. Можно было в забывчивости бормотать вслух любую околесицу — ничьи уши не всасывали ее тотчас, меняя, как магнит, направление мыслей, заставляя оправдания ради нестись дальше уже умышленно. Можно было строить какую угодно рожу, даже высунуть втихомолку язык, и не отчитываться в каждой невольной гримасе своего лица — всем будет достаточно кулька да бахромы над губой, которые обособляли тебя от мира, делали возможным самое изумительное одиночество — не то тягостное, когда в безмолвии четырех стен поневоле вслушиваешься в себя, в ток собственной крови, в шевеление малейшего волоска на коже, покуда и впрямь не накличешь зуд; нет — благодетельное одиночество на многолюдье, когда любое движение приобретало свойство игры, легкой и избавленной от отчета. Казалось, тебя несет чуть-чуть над землей, вперед клювом, и помы трепыхаются на ветру, несет без цели, подталкивая чужими плечами и раскрывая повороты улиц как судьбу, которую должен принять. Смотри-ка, и тяжести и рези в брюхе как не бывало; можно бы запозднить притворство, если бы сам не знал...

Запоздалый оклик заставил его вздрогнуть: у самой спины, почти скребнув оглоблей о поля цилиндра, проехала телега, полная карточных мастей. Два развеселых вальта бесцеремонно ухватили его сзади под мышки и подняли к себе. Он не сопротивлялся; было прекрасно, что его влекло без спроса дальше, освобождая от тяжести, — дальше,

дальше, куда угодно. Телегу дернуло на мостовой, молоденькая дама трепф прижалась к нему гуттаперчевой грудью, обвила легкой рукой шею. В порыве он сунулся поцеловать ей пальцы, удлиненные розовыми ноготками, но лишь клюнул не своим носом, о котором совсем позабыл. Дама засмеялась, однако руки не отняла. Сквозь прорези ноздрей он успел уловить запах тонкого мыла и еще какой-то знакомый, приторный... не кондитерского ли магазина? В незнакомке вдруг проявилась одна из тех светлых воздушных продавщиц, что дни напролет заворачивают в бумажки конфеты за цельными стеклами витрин, у которых толкутся зеваки, словно пчелы у сладких сот, и где все: одежда, кожа, волоса — проникается тем же неистребимым дурманящим духом. Но боже, зачем это знать? Прочь сейчас все! Отрешиться от беззаконной, непозволительной остроты взгляда, которой наградил или наказал тебя господь, за которую хочется просить прощения у нечаянных жертв, объяснять, что она, увы, не всегда в твоей воле. Неужто даже здесь не дано тебе быть отпущенным?

Уже смерклось. Один за другим стали вспыхивать газовые фонари. Засветились нижние этажи домов. Голые, в рост пятого этажа деревья четко рисовались ветвями. Пахло холодной весенней прелью, как в майском Петербурге, когда в канавах еще не стоял прикрытый грязью лед, желтый от впитанных за зиму зловоний. У многих появились в руках факелы; ошметки жидкого черного дыма стекали с них вниз. Испаренья толпы, мешаясь с запахом смолы, все плотней заменяли воздух. Дохнуло на минуту парным животным теплом, почему-то, как воспоминание, задевшим сердце, — их чернокудрая, вся в лентах и конфетти кобыла, задрав хвост, выронила на мостовую полновесный заряд яблок. (Огни по бокам мчащегося ковчега, сжавшееся вдруг сердце, предчувствие мгновения, способного вместить жизнь, — откуда? что это значило?) Карточные фигуры бесновались над головой. Движение становилось шибче, телегу трясло на бульжнике почти российского качества. От тряски все корежилось и скакало, тень со светом затевали диковинную игру, пятна лиц двоились, сползали то на одно, то на другое плечо, сталкивались вокруг с легким стуком фонари, дома то и дело грозили опрокинуться. Мир был беспокоем и сдвинут, какая-то тревога все ощутимее зрела в нем. Трефовая дама бормотала над ухом милосердные слова, неразличимые за грохотом и шумом, ласкала рукой его щеку. В разрезах очков блистали хмельные глаза, на кончиках густых ресниц дрожали огни, как светлая пыль. Она была одурманена вином и тряской, она ласкала его, не заботясь о скрытом лице, она жалела его нездешней, бескорыстнейшей жалостью; но можно же было забыть хоть на миг о привычных расчетах, о боли, разочаровании, ответе — обо всем неизбежном в другой жизни, где они если и встретятся, то не узнавая друг друга. Неужели это? Вот — только в сторону клюв, с бьющимся сердцем, и лишь на миг, на миг...

Он спрыгнул на ходу с колесницы. На месте, где он только что сидел, еще держалось в воздухе воспоминание — силуэт, прильнувший губами к сладкой дурманящей щеке; потом кромки уличного пейзажа сомкнулись над ним, как стягивается ряска над прорвавшим ее камнем, чтобы не допустить прорех во времени и пространстве...

Некто, наряженный контрабасом, равномерно дергал на своем теле одну и ту же струну; дрожащий звук ее был мучительно знаком. Он усмехнулся сам себе, своей не по возрасту жалкой смешной фантазии — будто глупая картонка способна была всерьез увести его от себя... Но все-таки билось сердце и что-то мерещилось впереди...

Он снял нос, стараясь определить, куда его занесло, и не узнавая места. Слепящее сияние огней фантастически все переменяло. Вверху,

где полагалось быть небу, сгустилась непрозрачная чернота. Утесы домов терялись макушками в провале. Освященные стекла витрин исчезали от собственной прозрачности; все в них выставилось нехранимо прямо на тротуар. Угри такой длины, что впору было продавать не на вес, а на аршины, растянулись в неге, поблескивая знойной чешуей, обвитые, словно водорослями, аппетитной зеленью. Огромный морской рак, удвоенный зеркалом, держал в пунчиковой от усердия клеши табличку с собственной ценой: 120 fr; оливковые слезы окаменели у его выпученных глаз. Дразнило на хрустальном блюде сочное подрумяненное мясо в пучках редиски и сельдерея, среди салатных листьев с белыми детскими хрящиками, еще покрытых свежей испариной; от них пахло огородом в прохладной росе, когда влажные рассыпчатые комки липнут к босым ногам. Он почувствовал, как в желудке забормотал голодный сок, заklubилась во рту слюна. Кафе услужливо распахнуло перед ним двери; прислужник на ходу избавил его от плаща. С забытым в руке лицом он вступил в роскошный, сверкающий мрамором, хрусталем и позолотой зал.

Да, недаром они с Сашко прозвали храмами сии возвышенные заведения, где поистине приличествовало не есть, но священнодействовать, принося тучные жертвы темным урчащим богам. Да что храм! Какой храм сравнился бы роскошью с этим залом, купавшимся в чудном сиянии! Зеркала по всем стенам вмещали в свои золоченные рамы несчетное множество людей, расположившихся за столами и столиками; настоящие люди казались подражанием зеркальным сценам — так для забавы составляются живые картины в честь знаменитых полотен: то ли «Апофеоз Вакха», то ли «Лукуллов пир», то ли «Торжество чревоугодия». Даже потолки были в зеркалах, но жутковато казалось поднять взгляд в эти бездонные небеса, где, как пауки или мухи, шевелились вниз головами сплюснутые существа.

Он издал облюбовал столик в углу; предпочтительней было сидеть так, чтобы видеть всех, а тебе ничей взгляд не щекотал бы хребет. Служитель с профилем древнего римлянина, в небесном фраке и с золотой цепью на груди (которому хотелось говорить: ваше превосходительство... нет, ваша светлость — и все будет мало) величаво нес на пяти пальцах поднос с серебряным судком; от крышки исходил пар, один лишь цвет и изысканная форма завитков которого вызывали новый прилив плотоядной слюны. Что же нам такое-этакое сочинить? — примерял он, удобно расположась в эластическом кресле. Создатель, сколько соблазнов! И чего не придумают люди в угоду своему чреву! Что ни возьми — все так бы и проглотил. Для начала можно взять суп какой-нибудь с вермишелями или же прентаньер, шпинат со шпигованной телятиной, в Париже ее особенно приготавливают; пулярд а лестрагон... язык-то каков, весь приспособлен для щекотанья во рту: пуассон сос бланш, крокет сос фензерв... главное, соусов навертеть, в Париже важней еды соусы, недаром дают им имена поэтов: тюрбо сос Бомарше, сос Ляфонтен — вот где признание, слава, бессмертие! Ну и, натурально, бургундское или лучше малагу... Ай-яй-яй, и отчего ж вдруг такой страстный голод? отчего точит ручьями нетерпеливый сок? Он даже волновался, точно не был уверен в исходе намеченного события, точно его могли еще лишить еды. Длинные худые пальцы его сами собой постукивали по скатерти.

На улице за незадвинутой сторой мелькали огни, под фонарями в голубом газовом свете сновали смутные фигуры; они проплывали за окном бесшумно, трепеща плавниками. Иногда лишь проезд колесниц отдавал дребезжанием в стеклах — или сам воздух не переставал дрожать время от времени? После недавнего грохота шум в зале казался шепотом; слышно было не только о чем говорят за столом справа, но

и как чавкает слева господин в гранатовом фраке, с тройным загибом, напоминающим три сложенных друг на друга блина. Он неторопливо распоряжался цыплячьей ножкой, щеки его, видные даже со спины, добродушно лоснились. Справа простиралась также весьма обширная спина, однако во фраке уже зеленом, причем столь щавельно-кислого оттенка, что при взгляде на него во рту невольно возникла оскоми́на. Спина, по видимости, уже отобедала и теперь напоследок разделялась с коньяком, рассеянно внимая своему визави, тощему французу с вялыми щечками и неряшливыми бакенбардами. Вместо блюд он держал перед собой пачку огромных парижских газет.

— Вы только подумайте, что происходит, — с каким-то страдальческим видом рассказывал он оскоми́ной спине. — После беспорядков в Испании мы прекратили там всю торговлю, потому что французы — люди принципа (*les hommes de principe*, выразился он), не так ли, мсье? Принцип прежде всего, когда дело идет о мировых судьбах. Мы дозволили ввозить во Францию английские товары, полагая англичан своими союзниками. И что же? В Мадриде мы не имеем никакого политического веса, англичане же, как всегда, торжествуют. Они удивительно умеют изо всего извлекать выгоду.

— Масонские штучки, — весьма сердито буркнула спина. — Англичане сплошь масоны, включая их короля.

— О, это дьявольские интриганы, уверяю вас! — взволнованно подхватил господин с газетами. — Вы почитайте тронную речь. Эванс и Сарсфилд...

— Масоны, я их насквозь знаю, — настаивал на своем тот. От напора чувств он даже икнул и пристукнул кулаком по столу, вызвав трепет посуды. — Ах, каналы... что делают... вот опять. Запомните, молодой человек, раз навсегда: ищите за всем масонов — и вы не ошибетесь.

Собеседник, невольно сжавшись, смотрел на этого нового Катона, столь твердого в мысли о своем Карфагене; печальные расширенные зрачки его напоминали двух щенят, потерянных, без матери.

Оскоми́нная спина меж тем поднялась и, пошатнувшись, двинулась среди столиков. Француз с газетами продолжал глядеть в прежнюю точку; потом, как бы очнувшись и не найдя привычного упора взгляду, опять механически обратился к шелестящим листам, но от этого вновь переполнился недосказанным волнением. Оно приподнимало его на стуле, как приподнимает пенку бурлящее молоко, и некому было подуть, продуть успокоительную дырочку. Ищущий и в то же время отрешенный взгляд его преодолел опустевшее пространство и прямиком уперся теперь в Гоголя.

— Ну хорошо, — продолжал он, как будто и не заметив перемены, — Эванс и Сарсфилд замешкались. Но чего, по-вашему, ждал Эспартеро? Я не могу этого понять, мсье.

— Пардон, я слаб в вашем языке, — ответил Гоголь по-русски, состроив на лице любезнейшую улыбку. Было почти жестоко отказывать этому проникновенному взгляду, столь растерянному перед непостижимостью мировых сумятиц; однако и втягиваться в сей разговор не хотелось. — Понимать понимаю, но изъясняюсь плохо. Жё не парль франсе па, — пояснил он. — Ву компрене?

— О да, конечно, — вздохнул француз, шелестя газетой. — Теперь-то Дон Карлос собрал всю свою артиллерию, и с ним так просто не справишься. Но говорят, в его лагере несогласия?

— Мсье, случаем, не из-под Глухова? — с той же улыбкой по-русски сказал Гоголь. — Говорю же тебе человеческим языком, газетная голова: жё не компран. Па, — добавил он для нелепости.

— Да, да, — кивнул головой тот; в улыбке его появилось что-то

по-детски доверчивое.— Не всегда поймешь высокие расчеты. Впрочем, не это главное. Знаете, какая мысль все больше не дает мне покою? Есть ли смысл и истина в этих страстях? Почему должны мы брать сторону либо Карлоса, либо инфанты? В конце концов, оба они тираны, ведь так?

— Господи, и верно глух либо помешан,— уразумел наконец он, стараясь не упустить с лица внимательную улыбку.— Скорей всего помешан, иначе сам бы молчал. А заговори я с тобой на твоём языке о твоей же политике — до конца бы не догадался. Нарочно ли держит тебя хозяин для развлечения вместо шарманки, чтоб заговаривал зубы гостям, покуда не принесли блюд? Бедный ли ты родственник, пристроенный для прокорма? Или просто свихнувшийся государственный ум, какие невесты откуда всплывают во всяком кафе, на всяком перекрестке, на всяком бульваре; куда ни глянь — все Полиньяк, все Тьер...

— Не говорите мне о Тьере,— болезненно поморщился француз.— Он больше всех виноват в нашем нелепом положении. А тут еще португальские гверильянты. Как все это переварить, я вас спрашиваю?

— Ах, бедный ты, бедный дурак,— грустно кивнул ему Гоголь.— Ведь есть же в тебе душа и неподдельное чувство — все перелилось в смакование подмененной бумаги. И уж не ощущаешь собственной жизни, уже бредишь чужой либерте, уже вместо ветра шелестят в твоих ушах одни печатные новости: вот спор о кредитах, попавших не в тот карман,— и у тебя тяжесть на сердце; вот алжирский рыбак выловил рыбу с двумя хвостами — ты озадачен и изумлен. Сколько трепета, разнообразия, богатства! Какие откликаются струны! Что еще искать человеку? Не спа? ⁴

— Пожалуй,— сказал газетный господин, и трогательно-детская улыбка вновь засветилась на его лице.— Мне кажется, мсье, вы меня удивительно поняли. Если б вы знали, как я признателен вам. Это такая редкость — встретить отзывчивый взгляд. Особенно в наше безумное время, когда все отделены друг от друга, словно носят на себе какие-то стеклянные колпаки и слышат только свой голос. Не с кем проверить свои чувства. Мы не умеем и не хотим проникнуть в чужую жизнь, мы говорим монологами, как в театре Корнеля. Оттого суждения наши поверхностны, а жизнь скудна. Вот, остались последние крохи страстей, которые могли бы объединить...— Он показал газеты.— Вы знаете, меня однажды не стали слушать, просто грубо накричали. Это было невыносимо. Я пришел домой и отворил себе жилы... вот,— он застенчиво приподнял не первой чистоты манжету и показал шрамчик на запястье.— Случайно спасли. Еще раз сердечно благодарю вас, мсье.

Он встал, с достоинством наклонил голову (Гоголь приподнялся в ответ с кресла) и, прижав газеты к боку, медленно пошел навстречу зеркалам, которые тут же бесследно поглотили его. «Боже, что значит этот сумасшедший день? — думал Гоголь.— Отчего щемит душу? Что-то будет еще?» А ведь будет, будет, он знал верность своего предчувствия — как вдохновение, когда, не заботясь, угадываешь единственное, идешь навстречу... или, напротив, что-то надвигается на тебя... колокольчик трепещет в тумане...

Непонятного свойства звук вывел его из задумчивости. Он оглянулся на толстяка справа. Ватные плечи его в гранатовой обивке тряслись, будто внутри клокотал пар и он с трудом сдерживал его, прижимая рот салфеткой. Наконец салфетка не выдержала и отлетела бы от могучего взрыва, не будь крепко зажата в руке.

— Хо-хо-хо! — разразился толстяк хохотом таким разудало-зна-

⁴ Не так ли?

комым, узнаваемым до тоски, что без ошибки можно было предугадать, на каком языке последует дальнейшая речь.— Охо-хо-хо!.. театр, комедия... честное слово. Давно не получал такого чистейшего, бескорыстнейшего удовольствия. Восхитительное вышло объяснение!.. И глубоко, право, глубоко!

Говоря это, он постепенно поворачивался от стола всем телом, открывая, как все более полную луну, круглое и безбровое свое лицо, такое просторное, что небольших размеров нос выглядел на нем почти что бородавкой, затерянной меж подушечных щек, в то время как истинная бородавка без лишней скромности высунулась на подбородок (верхний из двух). От людей столь завидной комплекции всегда пышет заразной бодростью и дружелюбием. Но ответному настроению мешала сейчас неловкость оттого, что оказался подслушанным не предназначенный посторонним ушам разговор: так сжимаешься, когда внезапно застанут тебя высунувшим язык перед зеркалом или с ним же беседующим.

— Не ожидал встретить здесь соотечественника,— промолвил Гоголь, очищая горло кашлем; позабытая гримаса любезности весьма кстати держалась еще на его лице.

— Да нашего брата здесь как собак нерезаных,— откликнулся толстяк, поворачиваясь еще основательней — почти спиной к своему столу; сиденье под ним жалобно поскрипывало.— Плюнь наугад — попадешь в своего. Только не враз угадаешь. Лопочут, бестии, по-французски лучше самих французов.

— Да, иные гораздо лучше,— механически согласился он, наблюдая меж тем, как расставлялись наконец на столе принесенные, дышащие паром блюда.

Лакей, как в сказке, оставался невидим, порхая где-то за спиной, яства возникали из небытия сами собой. Тонкие ноздри Гоголя волновались, он уже держал в руке нож.

— Именно-с, лучше французов. Наш брат везде чувствует себя дома. Благодарственная черта русского характера. С французами мы почище французов, с немцами — перещеголяем немцев, а возьмите отечественных англичан? Самому незаметно, как перескакиваешь с языка на язык... Да, с вашего позволения, велю-ка присоседить к вам свой прибор, *vous n'avez rien contre* ⁵?

Он еще заканчивал фразу, а возникший из воздуха лакей уже исполнял его знак.

— Милости прошу,— промычал Гоголь, отправляя в рот добрый кус ароматного мяса.— Не угодно ли, сударь, угоститься со мной этой телятиной? — продолжал он, жуя.— Отменная телятина и чудно шпигована.

— Охотнейше верю, что превосходная,— отозвался толстяк, без церемоний угощаясь.— Отчего же не поверить? Со своей стороны, *puis-je vous offrir* ⁶ баранью котлетку?

— От души прошу меня простить,— проникновенно возразил Гоголь,— но я не хочу бараньей котлетки. Я очень огорчен, что принужден отказать вам в этой котлетке, но я лучше отведу вон того пирога с шампильонами. Я бараньей котлетке всегда предпочту пирог с шампильонами.

— О, всеискренне понимаю ваш вкус! — воскликнул собеседник, поддаваясь его любезному тону, и даже прижал пятерню к салфетке, прикрывавшей грудь.— Мой покойный батюшка, царство ему небесное, тоже терпеть не мог никакой баранины, говоря, что это глупое и упрямое животное. Он баранине всегда предпочитал телятину, а особенно

⁵ Вы не возражаете?

⁶ Могу я вам предложить.

птицу. До птицы он был большой охотник. Его хлебом, так сказать, не корми, только подавай гуся либо, еще лучше, индейку. А уж грибной пирог был лакомейшее его блюдо.

— Весьма сожалею, что не имел чести быть лично знаком с вашим батюшкой,— отвечал тот с уже набитым ртом. Как ни странно, после первых же съеденных кусков ему вдруг стало спокойней, в разговоре появилась скользкая легкость.— Должен сказать,— продолжал он,— что во многих государствах Европы, даже весьма просвещенных, пирог с шампиньонами до сих пор почти неизвестное блюдо. Напротив, в Испании и Португалии он почитается королевским лакомством. Но нигде я не ел лучшего пирога, как в Вене у голландского посланника. Это, я вам скажу, был генерал и главнокомандующий всех пирогов.

— Могу представить,— осклабился толстяк,— я тоже знал одного генерала, он был мне даже отдаленный родственник... А вы, смею судить, изрядно попутешествовали?

— Увы, в России приходится бывать только наездом,— кивнул Гоголь. Он сам не мог сказать, зачем его этак понесло — видно, все от той же неловкости подслушанного разговора. Впрочем, ему было теперь и забавно.— Как сказал поэт: гоним житейскими ветрами.

— А...— Толстяк задержал вилку с куском у приоткрытого рта; баранина, казалось, так и корчилась от желания скорей угодить по назначению. Увы, ей приходилось терпеть.— Вы, случаем, не по литературной части?

— Какое там! Скромный ценитель муз. Смешно сказать, но живого литератора в глаза не видел. С детских лет все кажется, что они должны иметь вид какой-то особенный. Попался как-то раз, правда, один попутчик, величал себя сочинителем — не хочу выдавать имя. Попросил в долг, так поверите — я дал с радостью. А теперь не знаю, в каком смысле он сочинитель — больше его и не видывал.

Толстяк добродушно осклабился перед лицом подобной наивности и заинтересованной обычного уставился на Гоголя.

— Однако же странно, что мы до сих пор не полюбостыствовали... С кем, так сказать, имею высокую честь?

— Коллежский советник Могель,— приподнялся он над креслом и наклонил голову, ожидая ответного представления.

Сосед, однако, еще продолжал сидеть с раскрытым ртом; мясо тем временем как-то само собой ухитрилось добраться до цели, и очень некстати, ибо толстяк внезапно прыснул и едва не подавился, зайдясь долгим, смешанным со смехом кашлем.

— О-кхо-кхо-хо-хо, и-кхе-ха-ха-ха,— мотал он головой, и глаза его слезились от смеха.

Гоголь, озабоченный и несколько уязвленный столь непонятым откликом, потянулся было похлопать его по спине, но тот остановил его руку и еще пуще замотал головой.

— О-кхо-кхо... простите великодушно, смешливость проклятая... ха-ха-ха... кх, кх... виноват... я от природы смешлив... Мне палец покажи, а тут такое, я бы сказал, комическое совпадение... Уф,— успокоился наконец он и освежил салфеткой вспаренное лицо.— Простите великодушнейше, мсье Могель... ох-хо-хо,— опять чуть было не зашелся он, но на сей раз сумел себя сдержать,— тысячу извинений. Я комик по природе и, так сказать, по вдохновению... рифма проклятая насмешила. Моя фамилия, извольте видеть, Гоголь... Очень показалось смешно: Гоголь-Могель... бывают же на свете совпадения!

— Гоголь?

— Именно-с... покорный слуга,— кивнул толстяк, заметно наслаждаясь произведенным впечатлением.— Да что вы так опешили?

— То есть... не тот ли самый?

— Тот, тот,— поощрительно подтвердил самозванец.— Да вы, пожалуйста, проглотите, а то и у вас не туда попадет. Один мой приятель, тоже литератор, вот так богу душу отдал. Узнал за едой, что стал наследником состояния, и на вершине радости дыхание пресеклось. Что там, не чинитесь... мы ведь просто и без всякого. Простые, так сказать, смертные. Выпьем лучше за приятнейшее знакомство. Ваше благополучие!

Гоголь с озадаченным любопытством разглядывал неожиданного двойника, словно вызванного собственной неосторожностью, двусмысленной уступкой, гримасой, вышедшей из-под власти. На мгновение он засомневался: кто же кого поддел на удочку; вновь стало неизвестно отчего тревожно. Вздор! В безбровом, круглом, как блин, лице не было никакой хитрости, одна мягкость и добродушие. Толстяк вынул из-под галстука салфетку, и под волюю расстегнутым гранатовым фраком открылась темно-зеленая бархатная жилетка, на которой разбросаны были красные мушки, светло-желтые пятнышки и темно-синие глазки; жилет казался шкуркой лягушки, но лягушки раздутой или набитой сверх меры ватой; одежда не имела своей формы и не хранила складок; подушечная плоть выпирала как ей вздумается... «Вот и верно, слава»,— с усмешкой подумал Гоголь: встретить мошенника, присваивающего твое имя. Зачем бы ему? Какую он мог бы извлечь пользу?..

— Да, только что слава,— как бы в ответ продолжил свое суждение самозванец, опуская на стол бокал.— Казалось бы, что она такое? В пальцы ее не возьмешь, детей не накормишь. Ничего вещественного, положительного, что можно бы растереть, так сказать, и понюхать. Чинишка на тебе, простите за выражение, коллежский елистратишка, да-с... Но что верно, то верно, есть уже колдовство в скромном звании литератора, уже не презирают нас не то что коллежские, но и повыше советники...

(«Нет, чем не Гоголь? — думал тот, забавляясь, однако с неисчислимым, непонятым беспокойством.— Комичен и есть даже что-то хохлацкое. Мсье Гоголь... господин Гоголь»,— примеривал он имя к ватному господину, как бы вертя его в руках, разглядывая, наклоняя, словно самовар, играющий раздутым переливчатым отражением. Нет, странно, он начинал чувствовать в себе самом какую-то сомнительность, отчужденную невесомость, как будто оставался в сравнении и впрямь неведомым господином Могелем. Еда и питье на голодный желудок приятно задурманили голову.)

— Мсье Гоголь,— вслух повторил он с французским ударением,— почтеннейший господин Гоголь... осмелюсь рекомендовать вам сию малагу. Необычайно бодрит и, по свидетельству знатоков, способствует умственной деятельности.

— Благодарю, мне предпочтительней напитки покрепче.

— Давно изволили покинуть отечество? — продолжал держаться почтительного тона Гоголь, предвкушая дальнейшие повороты комедии.

Приключение все же было в его вкусе — как будто сам его напустил. Если б только не эта зябкость: отчего казалось холодно в пылающем огнями зале?

— Первый день в Париже,— не совсем влопад отвечал тот.— И сразу в этакую кутерьму. Взбалмошный все же народ французы. Дети, истинно дети, что в тридцать лет, что в сорок. Но есть в них что-то, знаете, этакое... в дамах особливо.

— У вас, я сужу, наметанный взгляд,— подзадорил Гоголь.

— О! А вы думаете? Вы наивный человек; восторженность ваша

даже трогательна. Что есть писатель? Писатель есть та же личность, только, может, в сгущенном виде. Потому все и любопытны до его жизни со всеми ее мелочами. Тот французик неглупо заметил насчет общей страсти. Литература тоже собирает людей. Увидеть себя — вот чего им хочется. Поучительной картины, притчи и утешения. Вот ум, парящий, может быть, я не знаю где — в эмпиреях, а вот остальное, в неизбежном, так сказать, житейском болоте. Тоже с хрюканьем добываем хлеб насущный. Вы думаете, литература — что? Литература — это жизнь, то есть политика и в некотором роде игра. Нынче так: у нас своя власть. Нами не пренебрегай, не то мы кусаемся. И не пренебрегают... хе-хе. Еще и орденоч схлопотать можно. С другой стороны, держи ухо востро. Перебрал либо поставил не на ту карту — как миленький в Нерчинск загремишь. А не то и жизнью полатишься. Вон Пушкин как сорвался. Я все сознаю и уважаю, но можно, можно было повернуть искуснее. Один расчётливый ход — и над всеми торжествуй. Не давай волю натуре, думай о веках... да-с...

— Прошу простить невежество, я не совсем могу уяснить... — заикнулся было Гоголь и осекся, увидев выпученные глаза самозванца.

Тот усталился на него с неподдельным изумлением.

— То есть как? Вы разве не знаете?.. Позвольте, неужто сюда еще не дошла новость? Ну это, прошу прощенья... Пушкин убит! — Он издал щелкающий звук. — Убит на дуэли. Еще двадцать девятого генваря. Не здешнего, российского. Как медленно, однако, сюда идут известия. Не думал... ай-яй-яй! И сам я хорош! О таких пустяках! Из головы вылетело! Это уже неделя как не новость.

Он искренне досадовал, что столько времени ушло на темы куда менее эффектные, и облизывал неожиданно маленьким язычком пересохшие от возбуждения губы. Гоголь хотел что-то сказать, но точно беззвучный пузырь лопнул в горле. Лицо самозванца сияло неподдельным одушевлением человека, которому вдруг повезло первому сообщить еще неостывшую новость — да какую!.. Он был осиян ею, как нимбом, он принадлежал ей, как ее составная часть, и возрастал в значении соответственно ее цене. Щеки его покраснелись и как бы еще более раздулись, он в восторге опрокинул остаток жидкости из своего стакана.

— М-м, что делается! Эй, человек... или как тут тебя... гарсон! Бутылочку ликеру этого, зеленого, ну... шартрэзу.

От возбуждения он забыл французские слова, но слуга сам уловил знакомые звуки; можно было подивиться особенной живости, с какой сей величественный римлянин в небесном облачении подскакивал со своим «*que desire, monsieur?*»⁷ к этому тюфяку с забубенными манерами; ему-то он какую пустил в глаза пыль?

— Да-с, вот что творится. Дуэль из ревности. А вы говорите: литература! Литература, она вот что такое! тут кровь льется. Драма, скажу вам, достойная Бальзака. Да что Бальзак, что Гюго, что Марлинский, что все наши перья! Вообразите женщину во цвете лет, красавица, ручку поцеловать — м-м! И тут же кавалергард, молодой, пылкий, к тому же француз. Бал, музыка, все на глазах у мужа: словом, натуральная светская игра. Самое пикантное, заметьте: оказались небезучастны высшие сферы. — Он в меру возможностей пригнулся через стол и перешел на значительный полусшепот: — Самые высшие, *vous comprenez*⁸? И вот тут, должен сказать, он допустил просчет. При всем благоговении — увы. Отелло увлекателен в театре, а тут же всерьез. До сих пор не пойму, как современный человек может дойти

⁷ Чего изволите, сударь?

⁸ Вы понимаете?

до настоящей дуэли. Предрассудки в наш век... А вот и зелененький. Ах, как светится... изумруд! Выпьем, господин Могель, за наше общее, так сказать... Да нет, что общее, для меня это...

Гоголь не заметил, выпил он или нет. Растекшееся во рту, обжигающее тепло отдавало внезапным воспоминанием, мыслью, которую надо было поймать... но что-то оцепенело в мозгу...

3

...так не сразу доходит мороз до низвергнутого нагишом в стужу: еще охраняет тебя прилипший слой своего, теплого воздуха, еще не началось падение, оцепенело завис в пустоте — долгий, неизмеримый миг; но возврата уже нет, ниточка, на которой держалось равновесие, оборвана; еще ничего не происходит, но уже все произошло и бесполезно, бессмысленно оглядываться, сетовать, объяснять, как будто можно что-то исправить... а существо твое еще не приемлет ужаса, и душа не способна даже на вопль, единственно достойный мгновения: лишь бульканье мысли, оцепенело-лихорадочная суэта, унижающая серьезность беды...

...что же это за вкус во рту? — эх вспыхнуло, растеклось, требуя что-то вспомнить: суконное небо над петербургской улицей, всхлипывающий снег под подошвой, хмель в мозгу, зуд обмороженных ушей — и наплыв досады, заставивший вдруг с маху пнуть сапогом в россыпь застывших конских яблок... — одно отлетело в будочника, который, прислонив алебарду, как раз принохивался к своему рожку и ничего толком не понял (потом всякий раз пронесило мимо его будки с детским чувством превосходства, связывающей тайны и страха: нюхай, нюхай, сторожевая душа, недремлющее око, меня ты не угадываешь — никто меня не угадывает, — а я меж тем знаю что-то про нас обоих)... Откуда это? Что за осколки картин? Словно зашевелились зеркала и полезли в очи, как зайчики, пускаемые сорванцом-чертенком: оживление позднего утра; мальчишка-посыльный, бегущий, засунув рукав в рукав и обхвативший в охапку пустой штоф; две бранчливые бабы, выливающие в канаву помой, которые тут же твердеют вместе со своим запахом... весной эта вонь оттаивающего грязного льда перебивает даже капустные ароматы из мелочных лавок и гарь от ремесленных мастерских — лучше не открывать окно; а и не открывать душно, и все равно не хватает тепла. «Вы отогреетесь в Европе, — говорил, смеясь, Пушкин. — А мне все никак не вырваться»... вот тоже вздор... бессмыслица: как это не вырваться... его, кажется, и не пускали... нет, истинная бессмыслица: тебя пустили, а его нет — его, знатного, свободного, знаменитого, с таким легким смехом, с таким завидным здоровьем, что можно было никуда не спешить — не в пример тебе (всегда-то мерил с собой!). И вот ты сидишь... эх срезал, лягушинная душа! перемигивает икрными глазками — ловец, словно поджидавший тебя, облизывавшийся крохотным языком, пока ты мчался к нему сквозь кривящиеся улицы — к нему, к нему, он был не случаен при своей новости среди этого дня, обозначенного еще не явной трещиной. Вот оно... Нет, что за чушь... еще кто кого, меня ты не угадываешь... и почему вдруг верить? Ну испугал, оглушил, смошенничал. Ведь сам отрекомендовался обманщиком, самозванцем, мистификатором...

...какая же дуэль? это именно в театре: с пистолетами без курков и красной кровью, это иначе и не вообразишь как с шутовскими болванками без курков... только и стоило посмеяться, одурачить, при-

низить какого-то там подлеца насмешкой: прошу вас, милостивый государь, ваш выстрел первый... ах, не стреляет? да что такое, небось черви поточили, сколько их нынче развелось, каналов, всюду вгрызутся, до самого сердца. Не угодно ли в таком случае на зубочистках? на пилочках для ногтей, на трубочках из бузины, отменно можно запустить в рожу... а лучше пинка в зад, да плеткой, плеткой подлеца, да по голому месту, и всенародно, чтоб глаз не мог поднять! чтоб пробрала дрожь от мысли, на что чуть было не покусился! так тебя, так! при всей этой блистательной мрази, которая не знает в жизни цены ничему, кроме спеси, чинов и денег... так тебя! а думал, с тобой на равных? с шутком, ряженым, ватой набитым?.. с петушьей повадкой, в аристократических перьях, доставшихся чужим потом и кровью, чужой душой. Кривляйся на площади, где пена и шелуха,— какое соприкосновение может быть у тебя с сердцевиною жизни? в навоз тебя рылом со всем твоим аристократизмом, который и есть не более чем навоз... каково теперь?

— А?—переспросил он, ощутив наконец на губах собственную усмешку. Блин с двумя бородавками качнулся в забытом пространстве, где, кажется, шел своим чередом какой-то иной разговор; потянулся бокал: ваше здоровье!.. жилетные глазки поощрительно замигали. Свет выдавливался из щелей и дыр, как обволакивающий сок...

и стиснуло, пронзило, словно прикосновение гальванического прута: да ведь не сегодня это, не вчера... уже почти неделю как произошло, нарушено было в мире — и запоздалым, затянущимся эхом ныло в воздухе, когда самозабвенный музыкант рвал на себе струны, бесновался ряженный водоворот, подталкивая тебя навстречу, и факельный угар мешался с запахом сладости: гибельное дуновение, тоска, опаленные крылышки... И что было не поддаваться, свернуть, воспротивиться?.. нет, опять вздор; так хочется свалить на примету случившейся бог знает в какой дали и, переворачивая причину, клясть себя за то, что ступил не с той ноги,— откуда это чувство вины?.. при чем тут ты? разве ты виноват, что однажды мелькнула у тебя непозволительная мысль — не мысль, предчувствие... тяжесть, зерном запавшая еще в первую встречу, когда увидел его с женой, такой белой, невесомой, как облачко, из такого иного мира... да, да, еще тогда, сквозь весь восторг и счастье сбывшегося наконец знакомства: смущение перед безоглядностью этой жизни, зависть, смешанная с болезненным превосходством: я захвачу глубже, ибо я готов отречься от иного счастья, от человеческого осуществления, переработать свою жизнь в страницы, как тряпье на бумагоделательной фабрике, но помня, что сосуд, наполненный божьим замыслом, обязан быть сбережен...

вот: ты и остался... куда заносит мысль? словно кто-то со стороны сбивает, передергивает, подсовывает не то... увлекает, как шар, дутый газом; как звали тех французов, что поднялись в воздух? была еще гравюра... нет, не о том надо было вспомнить... Ты остался... еще и досада на причиненное тебе горе: как же теперь? ведь надо показать новые главы... зачем же было так?..

а... вспомнился, вспомнился вкус: тот же самый ликер в кондитерской на Мойке — то есть тот был, наверно, помой перед парижским, но уж облагорожен временем: возлияние для куражу, когда в первые свои петербургские дни сунулся постучаться у его дверей, а он еще спал после карточной ночи. Смешная досада на юношеский свой незрелый трепет: а чего же ты ждал? Что вместо лакейской мягкой фи-

зионии выпорхнут из дверей образы, рожденные им в ночных трудах? (и катушкой в будочника!) По себе суди... но что же по себе? себя ты готовил к призванию, и беспечной растратой казались эти карты, балы... непостижимые разговоры о дамских мундирах, о взятии Варшавы, о выдаче замуж какой-то фрейлины, о чьей-то французской обмолвке, и что какая-то княжна брюхата не вовремя, а какая-то в связи с известным графом, и все это с живой страстью, в куче с существенным, без разбору, без строгости; он все принимал вместе, вот что сбивало, как нерешенный урок, когда ты искал от него зерна и с досадой отшеаушивал его для себя. «Вас устроило бы от жизни ядрышко, как в орехе,— пошутил как-то раз Пушкин.— А вдруг она скорей капуста: оболочку за оболочкой отбросишь, а без них-то ее и нет?»... Это было в ответ на комическую историю о лакеях, которые важно обезьянничали господ на своем балу,— забавная сценка с бессмысленностью манер, с пустотой ненаполненных слов — скорлупа, механизм, форма, обнаженная до идиотизма... разговор был о смысле приличий, об условиях и ритуалах, без которых не обходятся и дикари, и что даже светское притворство не вовсе лишено смысла, и все ли покровы надо снимать, и что есть форма — а ты поддерживал эту беседу, цепкий усмешливый провинциал, затесавшийся в столичные сливки, среди чернофранных господ с безупречнейшими движениями, воздушных дам с продуманнейшим молчанием и улыбкой,— ты с надежной своей родословной, с умением вышивать гладью, с самолюбием, скрытностью, талантом, с игрой и неумышленным хохлацким лукавством, с способностью к поступкам и решениям судорожным, ненужным, от которых потом самого передернет,— и все не столько от неуверенности, невоспитанности, плебейства, сколько из безразличия к попутным подробностям жизни — о, тут он был прав, хотя даже он понимал тебя не до конца...— и это тоже лестило и тянуло усугубить загадочность. Он отмечал тебя иначе, нежели других (быть может, более близких) — бог весть почему, но ему лучше знать, ему нельзя не верить. Значит, что-то в тебе есть... так, верно, влюбленный окрыляется ответным чувством: если такое совершенство считает меня достойным, значит, есть во мне что-то... но в этом выравнивании и божество приспускается к тебе с пьедестала...

что же это за круговорот такой в голове — все не попад... так в детстве сквозь прозрачную воду пытался накрыть ладонью малька на солнечном дне — а под ладонью один песок. Почему не можешь даже почувствовать, понять, чтобы пронзило?.. одеревенел, как чурбан, и что-то все тянешься вспомнить... Вот ясно видится: свеча с шипением захлебывается в подсвечнике, играют по стенам тени, а в комнате натоплено так, что трудно дышать, и все равно зябко, словно среди поля зимой, в уютной дорожной кибитке. Почему же зима? Все спуталось. Какой нынче год? месяц безусловно февраль, это подтверждено — вот и блин всплывает над мутной равниной, он сам сказал, что февраль... вот он, качнувшись, раздваивается перед ослабленным взором, будто в зеркале плохой выделки, отделилось по соседству узкое лицо, обтянутое на скулах кожей, и лезут в две руки со своими бокалами: виват, виват... это тоже надо постичь. Мир не завершен, покуда он не постигнут тобой; он скреплен какой-то мыслью, как обручем, он без тебя не выдержит, без смысла он надломится, разлетится, разнесет сам себя. Для чего же еще нужен бедный твой мозг? стекляшки рассыпаются, если ты их не соберешь в узор, смешаются хлябь и твердь, не разделенные словом... только тряска на взбесившейся мостовой, заставлявшая пядцев мотать тряпичными головами, бег навстречу зыбкой, невнятной еще ловушке, тихий мученик со

ртом, полным жеваной бумаги, милосердная дама, свиные рыла, убожество, светский вздор, калейдоскоп, дробящийся в зеркалах, под искаженными небесами — мимо, мимо! шелуха эта смертельна... да, она может стоить жизни... вон снова подмигивает, подступает к горлу, ширится, прорастает ледяным зернышком... у, какой холод схватывает оцепенелые члены! и что-то последнее, важное, как жизнь, чернеет, недодуманное, сквозь мельтешню, сквозь бульканье, сквозь ненадежное забытие и отрешенность — как червоточина, как память о неизбежном проуждении...

4

— ...Вот и я говорю, — подтвердил лягушиный жилет, словно соглашаясь с чьим-то рассуждением. — Иной раз проснешься, мотнешь головой — никак не поймешь, что с тобой было. И было ли? И что сие значит? Многозначительная и трепетная это действительность — сны. Есть в их материи своя задушевность. Как по-вашему, господин Могель?

— Да, да, — поспешно кивнул он с невольным облегчением и благодарностью за то, что разговор непостижимым образом продолжался без неловкости; во всяком случае, ему позволяли ее не чувствовать. Он смутно понимал, насколько дико и неестественно сейчас это облегчение, но что-то тянулось дальше оскорбительно, нелепо, без его воли, и он не в силах был ничем овладеть. Язык во рту был непослушен, мысль тупа — неужели так прохватил его хмель? Он не сознавал себя пьяным. Раздвоенный визави, померещившийся расслабленному взору, качнулся, окреп — за столом и верно сидел третий... давно ли? улыбался, как знакомый. Он был сухопар, тонкогуб, в очках с золотой оправой; кожа на выпиравших скулах натянута была до блеска, даже, казалось, потерята, как на ребрах старого чемодана, — точно мастеру не хватило материала и он распылил его посильней, прикрыв на затылке скрепки жестким коротким волосом. Лицу было явно тесно, так что при улыбке нос (налитый уже краснотпой) оттягивался книзу, пытаясь заглянуть в щель рта, но выходил недостаточно длинен для этого, и усмешка на полпути иронически искривлялась.

— Казалось бы, что есть такое сны? — воодушевляясь, продолжал самозванец. — Невнятица. Бред. Кружева эфира, туман воображения. Очнись и забудь: фу — и расплылось, как облачко. Но ежели, не дай бог, сей туман запомнишь, да еще расскажешь другим — он приобретет, я бы сказал, ошеломительную вещественность. За сны, сделанные достоянием общего слуха, иной раз приходится платить ого-го какую цену. Если позволите, господа, на сей счет поразительный анекдот. В давнюю пору водил я знакомство с семейством одного акционерного. Две дочери незамужние, Елена и Аделаида, недурные, к слову сказать, собой... да-с, но буду краток. Главное, тетушка, Аграфена Кузьминична. Вот эту тетушку к старости стали одолевать сны по нескольку раз на ночь. И что ни сон, то страх, и что ни страх, то в руку: то помрет кто-нибудь или с лестницы упадет, то племяннику ордена не дадут, на который он вот так рассчитывал, а вместо того привлекут за растрату казенной суммы, то у соседки дитя мертвое родится, то и вовсе какая-нибудь, скажем, засуха. Просто можно было прийти в отчаяние. И хоть бы, именно, не рассказывала, держала бы про себя. Нет, по глупости либо из тщеславия сама же про все и сообщала. Родственники не знали, как быть: то ублажали старуху днем, чтоб ночью снилось повеселей, то вовсе вздремнуть не давали. Замучили. Но едва заснет — опять какой-нибудь страх, хоть ты повесься. Так к чему, господа, я веду: в весьма скором времени старушка-то наша умерла (заметьте, во сне), и было сильное подозрение, что не своей смертью.

— В прежние века ее бы вовсе сожгли на костре,— сурово сказал сухопарый, отхлебывая из бокала; складочка у левой щеки запечатлелась, видимо, навсегда в знак постоянного презрения.

— Не исключено-с,— охотно согласился толстяк.— Тут уж спасибо цивилизации. Так ведь, господа, в прошлые-то века старушка и поостереглась бы трепать лишнее! Что тут за дерзость современная, что за тщеславие такое себе на погибель? Вот что достойно размышления! Казалось бы, не дразни людей, не оскорбляй их предрассудков, себя пожалей. Что за страсть к откровениям? Да еще, глядишь, и прищипинит, ежели сна не хватит. Ведь вот еще что меня занимает: а вдруг она хоть половину своих снов да выдумала? Не могут они так густо валить. И тогда возникает еще более удивительный феномен, говоря языком философским. Позвольте уж, господа, заодно другой сюжет, для ясности мысли. Один мой знакомый (отмечу сразу, не без способностей к сочинительству) как-то в минуту досады приврал своей жене, будто изменял ей во сне. То ли кошка меж ними какая-то пробежала и он супругу поддеть хотел, чтобы ублажить самолюбие, то ли, наоборот, от игривости настроения — но ведь в шутку, господа, именно как сон, он мне сам клялся. Жена, заметьте, со смехом поддерживала тон: дескать, молода ли была соперница и хороша ли собой. Он, со своей стороны, в досаде на этакое хладнокровие не преминул расписать красоты, *de propro in propro*⁹. И вот, поверите ли, с тех пор она его не может простить. Как будто произошла настоящая измена. Вошло в душу — и все. Подробности особенно убивают. Все бы ничего, да подробности: так перед глазами и видишь. Сами знаете, какие бывают сны — м-м, хоть не просыпайся. Он и сам, по-моему, стал верить: то ли что сон такой был, то ли что даже измена была. Воспоминание, знаете, не всегда разберет, где правда, где туман и кружева. Словом, семейная жизнь пошла кувыркком, а все из-за чего? Вот тут уж совсем диву даешься! Хоть бы поистине из-за сна, можно бы приписать суеверию. Но сочиненная блажь — это ведь совсем ничего, тень тени. Болтовня, сотрясение воздуха, тьфу, можно сказать.

— Так-то вы трактуете сочинительство,— скривился господин в очках, и кончик носа его еще более налился краснотой.— Болтовня, сотрясение воздуха, звук гремушки?! Никак не выведутся люди, которые все в жизни думают изобразить игрушкой, развлечением уму и сердцу! И вы еще толкуете, что надобно отвечать за свои слова!

Гоголь покосился на него с интересом и почти что с признательностью. Развязность самозванца становилась все более несносной, но не хватало уже свободы осадить, поставить его на место. Он словно приобрел странную силу, оседлав разговор и направив его черт знает куда. Любое вмешательство тотчас приняло бы вид еще более нелепого шутовства. Назвать себя? завести комический спор о присвоенном имени? Не бумаги же, в самом деле, требовать! Господин в очках меж тем, очевидно, не сомневался в своем праве на строгость и поучительство перед застольным собеседником. Речь его была жесткой; он и на ощупь казался жесток и шершав, как сухое длинное насекомое; хотелось захватить его сзади за спинку и слегка стиснуть, чтоб ощутить под пальцами упругость панциря. Но особенно странно было, что лягушиный жилет при своей видимой бойкости точно и не оспаривал этого права.

— Ну почему же! — только и выставил он перед собой для защиты пухлые, как из ваты, ладошки, слишком маленькие для его туловища.— Я против сочинительства?! Отнюдь! Всей душой! Благоговею и более того! — Он, осклабясь, подмигнул Гоголю: дескать, не выда-

⁹ Слово за слово.

вайте.—Иной-раз и сам анекдотец завернешь для удовольствия компании.

— Завернешь! — все более ударялся тот в пафос; носовой голос его приобрел медные нотки.— Для удовольствия! Знал я тоже одного сочинителя... выдумщик был не чета вам. Вообразил себе, между прочим, губительную болезнь. То есть действительно ли вообразил или перед другими решил значительности себе придать, намекнул для красного словца перед дамами... тоже в своем роде эффект производит, байроническое что-то придает. А может, и ради скидки присочинил, в минуту слабости перед чьим-то запросом. Так вот-с, намекнуть-то намекнул, а сам, натурально, с жизнью и не думает расставаться. Более того, на ланитах играет в некотором роде даже румянец. Нашлись остро-слова, колкости начались — словом, неловкое и в некотором роде смешное положение. А сочинитель мой был человек самолюбивый и болезненный, для него стало делом принципа доказать свою искренность.

— Назло, назло! — радостно захохотал толстяк.— Назло пошлакам доказать, чтоб не смеялись! Искренне чувствующему человеку это невыносимо. Восхитительный сюжет! И что же, так и помер?

— Вполне может быть,— сухо и уклончиво ответил тот, недовольный, что его перебили.

— Вполне может быть! — чему-то еще более восхитился самозванец.— *Genialement!*¹⁰ Нет, это потрясающий анекдот... отдаю оба свои за один! Умер, чтоб доказать... уф, даже слезы на глазах!

Он мотнул головой и с неожиданной лихостью опрокинул рюмку. Незаметно вышло, с какой ужимкой он вновь вывернул на свое; покорность его оказалась обманчивой, да и в жесткости сухопарого проявлялось все более что-то недостоверное — как в театральной орденской звезде, о которую боязно уколоться, а дотронешься — ан из гнущейся мишуры. Гоголь взглядом следил за обоими, уйдя в кресло по самые плечи и почти втянув в воротник уши; что-то мерещилось в них необъяснимо знакомое, хотя наверняка видел впервые и эту бородавку и очки: так иногда во сне узнаешь памятное по другому сну, а наяву не вспомнишь. Он прищурил глаза, напряг, пытаясь свести обе фигуры в одну, и у него это почти получалось, но в последний момент, когда правое стеклышко очков уже налезало на левый глаз самозванца, оно отблескивало ярким зайчиком, и все сбивалось. Зеркала, утерявшие отражение, обдавали светом черепа сотрапезников, которые продолжали на пару давно заведенный спор и, казалось, больше не интересовались третьим.

— Да, в жизни есть обязательства построже векселей,— сурово подтвердил сухопарый.— Если бы хоть некоторые это чувствовали, они бы задумались над многим, в том числе и над своим смехом. Смех тоже цены стоит.

— Великолепно! — с подозрительным пылом восторгался жилет.— То есть слово в некотором роде — тот же вексель? *Quelle idee delicieuse!*¹¹ И как глубоко насчет смеха! Нельзя ли мне, наконец, заключить, что сами вы причастны к сим, так сказать, сферам?

— Если угодно, заключайте,— поморщился тот.

— О, я так и почувствовал! Но теперь меня не отпустит законное любопытство. Не считите за нескромность... ваше, так сказать, имя... Смею предположить, весьма знаменитое.

— Возможно, и так,— с достоинством произнес сухопарый.— Именно потому я и предпочитаю инкогнито. Особенно здесь, где каждый русский на виду.

¹⁰ Генциально!

¹¹ Восхитительная мысль!

— Задушевнейше вас понимаю! Слава мешает, не дает попросту наблюдать жизнь. Но любопытство проклятое!.. Теперь хоть лопайся, как пузырь. Да еще инкогнито! Поневоле вспомнишь, хе-хе, некий нашумевший спектакль.

— И будете близко от истины,— невольно усмехнулся тот.

— То есть... о, позвольте же хоть игру в отгадки! Вы стихотворец? Прозаик? Ну разумеется, я лишь так спросил, поэт виден сразу по устройству ума и натуры. А что до сценического искусства... о, и не ошибусь, что служите скорей Талии, нежели Мельпомене? Но черт побери, есть ли у нас еще комический автор, достойный этого имени, на котором сходятся ум и глубина...

— Прошу вас! — остановил его сухопарый. — Догадались — и не шумите на весь мир. Что за страсть к знаменитостям!

На неопределенное время за столом воцарилась значительная тишина, весь зал перестал быть слышен, и только тоска — боже, какая тоска! — хлопотала явственным звуком, как кипящая в котле вода. Толстяк в жилете выпучил глаза и приоткрыл рот. Безбровая круглая рожа его выражала высшую степень восторга — ах, какой бестией обернулся этот набитый ватой тюфяк! не догадаешься по первому виду. Наконец он, не выдержав, прыснул в ладонь и над ладошкой опять подмигнул Гоголю: не выдавайте, не выдавайте меня, мсье Могель, поддержим-ка дальше славный спектакль.

— Не понимаю странного веселья,— несколько обиделся новый самозванец, и складка у его носа дернулась.

— О, тысяча извинений! — спохватился жилет. — Но когда видишь лицо, даровавшее нам столько веселых минут...

Здесь он окончательно не стерпел и запелся смехом. Рот его растянулся, как будто через пол-лица прошла прорезь, щеки, поджатые углами губ, с двух сторон напыли на носик, оставив вместо него опять бородавку, глаза тоже оказались заплывшими — слепой блин с носом на подбородке трясся от хохота, сотрясалась бесформенная ватная плоть, и даже красноносенький господин, поддавшись, издал сквозь иронически сведенные губы звук вроде того, какой производят кузнечики. В зале, однако, никто и головы не повернул на это неприлично громкое даже для парижского праздника веселье — их будто не слышали, всяк занимался своим делом: за ближним столом офицер (настоящий ли? ряженный?) целовал даму, всю, как фазан, украшенную перьями; какой-то господин, отстранив гарсона, сам откупоривал бутылку шампанского, поливая белой пеной подгулявшую компанию, — по сюртукам морковного цвета и засученным до локтя рукавам в них легко было узнать провинциалов; какие-то подвыпившие немцы пытались запеть, стуча стаканами о стол, как пивными кружками. Парижский зал принимал черты разгульного русского заведения, когда опустошены первые штофы и смелливый хозяин подмешивай дальше хоть сивуху пополам с скипидаром — никто не моргнет и глазом. Лица казались обесцвечены чрезмерной яркостью света. Зеркала нашли наконец отражения и перебрасывали их от стены к стене. Но едва Гоголь пытался поймать свое, стекла пускали в глаза ослепительный зайчик — и не было над головой небес, кроме зеркальных...

— Восхитительное приключение! — успокоился мало-помалу толстяк; лицо его благополучно расправилось, проявив глазки; нос вернулся на прежнее место. — Давно так не восторгался! Впрочем, я от природы смешлив, — повторился он. — Нет, вот говорят, будто комический писатель в жизни сухарь и мизантроп. Отнюдь. Настоящий комический автор и в жизни виден как остроумнейший человек. Он не шевельнет мышцей лица, он смотрит сурово, как Цезарь, как Дант,

навидавшийся ада, но комизм сам собою сквозит. Выпьем, господа, за фантастический сюрприз... нет,— опять прыснул он, но на сей раз не дал себе воли,— поистине фантастический. А *potre*, так сказать, *copnaissance*¹²... Что, опять ничего? Эй, гарсон, еще вина... и чего-нибудь этакого!.. Может быть, господа интересуются табачком? Весьма улучшает настроение и облегчает состояние мозгов, прощу, если угодно...— Он достал из кармана табакерку в виде завитой раковины, створки ее разошлись сами по себе от нажатия незаметной кнопки. К табакерке никто не потянулся, включая хозяина; видно, она показана была из известного тщеславия.— Славная вещица, а? У антиквара куплена. Вон тут какой узор. Я, признаюсь, люблю безделушки. Вроде бы тыфу, а создают уют в жизни. У франгузов особенно забавные бывают штучки для холостяков: на крышке узор или там мудрое изречение, а с исподу, как откроешь — этакое, хе-хе-хе... канальство.— Он изгибисто показал руками в воздухе, какое именно канальство.— Чего эта нация не придумает!

Гарсон тем временем распалагал на столе очередную перемену; он становился все более неправдоподобно быстр и гибок — способный, казалось, согнуться в любую сторону и в любом месте туловища. Не удавалось сразу ухватить его перелеты: благородный римский профиль без углубления на переносице и верхняя часть стана с цепью на груди и блестящим подносом держались еще перед глазами, а спина уже оказывалась повернута к другому, руки распоряжались вовсе самостоятельно. Он кончил, и его унесло куда-то в провал зеркал подошвами вперед.

— За искусство, господа! — провозгласил лягушинный жилет.— За служенье очаровательным музам, которые объединяют, так сказать, человечество, разнообразя наше существование... и за их много-мудрых жрецов!

Он опрокинул стакан и крикнул.

— Но интересно бы, однако, продолжить вашу остроумную мысль о векселе. То есть что слово, публично произнесенное, — не воробей, отнюдь не воробей, а обязательство, подлежащее учету. *Tres esprit*¹³ Тем более что в наш век оно вознаграждается полновесной монетой, не говоря уж о прочем. С другой стороны — надобно обеспечить расписку.

— Именно, обеспечить, — поднял перст второй самозванец, отирая салфеткой губы, похожие на двух влажных червячков. Он, видно, не вполне сосредоточился после столь шумного чествования.

— Вопрос в том, кому мы эту расписку даем. Я к тому (продолжая сравнение), что в расчетных этих сферах возникают преказусные истории. Можно бы рассказать гору случаев, да вы и сами знаете, этим и книги и газеты полны. Векселек, скажем, может по дешевке перекупить неожиданная сторона, с которой бы ты вовсе не желал иметь дело, а охотней всего послал к дьяволу — если бы знал! Но нет, ты, как человек слова, бьешься, можно сказать, об стенку, жизнь ставишь на карту — а ради чего? Кто, глядя на тебя, потирает ладошки? Ах, если бы знать заранее и наверняка! Всё без гарантии. Еще, не расплатившись, и наследникам оставишь счет — вот скажут тебе спасибо.

— М-м, — произнес второй уже с осмысленным интересом. — Идея туманная, но не лишена...

— Так, литературная болтовня! Сравненьице мне понравилось, тут простор для ума философского. Да и трагические факты наводят на разные мысли.

¹² За наше знакомство!

¹³ Очень остроумно!

— Да, да, трагические,— поддакнул второй.

— С другой стороны, лукавый ум ищет себя обезопасить — на случай каверз. Можно ведь предъявить и дутое обеспечение. Бумага, слова, все как обещано, а какая за ними, с позволения сказать, душа — пусть разбирается юрист. Глядишь, лет на сто работы хватит, а там и векселек просрочен... хе-хе! Каждый изворачивается как может. Я безо всякого осуждения и морали, напротив-с. *La vie est, так сказать, un art de possibilite*¹⁴.

Он замолчал, явно ожидая, как будет оценен столь изысканный афоризм. Но сухопарый вместо ответа откашлялся; он был как будто немного смущен.

— Что вы мне тычете французские мудрости,— наморщил он наконец складочку.— Тут своего голова не переварит. Уж будьте добры, изъяснитесь со мной по-русски. Ум мой слишком по-русски устроен; чужая речь без смысла забивает слух.

— О, пардон, никак не думал! Старомодное воспитание, привычка мешать слова. Сейчас идеи, верно, больше патриотические... ценю и уважаю-с. Но в Париже поневоле увлечешься. Еще и потребность вынуждает.

— Э, довольно, если с лакеем в гостинице насобачишься объясняться,— сказал сухопарый. Высокомерие, видно свойственное самозванцам, все более выходило наружу, слова становились суровее и тверже, что было достойно удивления, ибо носик его успел тем покраснеть уже далее кончика и налился небольшой, но вполне яркой дулей.

— Насобачиться, именно-с! — развеселился жилет.— Другим языкам еще можно учиться, а тут именно насобачиться. Но я бы не сказал, чтоб мысль моя была специально французская или какая еще. Я ее, если угодно, сам сочинил и только перевел для красоты слова. По-нашему все как-то тяжеловесней. Я имел в виду выразить, что каждый живет как может.

— А! Поистине русская мысль. То-то и беда. Так и получают дутые векселя. Слишком все у нас себя любят, слишком пристрастны к подлой своей оболочке. А ведь она не более чем персть земная, данная нам на тот же срок,— вот чего у нас не умеют помнить. Если б поменьше ее уважать, мир бы, глядишь, перевернулся и засиял. И ведь все эту истину знают, нет только духу себя к ней принудить.

— Это вы насчет *memento mori*? — пустился было паясничать толстяк, но тут же опередил готовую разразиться молнию: — Нет, я готов ценить всякую возвышенность и тем более ученость. Но зачем переворачивать мир? И себя выворачивать наизнанку? Жизни, знаете ли, малопривно насиле над собой, даже самое идеальное.

— Вот, вот, опять русская погудка. Ее за версту учуешь. Сегодня прямо на улице услышал те же рассуждения. В чужой толпе свое сразу в ухо лезет. Идут два нашенских мудреца, один посолоннее, другой постройней. И первый твердит: все гиль, а потому нечего стараться и выпрыгивать из себя. Другой возражает: нет, все куда как славно и потому опять же нечего скакать. Вот вам пошлость самодовольства.

— Да вам-то что: пошлость! — раззадоривал жилет.— Почему вы именно вообразили, что людям должно быть как-то иначе? Кто вам это сказал? Никак не переведутся охотники спасать мир. Уж сколько бы, казалось, учили. Зачем буравить людей потусторонним взглядом? Идут себе и идут, и найдут, куда надо, дорогу без идеальных добродетей, *qui n'èlevant que doutes dans leurs esprits et exaltant*

¹⁴ Жизнь есть искусство возможного.

leure imagination¹⁵. О, виноват,— спохватился он с очевидной неискренностью.— Я говорю,— перевел он,— найдут, что им надо больше всего. Винишка выпьют, с красоткой перемигнутся, о комете потолкуют, поспорят о изящном — они ведь, уверяю вас, ценят изящное.

— И крысы, бывает, ценят.

— А вы не презирайте, не презирайте! — заерзал на стуле толстяк.— Я понял аллегорию вашу и сказочку сию тоже знаю-с. И что? Достойнейший был народец, если уж на то пошло. За музыку готовы были себя забыть. Это чего-нибудь стоит, а? Но скажите, каков должен быть негодай, играющий на природном изяществе душ?

— Вы меня ужасно сбиваете,— сказал второй, дернув щекой с каким-то особенным беспокойством: ах, как ему было тесно в не по мерке подобранной коже! — Только что идея моя была ясна, и вот опять не соберусь с мыслью. Тут еще винные пары.. хоть я против них устойчив,— добавил он с самолюбивой поспешностью.— Я толкую о стороне возвышенной, а вы все в один котел. Удивляйся потом, как у нас поступают с поэтами.

— Ну, это, конечно, не правило. Тут должно взаимно способствовать. Непорядок всем досаден. Вообще, скажу я вам, с слишком высоким замахом недолго и опалить крылышки. Это на свой риск. Но из сего не следует, что остальных надо соблазнить из теплых их норок. Куда? В омут, вниз головой? C'est ça que vous appelez une idée élevée!¹⁶

Последнюю фразу он вбил как гвоздь и переводить не стал — уже явно назло. Самозванец в очках облизнул губы и впервые покосился на Гоголя, как бы ища поддержки. Бляшки очков его слепо блеснули, обтянутые скулы определились отчетливей, вызвав мысль о черепе. «Другой черт»,— вспомнил Гоголь и усмехнулся ясному воспоминанию: беспокойные свечи, белозубая улыбка на изжелта-смуглом подвижном лице..

— Развелось доморощенных философов,— не нашел ничего лучше отпаривать сухопарый.— Всяк свой умишко хочет показать.

— Да какой ни есть, а свой.— ничуть не обиделся первый.— Своя, как говорится, слюна не противна. И мыслишки какие ни есть, а свои, к чужим занимать не хожу-с. Если и сочиню что-нибудь, так собственный сюжетец.

— Что вы имеете в виду? — насторожился другой.— Это понимать как намек или..

— Вольные соображения, исключительно вольные! Э, господа, оставим серьезные разговоры. Вот и мысе Могель скучает. Взгляните-ка на него,— показал он своему напарнику,— сейчас клюнет. Ха-ха, сейчас клюнет. Чистая птица. Вот крылышки расправит и клюнет. Вы не обижайтесь, любезнейший, я от чистого добродушия. Мы с вами друг друга пойдем, ведь правда? У нас взаимные чувства. Мне кажется, я вас прежде уже видывал, только вы были помоложе. Да и я был, что говорить, другой, не узнать.

— Все мы были другие,— философски заметил второй.

«Я знаю вас,— думал он, все более втягивая голову в расслабленные воротнички (галстух его почти совсем развязался).— Я давно вас угадал, раскусил. Вы одна шайка, и вся болтовня ваша расписана по ролям. Что вам! вы боли не чувствуете, хоть вилкой проткни вам самое сердце. Ведь вся ваша оболочка — даже не плоть, какой заплывает зябкая человеческая душа... боже, как с вами холодно!.. ведь все это из тряпья, из рогожи, которой прикрывают лед, из тряпья и скорлупы шутовской...».

¹⁵ Которые только возбуждают сомнения в их умах и раздражают воображение.

¹⁶ И это называется у вас возвышенная идея!

— Виват! Ваше здоровье, господин Могель,— тянулись к нему, ослабившись, оба самозванца; зеркала вспышками слепили очи — и не было над головой небес.

— А относительно чужих сюжетцев,— продолжал лягушинный жилет, пристукнув пустым стаканом о стол,— так просто пришел мне на память один бойкий анекдот. И тоже ручались, что подлинная история, но поди верь людям!

— Да вы сокровищница на анекдоты,— скрипнул второй.

— Не стану отрицать, увлекаюсь и, можно сказать, коллекционирую. У меня всегда и тетрадка при себе особая.— Он извлек из кармана пухлую потрепанную тетрадь в гнущемся переплете.— Чуть где услышу что любопытное, сразу сюда-с, на заметочку. Анекдот, если взглянуть в высоком смысле, та же притча. Иной раз восхищаться: дайте мне парочку апостолов — то ли еще будет евангелие! — Он потряс тетрадкой.— И не поручусь, которое станут больше читать.

— Слушать вас возмутительно,— сказал второй.— Вольномыслие ваше переходит пределы.

— Это ли нынче вольномыслие! Нет, в самом деле, кого бы соблазнило любое писание, если б не житейские теплые сюжетцы? Философия да проповеди — многим ли они западут в душу, кроме книжников? Нынешние-то мудрецы подножной реальностью брезгают, вот и слушают друг друга, не производя впечатления на жизнь. Поглядели бы, кстати, на себя — святые, что ли? Сплошь лицемерие. Нет, теперь идет время реализма и откровенности, помяните мое слово. Нечего самого себя взнуздывать, осекать и притворяться. Пасись где хочешь. Все, так сказать, нараспашку.

— Пошли опять философствовать. Анекдотец-то где?

— Я уж и забыл, который хотел. Напомните, господа, а?.. Мсье Могель?

— Насчет литературного сюжета,— поспешил другой.

— А... так, позубоскалить. Некогого литератора (не нашего, французского), знаменитого богатством фантазии, спросили, откуда он, так сказать, извлекает свое разнообразие образов, этакое фантазмагорическое буйство. Литератор в ответ с невиннейшим лицом показал свой палец, замечательно крупный, толстый, в этакой, знаете, щетинке. Изрядный был, помимо всего, остроумец. Его менее счастливый собрат наблюдал этот палец с завистливым чувством; из своего собственного, худосочного,— он покосился на Гоголя, катавшего хлебный шарик,— он давно не мог извлечь путного. Словом, осенило его: испросил у мэтра дозволения изредка пользоваться его бесподобной конечностью. Что там было, не скажу, но кончилось... пф... вмешательством полицейских властей, которые заподозрили...

Он уже к последним фразам давился смехом и разразился, не дожидаясь других. Смех его приобрел вкус застывшего сала.

«И как же вы способны прикинуться, подкрасться, как стережете момент оглушить и незаметно замутить человека, подменить для него самое святое. Как вы смотрите на него во все глаза, когда он пошатнулся, утерев равновесие. Все, что у людей жизнь и рана сердца, для вас пошлость и глум...»

— У некоторых взгляд устроен так,— скрипнул второй,— что они не могут видеть ничего, кроме пошлости и глума. У них шея заросла и не пускает поднять голову.

— Ну вот, я же предупреждал. Сразу вспоминаем мораль, переходим на личности. Пожалуйста, я не навязываюсь. У меня слушатели найдутся, можете быть уверены. А что до взгляда, тут бы я еще поспорил. Я, может, не в пример некоторым, живого ангелочка ви-

дал. Вот как вас перед собой. Без всякого суеверия. Такой был пухленький, упитанный, с детскими перетяжечками — все как у малого дитяти, только...

— Молчать!.. шут гороховый! — вконец рассердился другой и даже стукнул ладонью о стол, да, видно, пребольно, ибо тотчас принялся дуть на ушибленное место. — Есть материи, не допускающие шутовства.

— Ну, я не знаю, — пожал плечами толстяк, он даже тут совершенно не обиделся. — Я хотел как повеселей. Не угодно про ангелочков — хотите анекдотец про чертей?

— Этого еще не хватало!

«Кривляйтесь, кривляйтесь, — думал он. — Кто посмеется последним! В юности все выходило проще; тогда и задачи ваши были безобиднее: так, спрятать у дурака рукавицы за его же поясом — пусть ищет. Но еще поглядим кто кого, еще будет вам катушек под хвосты, хоть вы двоитесь и четверитесь...»

— Про ангелов нельзя, про чертей нельзя... о чем еще говорить? Вот и не ругай цензуру! За горло хватают-с. Учиться нам еще надо свободе, это я при всем своем патриотизме. А если бы разрешили вольность — что может быть забавней, чем анекдотец про чертей? Для меня хороший анекдот про черта, я вам скажу, все равно что для других про правительство. Это редкий сорт историй, уверяю вас, с глубочайшей иногда подковырочкой. Особенно про нашего, русского черта, который, я вам скажу, есть нечто своеобразное, — добавил он, думая, видно, подольститься к чувствам насупленного своего напарника. — Это не то что французский либо немецкий. Один, послушать, всегда пустится толковать о свободе и личности, другой — соблазнять метафизикой и счастьем, про которое никто не знает. А наш без задних мыслей. Это лицо задушевное, простое, я бы сказал, наивное. Так, болотцем почавкает, но без соблазна — в ответ человеческой же потребности... с ним приятно провести время. Вот и мсье Могель совсем поник... или напился? Сейчас опять в дрему ударится. У него редкая способность отсутствовать с открытым взором. Эй, господин Могель, что вы так не по-кумпанейски? Не брезгуйте приятельством. Какие есть. Потомки разберутся. Нам с вами что считаться?

— Цыц, — осадил он. — Замолчите наконец... самозванцы, рожи, фигляры. Я давно уже вас раскусил...

— Пьян, пьян! — восторженно шумел толстяк. — А казался такой скромник. Такая дума на челе! Превосходно, мсье Могель! Вдрабадан нализался! Вот это по-нашему!

— Я вам не Могель, — сказал он, силясь приподняться из затаившегося, как трясина, кресла и чувствуя себя деревянно-онемевшим. — Вам бы только подменить меня.

— Ого-го, никак еще один с претензией! Пожалуйста, валяйте! Кто же вы тогда? Может, сам мессия или икупитель? Смелее, мсье Могель, смелость города берет. Все мы в этой жизни авантюристы. Забирать, так повыше! Только не надломятся ли крылышки? К тому же опасность разоблачения, а? Предъявите, с позволения сказать, стигматы? И какое вам, впрочем, удовольствие?

— Сейчас... сейчас, — выпрямился он. — Je vous demande pardon ¹⁷, не приподнимете ли вы фалды? — Он наконец сумел податься вперед, уже не наверняка рассчитывая движения.

— Что вы делаете, мсье Могель? — захихикали обе рожи как от щекотки. — Хорош комизм! Это даже неприлично... в общественном месте.

¹⁷ Я прошу прощения.

— Сам знаю, что ничего у вас там нет.— Он вновь обрел равновесие.— Я знаю вас, знаю. Вы сплошь состоите из надувания. А все-таки я вас угадал... я давно для вас готовил вот это.

Он тщательно сложил непослушные пальцы и выставил перед собой дулю. Рожи захохотали совсем без удержу и так оглушительно, что на столе опрокинулись рюмки. Круглая, как блин, голова перевернулась кверху ртом; скуластый вдруг выскалил во весь рот зубы, такие мелкие и плотные, что их казалось больше, чем положено человеку; бляшки очков провалились в глазницы. Они хохотали безумно, как дураки, которым показали палец, и смех их нагнетал тоску, от которой не было избавления...

5

...Медовая желтизна свечей, сгущающая из пространства вокруг стола золотистый шар воздуха, знойного, сумрачного к краям, горчичная желтизна стен, утяжеленная теньями, как на картинах старых мастеров; сосвежу человек, должно быть, словно окунался в жаркую духоту. «Ну и топите вы в мае,— заметил сразу Пушкин (прислонил к комоду палку, положил цилиндр и стал стягивать перчатки поочередно с каждого пальца).— Я сам люблю жар; но он бывает легок, а тут еле вздохнешь»...

тогчас отворено было окошко, но с открытым стало, пожалуй, еще душней — со двора тянуло сырой прелью, туманом, сгущавшим вечерние запахи, тальми помоями: всю дрянь какая ни есть вываливают прямо под ноги, стал объяснять ты с усмешкой, пока дойдешь от ворот до лестницы, только зажимай нос. «Да и какой тут у вас, на севере, май? по-европейски уже, считай, лето. Солнышка хочется, нетопленного тепла». «В Европе согреетесь,— улыбнулся Пушкин; он уже сидел на диване, обхватив колено пальцами.— Завидую вам немного. Мне все никак не вырваться»...

на спинке стула рдел брошенный халат, корешок книги мерцал среди сливочно-желтых бумаг, потек в углу, похожий на ушастую мышь, казался живым и лишь притаившимся (не упустить ничего, проползти, как муравей по цепочке... вот уже без усилий, само вдруг распахивается, встает перед взором)... разговор шел как бы подталкиваемый нечаянными фразами: в юности мнилось, что непременно должен все охватить, перевидать весь мир, усмехнулся он, с годами покоряешься — есть жизнь, до которой не доберешься, не проникнешь, которую даже представить трудно,— как из петербургской сырости увидеть подводную лазурь и ловца, ныряющего сейчас, в сей миг за жемчугом где-то в теплом море, среди кораллов да разноцветных рыб? как войти в его душу и чувства? вообразить разнообразие одновременно живущих с тобой людей? постичь палача? каннибала? пыточных дел мастера, когда он слышит хруст живых костей? — да что там: женщину как вообразить?... — а ты шагал по комнате в непонятном возбуждении, стены по очереди придвигались вплотную, и казалось, ничего не стоит пройти дальше, сквозь их затененную бесплотность; было чувство, что нынче должно проясниться что-то важное, насущное; надо было только умело подвести к своему:

вы да не вообразите! когда даровано вдохновение одним взглядом из мимолетной кибитки охватить сразу всю целостность — и уже знаешь о местности больше, чем иной, проживший в ней жизнь, и запахом лавра и лимона обозначаешь ночь в Испании, которой никогда не видал,— достаточно Крыма или Кавказа... и дара чувствовать

жизнь, когда не узнаешь ее, но постигаешь... в своем уголке мироздания проникаешь, охватываешь все человеческое — боже, какое это чудо, какая непостижимая тайна! добро у других, у вас, который во всем чуден; но в себе это как постичь? себя-то знаешь со всей dryнью, мелочью... и, перечитывая, почти не веришь: откуда в тебе могли взяться и эти добрые помещики и этот сумасшедший? ведь это больше тебя...

От порывистого движения метались и оплывали стеариновые свечи в медных шандалах; тени встречались на стенах, затевая жаркую бесшумную возню. Пушкин глядел перед собой, прищурясь; завитки волос отблескивали на свету, и сквозь все возбуждение отчетливо представлялось, что ему, верно, не совсем по вкусу этот преувеличенный, лишь отчасти искренний восторг, подозрительно смешанный с похвалой,— хотя в нем и могло видаться что-то славное, доверительное, по-юношески открытое:

«...господи, думаешь тогда, за что же именно ты так отмечен, выделен, ты, грешник, дурак, недостойный раб — за что тебе такое отличие?» — «Может, за верность,— засмеялся он.— Достается же отличие преданному любовнику»...

тут некстати помянут был покойник Хвостов: куда как верный и бескорыстней нас всех,— и речь грозила скользнуть в шутку, но, к счастью, всплыла вновь Испания: «Охотней все же прогулялся бы по Севилье сам вместо своего героя»,— качнул головой Пушкин, и можно было ухватиться за слово, чуть снизив усмешкой тон: «Так в упор она выйдет и грязновата, и лимон с лавром не сразу пробьет-ся за гнилью да чесноком, можете поверить заране. Если, конечно, не отгородиться в каком-нибудь нетронутым уголке либо дворце и носу не казать на улицу. В упор жизнь больше с толку сбивает. Конечно, тут говорит меланхолия моя, но что делать? От себя не убежишь. Вы и в Москве европеец, я и в Париже стану долбить свое. Странность судьбы, что еду я, а не вы. Я не ищу широты, я издалека ту же Русь надеюсь глубже проникнуть, почувствовать в душе. Так нелепо устроил меня господь. Чтоб не уперся взгляд сразу в какого-нибудь Почечуева с перхотным воротником... о, какие тягостные прут физиономии — и уж не отчураться; поди сквозь них различай гармонию божью». «Да, фамилии у нас случаются забавные»,— рассеянно и невпопад откликнулся он и, оживившись, стал рассказывать про некоего Зааса, мекленбургского выходца, который, выдавая свою дочь за гарнизонного офицера из Риги Ранцева, объявил, что фамилия его древней, поэтому Ранцев должен присоединить к ней свою и зваться теперь двойным именем. Надо было в ответ посмеяться по возможности непринужденной, хотя видит бог, до чего это было некстати. Как непросто было вовлечь его в свой разговор, когда он бывал так рассеян, задумчив и озабочен чем-то своим. Чем? ему-то какая печаль могла смущать сердце? (ох, кажется, у него дочь на днях родилась, пришло вдруг на ум, забыл поздравить! экая промашка! Теперь поздно. С книгой бы небось поздравил.) Он сидел на диване, лишь изредка меняя позу, и даже не потянулся, как сразу бывало, к рукописи, разбросанной на столе. Уголки четко очерченных губ его были напряжены, желтоватые нервные черты в колеблющемся свете казались постаревшими; это был другой возраст, возраст старших, учителей, которых едва ли мыслишь в смятении и одиночестве; разговоры с ними выходят неумышленно корыстными, для себя — да и с чего бы наоборот? им-то чего ждать от тебя, ты ли им поддержка и советчик? Нет, в этом разговоре, может быть прощальном, надо было слишком многое для себя успеть и, как ты шутливо ни уходи

в сторону, снова сворачивать на свое: да, русский народ на имена лих — то ли еще можно привести! Да как потом жить с таким именем? Ведь это судьба! Это мука ежечасная! Только вообразить, что делает с человеком простой звук!..

...«Вы смеетесь, а я сам знал одного. По-своему примечательное было существо. Насмешки, подмигивания проходу ему не давали. Он с детства приучился их сносить не то что безропотно — сам подставляя себя в шуты. Комизм бывает защитой против унижения. Дай человеку посмеяться — и все уже безобидней и вроде бы ты сам овладел положением. В фиглярстве его была, пожалуй, старательность, отчасти припадочная. В другое время, когда не надо было себя защищать, выпускать перед собой, словно хитрой твари, туманное облачко, он казался скучен, сонлив и бесстрастен. Шевелился, поскольку положено шевелиться, ходил в церковь, потому что все ходят, но вряд ли что-либо чувствовал, кроме духоты и неловкости. Никто не мог сказать, любил ли он что-нибудь. Разве сладости. В гимназии всегда ходил с липкими пальцами и с карманами, набитыми всякой чепухой. Даже волосы липли в косички — он их беспрестанно оглаживал сладкой ладонью. Разумеется, сыпались на него единицы и выговоры за неопрятность, которая, впрочем, вполне сочеталась с шутовством. Да вот еще: необыкновенно умел чинить перья; на этом, по убеждению всех, почти и карьере сделал, пробился в департаментские секретари. Иные даже подозревали тут какой-то еще особый секрет, и он охотно подтверждал это мнение, но что за секрет, таинственно молчал, и по привычке ему всерьез не верили. А секрет меж тем, представьте себе, был, и вот каков: для самых решительных бумаг пользовался он перьями с одного живого гусака, которого и в Петербург привез с собой из дому, и с большими хлопотами всю зиму содержал на квартире, кормя исключительно французскими булками и грецкими орехами. Первым пером из этого гусака он написал прошение о зачислении на службу, и с той поры все, ими написанное, имело особенную, необъяснимую удачу. Он их зря не изводил, держал для решительных дел. Я, кстати, сам имел возможность оценить эти изделия: отменной прочности, упругости и одновременно мягкости. Перо так и плывет по бумаге впереди мысли».

«А, признайтесь, на какую комедию употребили?» — живо засмеялся Пушкин.

«Нет, я их сам пока берегу на особенный случай. Вожу с собой в чехольчике собственного рукоделия, как-нибудь покажу... Так вот представьте, в один странный день мой бедолага решил, что не должен изводить дарованный судьбой талисман даже на департаментские отношения, которые могли составить ему карьере уже почти верную. Он вдохновился пустить их на собственные задушевные сочинения. О, если бы кто-нибудь мог вообразить, сколько людей по всей земле сейчас вот, в сию минуту заполняют бумагу потайными своими строками! Что тут за наваждение? Какая видится в этом странная магическая сила? Большая, чем простое честолюбие, — но словно заговор против судьбы и времени, словно надежда не исчезнуть в мироздании без смысла и следа, задержать на себе божий взгляд, скользкий обычно мимо, как по пятну на стене. И вот пятно пожелало заговорить; не исповедь ли тут небывалая? И что тогда служба, удача, благополучие! Не нам с вами толковать о безрассудстве бедных служителей муз. Кто этим поражен, уже не переродится. Здесь иное состояние человеческого вещества»...

Стены уже не чередовались перед взором, и свечи были спокойны; лицо сидящего против Пушкина виделось совсем близко.

«...Герой мой литературными забавами не соблазнялся, его манило лишь существенное. Он захотел извлечь систему из самой бессмысленности человеческого бытия, найти сокровенный ключ именно к нелепым его несообразностям. И каждый вечер, бережливо очинив перо, записывал он свое новое озарение: «Случайно ли, скажем, слова «ревность» и «верность» из одних букв слагаются» — и подробные рассуждения по сему поводу, возможно, не лишённые остроумия. Не берусь судить, он не показывал бумаг своих никому, кроме единственно матушки, любившей его до умопомрачения. Они были друг для друга одни на всем свете, и она читала излияния его души со слезами, признавая сына единственным на земле гением. Если б никого, кроме них двоих, и впрямь не существовало на свете! Что еще нужно для счастья, когда твоя строка дарит радость и исторгает задушевные слезы у живой души! Хотя бы у одной — зачем более? Вот тебе мир, вот слава и вознаграждение! Он так и жил, оставляя для прочих привычные, уже почти механические ужимки. Но страшно было думать, сколь непрочно и трепетно это блаженство...»

Пушкин отер платком уголки глаз, еще влажные после недавнего смеха; тени играли с его лицом, придав ему на миг черты печального сатира.

«Малороссийские наши гусаки, что и говорить, живучи. Красивый, к слову замечу, народ: клюв с шишечкой, взгляд гордый, как у фельдмаршала, и перо взамен выщипанного растет, точно трава. Конечно, они, как люди, и даже более их, существа слишком конечные для постижения бесконечного замысла; но все-таки возможной казалась надежда на отдаленный день, когда, созрев, положена будет в труд последняя и все решающая мысль, словно замковый камень, скрепляющий свод. Увы, беда пришла впереди, да какая! Както раз после очередного выдергивания пера гусак вдруг загрустил, стал сонлив, неподвижен. Ни орехи, ни крохи свежайших булок не вызывали даже его шевеления. И в тот же вечер он отдал богу свою гусиную душу, если она у него была. Герой мой был потрясен не столько сей смертью, сколько тем, что сам литературным своим безрассудством послужил ей причиной. Этой последней гримасы он осмыслить не мог и в ту же ночь сжег все кровные свои тетрадки. Мне живо видится увядшее его лицо, не по возрасту в морщинах и складках таких обильных, что в них, казалось, заложены все возможные выражения — только разглядить ненужные; но лицо слишком запуталось в них и ничего уже не говорит, как мятый лист. Только что выделившийся благодаря слову, он опять стал съезженным комочком плоти с потной кожей и липкими волосами, необязательным для мира, с которым оказался бессилён совладать. Бумага, так много хотевшая значить, на глазах превращается в пепел. Огонь перелистывает страницы, блики бегают по застывшим зрачкам... Пламя, знаете, завораживает... Кажется, он недолго пережил своего гусака...»

Подвижное лицо Пушкина незаметно стало иным, более открытым, тени разгладились; черты его будто создавались всякий раз заново воодушевлением и мыслью, недоступные внешнему запечатлению. «Вы это умеете, — качнул головой он. — Посмеешься — и точно судьбе язык покажешь; герой ваш прав. Да вот совсем не обманешь». «Не посмеяться, так завьтъ, — замечено было в ответ. — Хотя бы еще от трагедий — какой там Шекспир! — от духоты...»

он, словно вспомнив, потянулся закрыть окно: и так сперто, и так, «Что-то и верно с воздухом здешним случилось. Дышать нечем,

особливо весной. Бежать надо, хоть в деревню... коли дальше не пускают. Даже сны дают...» И стал рассказывать, как привиделась ему недавно собака: подошел погладить за ушами, глядь — а рука уже по локоть в пасти; и не больно, а вырваться не можешь — вот главный ужас. «Вы правы, тоска вокруг, — добавил он вдруг. — Что-то нарушилось в мире, в людях. Я живу еще старой закваской, еще в легких остатки иного воздуха. Кажется, и прежде не был благодарен, но никогда так не подступало. Накапливается, что ли, с годами в крови? То ли время само тоже стареет и пускает душок? Хотя и думал порой: так ли ты с ним связан? Тебе дан мир свой, особый... et cetera, et cetera... Но не вырвешься — как из воздуха. Вы всего на десять лет младше, а у вас уже, может, состав существа другой. И, пожалуй, другая усмешка; в прежних было больше детского... В двадцать пятом сколько вам было?» — неожиданно спросил он...

...и лишь запоздало дошло, о чем идет речь, даже годы не сразу сумел подсчитать, хотя странным образом именно тот декабрь остался памятным: поездка из Нежина на рождество впервые после баюшковой смерти — налегке, без зимнего платья, промерз до внутренностей, до оскомины во рту, будто медных пятакос насосался... Он что-то еще продолжал о воле, которая столь часто обманывает надежды... но это почти тотчас исчезло из памяти — смутная для твоей души мысль, ушедшая мимо... надо было слушать его, но почему-то вновь и вновь тянуло говорить самого — поспешная сбивчивая речь возникала меж его слов, накладывалась на его молчание, переплеталась с ним — и оттого обретала иной ответ:

...да и что значит воля для тех миллионов забывших себя душ, то ли уснувших, то ли никогда не пробуждавшихся, которые и существуют-то по привычке? «Вот даже дивный герой ваш мимоходом губит человека, поэта — из скуки, из бесчувственности, черт скажет из чего — и страшней всего, что не ощущает бессмысленности и ужаса. Убив, живет дальше как в лунатизме. Какой ему еще нужен трубный глас? Какие ему разорвать цепи? Вы это с божественной непредвзятостью описали, как одному вам дано. Герой так очарователен, умен и тонок, что бессмыслица-то и ужас скрадываются. На нем даже отдыхаешь душой, как не всегда бы удалось, встретиться он тебе в жизни. Забываешь искать смысл (оно, может, и слава богу). А если у других нет даже ни очарования, ни видимости? не отвернешься же от них, чтобы не смущать себе чувств? от горемык, блаженствующих разве что в кабаке, от изуродованных чиновников, от тех же осоловелых захолустных дворян, похожих более на замоскворецких купцов? Это ведь тоже Россия, и самая обширная, обширней, чем какая-либо иная. Если бы я мог ее не видеть или видеть не так пронзительно. Я сам ею рожден — вдруг через меня должна проявиться какая-то важная ее сторона? Не знаю. Не по прихоти же так установился мой взгляд. Для чего-то мне приоткрылся особый уголок покрова. Но для чего? Вот я стал об этом писать — и все та же мысль: зачем вывожу я на свет божий странные свои создания, почти уже и не лица? Вы лишь первые страницы прочли моих «Мертвых душ» — и грустной вам показалась Россия. О, знали бы вы, с каким смущением всматриваюсь я: что мне откроется дальше?»

«Вы умеете показать, как в нашей жизни из людей становятся рожи, — проговорил Пушкин. — Я, пожалуй, ищу все же лица».

«Но ведь мы глядим на одно и то же? По одному проспекту прогуливаемся? Я сознаю, до чего у каждого из нас противоположное устройство (о, вы правы: как постичь араба в подводном царстве?),

но есть же в каждом своя истина? Тогда какая? Тут детский, я понимаю, наивнейший вопрос, но все же: лицо ли, рожа ли — что тогда поверхность и что под ней? Может, взгляду нашему недостает решимости и силы? А если заглянуть поглубже, под видимость, под покров, под кожу?»

«Увидишь череп с его последней ухмылкой, — засмеялся он. — Другой черт. Вот, к слову, сюжетец для вас: врач либо анатом, невольно проникающий сквозь всякую красоту, жизнь и улыбку оскаленный череп. Захочется ли жить от такой проникновенности? Да, главное, истина ли в этом взгляде *sub specie aeternitatis*¹⁸?

«Вы верите в бога?» — сорвалось вдруг нечаянно, точно само собой.

«Хитрый вопрос. — Он вскинул взгляд из-под бровей. — Но что есть бог? В своем труде мы, может, выше приближаемся к нему, чем в церковной службе. Как в битве с опасностью смерти, как в любви. В мгновения высшей слитности мы знаем о нем, быть может, более, чем разоблачая лицо до черепа».

«А что же отшельники, святые, аскеты? — Голос напрягся и стал тих. — Какого они знают бога?»

«Может быть, своего. Но и им он дается жизнью, страстью, страданием. Все окунается жизнью, вот в чем соль. Не погрешить бы против нее. А творец творца, глядишь, не обессудит, — усмехнулся он. — И мы на его труд гораздо навести критику».

Пушкин встал, подошел к окну. Забытый на коленях платок скользнул на пол и тотчас был ему поднят. Он кивнул, уголок губ его чуть дрогнул — ах, не стоило этого делать, порывистый жест выдавал невоспитанность, все ту же плебейскую закваску, но что теперь было об этом заботиться! Часы на башне пробили половину второго; звук доносился сквозь стекло глухо, едва слышно — и надо было спешить, выговорить самое трудное: «Знаете, в чем высшая тоска моей жизни? Я ничего не могу от души принять, кроме совершенства. Несовершенство угнетает меня, будто я сам в нем повинен и должен непременно исправить, хоть из кожи вон. Или закаясть, как закладывают чертовщину. Точно я неизвестным предназначением вызван разрешить какую-то неувязку нашей жизни — и уже не обойдешь, уже обращены на тебя чьи-то требовательные очи; бейся с ней, как Иаков с ангелом. Отказаться нельзя, как не откажешься от своего рождения... и даже сослаться на вывихнутое бедро. Нельзя обмануть ожидания господина — как он без тебя, если ты не сладись? Порой кажется, что вот, готов постичь, угадать идею его гармонии — но какое там! сперва надо ослепнуть, оглохнуть, отрешиться от мира, чтобы не забивала взгляд мерзость... или вот уехать прочь из России. Я говорю: нелепая моя натура... с этой способностью пылинку увеличивать в гору и расшибать об нее же лоб... с недостатком такта и с середины. Только еще юмор и дает меру. И как ни замысли по-другому — все сбивается на одно. Хочешь произвести доброе влияние на общество — и вон какой поднимается вой: подрыв всей государственной машины. Нет сил объяснить каждому свою душу и намерение. Есть правда, которой просто не хотят видеть даже как будто и достойные люди. Я ведь не выставляю себя холодным судьей над другими, я сам себе бываю несносен. Я многое свое вытаскиваю на свет для обозрения, чтоб отслоить от себя, отделаться. Изгнать, как флагелланты изгоняют босов, — чтоб право иметь на истинное слово... а это больно, о! больней, чем бичами! Потом те же рожи станут тыкать пальцами и гого-

¹⁸ С точки зрения вечности (лат.).

тать: вон он каков! На себя-то никто не оглянется. В лучшем случае не поймут и порезвятся: забавно, мол, да, но идея слаба и невозвышенна. И ничего не меняется. Все тоска!»

«Что ж совершенство! — сказал он. — Если взирать на жизнь с надчеловеческой высоты, она суета и тлен. А изнутри, для живой смертной души, есть в ней своя страсть. Можно взглянуть на все добрей, не отказываясь ни от суеты, ни от несовершенства, ни от смерти; жить вовсе без памяти о ней тоже невелика мудрость. — Он улыбнулся. — Давеча подслушал славное философствование. Машка моя пугала младшего, Александра: смотри, говорит, умрешь, положат тебя в могилку, землей засыпят, холодно там будет, есть-пить не дадут, голодный будешь!.. А? Есть в этом что-то... Голодный будешь! — повторил он, качнув головой. — Пока найдется, что в этой жизни любить, она не лишена истины. Нет истины без любви».

«Да, — вырвалось горячо, — я люблю... Я люблю вас. — (Я Русь люблю, чуть было не понеслось вслед, но вовремя остановил стыд перед новой выспренность.) Нельзя было произносить и этой безвкусной сентиментальности, какие порой срывались из-под пера, и все-таки было счастье, что это выдохнулось и что, при всех оговорках, это была правда — слова о матери не были бы большей правдой; есть минуты, когда даже такие невоздержанные признания не коробят слуха — пусть даже знаешь, что будешь потом стыдиться, что, может, не обойдется без кришляния и что Пушкин вот так качнет головой, как делал это, загнувшая усмешку, — слова были выговорены: — Да, вас прежде всего... Я скажу вам: мне надо знать, что вы есть... как мера, как поправка, как иная чаша весов. Мне не хватает доброты и смирения, но любовь и страсть во мне есть. Я свою тяжесть сам несу. Порой мне самому страшны бездны, которые мерещатся. Вон, только смехом и припорошены. Вправе ли я обнажать их перед людьми? Зачем? Какое воздействие произведу? Не заражу ли пристрастностью взгляда? Невелика радость, сам знаю. Но есть вы — и надежнее на душе. Вы поймете, проясните, уравновесите. Думаете, я сюжета у вас просил, потому что сам не мог выдумать? Господи! да разве я мало придумал, и еще каково! Не в нескольких же словах дело; главный сюжет всегда внутри. Доброхоты мне донесли, будто вы сетовали на свою щедрость. Я в это не верю. Ведь правда? Я говорю с вами так, потому что вы все можете понять. Ни с кем я так не мог бы... откровенность всегда лишь отдаляет от меня людей, ибо и в ней не знаю я меры. Ничего, потом собою с толку, пуцу в глаза пыль... Может, и с вами сейчас — единственный раз... потому что вы все вместили... потому что и вы знаете «зменю сердечную», и вы способны с отвращением читать жизнь свою»...

«Читываю, — улыбнулся Пушкин. — Только не вслух. Что раздеваться на людях? Даже сюртук расстегивать. В каждом переплетено столько сложного, таких разных оттенков и разной силы, и все так разнообразно сцеплено. Одно и то же слово называет такие неравные свойства. А начнешь выводить на свет — любой подлец обрадуется вообразить тебя ровней».

«Не вслух? Значит, опять утаить открывшееся — ради спокойствия своего или даже людского? Но есть ли такое право? Для чего нас тогда позвал господь?»

«Я не о том. В бездну сколько ни углубляйся — все не до дна, все будет ступенька, уступ — значит, не вся правда. Копай, вгрызайся — публике нужен зрелый плод. Истина открывается взгляду целостному. А он дается одной неподдельностью жизни и души. Дай бог, если немного удобрим мир своим навозом. Наше дело доискиваться. И платит за это каждый свою цену...»

Одна из свечей расплавилась до самого корня и стала шипеть, потрескивая (боже мой, а запаса-то не осталось). Пушкин обернулся к окну; там уже разбавлялась майская чернота — как будто доливали в чернила воду. Он застегнул на фраке верхнюю пуговицу — это было движение человека, вспомнившего о времени... Пстой, пстой, еще немного, вот он уже почти близко, миг чудной ясности, сияющей, безотчетной, пронзающей душу, как лишь бывает во сне, когда очевидно мироздание и вечность можно пощупать пальцами... ясности, прозвучавшей не в отмеренных полусерьезных словах, а между ними, в созданном ими напряженном пространстве... и боишься спугнуть ее резкой мыслью — но только запомнить как возможность, как вдохновение, ибо знаешь заранее, что это исчезнет, что этого нельзя услышать ни из чьих уст, а можно только пережить, и то в короткое мгновение жизни, ибо нет истины, кроме тяги к ней, и ничто не постигается раз навсегда... Свеча отшипела и погасла; худенькая фигурка на диване с ногой, закинутой за ногу, и с пальцами, обхватившими колено, становилась как будто меньше, отодвигалась в сумрак; пуговица была застегнута — словно сомкнулись створки раковины... это движение началось еще тогда, в секунду неловкости, когда был поднят платок, и потом, при слове «только не вслух»... Быть может, он сам хотел что-то выговорить и ждал только вопроса, открывшегося слуха; но вопросы били с другой стороны, и он оставил в себе свою тайну и горечь. С виду открытый, он был подтянут душой — один среди людей, и некому было бодрствовать с ним. Вот он выпрямляется, медленно, так медленно, будто время обращено в неподвижность... Но еще миг... только догадаться, ощутить опору и направление, и можно жить на равных с миром, не заботясь о малости и величии, прорваться, пока это не исчезло, принять — не в мыслях, не в отрешенности — наяву, открытым прояснившимся взором...

6

Чьи-то пальцы коснулись его руки; он не вздрогнул и не удивился. Лицо женщины в призрачном свете было бледным и чересчур ярким; рот казался от этого темным, почти черным. Он не слышал ее слов и боялся шевельнуться, чтобы не спугнуть чудную немоту, распустившуюся вдруг во всем многолюдном зале. Она не давила на уши, как давит подводная тишина, она была наполнена, легка и прозрачна, в ней было продолжение, ответ, невыразимая полнота, которую нельзя было без смущения вынести долго — как в час жаркого лета, когда все вдруг замирало точно в расплавленном стекле: стеклянная речка, застекленевший воздух, в который недвижно вмурованы были травы, листья и частицы пыли над дорогой, где когда-то прокатил сельский экипаж, само солнце, бесформенно растекшееся над головой, — и кажется, слышен замедленный стук времени, тянущегося в вечность; немота распирает грудь, и хочется бежать — куда-нибудь, лишь бы встретить живую душу, которая бы спасла, вывела из этого жутко-прекрасного наваждения. Сейчас душа сама возникла перед ним как неведомый отклик и спасение — Психея, l'âme с остреньким подбородком умного, настороженного, изошрившегося в жизни зверька, с чересчур темными, как бы запекшимися губами, на которых подрагивала неуверенная и вместе вызывающая улыбка. На ней была лиловая накидка, шляпка с поднятым вуалем. Маленькие уши розовели на просвет, тончайше обведенные, словно испариной, прозрачным пушком. Она глядела на него с выжидательным недоумением, пальцы ее с розовыми лунками у грубых, неухоженных ногтей были теплы, от них вряд ли пахло знакомой сладостью, и все же ему

казалось, что он ее узнавал; он мог бы объяснить всю ее жизнь до черточки, и это знание ничего не меняло перед ликом высшей тишины, в которой они пребывали среди замершего времени — залетная, случайно приземлившаяся близ него душа с линиями перышками, вновь напоминавшая о неполноте мира, великодушно разорванного на половинки, раздробленного на личности и в слабости своей тоскующего зачем-то по слитности хора, поющего аллилуйю, единообразному совершенству размноженных отражений, о котором не нужно и нельзя знать, как не должны знать ничего друг о друге смерть и жизнь — покуда еще дано помнить запах земной пыли, боль, теснящую сердце, дрожание воздуха, да хоть бы одно мгновение, наполненное всей жизнью, — огненную повозку, несущуюся сквозь ночь — не ту, с дымом факелов, — иное, открывшееся наконец Детское воспоминание, которое он оберегал с непонятым целомудрием, не выдавая чужому слуху: ночной путь в деревню, темь, такая непроглядная, что пришлось зажечь по бокам возка смоляные бочки, — и их старые, всегда такие смиренные кони не выдержали вдруг чувства огня. «Держи, держи!» — кричала кучеру мать и прижимала его к своему сухонькому, такому вдруг легкому телу; от нее почему-то пахло сухим сеном, и он впервые ощутил, какая она невесомая, маленькая, уязвимая... и что-то пронзило его сердце — не страх, нет, это он знал наперво. Они были вдвоем во взбесившемся непрочном ковчеге, неслись в огнях через черноту, под гору, смоляной чад волновал ноздри, и он хотел и не хотел, чтобы кучер держал; эта минута — или бог весть сколько — смешала в себе все, о чем только можно было догадываться в жизни...

Чистый звук ложечки, нечаянно звякнувшей о фарфор, выделился из немоты; что-то странное совершалось в воздухе; тишина сгустилась и выпала из пространства, как выпадает кристалл из перенасыщенного раствора, когда в нем возникает пылинка. Звук замирал медленно, бесконечно, подержанный крошечными эхо, как знак безмолвия, большего, чем сама тишина, слышимый во все концы мира. На теплых пальцах женщины просвечивала кожа с морщинками на суставных сгибах, под ней выявилась голубая жилка — подледный ручей под открытым солнцем. Ясно светилась скатерть, крученые волокна нитей кое-где были разлохмачены. Кристалл просыпанной соли четко белел отдельными гранями, одна из них была с выбоиной, и в ней лежала чистая прозрачная тень, как в надколоте глыбе льда. На кружевном от сала ноже рядом с отблеском светильника синела радуга — бесконечная в своем великолепии, скользнувшая сюда из лугов с влажными запахами трав, где ребятишки скачут на одной ноге, выкрикивая свой невыразимый восторг, для которого так приспособлены их голоса. Возникла будто из небытия живая ветка в вазе; листья, как рыхлые поля, покрыты были светлыми дышащими волосками; воздух над ними прозрачно дрожал; живой сок пузырился в порах. Капля пролитого на белой тарелке вина была смертным трепетным тельцем, в ее кровавой черноте отражалось мироздание с огнями планет и огнями зала, с затихшими лицами людей, ошалелых, бледных, в испарине, понятных до беззащитности... — с ночью за окнами, с речью и благословением, с тоской и страстью, которыми наполнилась, твердея, эта мучительно-непостижимая жизнь. Твердый выступ стола, отделявший его от женщины, вдруг стал болезненно ощущаться телом. Капля колыхалась вслед затихавшему звуку, и было невыносимо понимать, что сейчас это кончится. Его потянуло из-за стола. Женщина странным образом угадала еще не начавшееся его движение. Он не мог бы дать себе отчета, как это получилось и что это зна-

чило, но их повлекло, словно ветром, ткнуло сослепу в обманчивое стекло — и понесло к выходу, из призрачного сияния — в спящую темноту.

7

Шум улицы волной ударил в уши, в лицо, перехватил дыхание, заставив пошатнуться; это был водопад, столпотворение звуков: крик, пение, скрип колес, шипенье и треск факелов, которые испускали теперь более дыма, чем огня. Женщина удержала его под руку.

— Очень мило с твоей стороны, — засмеялась она. — Этак мне тебя вести придется. Где ты живешь? Постой, куда так быстро?.. Да ты совсем не умеешь ходить с дамой! Ты что, оказывается, пьян? А я сразу не поняла, подумала, ты просто загрузил. О, мой боже! Да постой, я не успеваю!

Он еще не мог справиться с дыханием. Воздух, насыщенный праздничным потом и ночными испарениями, был густ, чавкал от влажности. Сырость одела стены домов, мостовую, набережные, даже стволы деревьев какой-то ненатуральной зеленью. Жижа сочилась, выдавливалась в трещины меж булыжников, пузырилась изо всех пор.

— Нет, ты совсем пьян, — смеялась рядом женщина, еще пробуя удержаться за него, как выпавшая из телеги сума, зацепившаяся невзначай длинной лямкой, в то время как ее мотало, толкало, оттягивало встречными телами; и поздно было вспоминать, зачем они вырвались из nepотревоженного, неправдоподобного закутка времени, который нельзя было унести с собой и где показалось на миг возможным последнее равновесие, хотя опустевшая чаша весов уже, вздернувшись, металась во мраке, позабывшем свой смысл. — Ты наконец остановишься или нет? — уже раздраженно крикнула женщина. — Я задыхаюсь!

Он слышал ее горловой голос, и ему не было надобности вникать в звуки ее слов. Он все это знал заранее, и больше чем знал — он ее предугадал задолго до сегодняшнего дня опасным провидением художника, как знал уже надлом, совершившийся сегодня в его судьбе. Звуки лопались в воздухе, как пузыри, с бессмысленными хлопками. Все было неузнаваемо и непонятно. Мир корбился от сырости, мучительная гримаса искажала его черты. Он оползал, сворачивался, как молоко от попавшей в него кислой капли. Картон, прикрывавший лица, безобразно размок. Перекошенные дома открывали свои внутренности, кипевшие ночными тайнствами; любовные вздохи висели в плотном воздухе, и возвысившийся взгляд увидел бы шар земли, по которому прокатывался валом вслед за движением ночи вздох дочеловеческого священнодействия, темная волна, что заставляет рыб биться головами о плотины, неистово нестись, соглашаясь погибнуть в восторге, когда их потом, обессиленных, вышвырнет на берег с развороченными внутренностями и они будут лежать на песке, вдыхая ртами гибельный воздух и затихая.

Было душно, как перед грозой. Испарина покрывала тела. Рты были разорваны. Потные капли краски сползали с лиц. И вместо очистительной молнии в нависшую черноту вдруг выстрелил фейерверк. Огни с громом разрывались вверх, отражаясь в выкаченных глазах... («Несчастливая душа, которой бы пришлось в этот миг покидать землю», — мелькнула безумная, как в бреде, мысль.) ...и не было над головой небес. Звезды бессильно шипели, не найдя тверди. Опаленный ангел падал с высоты, раскинув багровые крылья. Влага, мешавшая дышать, уплотнилась наконец в капли, освободив пространство для воздуха. Над великим обеспамятевшим городом разразился ливень.

Отчаянный неостановимый поток ринулся сквозь улицы... Его подхватило и понесло вместе со всеми. Женщины давно не было рядом, и он не помнил, когда она исчезла.

Дождь забивал отовсюду; сверху, с боков; арки и подворотни были прозрачны для него, в крытых стеклянных галереях, как в трубах, хозяйничал потоп. Толпу смывало прочь, и было странно смотреть, как какая-то дама еще пыталась спасти свой пестрый наряд, подняв платье до самых границ благопристойности, в то время как ее увлекало головой вперед в устье улицы. Переливчатый хамелеон, зацепившийся в нише дома, шевельнул фалдами и пустился вслед. Красавец рак, украшенный зеленью, выпростался из витрины вместе с зеркальным своим отражением, гордо предъявляя в клешне табличку: 120 fr. Рыба с вилкой в перламутровой спине важно покачивалась рядом на расписном блюде. Пронесло вверх ногами акробатов в пестрых трико. Восковые фигуры из куаферской витрины держались в воде стоймя, выражая полное равнодушие к происходящему и, казалось, не замечая вовсе никакой перемены в своей жизни. Человек со ртом, набитым размокшей жвачкой, еще пытался что-то объяснить толстяку, который надежно и высокомерно покачивался на пузыре своего брюха. В неверных огнях оба казались прозрачными, как медузы. Обрывки газет кружились в водоворотцах у сточных решеток вместе с ошметками картона и мириадами конфетти, образовавших разноцветную ряску. Тряпье Арлекина расплозлось на рыбы ромбики, и они резвились в потоке, тычась всюду острыми мордочками... «О, хорошо тому в этом мире, кто снабжен жабрами и даже среди предсмертного ужаса не догадывается о нем; но не всем ты дал это, господи, ибо прихотлива ревность твоя. Вон чьи-то сломенные перья судорогой трепещут в стремнине — голубь ли это, выпущенный фокусником из рукава и не нашедший земли, ощипанный ли гусак?... — вот его несет, сминая и переворачивая, а израненный клюв еще хватает воздух... Трудно дышать, господи, ибо воды дошли до души моей и не на чем стать. Сдвинулась опора из-под стоп моих — куда ты несешь меня? чего ты от меня хочешь? зачем устремлен на меня с таким ожиданием строгий твой взор? Ты показал мне чистую реку жизни, светлую, как кристалл, ты вознес меня и низверг меня, ты отверз уста мои и дал силу выговорить крупницу человеческой страсти, боли, горечи и смеха — дал в неизъяснимой щедрости своей, как обещание надежды и исхода. Зачем приоткрыл ты мне тайны твои и возбудил томление, которого никому не дано насытить? Зачем бросил меня в это непостижимое море без равновесия и твердости, с бедным дыханием? Перед моими очами расплозается красота, ненадежно скреплявшая мир для смертного человеческого взгляда; сердце мое поражено, я изнемог от вопля, сжата гортань моя, холодно душе моей, и плачу, господи, да не поглотит меня пучина, да не унесет меня стремление вод, да не затворит надо мной пропасть зева своего...»

Основания домов в мерцающих потоках торчали, как подводные скалы, и деревья, словно водоросли, тянулись вниз спутанными ветвями. Ребристые соборы наклонились заостренными своими верхушками и тоже плыли в течении, как остовы ископаемых чудищ; их похожие на глаза часы набухли слизью и, обесформившись, утратили понятие о времени. Проволокло мимо контрабас, музыкант еще изводил на себе отсыревшие струны, но звук уже задыхался, убогий футляр расклеивался на глазах, прекрасные завитые формы распадалась ошметками, похожими на внутренности, а то, что одушевляло их изнутри, оказалось жалким и крохотным, как головастик. Телега с карточными мастями плыла с висящими оглоблями, колес давно уже не было. Один лишь хитрец на ходулях возвышался надо всем, теряясь вы-

ше пояса в завесе дождя; он переставлял твердые ноги, запуская среди домов запасливо прихваченную удочку, какая-то дама опрометчиво ухватила наживку выпяченными губками и была тотчас вздернута наверх.

Последние огни лопнули во мраке. Фонари один за другим переворачивались в воду и умирали; бог блуждал по земле в потемках, в первозданной черноте, как в день творения, когда вечность отделила от себя жалкую толику на дневную ясность — но с неотменной угрозой забрать ее вновь.

Только где-то вдали дрожал еще огонек: последний ли факел распадавшегося карнавала? лампада ли перед святым образком? свеча ли, прикрытая от потопа ладонями влюбленных, ищущих вопреки всему укрыться в своем уголке вечности, с куском освещенного пространства вокруг пламени: край стола, обрывок стены с цветными обоями, да тихая занавеска, да теплое живое дыхание — как вестник спасения, к которому надо идти, веря в него, чтобы не пропасть в темноте и не утратить образа мира.



БОРИС ВАСИЛЕВСКИЙ

★

УЧИТЕЛЬНИЦА

Рассказ

Борис Василевский принадлежит к тем писателям, которые быстро и жадно приобретают опыт жизни, успевают много увидеть, много сделать своими руками, успевают многое понять в литературе и многое написать, прежде чем появится первая книга.

После окончания филологического факультета МГУ Василевский работал строителем в Братске, на Усть-Илиме, учителем на Чукотке, журналистом. В 1972 году в Магаданском издательстве вышел небольшой сборник, соединивший рассказы трех молодых писателей — О. Куваева, А. Мифтахутдинова и Б. Василевского. В 1974 году в издательстве «Советский писатель» опубликована первая книга Б. Василевского «Где север?».

Борис Василевский — писатель строгий, вдумчивый. Он пишет о сегодняшней жизни всерьез, стараясь изображать ее людей, движение, среду не внешне и броско, в угоду торопливому читателю, а из глубины, из нугра, отыскивая истинные мотивы и точные объяснения.

Юрий ТРИФОНОВ.

К десятому классу, заметил он, приступы необъяснимой мрачности, и раньше случавшиеся у него, стали учащаться. Впрочем, раньше не мрачность была, скорее легкая, светлая грусть. Внезапно, в разгар ли веселья, шумной игры с приятелями, домашнего обеда или в очереди магазинной, когда мать за хлебом пошлет, он вдруг будто отодвигался куда-то далеко и видел оттуда в с е х; непривычно остро, в небудничном каком-то освещении представлялись ему привычные, будничные выражения человеческих лиц, слышались обыкновенные слова, и вот — говорились уже другие слова и были другие лица, а он все стоял, замерев, созерцая тот никем, кроме него, не замеченный, ничем не примечательный и безвозвратно ушедший миг, и в эти-то мгновения становилось так грустно, что слезы наворачивались на глаза. Такое вот глубокое и полное постижение мига он называл тогда на условном своем языке г а р м о н и е й, чувствуя, видимо, что постижением этим миг как бы спасен, не исчез бесследно, а принят теперь вечностью, слился и пребудет в ней и восстановилось, таким образом, справедливое равновесие вечности и мига. А сопутствующую грусть он выводил из того, что его одного выбрали быть свидетелем перехода мгновения в вечность, что именно один он это видит, а все его приятели давно с воплями унеслись на другой конец поля и забивают гол, а мать спрашивает, класть ли второе, а старушка просит батон помягче, но ведь это мгновение и и х тоже, а они не замечают, и, стало быть, его грусть одна за всех и незримо соединяет его со всеми... И были такие ощущения мимолетны.

Да, теперь же не легкое, грустное просветление, а действительно тяжелая, непонятная и угнетающая своей непонятностью мрачность овладевала им, и настолько длительная, что ее-то и можно было на-

звать обычным состоянием, а прежнее беззаботное существование — внезапными приступами. Мрачность эта как бы отъединяла его от себя самого, в такие времена он, если бывал, например, дома один, бросал занятия, интересную книгу и уходил, избирая дальние пустынные улицы, шел через кладбище, входил не в главные ворота, а в калитку с противоположного конца, невольно читая фамилии на надгробиях, вспоминая их, знакомые с прошлого раза, и тут же снова позабывая, без какой-нибудь определенной мысли, но с неосознанным странным чувством, и впоследствии, пытаясь хоть приблизительно, для себя определить это недоуменное чувство, он думал, что вот так в зоопарке читаешь табличку с названием неведомого диковинного зверя и шарьшь с ожиданием глазами по клетке, а клетка-то пуста... Он выходил с кладбища с другой стороны, возле церкви, где вокруг куполов вечно с пронзительными криками кружились галки, а внизу безостановочно крестились, и кланялись, и шептали черные старухи, потом мимо рынка, вдоль булыжного шоссе к скверу, сворачивал в его аллеи и возвращался к себе, так и не успокоившись, не расставшись с тягостным этим состоянием, потому что не только никаких высоких, примиривших бы с ним мыслей из него не рождалось, но и мало-мальски разумного объяснения ему не находилось.

Причем, заметил он, мрачность эта еще более усугублялась на людях, при товарищах, начинали раздражать и казаться столь же непонятными и беспричинными их веселость, беспечность, а заботы их, если и были, выглядели мелкими, ничтожными: одного беспокоила четверка в четверти, может повлиять на медаль, надо попросить классного руководителя, чтоб поговорил с тем учителем, чтоб вызвал еще раз; другой волновался за идиотский свой «Спартак»; и даже Лиза, которую он не мог не считать самой умной в классе, по крайней мере среди девочек, до сих пор тревожилась черт знает из-за чего — можно ли, к примеру, дружить всем классом. «Андрей, — говорила она, — мы устраиваем диспут о дружбе, ты выступишь, конечно?» В прежнее время он не упустил бы случая поиронизировать: «Лиза, да что ж это за дружба такая, всем классом? Представь: все, что есть в тебе сокровенного, что делишь ты с одним или немногими близкими тебе людьми, вдруг распылится между всеми, всем поверяешь ты свои душевные мысли, всех одинаково сильно любишь — да истинное ли это выйдет чувство, не маниловщина ли это, Лизонька?! И Лиза, как всегда, в первый момент смешалась бы, покраснев, потому что давно уже существовало между ними что-то вроде соперничества, выразившегося в постоянной легкой насмешливости, подтрунивании друг над другом, и теперь победа несомненно была его, а потом сказала бы: «Да ну тебя, Андрюшка, вечно ты со своими крайностями...» Но сейчас он только коротко и угрюмо мотнул головой в знак несогласия и отрезал: «Там, где есть дружба, о ней не говорят. Где ее нет — устраивают диспуты». Лиза глянула было озабоченно (что это с ним в последнее время?) и вдруг оживилась: «Разреши, я использую твою мысль в своем выступлении? Но учти, я буду с тобой полемизировать!» Андрей пожал плечами: «Используй, ради бога. Полемизируй на здоровье!» И еще он мог бы прибавить: если уж так печешься ты о всеобщей дружбе, то почему тебе не подать пример — пойти на сборище к толстому Диме Шатову, где радиолу непременно выставляют в открытое окно, врубают еще на полную мощность магнитофон, а сам Дима, не довольствуясь эффектом, в минуту экстаза садится к роялю... Однако идешь ты все-таки не туда, а к Екатерине Алексеевне — говорить с умным видом о литературе... Да чего теперь разглагольствовать об общей дружбе, это раньше еще были поползновения: ездили по воскресеньям с классной руководительницей в лес и устраивали вечера,

обычно у Нэли, в большой ее квартире, под присмотром опять же классной руководительницы и строгой и очень красивой Нэлиной мамы — от красоты этой воздействие строгости, казалось, еще увеличивалось, все мальчики перед нею робели, — но такие мероприятия часто заканчивались непонятными, неявными ссорами девочек, а то и явными слезами какой-нибудь из них. Мальчишки-то вначале еще держались дружно, а потом разделились, и они и весь класс разбился на компании.

Теперь Андрей и Лиза и еще пять-шесть ребят из их класса почти каждую субботу собирались у учительницы литературы Екатерины Алексеевны, и вот насколько он совсем недавно любил эти мирные и веселые чаепития в маленьком старом домике в тихом переулке возле Смоленской площади, настолько в последнее время они тоже стали его раздражать. Его вдруг начала выводить из себя заведомость, предопределенность того, что они, каждый из собравшихся, будут говорить и делать, словно у каждого образовалась своя роль. Лиза будет говорить колкости, подсмеиваться над Борькой, что, конечно, проще всего, а Борька весьма неуклюже — полагая, что весьма тонко! — станет ей отвечать. Татьяна Михайлова сразу примется хлопотать, устранив Екатерину Алексеевну, — приносить и разливать чай, раскладывать варенье, делать бутерброды — и все это на весь вечер, и с таким видом, что, дескать, я бы тоже с удовольствием с вами тут поговорила, однако надо же кому-то... и т. д. Андрей же совершенно был уверен, что сказать-то ей абсолютно нечего, не имелось у нее никакого отвлеченного интереса, отсюда и вид этой сугубой занятости. Была Татьяна из тех всегда круглых, ко всему, кроме отметок, равнодушных отличниц, которые, будучи в младших классах, каждое внеурочное общение с учителем, каждую его благодушную минуту используют для того, чтобы просительно заглядывать в глаза и твердить: «Ой, а спросите завтра меня? Спросите? — И прыгать: — Ой, как я рада!» Были и среди мальчишек такие. Андрей недоумевал, что за радость — отвечать, но, видно, для них была: голоса их звенели, когда слово в слово, без запинки излагали они по учебнику, не обращая внимания на то, что ехидные завистники демонстративно водят пальцами по строчкам, — это было законное торжество прилежания. И, умокнув, ревниво косили глазом, следя за учительской рукой. Учителя к ним привыкли и дополнительно не спрашивали. В старших классах становились они посдержаннее, не прыгали и не заглядывали в глаза, а приспособлялись как-то по-иному — вот чай разливать...

...Ну, конечно, будут читать вслух, оспаривая («Вообще-то по нормам современного русского языка в этом случае нужно «а»: «мочить», но «вымачивать», «спорить», но «оспаривать»; однако у Пушкина «о», помните — «и не оспаривай глупца»?») — заметила однажды Екатерина Алексеевна, и все они, разумеется, с тех пор произносили, как у Пушкина), — итак, оспаривая друг у друга право читать и выбрать свой, наиболее нравящийся рассказ в книге всеми ими любимого писателя, но какой бы рассказ ни начинали, везде были прекрасные люди с прекрасными движениями души, глубоко и тонко чувствующие поэзию, и музыку, и живопись, и природу, возвышенно любящие и особенно возвышенно умеющие страдать, так, чтобы никому не дать заметить свои страдания, не из гордости, а из деликатного нежелания причинить беспокойство другому, близкому человеку, но другой-то или другая тоже не лыком были шиты по части тонкости чувств, сами догадывались, и приходили, приезжали, прилетали внезапно, и разрешали одиночество и страдание, и наступал... нет! вот-вот должен был наступить миг заслуженного, небывалого счастья, но тут-то начинала ощущаться какая-то нерешительность в героях, колебание, словно они побаива-

лись этого мига, словно не уверены были, что сумеют его вместить, как легко умели вмещать возвышенную одинокую грусть, может быть, даже не хотели поступиться ею ради этого мига, за которым неизвестно еще что останется делать, и здесь очень кстати обнаруживалось, что один из героев — тот, кто примчался, а еще грустнее и трогательнее, если тот, к кому примчались, — должен был срочно уезжать, улетать, и миг счастья снова отодвигался, оставаясь, таким образом, всегда как бы в перспективе.

Андрею казалось, что он один чувствует (да так оно и было: внешне и необратимо в какой-то момент почувствовал он эту заключительную писательскую неуверенность и уловку), друзья же его, ни о чем не подозревая, по-прежнему понимающе переглядывались в особо проникновенных местах, и Борька — ему бы боксом заниматься! — туда же, растягивал толстые губы в умильной улыбке. Окончив чтение, какое-то время обязательно молчали, потом каждый ронял негромко что-нибудь нечленораздельное: «Да-а... Это конечно...» Молчал и Андрей, но не задумчиво, а угрюмо, уединившись в углу и не отвечая на язвительную иронию Лизы, на прямые истолкования Татьяны: «Покровский всегда хочет изобразить что-то особенное. А по-моему, он просто подражает Печорину!» «Ну-у,— тотчас откликнулась Лиза,— какой из Андрюшки Печорин?! Грушницкий!» И вдруг выходило, что все начинали говорить о нем в третьем лице! «Вы не правы, девочки,— вмешивалась Екатерина Алексеевна,— Андрею тоже нравится этот рассказ, но, как и многие молодые люди его возраста, он стыдится обнаружить свои истинные чувства». «Она кажется себе удивительно проникательной,— в раздражении думал Андрей (о! и роль Екатерины Алексеевны была совершенно ясна ему в эти минуты: пожилая и мудрая учительница в окружении любящих учеников, в непринужденной домашней обстановке, она незаметно учит их по н и м а т ь, исподволь приобщает...), — а сейчас она еще вздохнет и скажет: «Молодость любит носить свою грусть, как знамя...!»» «А впрочем,— без вдоха на сей раз, но с добродушной улыбкой замечала Екатерина Алексеевна,— молодость всегда любила...» И, наконец, Борька, добрый и честный друг, басил: «Ну что вы все, в самом деле? Оставьте человека в покое!» Да, странно — и странность эту Андрей уже отметил,— он молчал и забивался в угол, чтобы не привлекать к себе внимания, а получалось, что только о нем и начинали говорить...

И вдобавок Нэля будет смотреть, молча будет смотреть сияющим взглядом своих больших темно-серых прекрасных, как и у мамы ее, глаз, исполненных, как до недавних пор казалось Андрею, н е и з ь я с н и м о й т а й н ы, и так тревожно и радостно было ему сталкиваться с Нэлиным взглядом. После таких вечеров Андрей с Борисом ее провожали. «Только с условием: ты, Андрей, и ты, Боря, проводите Нэлю», — обычно говорила строгая Нэлина мама, и это не просьба была и даже не приказ, это произносилось тоном простого назначения, словно приказ был издан давно и касался всех, а теперь они двое назначались для его исполнения. Они-то, разумеется, проводили бы и так, но тут к их собственным чувствам — товарищества, влюбленности, рыцарства — присоединялось еще сознание сугубой ответственности, долга; они стояли в громадном ее подъезде, задрав головы, следя, как Нэля быстро поднимается по лестницам, как мелькает в широких пролетах ее фигурка, готовые моментально взлететь по первому ее призыву о помощи, пока в пролете четвертого, Нэлиного этажа не появлялось улыбающееся ее лицо и она махала им варежкой: «Все в порядке!» Потом как-то незаметно, само собой вышло, что не Андрей вдвоем с Борисом провожали Нэлю, но провожал о д и н Андрей, а верный рыцарь Борька провожал и х, оставаясь внизу в подъезде, когда Андрей с Нэ-

лей поднимался еще вверх. «До завтра?» — шепотом спрашивал Андрей возле ее двери, и Нэлины глаза сияли: «До завтра!» Затем торопливо, пока она подносила руку к звонку, что-нибудь незначущее: «Да, ты не забыла: по физике фронтальный?» И снова ее особенный лучистый взгляд: «Ой, ничего, кажется, не знаю!» Она звонила, Андрей мгновенно скатывался вниз и шел молча, и Борька хранил высокое понимающее молчание...

Да тут бесконечно можно повествовать, но лучше сразу: почему — была неизъяснимая тайна и исчезла? почему — взгляд Нэлин и сиянье, заключавшие прежде тайну, оставались, а щемящее чувство тревоги и счастья в Андрее куда-то вдруг делось?! Откуда было ему знать — почему! Возвращались они однажды от Екатерины Алексеевны, сошли с трамвая, двинулись, как обычно, к Нэлиному дому, и тут внезапно — внезапно прежде всего для себя, потому что и секунду назад не ждал, что сделает это! — Андрей остановился, сказал: «Ты, Борь, проводи, пожалуйста, Нэлю» — и, не дожидаясь ни согласия, ни вопроса и не простившись, пошел прочь. Борис, удивленно и укоризненно глянув, отправился провожать... И вот потом Андрей думал: появись тогда, после того случая, в Нэлиных глазах хоть тень укора, недоумения, отчужденности — и он и не ощутил бы себя виноватым, то есть вина, конечно, была бы, отдельная, частная, перед нею, но так же ясно, ровно и приветливо она смотрела, и его охватило чувство вины перед всеми! «Тайна не исчезла, просто ее не было, — разбирался он. — Все это было в тебе... Ты считал, что это сиянье во взгляде для тебя, а оно для всех и ни для кого в особенности, оно постоянно... Она не переменялась... и никто из них не переменялся, — продолжал догадываться Андрей, — это ты переменялся, ты сделался несносен и нетерпим! Поэтому самое честное теперь — перестать ходить туда, — решил он, — не лезть туда с мрачным своим взглядом, а кстати, прекратятся и эти пытки всеобщим вниманием, когда при тебе говорят о тебе же в третьем лице!»

Правда, оставалась школа, оставались взгляды: добродушно-понимающий — Екатерины Алексеевны, дружески-встревоженный — Бориса, вечно иронический — Лизкин. Оставались еще записочки на уроках вроде: «Мой друг, со мной было то же самое! и ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею умереть без крика и слез!» Без подписи, но это, конечно, Лизка — никто, кроме нее, не читал так внимательно «Героя нашего времени» — и, конечно, полагает, что все из-за Нэли. Ладно, Лиза, вы хотели этого! И быстро Андрей писал в ответ, из Лермонтова же, слегка перефразировав: «Друг мой, я презираю у м н ы х женщин для того, чтобы не сострадать им, в противном случае жизнь стала бы слишком слезливой мелодрамой». А вот Борькин лаконичный слог: «Сегодня, как всегда, у Е. А. Придешь?» «Дома дела», — столь же кратко отвечал Андрей, приводя причину как можно проще, прозаичнее и сам искренне стараясь в нее поверить. Но никаких особенных дел дома не было... Как раз в то время, вспоминал Андрей, он открыл для себя библиотеку, не юношескую, куда все они по привычке продолжали ходить, а взрослую, с читальным залом, всегда полупустым, по субботам же и воскресеньям в нем и вовсе никого не бывало. Там он и сидел вечерами, готовился к урокам, читал что подвернется, и особенное наслаждение доставляло знать, к примеру, что завтра сочинение по литературе, и знать наверное, что Лиза раскапывает сейчас какую-нибудь никому не ведомую критическую статью, а Танька Михайлова добросовестно запоминает знаки препинания в цитатах, да, и особое наслаждение и какое-то вызывающее чувство свободы было в том, чтобы в это время углубиться во что-нибудь совершенно постороннее: в четырехтом-

ный курс физики Ландсберга, в жизнеописание кого-то из великих, в сборничек стихов, да просто в любой из томов энциклопедии, раскрыв его наугад... Ну а если серьезно, то всякий раз, возвращаясь поздно вечером, не спеша, темными переулками с уединенных своих занятий, Андрей с удовлетворением ощущал, что нет в нем прежней всепоглощающей мрачности, раздражения, напротив — бывал он в такие минуты собран, сосредоточен, тих; и вспыхивали вдруг мысли, нет, скорее подобия мыслей, неоформленные, но настолько бесспорные для него самого и мгновенно постижимые до последней глубины, что и облекать их в слова и придавать им доказательный вид не надо было. Он даже верил тогда, что придут, возможно, когда-нибудь более завершенные, более у м н ы е мысли, однако уничтожится со временем блеск и соблазн слов, соблазн видимой законченности и правды, и вновь вернуться и предстанут уже непреложно теперешние смутные его предчувствия... И это тоже была «гармония», только не та, полудетская, грустная от прощания с мигом, а спокойная и умиротворенная — от общения с вечностью. Когда же знакомое угнетающее чувство все-таки подступало — приближение его нетрудно было определить по неясному беспокоейству, — Андрей проделывал свой обычный маршрут: через кладбище, мимо рынка, в сквер; причем он уже знал с некоторых пор, вывел для себя, что хуже всего в таком состоянии идти медленно, как бы в раздумье, пытаясь сосредоточиться внутренне и что-то уяснить, нет! — совершенно ни о чем не думая, стремиться вперед, быстрее, еще быстрее, будто очень хорошо знаешь, куда и зачем спешить, и пусть после такого бега не сразу наступала «гармония», зато восстанавливалась какая-то предварительная твердость и решимость духа.

...В один из таких вечеров он ее увидел. Был февраль. Андрей проходил быстро по широкой центральной аллее сквера, потом, не сбавляя хода, поворотил в боковую, узкую, и тут он ее увидел. Она шла навстречу медленно, наклонив голову, как никогда не ходила в школе, и сумка была подхвачена не так, не коротко, по-деловому, а плыла свободно, отпущенная на длинном ремне, почти над самой землей. В зимних сгустившихся сумерках не различить было выражения ее лица, обычное ли оно холодноватое и замкнутое, с каким она входила в класс, здоровалась, разворачивала карту, не прызывая на помощь дежурного, а когда кто-нибудь все же подсказывал: «Нина Васильевна, можно, я повешу?» — с тем же выражением, сдержанно и без улыбки она благодарила. Никогда во время урока она не садилась, но и не расхаживала по классу — стоя неподвижно и прямо возле учительского стола, она объясняла, отходя лишь к карте, чтобы в нужный момент показать, какие именно города были захвачены восставшими, как шли войска, где произошла битва... Да, и еще был один постоянный жест, единственное движение: как только начинала она говорить, тут же ухватывалась двумя пальцами за кольцо на левой руке и тихонько поворачивала его, тоненькое колечко с большим темно-желтым прозрачным камнем, и находились, конечно, остряки, подсчитывавшие, сколько это всего оборотов выйдет за урок. Перешептывание в классе мало ее трогало, она не делала замечаний, не умолкала, чтобы взглянуть в ы р а з и т е л ь н о в сторону разговаривающих, но изредка, ни к кому отдельно не обращаясь и не меняя интонации, спокойно напоминала: «Не все из того, что я вам сейчас рассказываю, вы найдете в учебнике. А спрашивать я это буду» — и продолжала излагать сухо, последовательно, ни разу не попытавшись, как другие учителя, разнообразить свой рассказ хотя бы единой шуткой. Объяснять она могла по несколько уроков подряд, а после

предупредить: «В следующий раз опрос по всей теме. Параграфы такие-то и ваши записи», потому что как-то само собой получилось, что за нею стали записывать, ни на каких других предметах не писали, разве что учитель сам диктовал, а на истории начали писать, первыми, разумеется, отличники и, глядя на них, постепенно все остальные. Никого в классе она не выделяла, со всеми держалась ровно, требования ее были строги и постоянны, и вследствие этого с нею было, в общем-то, проще, чем с иными учителями, чье внезапное благодушие могло сменяться внезапным же гневом... Много лет спустя встретил Андрей Лизу, заговорили о школе, и Лиза сказала: «Я как-то заново все переосмыслила и поняла, что Нина Васильевна единственная, пожалуй, из учителей, кто воспринимал нас тогда по-настоящему серьезно... Как взрослых людей... Не твердила об этом то и дело, а просто относилась так, понимаешь? А я, да и все мы считали ее занудой». Андрей усмехнулся странно, и Лиза спросила: «Ты что, не согласен?» — «Согласен, согласен...» — «Чему же ты улыбаешься?» — «Да вот, гляжу, какая ты стала большая, как правильно все понимаешь...» «Зато ты все такой же!» — отрезала она... Да, права была Лиза, права: оценить этого они тогда не могли — одни обмирали от грубоватых острых физика, другим нравилась задушевная и возвышенная речь Екатерины Алексеевны, третьи устойчиво, с младших классов любили добрую, ворчливую и по-матерински заботливую Надежду, классную их руководительницу. А Нина Васильевна ничьей любимой учительницей не была, и девочки не обступали ее на переменах, и ничей не раздавался из этой толпы восторженный возглас: «Ой, Нина Васильевна, какое на вас сегодня красивое платье!» — и просто по имени, без отчества, как обычно меж собой, никто ее не называл, и вообще о ней как-то не говорили...

...Да, и в тот момент, когда увидел Андрей, как Нина Васильевна с опущенной головой идет по зимней пустой аллее, его тотчас охватило желание убежать, исчезнуть. Было тут и детское еще, дикое, от первых классов, когда стараешься избежать томительного стояния и разговора: «Что, гуляешь? Ну а за уроки-то небось еще не сядил?» — и т. д., а кроме того, недоумеваешь, здороваться или нет, ведь в школе с утра здоровался, а если не здороваться, то как же? Было и сиюминутное — никого не видеть, не отвлекаться от сосредоточенного своего движения; и было еще неясное, четко не сформулированное, как те мгновенные прозрения, непонятное чувство солидарности, сразу поставившее ученика вровень с учителем, а вслед за этим еще одно, совсем темное, поднявшее еще выше — стремление защитить, закрыть сейчас Нину Васильевну от чьего бы то ни было, даже от собственного его, Андреева, взгляда... Повернуть назад означало бы совершенно точно привлечь ее внимание, уж слишком он разогнался, слишком это необычно, когда человек на полном ходу разворачивается обратно, и в сторону, через голые кусты продираться было бессмысленно, более того — нелепо, ему, старшекласснику; единственное, что оставалось, это, не сбавляя и не прибавляя скорости, идти вперед в надежде, что она его не заметит. Нина Васильевна подняла голову, и Андрея поразила растерянность в ее глазах — не вознижающая от неожиданной в уединенном месте встречи с кем-то и тут же пропавшая в миг узнавания, но бывшая там и не исчезнувшая. «Добрый вечер», — готов был пробормотать он и проскочить мимо, как вдруг Нина Васильевна остановилась.

— Покровский?! — первая произнесла она. — Откуда так поздно? От Екатерины Алексеевны?

Андрей не удивился, что упоминает она Екатерину Алексеевну, знал он, что две эти учительницы странным образом дружны, Екате-

рина Алексеевна сама как-то говорила им, какая «умница и человек прекрасный» Нина Васильевна, с чем они вежливо согласились,— он удивился, что она вообще спрашивает его о чем-то, вместо того чтобы кивнуть и пройти себе дальше. Впрочем, это он после, разбираясь, удивлялся и не удивлялся, а тогда машинально ответил:

— Нет...

Но, видно, и Нина Васильевна спрашивала машинально первое, что ей пришло в голову по поводу него, и не самое удачное для нее в тот миг — уж лучше бы про уроки, думал он потом, как в младших классах, только без напускной, уже тогда безошибочно отгадываемой серьезности, а в шутку, да и прошла бы себе,— а она продолжила, улыбаясь:

— Но сегодня суббота... разве вы не ходите больше к Екатерине Алексеевне?!

И снова подчиняясь ее растерянности, Андрей сказал:

— Я — нет.

Постепенно она от чего-то освобождалась, доходил до нее смысл того, что она спрашивала и что ей отвечают, и с усилием, почти утвердительно она сказала:

— А-а... ты просто здесь гуляешь?

Он кивнул. И наконец странная, чужая ей улыбка совсем исчезла с лица Нины Васильевны, и стало оно таким, какое привыкли они видеть на уроках: невозмутимо-спокойным, слегка ироническим. И сумку она перехватила покороче.

— С тобой что-нибудь случилось? — спросила она обычным голосом, коротко и сухо, как спросила бы в классе: «Ты сегодня не выучил?»

Андрей пожал плечами:

— Ничего.

Прошло и в нем то мгновенное и смутное, что приподнимало его, уравнивало с нею и делало выше, и опять он был мрачноватым и замкнутым подростком.

— Ну раз ты просто гуляешь, проводи меня немного,— приказала Нина Васильевна и пошла, и Андрей, повернувшись, двинулся рядом, ощущая потихоньку крепнущее раздражение, и если бы выразить это раздражение в словах, получилось бы примерно так: «Да, сейчас начнет допытываться, что случилось, исполнять долг, а ведь это у нее что-то случилось, но будет делать вид... и почему это они все считают, что им надо делать вид, разве только Екатерина Алексеевна всегда остается сама собой, может быть, потому, что мы у нее бываем и она хорошо нас знает, а может, мы поэтому у нее бываем... и о «субботах» Нине Васильевне известно, стало быть, от Е. А., раз они друзья, и если уж так у нее получилось, что спросила, то теперь ей надо спрашивать и дальше... а я возьму и скажу, интересно, что она ответит, какой завершит прописной моралью?»

Вот так бы приблизительно должен был он тогда думать, восстанавливал после Андрей, если бы старался непременно и тотчас отдать себе отчет в том, что чувствовал, но скорее всего ничего такого он в тот момент про себя не произносил, и внешне раздражение его проистекало совсем из другого: мучился он проблемой, предложить ли Нине Васильевне помочь нести ее сумку. То есть он точно знал, что предложить надо, и фраза, готовая и непринужденная, становясь все непринужденнее в каждом новом варианте, вертелась на языке, но почему-то Андрей не решался, и когда достигла она верха непринужденности, тут он не решился окончательно... А Нина Васильевна между тем говорила:

— ...здесь тихо, безлюдно и можно поразмыслить... ну, хотя бы над тем, отчего это десятый «вз» меня не любит.

Последние ее слова воззвали прямо к нему, и Андрей ухватил в сознании и вытащил готовые кануть там бесследно предыдущие: «Я тоже люблю этот сквер, только зимой, и люблю ходить здесь из школы. В это время...» — и первое, что он подумал, что сказано это в расчете на немедленное и бурное опровержение: «Что вы, Нина Васильевна, да мы...» — и собирался нечто в этом роде, только подержаннее, ответить, но вдруг почувствовал какое-то пренебрежение в иронически подчеркнутом «десятый «вз», словно она низводила их еще туда, где хором повторяют за учителем и строем выходят в раздевалку, туда, в обобщенное, состоящее из одинаковых чистеньких бездумных лиц, из примерно сложенных на партах рук, высунутых от старания языков, и где любить и не любить могут так же бездумно, прилежно и хором, как повторяют за учителем.

— Мы уважаем вас, Нина Васильевна,— сказал Андрей то, что и хотел сказать, подчеркнув, однако, не слово «уважаем», а «мы» в противоположность ее обезличенному «десятый «вз». — Мы вас уважаем,— сказал он, ручаясь за себя и своих друзей.

Но она услышала другое.

— В каком-то рассказе Куприн, чтобы обличить пошлость и узость духовного мира героини — так, кажется, пишете вы в ваших сочинениях: в с ю пошлость и узость?! — заставляет ее изъясняться следующим образом: «Она его любит, но не уважает. Она его уважает, но не любит». Не знаю, может быть, я и недалеко ушла от этой героини,— тут Нина Васильевна снова иронически усмехнулась,— но я тоже почему-то различаю эти вещи: вполне возможно уважать и не любить. Ты именно это намеревался сказать?

— Нет... Я не знаю... Я не думал об этом,— пробормотал Андрей.

Они уже вышли из сквера, пересекли неширокую улицу с трамвайными рельсами, местную главную улицу — раньше она была вся булыжная, потом ее заасфальтировали, оставив булыжник только между рельсами, потом и там заасфальтировали, а еще позже убрали и рельсы, но тогда и долго после они еще были,— и углубились во дворы на другой стороне. Дворы эти были Андрею знакомы, несколько лет назад, классе в шестом, он ходил здесь в фотокружок в Дом пионеров. Дом особняком стоял на горе, а внизу ровно и безостановочно гудела фабрика, вошедшая в историю русских революций, и Нина Васильевна уже поминала о ней на уроке, и с горы к фабрике спускались крутые узкие улочки, эти до сих пор оставались булыжными, с разбитыми, обкромсанными полосками тротуара, лепившегося, чаще всего с одной стороны, под стенами домов из того же темного, старого, что и сама фабрика, кирпича. И где-то здесь, оказывается, Нина Васильевна жила.

— Да, так скажи мне...— начала она («Вот!» — мелькнуло у Андрея),— и поверь, не праздное любопытство мною движет, Екатерина Алексеевна очень близкий мне человек, единственный, пожалуй, близкий мне человек в школе, хотя, наверное, непедagogично это тебе сообщать,— добавила Нина Васильевна,— и я много слышала о вашей дружбе, была рада ей и, признаться, завидовала... Я, конечно, понимаю, есть вещи, которые не каждому можно доверить, и не обижусь, если ты не ответишь, но мне будет грустно думать, что вы поссорились...

Да! Правильно! Не все можно сказать, нечестно было бы перед Е. А. и ребятами объяснять, почему он туда не ходит, это касается только его, но он был благодарен Нине Васильевне за понимание, за

то, что для нее его право не отвечать — нечто само собой разумеющееся, и почувствовал, что теперь-то ничего не ответить никак нельзя.

— Мы не ссорились... Я не знаю, как это объяснить... Мы любим Екатерину Алексеевну... любим и уважаем, ей много пришлось пережить, она нам, правда, никогда не рассказывала, но мы слышали, что жизнь у нее была тяжелая... и семья погибла в войну... и вот мы — приходим, городим всякий вздор, читаем сентиментальные рассказы, и Екатерина Алексеевна должна выслушивать наши остроты, смеяться с нами, умиляться с нами! Мне все время кажется, что мы должны ее раздражать, надоест ей, наскучит тем, что ничего не знаем, ничего еще не испытали в жизни, а она возится с нами... И мне неловко, я как будто чувствую себя виноватым! — заключил Андрей, с удовлетворением вдруг осознав, насколько это новое, неожиданное, пришедшее по мере того, как он подбирал слова, объяснение серьезнее, в з р о с л е е, истиннее, чем прежде.

Но Нина Васильевна воскликнула:

— Господи, какая чепуха! То есть это, может быть, весьма вышненно и тонко, — поправились она, — но все-таки, извини меня, чепуха!.. И что же, вы все так думаете или ты один?

— Один! — снова помрачнев, буркнул Андрей.

— Слава богу!.. И не обижайся на меня! Я просто очень отчетливо сейчас представила, что я почти вдвое старше вас... — Она помолчала. — Мне кажется, я никогда не смогла бы преподавать литературу. Литература для меня что-то... такое живое, личное, что я не смогла бы раскладывать по полочкам, препарировать: вот это гражданская лирика, а это любовная, вот здесь патриотизм, а здесь любовь к природе... Отрицательные черты, положительные черты... Но если бы и привелось, то уж вряд ли нашла бы я в себе силы и желание еще «возиться» с вами, как метко ты выразился, и читать «сентиментальные рассказы»! Бежала бы после уроков и занималась бы чем-то очень далеким от литературы... И вы не понимаете сейчас, как вам повезло с Екатериной Алексеевной! А может быть, наступит момент, когда одно воспоминание о ваших теперешних вечерах и чтениях покажется вам счастьем... Кроме того, заметил ли ты, можешь ли ты быть настолько откровенным с собой, чтобы заметить, что в прекрасной, — интонации Нины Васильевны становились все холоднее и язвительнее, — в самоуничтожительной твоей речи ты не так сокрушаешься по поводу собственного незнания жизни, как осуждаешь свою учительницу?! За что же? Какую же ты в соответствии с ее прошлой тяжелой жизнью предписываешь ей норму поведения взамен того, чтобы «возиться» с вами и читать «рассказики»?

«Неправда! Я не осуждаю!» — собирался искренне возмутиться Андрей, но вдруг Нина Васильевна совсем другим уже, мирным тоном спросила:

— А кстати, чьи?

Он назвал. И как недавно, в сквере, поразился растерянности в ее глазах, так сейчас поразился смеху, легкому и свободному.

— Просто страшно... Просто страшно теперь признаться, что это один из самых любимых моих писателей! Воображаю, какие обрушатся громы и молнии, как ты меня презираешь: Нина Васильевна пробавляется сентиментальными рассказиками! И это вместо того, чтобы читать и перечитывать, скажем, Чернышевского! Или... кто твой идеал?

— Нина Васильевна! — взмолился Андрей.

— Шучу, шучу! — сжалилась она. — Да, и все-таки странно: мы в ваши годы тоже мучились разными вопросами, рефлексировали... не скажу, что мы были умнее, больше знали, но... мы были как-то

терпимее, естественнее воспринимали жизнь! Откуда в вас эта жесткость, непримиримость? Откуда эта гордость и самомнение, даже когда признаетесь вы в своем невежестве?!

Он молчал. Насколько умно и взросло получалось у него, когда говорил он с самим собой, насколько легко было спорить даже с ехидной и проницательной Лизой, предвидя заранее ее возражения, провоцируя их намеренно, чтобы выдвинуть затем нечто заготовленное и убийственное, настолько оказалось трудно разговаривать с Ниной Васильевной, невозможно было угадать, что она скажет и спросит, и впоследствии, пытаясь определить эту неожиданность, Андрей думал, что вот так входишь в незнакомый подъезд и нога, вместо того чтобы привычно опереться на ступеньку, ведущую вверх, вдруг обрывается вниз... Нет! Так вот в детстве перед товарищами, рядком в мокрых трусах сидящими на берегу, нырял в самом глубоком и темном месте омута — достать на спор дно, и в какой-то момент погружения не выдерживал, казалось, что оно совсем близко, рука, не делая очередного гребка, сама вытягивалась, чтобы напирать камешек — обязательное условие, доказательство, — потом всплыть и, небрежно размахнувшись, кинуть его на берег, — но не упиралась ни во что, не захватывала ничего, и исчезал разгон; тело переворачивалось, еще сопротивляясь, судорожно еще стремясь вниз, и выталкивалось на поверхность... Так и в уме его сейчас не складывалось ничего, кроме бессвязного, беспомощного бормотания:

— Не знаю, Нина Васильевна... И вовсе я так не думаю, Нина Васильевна! Какая там непримиримость...

Но Нина Васильевна и не настаивала на его ответах. Вдруг она остановилась.

— Вот мой дом, — сказала она, мельком глянув куда-то вверх, на окна. — Вернее, не мой, а моей старой университетской преподавательницы. Это всегда подтянутая, сухая, очень энергичная дама, крупный специалист по так называемым примитивным культурам. Постоянно она уезжает то в Африку, то в Индию, то куда-нибудь к эскимосам, а меня презирает за то, что я, подававшая ей столь большие надежды, не стала никем, кроме школьной учительницы. «Училки» — так, кажется, вы говорите? Но вообще-то она меня любит... И как-нибудь, когда она будет дома, я, пожалуй, отважусь пригласить всю вашу компанию. Варенья у меня, правда, нет, но книги есть, и мы тоже сможем что-нибудь почитать. Она увидит вас, и так я, может быть, реабилитирую себя в ее глазах... Ах да, — словно вспомнив, прибавила Нина Васильевна, — я и з а б ы л а: ведь ты с ними теперь не ходишь и не дружишь?

— Дружу! Я с ними от этого еще больше дружу! — сказал Андрей и мимолетно испугался, что мог бы опять ограничиться бормотанием — так внезапно, помимо него в последний миг пришел ему этот ответ, будто кто-то в нем все-таки сделал завершающее усилие и достал дно.

— Все стали какие-то сложные, непостижимые, — улыбнулась Нина Васильевна, но улыбка была хорошая...

В понедельник, когда вошла она в класс и встала у стола — бывает в самом начале урока всегда эта суматоха: кто-то уже привычно стоит, кто-то роется в портфеле, кто-то еще бежит к своей парте, чтоб вытянуться с подчеркнутым усердием, — именно в этот момент услышал Андрей свою фамилию, увидел, что Нина Васильевна смотрит на него, держит в руках какую-то книгу, и понял, что это — ему. А класс уже угомонился, притих, и вышло так, что на глазах у всех Андрей подошел и взял книгу, не смея посмотреть вокруг, однако,

возвращаясь на место, все-таки успел с удовлетворением перехватить заинтересованный и преувеличенно небрежный взгляд Лизы: какие это, мол, у Покровского с Ниной Васильевной дела?..

...Значит, она не забыла о нем сразу, следовательно, еще какое-то время думала, после того как сказала: «Нет, серьезно, я рада, что познакомилась с тобой» — и подала руку в черной перчатке раскрытой ладонью вверх — ладонь раскрывалась, по мере того как протягивалась рука, — и Андрей, поспешно выдернув из рукавицы свою, осторожно положил ее сверху. Значит, книга эта — продолжение их разговора! Он оценил, что Нина Васильевна отдала ее не после урока, а в начале, честно сунул книгу в парту и ни разу не глянул, даже на заглавие, зато со звонком тут же принялся читать и читал все остальные уроки. И отчего она дала ему именно эту книгу, почти сразу понял. Был там совсем молодой еще человек, может, года на два постарше Андрея. Он мог бы тихо и спокойно существовать под родительским кровом, в маленьком городке, но уехал в дальнюю чужую страну, где шла война, избрав жизнь, заведомо полную превратностей и борьбы. И чем больше невзгод выпадало на его долю, тем больше он, казалось, радовался, он будто специально искал судьбу, играл с нею, нарочно хотел, чтобы побольше случилось с ним всяких несчастий. Зато и счастье было для него очень реальным, не отодвигалось постоянно в будущее, а ощущалось каждый миг, и тем полнее, чем серьезнее была опасность. Вот ему раздробило колено на передовой, и он попал в госпиталь, встретил там любимую девушку, пил вино украдкой от сестер и был счастлив... Или когда его хотели расстрелять, а он в последний момент кинулся в реку, спасся, и ощущение холодной осенней воды, в то время как река несла его, также наполняло его жизнью и счастьем. Так он был молод и уверен в себе... Но постепенно он почувствовал, что он не один, и отвечает теперь не только за себя, и не имеет права обречь другого, дорогого ему человека на ту жизнь, которая ему так нравилась, когда был он один. И он стал выходить из игры с настоящей жестокой жизнью и вроде бы уже вышел, окончательно ускользнул, но слишком поздно он, наконец, спохватился, путь его определен, и с ним случается самое последнее... то есть если бы только с ним, он бы принял как должное, потому что это было бы справедливо, логически завершало бы, но случается — с нею, она умирает, и это и есть самое невозможное для него, самое страшное, что должно было, оказывается, случиться с ним...

Так, поражением и расплатой заканчивалась эта книга. А главное, не было в конце ее никакой привычной Андрею оптимистической ноты, никакого традиционного намека на будущее, на жизнь — хоть спасительным обращением к вечно обновляющейся природе, хоть слабым лучом солнца, бледным ростком травы — нет! лил дождь, и герой, только что узнавший о смерти любимой, возвращался к себе под дождем... Несколько дней Андрей мучился неясным для него ощущением — не роковая участь героя угнетала его, напротив, она его почему-то совсем не угнетала и даже был в ней какой-то соблазн. Андрей честно хотел проникнуться безысходностью книги, ведь понимал он, что Нина Васильевна специально дала ему такую книгу, ведь это был как бы вопрос: «Вот, бранил «сентиментальные рассказы», а что ты скажешь?» — и т. д., и он перечитал еще раз и еще раз, давая себе с самого начала проследить безысходность, и снова: наслаждение жизнью, молодую безоглядность того человека он чувствовал очень хорошо и примерял к себе, как бы он сам так жил, а заключительной печали не было... Зато одна неожиданная мысль его вдруг поразила: показалось ему, что все книги, которые он до сих пор

читал, были написаны будто нарочно для него, Андрея, и авторы то и дело объясняли ему характеры героев, герои, в свою очередь, растолковывали мысли авторов и намеренно совершали какие-то поступки, чтоб подтвердить идею, а в конце обязательно еще бывала мораль, прямое обращение к нему, читателю, призыв... Но, может, и не так они были написаны, не все они были написаны так, понимал впоследствии Андрей, просто он так был научен их читать. В этой же книге к нему никто не обращался, никто и не думал о нем, ни герой, ни автор, да и никакого автора вроде не существовало, все совершалось само собой, без него, и герой жил сам по себе, и все: война, стрельба, друзья, враги, города, возлюбленная и даже поражение целой страны — было не для читателя, а для героя, чтоб ему жить и чувствовать. Так он был полон собой и этой жизнью... Да, предстал тут совершенный, замкнутый в себе мир, без единого торчащего кончика, за который можно было бы ухватиться, потянуть — и распалось бы, обернулось привычным: «В этом произведении писатель с необыкновенной художественной силой...» И оттого, что не распадалось, мир оставался недоступным и чужим. Впрочем, одно показалось Андрею знакомым: тот самый символический дождь в конце, «который словно подчеркивал,— и с неосознанной тайной неприязню к этому миру, а наружно как бы желая ему еще большего совершенства, он стал думать, что дождь это уже лишнее, так в жизни не совпадает, наоборот, в жизни могли быть солнце, весна, смех и герой, только что простившись навсегда с единственным дорогим ему человеком, идет по оживленной, сверкающей улице, и так вышло бы еще лучше, п р а в д а о п о д о б н е е...

В субботу в тот же час он ждал Нину Васильевну в сквере. Ничего странного, она не удивится, говорил себе Андрей, ведь он и раньше тут ходил, а Нина Васильевна возвращалась из школы, и она не удивится, если они снова встретятся на его, на ее, на их аллее... Падал снег густыми и крупными хлопьями; в стороне, над освещенной улицей, он искрился, летел, подхватываемый ветром, и эти кружение и блеск соединялись неволью со звоном невидимого за пригорком трамвая, а здесь, среди темных недвижимых деревьев, он валил прямо и бесшумно... Увидев Андрея, Нина Васильевна и правда не удивилась, словно знала заранее, что встретит его, и приветливо ему кивнула.

— Ты прочитал книгу? (И будь Андрей повнимательнее в тот миг, он услышал бы не вопрос, а утверждение, но он был слишком сосредоточен на том, что собирался сказать.) Ну как?

И вдруг с отчаянием он почувствовал, насколько бедна, нелепа, надуманна его мысль о дожде, уж лучше бы по-простому: «Спасибо, Нина Васильевна! Мне очень понравилось! Особенно когда...»; но из упрямства, с вызовом и все-таки с какой-то тайной надеждой буркнул:

— Там одно слово неправильно... В самом конце.

Был Андрей готов к привычной иронии или, в лучшем случае, к смеху Нины Васильевны, она же довольно серьезно сказала:

— Любопытный отзыв... Какое же именно?

И не так связно, как много раз перед тем с самим собой, и еще больше веря, что она поймет, согласится, он объяснил. Но Нина Васильевна и «дождь» защитила.

— Позволь,— возразила она.— Если рассуждать по-твоему, как бывает и как не бывает в жизни, то тут, возможно, ты и прав... Хотя и так бывает! Но ты не прав, подходя к искусству с этим единственным критерием... вернее, так: подходя к нему с тем критерием, с которым единственно подходить нельзя! Ну вот... если следовать вашей

манере раскладывания по полочкам — вот твой князь Андрей. Ведь окончательно-то возрождается он и обновляется духовно, глядя на весенний распутившийся дуб, а не на мокрые голые ветви, не правда ли? Хотя в «самой жизни» могло быть так: стоял бы он у окна своего кабинета, глядел бы на опустевший, унылый парк — и вдруг внезапно, необъяснимый порыв, радостные, облегчающие душу слезы... Или эта женщина... Одинцова. В «жизни» она не только могла бы не приехать к умирающему Базарову, но и вообще никогда не узнать о его смерти! И раз ты этих условностей не замечаешь, затверженно считая Тургенева и Толстого великими, то прими и «дождь»... Хотя, конечно, такое отношение мне все равно непонятно. В нем сказывается или некое обывательское — не обижаясь, я это слово употребляю не в столь бранном смысле, как вы в ваших сочинениях, — обывательское недоверие к искусству, или... — Нина Васильевна помолчала и, наклонясь вперед, чтобы заглянуть в лицо Андрея, неожиданно спросила: — А как ты воспринимаешь живопись?

Андрей с угрюмым видом пожал плечами: живописи он не знал совсем. То есть кроме репродукций с известных картин, помещенных в учебниках и хрестоматиях и подобранных так удачно, так совпадающих с текстами, что можно было только гадать, художник ли создал свою картину, прочитав произведение писателя, или писатель работал, глядя на картину, но что творили они независимо друг от друга, это и в голову не приходило... Водили их, учеников, правда, и в музей классом, к тем же картинам, которые, даже будучи подлинными, все равно оставались теперь репродукциями, лишь увеличенными во много раз, так что становились явственными многие мелкие, неразличимые в книге детали, и это хорошо знал и обязательно использовал экскурсовод, он пояснял, как эти детали еще более углубляют, подчеркивают основную идею художника... А это стояние...

Нина Васильевна притронулась к его плечу, окликая. Андрей поднял голову и увидел, что идут они не прежней дорогой, а пришли к трамвайной остановке.

— Ты извини, — сказала она, — сегодня меня ждут, я приглашена в гости, но... хочешь, мы завтра сходим с тобой в музей?

— В музей... — машинально повторил он, весь еще во власти воспоминания о том неприятном ощущении, когда экскурсовод почему-то именно тебя избирает объектом внимания, как бы проверяет на тебе эффект своей речи, и становится не по себе под взглядом, где внутренняя сосредоточенность рассказчика, следящего за мыслью, одновременно соседствует с внешней сосредоточенностью наблюдателя, следящего за тобой, отчего сам взгляд делается странным, будто рассеянным, даже пустым, никаким, и начинаешь крутиться под этим взглядом, озираясь по сторонам, оборачиваться назад, а там другие, строгие учительские глаза перехватывают тебя и снова одним еле заметным движением приподнявшихся век отсылают к человеку с указкой... — В музей?! — И вдруг с мгновенно вспыхнувшей радостью Андрей сообразил, что она его приглашает!

— Да. Я и сама давно не была и с удовольствием... Мне кажется, тебе будет интересно... Если хочешь, конечно.

— Конечно! Я хочу... Мне интересно! — воскликнул он.

Нина Васильевна, смахнув небрежно снег с воротника пальто и черного вязаного шлема, вошла в вагон, оглянулась и кивнула с улыбкой, и Андрей побежал обратно через улицу в сквер, возвращаясь сначала по их следам до того места на повороте, где он натоптал, дожидаясь ее, и отсюда по аллее вдоль ее одинокого, почти уже присыпанного следа, сбоку, осторожно, не наступая, твердя себе: «Значит, она... Значит, не такой уж вздор я говорю!» — и представляя, как они

в двоим будут свободно ходить по залам, не спеша, от картины к картине и тихо, вполголоса она будет ему рассказывать...

Назавтра он ждал ее, как они условились, в одиннадцать возле старого, тогда закрытого Арбатского метро. Она не пришла! Андрей твердо знал, что ничего не перепутал, и никуда не отлучался, не бежал, ни к новому Арбатскому, ни к музею — может быть, Нина Васильевна перепутала, но рано или поздно она вспомнит и найдет его здесь... И даже если она не перепутала, а забыла, то ведь наступит среди дня такой миг — не может не наступить, потому что он стоит, и ждет, и думает, — когда она вспомнит и придет... Или если у нее неожиданные дела, она закончит и... Пусть и музей закроется, она все равно придет, чтобы отпустить его... Нет, она не вспомнила... не вспоминает... и не вспомнит! И с мыслью, что не вспомнит, он подождал еще, потом ждал без всякой мысли... Потом, уже по дороге домой, глядя в темное стекло с последней мотающейся площадки трамвая, он сообразил с какой-то тоской, что завтра история, третьим уроком! Не прийти! Она войдет в класс, увидит, что его нет, и вот тут она вспомнит. И станет думать, что с ним случилось... А что, собственно, случилось?! Нет, прийти, она войдет, увидит его и вспомнит. Виду она не подаст, но и ничем его не вызовет... А почему?! Ведь и для нее ничего не случилось, тем более ничего не случилось, и если даже не надо его вызывать, она его непременно, чтоб подчеркнуть, что ничего не случилось, спросит! Вот тогда он встанет и громко, на весь класс скажет: «Я не выучил!» Она холодно, как всегда — ведь ничего не случилось! — приподнимет брови: «Отчего же?» И прямо глядя на нее и так же громко он скажет: «Не успел!» И вдруг ее лицо... нет! глупости, детство это все, вот что! Еще не поздно, он пойдет к соседу, сосед всегда занимается по ночам и выходит курить на кухню, возьмет у него нужный том, просидит хоть до утра, но выучит так, как Нина Васильевна и не могла им рассказать, со множеством мелких, неизвестных даже ей подробностей, имен, дат, и, не глядя на нее, будет рассказывать целый урок, она же не посмеет его остановить... И может быть... но и так получится, что он учил специально, нет! Он — вот! — он ответит сдержанно, слово в слово по учебнику, и всегда будет отвечать только так! «Это все?» — спросит Нина Васильевна. Он пожмет плечами: «Все». «Но я рассказывала вам на прошлом уроке...» «В учебнике больше ничего нет», — вежливо скажет он...

...Почему-то Андрей боялся встретить Нину Васильевну в коридоре и не выходил на переменах из класса. Когда же прозвенел звонок на третий... Да! забыл! Еще был момент с утра: Андрей сунул руку в парту, нащупал там что-то мягкое, извлек и — не понимая, уже понимал и оглядывался. В парте был медвежонок, которого он подарил Нэле в прошлый день ее рождения, ровно год назад, и вчера, стоя там, у метро, он сам ни разу не вспомнил, что вечером обещал быть у Нэли!.. Теперь она сидела, глядя прямо перед собой, и Андрея поразило ее пылающее лицо — не от негодования, не от обиды на него, догадался Андрей мгновенно, а от стыда, что позволила себе так себя выдать. «Ладно... это потом... это-то еще можно поправить!» — мелькнуло у него и заглушилось досадой: господи, и Нэлка туда же... а знала бы, что случилось с ним!.. Да, и когда закончилась вторая перемена и прозвенел звонок, Андрей сразу машинально поднялся, стал смотреть на дверь, нет, на доску, нет, в парту, и все-таки снова, как обреченный, на дверь... дверь отворилась, вошел добродушный уса-тый Иван Григорьевич и объявил, что историю будет вести пока он, потому что Нина Васильевна заболела. И тут Андрей ощутил, что

сердце у него колотится, ноги странно ослабли, горло перехватило, и с запоздалым ужасом понял, что не только «сухо и сдержанно», как намеревался, но и единого слова вымолвить не смог бы, если бы она обратилась к нему...

«Она заболела! Идиот! Столько всего перебрать — и не додуматься... не предположить хоть на секунду... ты, черствый, холодный эгоист!» — повторял Андрей, блуждая вечерами по улицам, кружа все время в той стороне, за трамвайной линией, где Нина Васильевна жила, но не решаясь приблизиться к ее дому. В один из этих вечеров он вывел для себя совершенно точно, что тогда, у метро, думал только о себе, хотя казалось ему, что думает он о ней. И дожидаясь ее, он делал вид, что верил, что она все равно придет, а на самом-то деле он ее обвинял! Не прямо обвинял, а тем самым, что ждал так долго и как бы верил... И теперь ему невыносимо было сознавать, что Нина Васильевна все это — как он ждал и тогдашние его мысли — конечно, знает и презирает его!.. В наказание Андрей запретил себе ходить по той аллее, и еще он ждал, что Нина Васильевна скоро поправится и придет, и решил тут же просить у нее прощения, однако недели через две, когда один вид врывающихся в дверь усов Ивана Григорьевича — которому он так в первый раз обрадовался! — стал вызывать в нем мгновенную тоску, он не вытерпел... Другой дорогой, с противоположной стороны, подошел он к тому дому и, готовый сорваться при первом звуке шагов, хлопнувшей двери, заглянул в тот подъезд. Мрачный, полутемный подъезд был как все чужие подъезды, но этот, казалось, был еще более отчужден. Андрей не знал, на каком этаже живет Нина Васильевна, он встал у подъезда, как она тогда стояла, и взглянул вверх, как взглянула она. И получилось вроде на четвертом. Там в отдалении друг от друга светилось несколько окон. Напротив был двухэтажный домик с воротами, Андрей перебежал туда и стал смотреть.

В одном из окон горела голая лампа на длинном шнуре, виднелись голые, обшарпанные стены, там находился толстый человек в майке и стоял ел. В другом окне, завешенном прозрачными шторами, сиял огромный ярко-оранжевый абажур, и это окно Андрей тоже отверг. Еще одно, в окружении темных, излучало теплый красноватый неяркий свет, и не сверху, а откуда-то из глубины комнаты, словно от лампы, поставленной в изголовье, — на этом свете Андрей с волнением сосредоточился... Он не помнил, сколько стоял, и уже не отдавал себе отчета, зачем стоит, будто ничего и не ждал, просто замороженный созерцанием самого окна, отмечая малейшее движение, колебание теней, но вот свет вдруг совсем заслонился большой тенью, она, уменьшаясь и резко очерчиваясь, обратилась в силуэт, и Нина Васильевна — Андрей сразу узнал ее, хотя и не видел лица и волосы у нее были по-другому, — подошла к окну. Подошла, а потом приблизила лицо к самому стеклу, как делают, когда хотят разглядеть, что на улице. И возник еще один силуэт, повыше, мужской, и снова Андрей не видел лица. Но он видел, как руки мужчины поднялись было к плечам Нины Васильевны и — опустились, словно соскользнули, и встал он рядом и так же приник к стеклу. Так они стояли, и Андрей стоял, замерев, и впоследствии, много лет спустя, ему всегда казалось, что из странного того оцепенения вывело его внезапное ощущение, что это на него они смотрят — молча, внимательно и непонятно, — и невольно он подался назад, поглубже в темноту, и нашел там лазейку на соседнюю улицу... Хотя, конечно, никак нельзя было различить его за воротами, в черноте двора... Зато он помнил очень хорошо, что именно тогда, возвращаясь домой заснеженными переулками, впервые в жизни испытывал какое-то очень взрослое.

очень усталое чувство, что понимает все-все. То есть ничего в отдельности он не понимал, ни о чем конкретно не думал: и как Нина Васильевна с опущенной головой шла тогда по аллее, и отчего заболела, и что означает, когда мужчина и женщина стоят рядом, прильнув лицом к окну, и вроде вместе, но и каждый сам с собой, молча смотрят на темную улицу, где ничего не разобрать, кроме разве бледного пятна на снегу от фонаря да выхваченной ветки, — в том-то и дело, что ничего этого Андрей в то время не понимал, это он после узнал и понял, а просто такое вот было состояние, что ни о чем не думаешь и нужды и сил нет на чем-то сосредоточиваться, потому что любая шевельнувшаяся мысль тут же гасится ощущением, что понимаешь все-все...

Нину Васильевну он увидел через несколько дней. Был уже март. «Последний месяц четверти! Самый решающий! От того, как вы закончите третью четверть...» — заклинала Надежда на классном собрании. А в начале года она твердила: «Первая четверть! Все определяет первая четверть! От того, как вы начнете учебный год...» Потом: «Вторая четверть... Итог вашей работы за полугодие! Если упустите сейчас...» И уж как дважды два в апреле она скажет: «Ну вот, выпускные экзамены на носу! Теперь все зависит от вас! Повторение и повторение! Завершающий рывок... Необходимо приложить все силы...» Конечно, она за них волновалась...

Андрей вышел из школы и услышал голос Нины Васильевны: она выходила следом и окликала его. А урок почему-то опять вел Иван! И как только он ее увидел, его детская обида, и его доказанная самому себе вина перед нею, и его зарок — все стало неважным, и сразу будто бы обговоренным между ними, и бесследно исчезнувшим. Надо было сказать: «Здравствуйте!» — но и это словно уже было сказано...

— Андрюша! — повторила Нина Васильевна еще раз, поравнявшись с ним, и тоже больше ничего не сказала, и так получилось, что какое-то время шли они молча. — Я очень... я очень виновата перед тобой, — произнесла она наконец.

«Не надо!» — хотел воскликнуть он; потом: «Нет, это я виноват!»; а вместо этого пробормотал:

— Вы болели...

— Да! То есть... нет! Я заболела, но дело не в этом... Я не смогла прийти по другой причине, понимаешь?

Андрей кивнул. Заметил он, что Нина Васильевна сильно осунулась и побледнела за время болезни, но главная перемена была не в том, главное заключалось во взгляде — не осталось в нем ни тени прежнего спокойствия, обычной сдержанности, не было даже растерянности, как тогда, в сквере, а было одно: никак не спрятанное человеческое несчастье, совершенно открытая боль. И его радость, вспыхнувшая было в нем от встречи с нею, исчезла. Он испугался, представив на секунду, как бы она с таким взглядом вошла в класс...

— Ну а ты... был хоть в музее? — как-то принужденно улыбнувшись, спросила Нина Васильевна.

Андрей понимал, о, как понимал он, что надо было ответить, что ответить надо было: «Да, Нина Васильевна, спасибо, я с большим интересом...» — и так он и собирался, поглядев ей прямо в глаза, бодро и весело сказать, но, едва глянув, тут же опустил голову, сил у него не хватило, и смог только выговорить: «Нет»... И, кстати, с этого началось и осталось в нем навсегда: он не любил посещать ни музеи, ни выставки, а если и случалось, на любую картину смотрел с неосознанным глухим чувством отчуждения, неприязни, ревности, и хотя и узнал потом кое-что о живописи и мог судить о «линии» или «цве-

те», но все равно — в любом, пусть общепризнанно гениальном творении художника он упрямо видел не воспроизведение вечно длящейся жизни, а механически остановленное и убитое мгновение, он будто нарочно не хотел с тех пор понимать и чувствовать то, что мог бы узнать от нее и не узнал...

— Не был,— выдавил он и обнаружил вдруг, что они стоят и Нина Васильевна смотрит на него.

— Да... Ты прав,— сказала она, помолчав.— Глупо было об этом спрашивать... Но я сейчас не о себе... Я-то знаю, что виновата перед тобой, и знаю как.— Голос ее обрел горькую твердость.— Еще я знаю, что ты, как и все вы, воспитан в правилах, что жестче всего надо спрашивать с друзей и менее всего прощать им... Это у вас называется, кажется, принципиальностью. Так я хочу, чтобы ты запомнил, что в друзьях-то можно и нужно понимать как ни в ком другом! И прощать им как никому другому... как, может быть, невозможно простить даже самому близкому, самому дорогому тебе человеку... А я все-таки надеюсь, что мы друзья, и... расстанемся друзьями!

Андрей в смятении молчал, сразу выделив это «расстанемся» и не зная, как понимать, еще цепляясь за спасительное соображение, что до конца года так много дней, уроков, и уже п о н и м а я.

— Да, да, мне нужно уехать... Я уезжаю! Придешь меня проводить?

...И еще она ему говорила... но это уже на вокзале, и помнил Андрей, что была в тот вечер обычная мартовская городская предвесенняя сырость: то ли туман висел, то ли дождь сеялся такой мелкий, невесомый, что не мог никак долететь до земли, и тяжело и звучно пронизывали его капли, срывающиеся с крыш, проводов, деревьев, и огни пульсировали — сжимались и вновь расплывались желтыми радужными пятнами...

— Мне почему-то кажется, что тебе очень нелегко будет в жизни... Правда, ты из тех, что и сами не остаются в долгу, но от этого не легче... Не легче! Этого ты сейчас не поймешь, и я не хотела бы, чтоб когда-нибудь понял... Я бы хотела в тебе ошибиться, слышишь?! — говорила она, но он не слышал, он никогда не видел, чтобы чьи-нибудь глаза так судорожно пытались на чем-то, ну вот хотя бы на его лице сосредоточиться, вместо того чтоб дать себе волю, чтобы разом с надеждою обежать все вокруг, весь перрон, и еще раз, и еще, медленно, вглядываясь в каждое ближнее и дальнее чужое лицо... — И... будь счастлив! Пусть все твое будет с тобой! А теперь иди!

И он пошел послушно, оглядываясь — и уже не с детской растерянностью и неведением, а с сильной мужскою тоской (это после, когда вспомнил ее слова, сначала понял, а потом услышал)... И еще оглядывался не раз, с новым, все более зрелым пониманием и наконец с тою же б о л ь ю — это когда знал, никому не говорил, но для себя твердо верил, что если хоть один-единственный человек смотрит вслед другому с болью, или с любовью, или с состраданием, и даже с простым человеческим участием и тревогой, то уходящий не уйдет, не исчезнет бесследно, вернется, как не исчезнут и вернуться мгновения, которые замечали мы в детстве.

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ

★

РАССКАЗЫ

Писать рассказы так же рискованно, как, например, рассказывать анекдоты (пусть простится мне такая вольность): есть люди, которые совершенно не умеют рассказывать, но все равно рассказывают — хочется. можно рассказать некстати, можно рассказать старый анекдот, который все уже знают, а улыбаться будут из вежливости, что ужасно. Словом, даже если и есть история на памяти и есть умение ее рассказать, надо еще почувствовать, что она нужна. Нужна ли? И это-то в «профессии» рассказчика едва ли не самое трудное — понять: нужен ли ты сейчас со своей историей?

Я прочитал рассказы Евгения Попова и почувствовал, что мне, например, они были нужны. Рассказы состоялись. Я постараюсь объяснить почему.

Сибирь... Огромная, прекрасная, суровая часть России, и она продолжает осваиваться. Обывателю там еще неудобно, человеку энергичному, угловатому — вольно, ибо всяких клеточек меньше, не так гнетет мнение «княгини Марьи Алексевны» — она еще туда не приехала. Сибиряки, я заметил, попадая в европейскую часть России, любят рассказать про медведя, который ездит в трамвае без билета... То есть не делайте-де из нас «тунгусов», мы такие же, как вы здесь, в Москве или Алушке. Это не из бахвальства делается, не из ущемленного самолюбия, а из желания сказать: не хватайте через край. Но все же я бы не рассказывал про медведя. Не надо. Конечно, медведи не ездят в трамваях, но и отрицать этого не нужно: так убирается особенность края, особенность людей, там живущих. Да, это Россия, но ее наименее устроенная часть, и чего же скрывать, что жить там труднее.

Рассказы Е. Попова про Сибирь. Я даже не знаю, сибиряк ли он родом, но он хватывает трудноуловимое состояние людей, когда они еще в поисках лучшего места, в нешуточной борьбе за человеческую жизнь и еще должны только породить исторически стойкое потомство. Тут писателю-рассказчику (каковым, на мой взгляд, является Евгений Попов) непочтатый край работы. Но работы очень нелегкой, неблагодарной. Нелегкой — потому что легко сбиться на экзотичность, на исключительную ситуацию, на сочинительство. Неблагодарной — потому что это же про неустроенность. Про людей неустроенных, «невезучих», про людей с трудной судьбой не любят читать и слушать.

Е. Попову многое удастся. Много еще не удастся. По-моему, он все же грешит «густотой» письма. Ворочает. Должен прийти известный авторский покой. Попроще бы строить авторскую фразу... Но зато как точен он в диалоге! И как по-хорошему скуп в выявлении искреннего чувства героев.

Я так думаю, что должна уйти — я бы изгонял ее — этакая ироничность авторская. Но не совсем: где она тоже сдержанна и мимоходом, она работает, тогда я поддаюсь ее обаянию. Это там, где она похожа на то, что сострил усталый человек — мало, неохотно и не в этом дело.

Хочется посоветовать автору держаться самим им найденных «законов» своего творчества: место действия — Сибирь, правдивость рассказов, прямота, искренность.

От души, с радостью и надеждой желаю молодому писателю выносливости и успеха. И хоть немного — удачи.

Василий ШУКШИН.

Жду любви не вероломной

У нас на станции жил один мужик по фамилии Васька Метус, и у него была жена.

Ну и что, скажете вы, многие живут на станции и почти у всех есть жены.

А то, что он свою жену ужасно ненавидел и хотел бы от нее избавиться.

Ну и что, опять скажете вы, многие ужасно ненавидят свою жену и хотели бы от нее избавиться.

А вот то. Слушайте. Многие-то многие, а Метус однажды при живой жене взял да и привел в дом еще одну.

Он привел ее и оставил в сенях. А сам зашел в избу.

Дома сидела его как бы существующая жена Галька и мама-старушка Метуса Макарина Савельевна, которая считала сына дураком, несмотря на то, что он ее кормил, поил и одевал в ситцевые платья.

Женщины лузгали семечки.

Пело и играло радио. Тикали ходики. Мурлыкала киска, и домашние накинулись на Ваську, что тот пьяный.

— Ты где шляешься, сволочь?

— Где? — переспросил Метус и сам ответил где.

Женщины закутились по кухне и думали, что Васька сейчас их начнет гонять.

Но он их бить не стал, а, напротив, сел за кухонный стол, покрытый клеенкой, и сказал заплетающимся языком:

— Г-глина! Мне нужно обсудить с тобой очень важный вопрос.

— Вопрос. Вопрос. Что еще за вопрос? Куды? Ложись лучше спать, Васенька, а завтра поговорим, — отвечала Галина голосом плачущим и явно приготовленным на случай Васькиных побоев.

— Сядь! Сядь, баба! — строго и величественно повторил Василий и запел:

Жду любви не вероломной,
А такой большой, огро-мной.

Спев, спросил:

— Поняла?

— Нет, не поняла, — отвечала Васькина жена Галина, торговавшая продовольственным товаром в ларьке Заготскота.

— Ну так сейчас поймешь. Я тебе все объясню, — посулился Василий.

И объяснил, что Галина пускай ступает с богом к себе домой или еще куда-нибудь, куда она хочет, поскольку он ее не только не любит, не только не видит в ней своего или вообще какого-либо идеала, но даже имеет новую претендентку на ее место.

— Так что все. Хорé. Пожили рядком, разойдемся ладком.

Васька привел неизвестно откуда взятую пословицу и думал, что все уже, что дело, так сказать, в шляпе.

Но не тут-то было.

— Ой-ой-ой! Ой глаза б мои на свет не глядели! — завывала Галина. — Мы ж... мы ж-ж... Мы ж с тобой муж и жена. Ва-асенька!!

Крик, плач.

— Мы с тобой никогда не были муж и жена. Ты врешь. Мы с тобой подженились, так вот это точно, мы с тобой подженились, а сейчас я тебе даю развод, — пояснял Василий формальную сторону вопроса.

Пояснял, пояснял, а сам тем временем отворил дверь в сенцы, где притаилась его новая претендентка, и крикнул:

— Подь! Подь сюда!

Новая претендентка оказалась так ничего себе, а в темноте сенцев вообще выглядела некоторой даже красавицей. Галина, увидев это, завыла еще пуще, и сенная красавица вступила в дом.

Она злобно посмотрела на Галину, потом в угол, где висела икона, а потом бухнулась в ноги Макарине Савельевне.

— Простите, мама! Простите нас. Падай, падай и ты, Василий! — забилась и зарыдала она.

Все рыдали и плакали. Даже Метус пустил слезу. Но на колени он, правда, падать не стал. Он обнял свою старую бывшую подженку, поцеловал ее на прощание и стал выталкивать за дверь.

Все рыдали и плакали, лишь старушка мама сохраняла полное спокойствие.

— Ты дурак, — сказала она сыну.

— Ну почему? — обиделся тот.

— Дурак. Дурак. Падай, Вася. Падай! — соглашалась новая жена, колотясь головой об пол.

Так они и зажили. Славно зажили. Только в первую ночь и проявились вышеописанные неудобства, связанные с переменами и перестановками. А потом все устроилось: Галина убралась к себе на другой конец станции, где жили ее родители. Убралась и вскоре, по слухам, вышла замуж за солдата из стройбата, квартировавшего в их избе. Солдат обещал на ней жениться, лишь только кончится срок его действительной службы. На Метуса она при встрече подчеркнуто не смотрела.

А новые молодые Метусы зажили удивительно ладно и славно, несмотря на то, что Валя, так звали претендентку, оказалась рябенькая. Она в детстве как-то болела оспой, и у ней от оспы остались рябинки на лице.

— Да при чем тут воспа? — горячо и возбужденно говорил Василий матери. — Мало ли у кого на харе черти в свайку играли.

А Макарина Савельевна в ответ на это всегда ему резонно:

— Дурак, ты и есть дурак.

— Ты посмотри, какая она работница, — хвалился Васька.

А жена Валя действительно оказалась очень работающая. Она завела поросюшку и телку и очень хорошо их кормила помоями и объедками, которые приносила из столовой. Она работала в столовой. Мыла посуду.

Кормила, поила, холила, и поросенок с телкой росли как навита-миненные.

И о Ваське успевала позаботиться и о Макарине Савельевне. В общем, взяла дом в свои руки. Василий иногда не знал даже что и как. Что есть в доме, чего нету. И Макарина Савельевна не знала. А Валька знала.

Славно зажили. И ладно было и хорошо, а нет-нет да Василий и запоет свою прежнюю песню:

Жду любви невероломной,
А такой большой, огромной...

— Уж ты и не пел бы так, Васенька, а то сглазишь наше счастье,— говорила жена, лстиво прижимаясь к могучей груди незаконного мужа.

— А я пою. Пою — и все, — упрямо отвечал Василий. — Пою потому, что жизнь разнообразна и может быть все. И с тобой мы очень даже просто можем расстаться. Как в море корабли.

— Ну уж, — пугалась жена.

— Да. Я пою. Все может быть. И знай, что ты для меня вовсе не идеал.

И ведь действительно — он оказался прав.

Потому что в один прекрасный день приходит на двор какой-то мужик и велит отдавать поросюшку и телку, поскольку «Валентина Ивановна мне этих животных продали через нотариуса».

И мужик стал совать в нос какую-то бумагу с гербовой печатью.

— А вот этого ты не видел? — Метус показал, что мог увидеть мужик, и опрометью кинулся по месту работы в столовую, а там выяснилось, что его якобы жена уже уволилась.

— И неизвестно куда отбыла, — хохотали ее нахальные товарки.

Неизвестно. Это сначала было неизвестно. Телку и поросюшку пришлось отдать, потому что против гербовой печати не попрешь — можно поломать рога, а мужик в следующий раз привел с собой еще и милиционера. Мужик этот, кстати, оказался ничего. Он имел дом — будку путевого обходчика — и решил обзавестись хозяйством. Он сказал, что, может быть, даже и понимает Метуса, но поскольку деньги заплачены, то он тут ничего не может поделать.

Так что пришлось отдать. И только потом обнаружилось мошенничество, а именно, что Валька была в стоворе с путевым обходчиком. Выяснилось, что они обо всем уже давным-давно договорились и только ждали, по-видимому, когда подрастет телка. Теперь они стали жить одним домом, в будке, а Васькина любовь, таким образом, кончилась и разбилась, как стеклянный шар.

И Метус, ошалев от всего этого, говорит маме:

— Вот видите, мама.

А старушка в ответ ему одно:

— Это все потому, что ты дурак.

Жду любви невероломной...—

запел тогда Метус и стал сажать в поле картошку, поскольку была весна. Он посадил целых десять соток картошки, да и в огороде еще чуть не полный мешок.

Кроме того, он хотел затеять судебный процесс со своей бывшей женой Валентиной по случаю, что она украла у него всю скотину, но та одумалась, испугалась и сама отдала ему по сговору сто двадцать пять рублей.

На эту сумму Метус купил себе мотоцикл. Мотоцикл был очень старый и весь какой-то ржавый, но обладал одним важным достоинством: сзади для пассажира у него имелось шикарное черное мягкое прекрасное пружинное седло от трофейного мотоцикла «БМВ».

Скоро и пассажиры нашлись, потому что Метус опять женился. Как он в этот раз женился — все равно и, пожалуй, даже и не имеет значения. Одно можно сказать — что последняя жена была ничуть не хуже, чем две первые. И не рябая, и не косая, а только чуть-чуть походя на швабру.

Ну, Метус жил себе да жил. И совершенно бесстрашно пел свое «Жду любви не вероломной».

Ну и вот. И настал август месяц, когда падает желтый лист и синееет воздух, когда перелетные птицы собираются домой, когда картошка уже окучена и нужно подумывать о том, как ее убирать и где доставать грузовик, чтобы вывезти урожай с поля.

А на грузовике ездил стройбатовский солдат по имени Рафаил, восточный человек.

Они как-то раз пришли, Рафаил и Метус, к Метусу домой и стали выпивать и договариваться.

Они пили, и жена не вмешивалась, потому что ее не было дома, а старуха молчала, потому что ей было все равно.

Они пили и договаривались, а потом Метус стал жаловаться, что мотоцикл весь ржавый и очень скрипит.

— И выхлопная труба погнутая, — огорчился он.

— Кольца, поршни, аккумулятор — все должно быть новое, а тогда — пускай! — Рафаил рубанул ладонью воздух.

Не работает машина.
Не заводится стартер.
Из кабины вылезает
Разобдранный шофер,—

спел Метус.

И они еще выпили.

— Кольца, поршни, труба — все это есть, — сказал Рафаил.

— Где? — удивился Метус. — Нигде нету.

— Э-э, бляшка! — Восточный человек скривился. — У меня в райцентре есть земляк, а у него есть кольца, поршни-моршни, чистим-блистим, у него все есть.

— Вот везет же вам, — восхитился Метус. — Везде у вашего брата земляки.

И сразу же стал хлопотать.

— Мама, — сказал он официально, — скажете моей жене, что пусть она не волнуется, а мы едем в райцентр за запчастями.

Мама молчала.

— Все для вас же. Стараешься, стараешься, — объяснял Василий, вытягивая из комода семейные сорок рублей. — Мы к вечеру будем.

— Мы на машине, — пояснил солдат Рафаил.

И поехали, а к вечеру не вернулись.

Не вернулись и утром.

Тогда новая молодая старухе Макарине и говорит:

— Мама, может, их ГАИ забрала.

— Нет, доча, ГАИ их не может забрать, потому что Рафка военный человек. Их может забрать только ВАИ, а тогда Ваську бы отпустили, потому что он штатский, — отвечала мудрая старуха. И добавила: — Поди забурились куды, паразиты.

И точно забурились, да как еще. К вечеру пришел к ним солдат Рафаил. Вот именно что пришел, а не приехал. Он держал в руках гитару с пышным красным бантом и отнесся непосредственно к Макарине Савельевне, сказав:

— Все, мамаша. Не плачьте и не рыдайте, а ваш сына сидит в КПЗ и получит на полную катушку.

И рассказал ужасный случай, как опять подвела Метуса «Жду любви не вероломной».

... Они никаких запчастей, конечно, не нашли, потому что жена земляка, здоровенная бабища, сказала, что он куда-то уехал.

— Да куда же он мог поехать? Зачем ему куда ехать? — засомневались друзья.

— А я скудова знаю, — сказала бабища и не пустила их в дом.

Они тогда стали ждать и пошли в парк культуры и отдыха, где играл духовой оркестр, где читали лекции про Марс и космонавтов, а также продавали стаканами розовый портвейн. В решетчатой беседочке, увитой плющом.

Жду любви не вероломной,—

вскоре запел Метус и тряс Рафаила за плечо, а тот открыл один глаз и проворботал:

— А! Отстань, ара. Дай отдохну.

И положил голову на стол.

А Метус тогда вышел на симпатичную парковую дорожку, посыпанную гравием, и стал гулять, любясь окружающей его культурой, а также отдыхом.

И вдруг — да, вот именно вдруг, а не как-нибудь — ни с того ни с сего он увидел ту, которую ждал, по-видимому, всю жизнь.

Жду любви не вероломной,—

снова запел он, приближаясь к женщине.

— Да? — хрипло спросила та, которая имела под глазом синяк, прекрасные черные волосы, серьги, накрашенные губы и папиросочку в них. Чулок еще у ней был спущен, а так весьма хороша собой и грациозна, как лань. — Да? — переспросила женщина и сказала: — Ты мне шаньги не крути, понял?

— Ты не лайся, я тебя люблю. Ух ты, хорошая, — обнял ее Метус.

— Ишь ты! — Женщина захохотала как залаяла. — Хочется. Хочется, а у тебя шалыжки есть?

— Есть, — сказал простодушный Метус. — Вот.

И показал женщине десятку.

— О! Вот молодец! — Женщина стала совсем своя и запела:

Говорит старик старухе:
«Ты купи мне рассыпухи,
А не купишь рассыпухи—
Я уйду к другой старухе».
Эх, эх!

А такой большой, огромной,—

вторил ей Метус.

Потом они пили рассыпуху в той же беседочке, увитой плющом, где Рафик уже отдохнул и беседовал с какими-то людьми, бешено вращая кистями рук. Он поздравил Метуса, сладко чмокнул, посмотрев на даму, и выпил за их здоровье.

Потом он остался в беседочке, а они шатались по симпатичным дорожкам, обнимаясь, куря и веселя своим обликом отдыхающую молодежь.

И шло время. И упала на землю ночь, усеяв темное небо мелкой сыпью звезд, и месяц светил. Светил, светил и освещал справляемый в центре парка, в кустах, непосредственно за гипсовой статуей оленя, нехитрый праздник любви Василия Метуса и черноволосой гражданки.

Видите ли, милиционер. А ему, очевидно, донесла парковская уборщица. Милиционер помешал. Он подошел, он обнаружил влюбленных, извлек Метуса, поставил на ноги и довольно мирно посоветовал:

— Ты, мужик, лучше вали отсюда подобру-поздорову.— А гражданке сказал: — А ты, Танька, если еще раз тут появишься, то я тебе, бичухе, остригу голову.

— А что я, — заняла Танька.

Что бы Метусу послушать опытного человека, разыскать Рафаила, да и валить, валить, рвать когти.

А он взял да как дурак заорал на милиционера, кинулся на него, как бык, и ударил влюбленным кулаком по голове.

Милиционер засвистал, Метус еще приложился. На свистки явился Рафик и удержал Метуса от дальнейших необдуманных поступков.

Но как он ни уговаривал, как ни просил милиционера, как ни сулил ему горы золотых восточных денег, тот был непреклонен, и Метуса повезли...

— Он очень обиделся, — объяснял Рафаил. — Ну а вы, спрашивается, не обиделись бы, мамаша, если б вас при исполнении служебных обязанностей шаррахнули кулаком по голове за ваш же добрый совет?

Старушка заплакала и сказала:

— Я говорила, что он дурак. Может, его хоть в дурдом посадят, а не в тюрьму?

— Не знаю. Не знаю. Сушите сухари лучше. Что же делать?

И Рафаил ушел, предварительно добавив и пошутив:

— Не плачьте, мама, а то я вам урюку не пришлю.

Так и пошел куда-то с гитарой. Про свою машину даже ничего не рассказал, куда она у него девалась.

Не плачьте, говорит, а как тут не плакать? А?

И старуха плакала. Она плакала, но уже собирала первую передачу: картошечка, огурчики, сухарики.

— Как ты думаешь, Марья, огурчики разрешат ему? — спрашивала она молодайку.

Но та окаменела. Она как услышала, что произошло, то сначала вся покраснела, а потом окаменела и замолчала.

Она молчала несколько дней, а потом плюнула и стала со страшной силой возить для дома сено, дрова, копать картошку.

Потом она съездила в город и завербовалась у вербовщика на остров Шикотан потрошить рыбу. На суд она не пошла.

— Извините, мама, — сказала она, кланяясь старухе. — Я вам буду посылать немножко, а с Васькой я жить не могу, потому что он паразит.

— Дурак он, — сказала старуха.

К этому времени все уже стало известно. Был суд. И Васька получил полтора года. Но обещали, что если будет вести себя хорошо, то могут выпустить по половинке.

— А то еще, гляди, и амнистия какая выйдет, — утешали люди Макарина Савельевну.

И вот теперь Васька сидит за колючкой. Жены его кто где. Рафаил демобилизовался и уехал.

Ваське дали полтора года, и никто не знает, что он будет делать, когда вернется. Начнет, наверное, с того, что опять подженится.

А сейчас — он никому не нужен. Так, по-видимому? Кому он нужен? Жены нет. Рафаил уехал. Так, по-видимому?

Нет, не так.

Ибо старушка мама Макарина Савельевна молча и упорно дожидается своего дурака, которого она родила, растила, купала в корыте, где он говорил «гули-гули», нянчила, покупала ему букварь и стегала ремнем за двойки из школы.

Дождается, надеясь на деньги с далекого острова Шикотан, на урюк и на господа бога.

Дождается, питаясь картошкой, солеными огурцами, свеклой, капустой, грибами — словом, всем тем, за что не нужно платить ни копейки денег и что бесплатно растет у хозяев на родной земле.

Барабанщик и его жена-барабанищица

Жила-была на белом свете одна тихая женщина-инвалид, и жил на белом свете вместе с нею бойкий барабанщик из похоронного оркестра.

Эта женщина однажды проживала с мужем в городе Караганде

Казахской ССР и ехала в рейсовом автобусе на работу. И тут у автобуса заглох мотор на переезде, а поезд был слишком близко.

И поезд налетел на автобус, делая кашу и железный лом. И барабанщица вылетела из автобуса.

Во время полета ей разбило голову кованым сапогом, и кости торчали наружу, после чего она что-то все стала бормотать, бормотать, бормотать, а также читала всего лишь одну книгу. А именно — Расула Гамзатова, «Горянка», где он описывает новые отношения между людьми в республике Дагестан и борьбу за их женское равноправие.

Эту книгу она купила в больничном киоске непосредственно после травмы. И никогда больше с ней не расставалась.

После несчастья многие отвернулись от женщины, и первым из них был ее родной муж.

А барабанщик всю жизнь играл на барабане. Он сильно пил и допился до того, что стал играть в похоронном оркестре, где ходил за гробами с музыкой.

И от него тогда тоже многие отвернулись.

Вот тут-то они и сошлись с женщиной и стали жить на улице Достоевского во времянке.

Зимой во времянку задувало, но ярко горела печь. А летом у них в садике цвела черемуха и можно было дышать. Правда, барабанщик все пил да пил и женщина все бормотала.

А красивая была женщина — черноволосая, стройная.

А барабанщик, кроме игры на барабане, изучал вопросы прочности окружающих предметов. Он сильно сокрушался, что нет на земле прочных предметов. И что если есть вроде бы прочный предмет, то обязательно имеется предмет еще более прочный, который может разрушить первый предмет.

— Ведь если бы не это, твоя голова не была бы расшиблена кованым сапогом, — говорил он барабанщице.

И та с ним соглашалась.

Ввиду неуспешных поисков смысла прочности барабанщик пил все больше и больше. И вот однажды он в полном отчаянии замахнулся на святая святых: он забрался на барабан и стал по нему прыгать. Пробуя.

А женщина сидела на кровати.

Она тихо сидела на кровати и читала любимую книгу. Тихо тикали ходики. Деревянные стены времянки были аккуратно выбелены. В углу висел рукомойник и стояло поганое ведро. На полу лежал половичок.

А барабанщик все прыгал и прыгал, а сам был маленький и толстенький. Он прыгал-прыгал, да и прорвал барабан — свой хлеб, свое пропитание.

Он тогда очень огорчился и стал поступать нехорошо. Он стал обвинять барабанщицу в том, что она испортила ему жизнь.

— Если бы не ты, дура, я бы сейчас играл в Большом театре. Я тебя могу побить.

Тихая женщина очень испугалась. Потому что они жили долго и он с ней никогда так не говорил. Она взяла с собой книжку и убежала на улицу.

А на улице была ночь и плохо горели фонари, так что бежать можно было, лишь сильно отчаявшись.

Барабанщик понял это, и ему стало очень стыдно. Он тогда пошел к водопроводной колонке, а сам был волосатый. Он разделся, облился холодной водой, вернулся в дом и вспорол пуховую перину.

Вываялся весь в пуху и пошел искать барабанщицу.

Он нашел ее под завалинкой. Она дрожала от страха и смотрела в темноту из темноты.

— Ну что ты боишься, дура? — сказал пуховый барабанщик. — Ты не бойся.

Барабанщица молчала.

— Ты не бойся, лапушка, — сказал барабанщик, который был бойкий. — Я не намазался дегтем, я не намазался медом. Я облился водой, и тебе будет легче отмыть меня. Ты хочешь меня отмыть?

— Хочу, — ответила женщина. Она вылезла из-под завалинки и забормотала: — Хочу, хочу, хочу.

И они вернулись в дом. Барабанщик обнял барабанщицу. Она нагрела воды в большом баке. Вылила воду в корыто и стала отмывать барабанщика.

А он сидел в корыте и пускал ртом мыльные пузыри, чтобы барабанщица не плакала, а смеялась.

Красноярск.



ДИНА КАЛИНОВСКАЯ



ПАРАМОН И АПОЛЛИНАРИЯ

Рассказ

Дина Калиновская долгое время появлялась у нас в доме всего лишь в качестве жены своего мужа — известного графика, иллюстратора моих книг Геннадия Калиновского. Не больше. Но в один прекрасный день она принесла с собой красную папку, положила ее в самом углу на стуле и как бы между прочим заметила, что написала роман и хочет, чтобы его на досуге почитали. Откровенно говоря, я тогда подумал, что это банальное дамское рукоделие, и почти целый год не притрагивался к папке, которая уже успела запылиться. Дина продолжала приходить к нам с мужем, но никогда не напоминала о своем романе.

Однажды я взял красную папку, развязал тесемки, стал читать, да так и не оторвался, пока не дочитал до конца. Оказалось, что Дина Калиновская отлично пишет.

Это был роман о жизни целого поколения некоей еврейской семьи из Одессы, претерпевшей все ужасы двух войн и продолжающей жить в любимом до гроба городе. Я стал смотреть на Дину уже совсем другими глазами. «Но, может быть, это случайность?» — думал я. Такие случаи бывают, когда человек вдруг напишет замечательную вещь, а потом вдохновение исчезает уже навсегда. Но оказалось, что за это время Дина Калиновская написала еще несколько рассказов, я прочитал их: один другого лучше. А самое главное, что все они написаны на разном материале. Дина не стала особой «одесской» писательницей, последовательницей Бабея. С таким же блеском и зрелым мастерством она, например, написала чудесный рассказ из жизни вологодской деревни, где портретная живопись соседствует с дивными вологодскими пейзажами, а язык образный, емкий, точный, северорусский, местами заставляющий вспоминать Лескова.

Меня пленило в прозе Дины Калиновской гармоническое сочетание изобразительного с повествовательным, чему я всегда придавал большое значение, а также тонкий, ненавязчивый юмор, пронизывающий все ее рассказы.

Теперь уже Дина приходит со своим мужем, так сказать, «на равных».

Мне доставляет большое удовольствие рекомендовать новую, еще никому не известную писательницу читателям «Нового мира». Надеюсь, проза Дины Калиновской будет оценена по достоинству, и уверен, что в ее лице наша литература обогатилась еще одним интересным писателем.

Валентин КАТАЕВ.

Вечером дед Володя машинкой постриг Парамона под нуль, а Парамон, пока спал, об этом забыл. Утром проснулся — и не может понять, почему голову холодит. Потрогал макушку, потрогал затылок, вспомнил сугробчик желтых волос на полу, сразу встал, натянул штаны, футболку и, не умывшись, не поев, пошел показаться Аполлинарии.

По озеру еще слонялся сонным бараном туман, а тетя Маша Зайцева со снохой пошлепали на веслах в слободу, они работали в столовой, им надо было рано. На коньке за овсяным полем разбрелись коровы, там щелкал по земле тяжелым кнутом и покрикивал «и-их!» дед Володя. Черный безголосый петух с ненавистью посмотрел на Парамона. Парамон давно бы прибил петуха, потому что никакой вины перед ним не имел и не понимал, как можно ненавидеть без при-

чины. Но, во-первых, петух принадлежал Аполлинару, а во-вторых, он один остался на всю деревню. В прошлом году слободской магазин стал продавать яйца с птицефермы по восемьдесят копеек десятком, и вся деревня посчитала разумным за зиму своих кур съесть. И скушали. А яйца в слободе пропали. Теперь сидят без яиц, кукуют. У одной Аполлинару три курочки остались да этот черный фашист.

К Аполлинару идти через два дома на третий. Она уже встала, знал Парамон, сидит кашу ест или чай попивает. А если попила, знал Парамон, то самовар все равно стоит на столе, его дожидается, Парамона. Сама же Аполлинару в ситцевой кофте и в белом платке под окошком доплетает позавчера начатый воротник. Аполлинару на всю деревню первая кружевница, так старухи определили между собой. Она за зиму налетит воротников и косынок, за лето туристы все раскупают. А она и летом плетет. Она не может не плести, у нее, если не поплетет день, начинают болеть руки, особенно ломит пальцы, знал Парамон.

Ворота Аполлинаруного дома были раскрыты настежь. Видно, успела натаскать воды из озера. Парамон вошел на мост, покачался на доске. Она торчала тут, когда Парамон еще не родился. Пришел цыган, знал Парамон, завел коня, а настил под конем проломился. Виноватый цыган заплатил Аполлинару за нечаянное безобразие самоваром. Аполлинару осталась довольна.

Парамон покачался на скрипучей доске, покачался и толкнул плечом толстенную дверь.

Аполлинару, как он и знал, возле окошка щурилась и улыбалась над валиком — плела. Над ней в простенке качался дразнилка-маятник, в руках у нее прыгали, щелкали коклюшки.

— Смотри! — крикнул он с высокого порога.

Она посмотрела. Перестала плести, отвела голубую занавеску, чтобы было виднее.

— Настоящий солдат стал.

Аполлинару лучше всех все понимала. Парамон сам просил деда Володю не оставлять никакого чубчика, чтобы было как у солдат, тех, что строят возле дороги над озером большой дом для школьного интерната.

— Чаю попьешь, солдатик?

— Четыре ложки позволишь — попью.

У них заведено было торговаться из-за сахара.

— Четыре так четыре, — сказала Аполлинару, и Парамон очень удивился: больше трех она не разрешала никогда, говорила — мужикам много сладкого нельзя, у них, считала, от сладкого смолоду расползается лысина.

— Времечко через деревню бешеным козлом скачет, — сказала Аполлинару, опять взявшись за коклюшки. — Осенью в школу поступишь, а там, глядь, и в армию позовут.

— Сперва женюсь, а потом уже в армию, — подумав, заявил Парамон.

— Кто ж сперва женится? — заспорил Аполлинару. И Парамон опять удивился — спорщицей Аполлинару не была никогда. Но она быстренько спохватилась и поправила разговор: — Или невесту пригладел?

Парамон промолчал.

— А как же без невесты-то жени-и-ться? — пропела Аполлинару. Она любила так — говорит, говорит, а вдруг и пропоет.

Парамон посмотрел на нее и тоже пропел:

— Надо будет — и найдется не-е-еста!.. — И стал цедить себе в

кружечку из самовара. — Еще не примут-то, — усмехнулся Парамон, играя краником: то тонко пустит, то вовсю. — В школу-то.

— Их власть, — согласно усмехнулась Аполлиналия. — Могут и не принять.

И они весело и победительно посмотрели друг на друга.

А дело в том, что четвертого дня к Парамону лично приходила интернатская учительница тетя Маша Шилова. Она обходила все приозерные деревни и записывала в первый класс. А Парамона брать не захотела, когда узнала, что ему семь лет только зимой будет. «Погуляй еще на воле, рано тебе». Парамон молчал, он не такой, чтобы упрашивать. Но сестра Катя поискала букварь и заставила прочитать учительнице. Он прочел, где указали: «Мы-а, шы-а — Маша, у-мыны-а — умна». «Вот ты какой молодец! — похвалила учительница тетя Маша. — А что же это значит, Парамон, — «Маша умна»?» И обиженный Парамон, хоть и понимал, что выйдет неуважительно, ответил: «А то и значит, что сперва подумает, а потом уже скажет!» Учительница засмеялась и записала его.

Парамон завернул краник, уселся с кружечкой поближе к Аполлиналии, чтобы было видно, как плетет, и повел их обычный утренний разговор.

— Ну что, не падала больше? — спросил он.

Имелась в виду болезнь, которая стряслась с Аполлиналией весной. Она упала в курятнике и сколько-то без сознания там пролежала, пока Парамон не нашел ее. Он испугался, подумал, что умерла, побежал за старухами. Старухи пришли, подняли Аполлиналию, принесли в дом, положили на лавку, тут она и проснулась. Ничего, говорила, не помню. Не помню, говорила, как в курятник шла, не помню, говорила, зачем шла, ничего не помнила. Парамон, говорила потом, меня спас, а то бы, говорила, замерзла в курятнике. Конечно, замерзла бы, понимал Парамон. Тогда была совсем еще ранняя весна, снег не стаял, по озеру вовсю ездили на санях. Парамон теперь всегда первым делом спрашивал, не падала ли еще. На нем теперь за нее была ответственность. «Неужто мне каждый день падать?» — всегда отвечала Аполлиналия, притворяясь обиженной за недоверие к ее здоровью. «Не падала — и хорошо», — хвалил Парамон, не замечая приворства.

Парамон нырнул носом в кружечку, глазами показал на малиновый платок, повязанный сегодня Аполлиналией.

— А ты чего это — праздник?

Аполлиналия вдруг как засмеется. Смешлива она, всех пересмеет.

— Праздник, вот уж! — Бросила коклюшки, заплескала руками. — Всё пиво выпили — так уже и праздник! — через смех вскрикнула она.

— Кто выпил-то? — строго спросил Парамон.

Пиво Аполлиналия сама делала из картошки и берегла для мастеров. Если случалось починить радио, или ходики, или электричество — да мало ли? — без пива звать мастера не полагалось.

— Кто выпил-то? — еще строже спросил Парамон, потому что смех Аполлиналии говорил, что о пиве она нисколько и не жалеет.

Аполлиналия отсмеялась.

— Николашка мой приходил, — шепотом доложила она, как если бы под окном кто-то слушал. — Со сватом!

Парамон переждал, пока отсмеется совсем.

— Чего это?

— Так свататься же! — И опять зашлась.

— Было из-за чего пиво тратить, — заворчал Парамон, когда она затихла. — А до новой картошки ой сколько.

— Я и говорю,— быстро закивала Аполлинурия.

— Ну?

— Иди, говорю, не шути. А он — не возьмешь меня, плохо мне будет, Поля.— Она посмотрела вопросительно, больше не смеялась, лицо ее сделалось строгим, как у Парамона.

— Вот и хорошо, что плохо, — сказал Парамон. — Ишь какой!

— Я и говорю,— опять согласно закивала Аполлинурия.— Ишь, говорю, какой! Тридцать лет без тебя жила. Детей без тебя поставила. Алиментов от тебя не брала. За дом всю страховку без тебя вы платила. И в колхозе, и плела, и рыбачила. Все мои две рученьки. А теперь твоя молодка померла — ты и тут. И не думай, говорю.

— Так, — одобрил Парамон. — Разбежались мы, как же! Ну и чего — ушли?

— Да ушли. Пиво допили — и ушли. Но только, Парамоша,— зашептала Аполлинурия торжественно и виновато, как будто сама накликала беду, — завтра, сегодня, значит, опять грозился прийти. На коленях, грозился, просить будет!

Парамон обозлился:

— А ты не пускай! Ты закройся — и не пускай! Чего тебе глядеть, как он на коленях просится? Кому это весело — глядеть, как кто-то на коленках перед тобой ползает?

— Так оно, так.— Аполлинурия полностью соглашалась.

— Нечего тебе на такое глядеть,— уже помягче наставлял Парамон. — И пиво тратить было нечего. А мастера придут? Дрова пить собираешься? Это без пива-то?

И Аполлинурия закручинилась, закивала: так, мол, все верно, дура я. Она прислонилась к коленям валик, собрала в горсть коклюшки. Хорошо, мол, ты у меня есть, говорил весь покорный ее вид, советчик мой самый лучший, прав, мол, ты совершенно во всем, и буду я всегда тебя одного слушать.

Парамон досыпал в кружечку пятую ложку сахара.

— Непонятно мне только, — он с трудом размешивал густой сироп, — зачем же малиновый платок-то на тебе? Праздник разве?

— Как же!

Аполлинурия вскинулась, заулыбалась редкими щербатыми зубами, вздернула морщинки на лбу, глаза сделала кругленькими и опять, как пристающего теленка, отстранила валик.

— Как же, Парамоша! Для женщины хоть какое сватовство — всегда главный праздник жизни!

— Скажешь! — Парамон покрутил головой, как бы удивляясь вечному женскому легкомыслию. — Главнее Восьмого марта?

Но Аполлинурия с веселым упорством подтвердила:

— Главнее.

Парамон не спеша запустил руку за ворот, почесал, где и не чесалось, поцыкал зубом с видом человека, попавшего в чуждую по взглядам компанию, но имевшего в запасе козырный аргумент.

— Главнее Первого мая? — спросил он, заранее жалея побежденную Аполлинурию.

Аполлинурия поправила платок на темени.

— Ей-богу, главнее!

— Спорщицей вдруг сделалась... — неодобрительно буркнул Парамон и сердито задолбил босой пяткой по ножке табурета. — Пьяница твой дед Николашка!.. — подсигивая от злости, заорал он. — Алкаш самый что ни есть слюнявый! — Парамон сотворил наиотвратнейшую, как считал, рожу — рот наперекосяк, глаза к носу. И понес с горючим презрением: — Нашла себе!.. Бросил же! С малыши деть-

ми!.. И крышу дыряву оставил!.. И дров не напас!.. И корове сена не вывез из леса!.. Забыла?

Аполлинаруия глядела на него, не плела, потерянно сложила руки на коленях.

— Да я б такого!.. — слез с табурета и наступал на нее Парамон.— Ухвата у тебя, что ли, нету? Тридцать лет не являлся, а сейчас чего ж? Может, дом у него сгорел в Кнышове? Небось конура-то собачья не сгорела, в ней бы и жил!.. Пошто к тебе пристал и путает? Ты, мол, плети, гни спинушку, а ему чтоб денежки на пропой?..

— Чего ж такого ты наслушался, робенок? — сказала Аполлинаруия. — Старухи плетут языками, ты и набрался у них...

Парамон успокоился от ее жалостного голоса, вздернул чертовы штаны — они непрестанно сползали.

— Не ходи ты за него.

Аполлинаруия виновато сморщилась.

— Говорит, любит меня, Парамоша. Говорит, одну тебя всегда и любил, Поля.

— Так любил, что бросил с детьми? — безнадежно махнул он и опять влез на табуретку. Раскинул руки по столу, щекой положил голову. — А Наталья?

— А Наталья, говорит, была как дурман...— Аполлинаруия поводила вокруг головы руками. — И считаться с покойницей, говорит, нехорошо, грех, Поля, — робко объясняла она.

— Ну и женись с ним, пропадай!.. — выдохнул Парамон. — Будет он тут... сидеть!

Аполлинаруия помолчала, потом снова приобняла валик и невесело стала играть коклюшками над почти готовым воротником. Воротник плелся из черных ниток — широкие волнистые дороги по краю и маленькие юркие волны в середине. Парамон не одобрял черное кружево. «Сделала бы паучки красными нитками, что ли!» — требовательно предлагал он. «А где же взять красных катон-то?» — прикидывалась незнающей она. «В слободе возьми, в магазине», — поучал Парамон. «Вот за пенсией пойду на почту, тогда и куплю», — заверяла Аполлинаруия. Ей нравились одноцветные кружева — черные ли, белые, но обижать Парамона не хотела, соглашалась. «Чего ждать-то? Когда еще пойдешь! Сгоняй меня в магазин, я и куплю», — настаивал Парамон. «Детям не продают», — сокрушалась Аполлинаруия.

Сейчас Парамон молчал. Расплющился по столу, размазывал пальцем чайную лужицу, горевал.

Аполлинаруия не выдержала.

— Пошто рассердился, Парамон? — позвала она тихим и веселым голосом.

Он не ответил.

— Не пущу я его сюда. Ей-богу, не пущу! Зачем он нам?

Он не ответил, перелез с табуретки на лавку, высунулся в окно. Вокруг недостроенной зайцевской бани проснувшиеся братья гонялись друг за другом — плевались из камышовых трубок прошлогодней рябиной.

— Колька! Толька! — крикнул Парамон вместо утреннего приветствия.

Братья в азарте не обернулись.

— Точно не пустишь? — спросил он у Аполлинаруии через плечо.

— Кого? — слукавив, не поняла она.

— Да деда-то Николашку!

— Не пущу.— Аполлинаруия прошла за печку и переменяла малиновый платок на каждодневный белый. — Ни за какой подарок не пущу, — договорила она, снова усевшись под окошком. — Как же

мне пускать его, ежели я не доверяю ему, и не жалею его, и покою мне от него не ждать. А помру — так дом детям хоть на дрова отойдет, а то ему достанется. А страховку я всю сама, без него выплачивала. Нет, пусть как хочет, нас не касается.

Она не плела, задумалась, а Парамону стало весело, захотелось измерить ногами новый ее половик, рябенький, весь разноцветный, еще не стиранный. Старые Аполлинария сто раз стирала в озере, он сам помогал полоскать их, они и выцвели, посерели, а новый прямо сиял весь. Аполлинария плела его зимой. Парамон большими ножницами помогал ей резать тряпки на полоски. Тряпки попадались интересные — то городское платьице маленькой девочки, то мужская клетчатая рубашка, даже форменные милицьевские штаны попались. Парамон воображал себе кудрявую, с бантиком девчонку, сердитого шофера, важного милиционера. У Аполлинарии с кем-то в городе был договор — вы мне, мол, насобирайте тряпок, я сплету половик, а вам за то насушу грибов, наберу клюквы.

Парамон пошел мерить от двери через всю избу — пятку к пальцам, шагок за шагом.

— Я, говорит, — добавила еще Аполлинария, — в Узкое пойду, к дочери нашей, я, говорит, в Череповец сыну нашему письмо отпишу, они, говорит, прикажут тебе принять меня, Поля...

Парамон сбился со счета.

— А прикажут?

Аполлинария только плечами повела.

— В таком деле никто приказать не может!

И Парамон пошел мерить сначала.

— Хочешь, я тебе камышовую трубку срежу? — обернулся он к Аполлинарии на двадцать второй ноге.

— Нашто мне?

— Будешь плевать рябиной!

— Ну срежь.

Всего намерилось двадцать девять шагков. Парамон пожалел, что мало, он любил показывать свое умение счета.

— Я могу всем старухам срезать! Будете друг в дружку стрелять! Вечером вам все одно скучно.

— Давай! — умело обрадовалась Аполлинария, а потом повела его в клеть и насыпала сухого гороха из берестяного короба прямо за пазуху. Штаны Парамону, сколько ни просил, покупали без карманов.

Трубка была припрятана в дровах под мамкиной печкой, Парамон побежал домой и застрял.

Мамка, как всегда после папкиной получки сердитая с утра, уже вытаскивала из печки картошку. Папка возле окошка брился, он после получки всегда брился, чтобы в лесхоз идти с хорошим лицом, а без получки он и небритый себе нравился. Катя, самая старшая — на тот год будет кончать десятый класс, — сидела на лавке с ногами, нечесаная, сонная, в одной длинной рубахе, сумрачно обдирала вялого леща.

— А может, я и не поеду ни в какой ни в техникум, — бубнила Катя. — Может, я на ферму пойду. Надька Ошуккина идет и Валька Козлова тоже. А поеду — так в городе какие девчонки модные. С городскими мне не тягаться...

— Пока школу не кончила, нечего и языком брякать! — Мамка громыхнула об пол ухватом.

— А десятый класс можно и в вечерней закончить, — дудела Катя. — Надька Ошуккина собирается в вечернюю и Валька Козлова...

— Они, что ли, тоже замуж хотят, Надька-то с Валькой?

Катя засмеялась.

— За кого же?

Но мамку не рассмешишь, если она с утра не в настроении.

— На деда Трошку он похож, твой уважаемый, на Трофима Алексеевича. И видом, Катька, похож, и разговором, и всеми замашками, — говорила мамка Кате, а сама строгала лук на тарелке.

От скрипа ножа по тарелке у папки ломило зубы, он злился и кричал, бывало, на мамку, а сегодня терпел. Он после получки всегда был очень терпеливый.

— А дед Трошка, — говорила мамка, — на руку был тяжел, все помнят, на расправу ох как скор, а на ласку уй какой экономный. Его баба где и слезы брала, не пойму. А дети чуть подросли — все поразбежались по Москвам да Ленинградом. И тебе, девка, мотать сопли на кулак. Чересчур он на деда своего похож. И больше убеждать не буду.

Парамон знал, что будет. Уж который день мамка уговаривает Катю не ходить замуж за Олега Бибикисарова. А Олег отслужил армию, имеет мотоцикл. К Кате каждый вечер подкатывает на мотоцикле, и они едут в слободу на танцы. Парамону Олег вполне нравился. И куртка у него хороша, вся в молниях, финская болонья. Такого парня любить было правильно.

А папка не вмешивался и молчал. Он всегда помалкивал на другой день после получки. Детишечки, плакал вчера, сыночки мои, виноградинки! Катюшечка, красавка моя, картиночка распоретная!.. Нюшенька (это мамке), хозяйюшка моя, стряпеюшка золотая, умница!.. И все-то я для вас сделаю, и жизни не пожалею. И всякое такое. На силу спать уложили.

Катя хоть и парсит, но не плачет, потому что мамка убеждать убеждает, а от каждой получки откладывает рубли на свадьбу, и Кате это известно.

Мамка потащила на стол поспевший самовар, раскидала по клеенке тарелки, утерла луковые слезы и приказала Парамону:

— Зови охламонов-то!

Так и не пострелял Аполлинариным горохом.

Солнце высунулось из-за водокачки и погнало туман с озера за протоку, в холодок тухлой заводи за мыском, где черная от ила вода, мелкое, гнилое дно, всяческий хлам мокнет — битая фаянсовая раковина, дырявое корыто, мятое ведро. Раки там не водятся, а утки ничего, любят. Там туман и дотаивал. От конька прямо навстречу солнцу выдувало на деревню и на все небо круглые плотные облака. Они тесно шли над овсяным полем, над деревней, переплывали озером, переваливались через телячий выпас на том берегу и, толкаясь, заползали за темные зазубрины большого леса, куда Парамон не ходил ни разу.

— Откуда облака ползут-то? — спрашивал Парамон у Аполлинарии.

— Оттуда, — отвечала Аполлинария и улыбалась своему незнанию.

— А куда?

— А туда, — махала Аполлинария и, как маленькая, радовалась, что не знает.

— Откуда облака ползут-то? — спрашивал Парамон у деда Володи.

— Оболок-то? С Ледовитого океану, с полюса, — прочно отвечивал дед. Он на войне был разведчиком и на все обязан был иметь хороший ответ.

— А куда? — допытывался Парамон, и уже не для себя, хоть и для себя, конечно, но больше для Аполлинарии.

— В Батуми, само собой.

— А там что?

— А там лимоны, там мандарины. Там что ни день — тропическому ливню полагается быть. Иначе ни лимон, ни мандарин произрасти не могут.

— И сколько же их ползет, облаков-то этих, с океану!.. — озабоченно глядел Парамон на небо с мокрого, только что выскобленного крыльца Аполлиарии.

— С океану, говоришь? — дивилась Аполлиария и запрокидывала к небу продолговатое свое лицо.

— С Ледовитого. Видишь, какие они белые да холодные, ледовитеющие!..

— А куда ползут-то, не знаешь?

— В Батуми небось. Слыхала такое место?

— Не-а. Далеко ли?

— Не шибко. Может, за большим лесом да на машине чуток. Лимоны там, как шишки на елке. Дождя надо — прорву. Туда и идут.

Аполлиария выплескивала обмылки из ведра, они пузырились по траве, ведро бочком ставила на дровяную поленницу сохнуть. Там у нее сохли уже стиранные с утра юбка и чулки, она трогала их, поворачивала другой стороной к солнышку, потом набирала дров на руку. Парамон и себе накладывал полешки.

— Сметанник собралась печь?

— Ну, — подтверждала Аполлиария.

— Сегодня? — радовался Парамон.

— Тесто уже створено, — сообщала Аполлиария.

Муки Аполлиария запасла на белой, а серой, но сметанники у нее выходили куда душистее и сдобнее мамкиных белых.

— Почему твои сметанники хоть и серые, а запашистей и пышнее мамкиных? — спрашивал Парамон. — Секрет небось знаешь?

— Да уж, — всю улыбалась она. — И никому не скажу.

— Жалко, чтоб и у других такие получались? — корил Парамон.

— И жалко! — капризно соглашалась Аполлиария. — Чем же я тебе свое уважение докажу, если у меня сметанник, как у всякой бабы, будет?

Когда солнце добиралось до зенита, дед Володя перегонял коров на бугор возле озера. Коровы, какие хотели пить, махая хвостами, сбегали по бугру к воде, какие не хотели, укладывались на ошипанном склоне под солнышком. А дед на самой вершинке раскладывал газетку, придавливал ее по всем углам запасенными тут гольшами, чтобы ветер не беспокоил его харч, доставал бутылку, говорил про нее — «генерал», если полная, и «полковник», если половина, доставал потом хлебца, картошечки, луку штуки четыре, коробочку с солью, усаживался лицом на монастырь, говорил — глазами на диво, и тогда Парамон мог сколько хотел хлестать по земле длиннющим кнутищем деда. При «генерале» дед не уводил коров с водопоя до вечера, хоть старухи ругали его — коровам на бугре щипать совсем было нечего. При «полковнике» тоже долго получалось, так что за лето Парамон наловчился сшибать кнутом камешки в озеро, одной подсечкой мог срезать ромашку со стебля. Его хлопанья все лето глушили деревню.

Время водопоя еще не подошло, дед пока пребывал на коньке, и Парамон пошел к нему, но не прямо через поле, а по петлястому руслу сухой в это лето речки. Речка была маленькая, кустики, поросшие берегами, соединялись ветками, Парамон шел как бы коридором. Он ступал босыми ногами по непрерывной дороге из мшелых плос-

ких камней. Те небольшие завалы, что речка, пока бежала, настроила вокруг какой-нибудь затопленной коряги, Парамон еще раньше раскидал. Здесь под сыроватым, темноватым, тайным сводом и малины было больше, чем наверху. По бережкам, случалось, брали малину, а здесь, где никто, кроме Парамона, пролезть не мог, было его хозяйство. Здесь грызли комары. Наверху их почти и не было по сухости лета, а здесь только присядешь за ягодой, сразу и вопьется какой-нибудь кузя. Так что Парамон не очень объедался малиной. Хорошо было ставить босую ногу в мягкий прохладный мох, и он шел, не оттапливался. Ну если какая ягода очень уж просилась, тогда.

За размашистой излучиной Парамон набрал все же полную горсть и, обойдя высокий крапивник, выкарабкался на берег.

Дед Володя сидел под стожком, который накосил сам, Парамона заставлял ворошить, а нагреб перед тем воскресеньем для удобства, сказал, отдыха. Отсюда, с конька, ему была видна вся деревня на откосе и слобода за озером, а на другом откосе — поле до леса, до великих сосен, до кладбища. Говорил — все мое видеть, ценил высокое положение.

Дед пребывал под стожком не один. С ним старичок еще постарее, с пегонькой бородочкой, с жалконькой улыбочкой, в стираном пиджачке, но с медалью «За отвагу» и в новой фуражке.

У них шел разговор.

— Не знаю, Николаха, — неспешно обчищая картошку и подавая ее старичку, вел дед Володя. «Генерал» стоял между ними почти что уже «полковником». — Вот думаю, а не додумаю, как твое дело сделать по-хорошему, не знаю. Аполлинария, самому известно, от тебя добра не видела и не слышала, а одно только зло и неуважение.

— Я не счеты пришел к ней считать! — беззубо, но гордо выкрикнул старичок. — Я, рядить твою, прощенья пришел у ней просить! А то не шутка! — И принял картошечку.

Парамон укрылся за стожком, не стал у них на глазах вертеться, чтобы не прогнали, — хотелось послушать, что они про Аполлинарию еще скажут.

Старички помолчали, пошуршали сеном, булькнуло у них, звякнуло, вместе крякнули потом, повздыхали.

— На третью после войны зиму, — осторожно, ласково потянул дед Володя разговор дальше, — ты брал у ней корову на зимний покорм. Брал? Ты вспомни. Уже и в Кнышове жил, и с Натальей. Ну?

— Чего? Не помню... А, было, было!

— Было. Так Аполлинарьюшка-то всю зиму тряслась — отдашь ли! И вся деревня переживала о ней.

— Так на покорм брал ведь, рядить твою!.. — Старичок жиденько высморкался. — Брал да отдал. Весной привел сыту, дойну. А брал-ыт заморенную! Было, было!

— Было, — с авторитетным укором подтвердил дед Володя. — И брал и отдал. Дело. Помог бабе корову прокормить.

— И в уме не было — не отдавать!.. — взвизгнул старичок. — Переживала, рядить твою!..

— Погоди, Николаха, не дергай. И брал и отдал. Да только чем же таким ты настраивал бабу, что всю зиму маялась, робят, мол, весной кормить будет нечем, как картошка кончится? Это коли не отдашь.

— Так отдал ведь!.. — с еще горшим взвизгом крикнул дед Николашка, и Парамон испугался — заплачет.

Старички помолчали.

А Парамон увидел, что из слободы к школе подъезжает телега, груженная желтыми досками, а рядом с лошастью Майкой сучит но-

жонками-камышинками ее вороной Фунтик. С ним, пока солдаты будут сгружать доски, можно поиграть, погонять его хлыстиком. Парамон и собрался было, встал.

— Нет, — прочно, как умел, сказал за стожком дед Володя, — не пустит тетя Аполлинария.

Тут и заплакал старичок. Засморкался, захлюпал и вовсе завыл:

— Креста-а на ней нету-у!..

— Парамон! — крикнул тогда дед Володя.

— Ну, — отозвался Парамон, но не двинулся.

— Подь!

Парамон пошел с любопытством и отвращением.

— Постереги коров. — Дед кинул ему кнутище.

— А чо их стеречь?.. Не убегут, часом... — заворчал Парамон, ему до смерти было противно оставаться тут с хныкающим дедом Николашкой.

— Гони на бугор, — подумал и переменял приказание дед Володя. А несчастненькому сказал отдельно: — Попробую, Николай Павлыч, но не гарантирую. — И пошел.

Тот благодарно закивал, достал холщовую тряпочку из кармана, утерся, приосанился.

— И-их!.. — крикнул Парамон и так страшно ударил по земле кнутом, что дед Николай Павлыч ойкнул и ругнулся:

— Малахольный, рядить твою...

Коровы не уходили с сытного места на вытоптаный голодный бугор, и пить им еще не хотелось. Они не слушали Парамоновой команды, поворачивали к нему головы, смотрели с удивлением и щипали себе опять. Пришлось хлестнуть вожатую Рыжку по оттопыренным бокам. Потрусил, мотая выменем. И те потихоньку побрели вдоль речки, бережно выщипывая под кустами.

Дед Николай Павлыч еще покопошился возле стожка, поскладывал в туес остатки пастушьего завтрака, сунул и бутылку, постанывая и сопя, стал подниматься с земли — сперва перекрутился на колени, с хрустких коленей на корточки, с корточек стал выпрямлять корявые ноги, ухватясь за воткнутую в землю осиновую палку с сучком на верхнем конце. Постоял сколько-то, приучая никудышное тело к стоянию.

— Понесешь? — Он показал Парамону на туес.

— Чего? — злобно переспросил Парамон и отвернулся к коровам.

А дед Володя уже подходил к деревне. И спина его и решительная походка показывали Парамону, что в успехе дед уверен.

Парамона затомило беспокойство. Он знал упорный норов деда и знал ласковую покладистость Аполлинарии.

— И-их!.. — тяжело шарахнул кнутищем.

— Па-а-ук тебя съешь! — услышал позади.

С бугра был виден весь закосившийся большой дом Аполлинарии. Парамон стоял на вершинке возле наложенных дедом Володей камешков и глядел на дом, ждал. Приплелся следом и дед Николай Павлыч с туеском. На бугор забираться не стал, стоял, упершись в осиновую свою палку, выжидательно натянул цыплячью шею в сторону Аполлинариного дома, хоть ему с низинки была видна одна только щепная крыша. Коровы разбрелись. Воспитанные в строгости, они не шли за дорогу, в овес, но держались как можно ближе к овсяному полю, мечтательно взглядывая на него и тихонько молитвенно мыча.

А через час на крыльцо веселым шагом вышел дед Володя, а за ним вышла и сама. И платок на ней опять был малиновый...

Отставала лебедушка
 Да все от стаду,
 Ой, все от стаду лебединого,—

пели нарядные старухи вечером, рассевшись на лавке у Аполлинаруии.

Весь день старухи хлопотали по деревне, бегали из дома в дом, что-то мыли, что-то носили — кто пиво в стеклянных баллонах, кто баранки из города, кто пироги с рыбой, или грибами, или черникой. Лица у старух были то ли радостные, то ли насмешливые — не разберешь. Теперь вот уселись все в ряд, все в цветастых платках, в новых кофтах — закадычная подружка Аполлинаруии басовитая баба Шура, и Прасковья, про которую старухи знали страшный секрет, в дом к ней не ходили, но к себе не пускать стереглись, и все другие. Они уже попили пивка, покраснелись, глядят на Аполлинаруию заплаканно и весело, поют:

Да приставала-а лебедь белая,
 Ой приставала
 Все ко стаду ко серым гусям...

И дед Володя тут. В белой рубаше, три медали. Сидит возле жениха, толкает в бок, чтобы не спал. Дед Николай Павлыч весь день не уходил с крыльца, пьяненько плакал, не верил счастью, а теперь устал, дремлет.

Аполлинаруия рядом с ним тихая, неулыбчивая, но настоящей пещали Парамон не усмотрел на ее лице, и это его бесило.

Аполлинаруия заметила его за окном, замахала, зазывая в дом. Тогда Парамон, глядя прямо на нее, пихнул плечом, а потом всей спиной поленницу, дрова с грохотом обрушились на крыльцо. Старухи пели себе, грохота за собой не слышали, а Аполлинаруия все видела, смотрела обеспокоенно. Парамон уперся ногой в плетень, дернул из плетня тонкую слегу, сунул в окно и кинул. Она упала на пол возле печки. Старухи обернулись, удивились, но не примолкли, пели дальше:

Да не щиплите, гуси серые,
 Да не сама я к вам в залет зашла-а...

Аполлинаруия встала от стола, приблизилась к окошку.

— Ты пошто так, Парамоша?

— А ничего! — огрызнулся Парамон и, глядя на нее как умел наипрезрительнейше, сунул за щеку горсть гороха, нацелился ей в самое лицо.

Он думал — испугается, а она не пошевелилась, не прикрылась рукой, смотрела на него ласково и виновато. Тогда он с сердцем стрельнул в огород. Из кустов картошки, треща крыльями и сипло квохча, как придушенная курица, выпрыгнул и побежал со двора загулявший до заката черный петух.

Да занесло-меня погодою...

Красные, дымные катились облака бесконечной чередой из-за конька через деревню, красили крыши, расплывались в озере, густили его, темнили, запылали в лес на том берегу, пугались в елях, обжигали стволы и листья берез. Дышало пожаром и сокрушительством.

— Как запалю чего-нибудь!.. — бормотал Парамон, уходя от крыльца к озеру.

Зафурыкал на дороге мотоцикл, не спеша на каблучках прошла Катя в красном платице.

— Парамош, иди домой кисель есть!

Посмотрел и не ответил.

— Как запалю!.. Повыскакивают, заполошат... Дед Николашка обмарается от страху... Пусть тогда полюбуется на него эта... — Он перестал бормотать, подбирая для нее справедливое ругательное слово, но крепкие слова, какие он знал, были совсем хулиганские, к Аполлинару неприемлимые.

На зачаленном к берегу плотике, с которого деревня черпала воду, сел, обхватил колени.

— А сам уйду к солдатам, и все, — додумал и добормотал тут.

На другом берегу на выпасе один-единственный теленочек, забытый, наверно, и голодный, мычал, тянул мордочку во все стороны, а никто за ним не шел, и так жалко стало его Парамону, такими безнадёжными показались телячьи призывы, что и сам заплакал.

Отставала лебедь бела-а-ая...—

негромко гуляла свадебка.

Тетя Маша Зайцева со снохой в красной лодке и на красных веслах пришлепали из слободы домой, устало вытащили лодку на красный берег.

— Парамон! Чего это у нас — свадьба?

Отмахнулся.

— Парамон! Поди, чего-ит дадим!

Не пошел.

— Парамон-оня! — протяжно кликнула мамка из окошка. — Ужинать!

Не отозвался, однако встал — мамка дважды не позовет, а раздаст кисель братьям, такое у нее правило. Перед тем как уйти, всей силой качнул под собой плотик. Заходили тугие, неторопливые круги по красной воде, а из-под плотика тенью метнулся вспугнутый рак. Сегодня, как совсем потемнеет, вспомнил Парамон, братья собирались ловить раков на огонь. Надо было и себе успеть факел сделать.

Июль, 1975.



О Ч Е Р К И Ж А Ш И Х Д Н Е Й

Д. СОЛОВЬЕВ

★

ЗАПИСКИ РАБОЧЕГО

Автор «Записок» — рабочий-строитель из небольшого городка Пермской области Чайковского.

Нет нужды пересказывать его житейскую и трудовую биографию: путь Д. Соловьева в рабочий класс — об этом, собственно, и повествуют «Записки».

Несколько предваряющих строк к ним нужны лишь для того, чтоб познакомить читателя с историей этой публикации.

Дневник Д. Соловьева поступил в редакцию с очередной почтой самотека, то есть без предварительного заказа и переговоров с автором. Вначале это были странички из дневника, большая часть которых посвящалась воспоминаниям о трудном военном детстве, и несколько страниц — о становлении Дмитрия Соловьева, бывшего крестьянского парнишки, затем «фезеушника», как рабочего-строителя.

С автором завязалась переписка. Кое-что надо было выяснить, добавить, чуть больше сказать о работе нынешней. От какой-либо литературной помощи автор решительно отказался. «Опыта у меня в этой части, конечно, маловато,— писал он в редакцию,— но согласитесь со мной: невелика честь автору, если дневники его будут оформлены как литературная запись другим человеком».

Что ж, нельзя не согласиться с Дмитрием Васильевичем. Дневник есть дневник, вел он его день за днем, рассказывая о событиях и значительных, а чаще о будничном, ничем не примечательном течении трудовой жизни. Писал как есть, без прикрас. В «Записках» правдиво, подчас с доверчивой прямоотой и наивностью показаны изнутри будни строительной бригады, ее огорчения и радости, ее люди — такие разные и столь духовно схожие. Самое же примечательное в страничках из дневника — атмосфера творческого беспокойства, в которой живут и трудятся молодые рабочие из бригады Дмитрия Соловьева.

В. ЕЛИСЕЕВА.

Счастлив тот, кто рано находит свое истинное место в жизни. Таким людям щедрее светит солнце, и они, возможно, совершают больше добрых поступков. Но не у каждого и не всегда жизнь складывается легко и просто...

В трудную пору войны, когда наши отцы и старшие братья воевали, когда матери, деды и бабушки несли на своих плечах всю тяжесть войны в тылу, мы, несовершеннолетние, рано выросли. Как детям нам еще была свойственна тяга к играм и развлечениям, но на это не доставало времени. Мы уже работали, как взрослые, делая все, что только могли. Того, кто не хотел или не умел трудиться, заставляла нужда, нужда учила, а окружающие лепили наш характер и образовывали нас как умели.

Мы много работали и были постоянно голодны. Нам пришлось познать вкус льняного жмыха и лебеды, полевых пестиков и сосулук от клевера. Мы ели хлеб, испеченный напополам с липовыми листьями и дубовыми желудями,— ели все, что оказывалось съедобным.

Тот, кто отлынивал от работы, занимался воровством или попрошайничал. Но попрошайничать тоже надо со знанием дела. Необходимо ловчить и хитрить. Надо уметь с большим чувством читать молитвы, выпрашивая милостыню, чтобы вызвать сострадание окружающих. При этом требуется искусно скрывать свои настоящие эмоции. Если тебе смешно, не улыбаться, тем более что годы

войны не располагали к веселью и улыбка на лице никак не сопутствовала успеху того, кто просит милостыню.

Мой пятнадцатилетний односельчанин Санька Маркелов научился попрошайничать вполне квалифицированно и проделывал это не без успеха.

В нашей семье было семь ртов мал мала меньше. Мать поднималась чуть свет, сотворяла молитву, а потом будила нас и делала разрядку на работу. В нее включались все, начиная со старших и заканчивая самыми юными членами семьи, которым поручалось нянчить самых маленьких и одновременно присматривать за цыплятами, курами, огородом.

Мы работали в колхозе, а в свободное время ткали мочальные кули, заготавливали дрова для отопления и корм для скотины. Мы страшно уставали, вид у нас от тяжелой работы и плохой пищи был самый неказистый.

Санька же, занимаясь попрошайничеством, был, как бугай, плотный и здоровый. Он умел напускать на себя деловитость и при случае мог рассказать что-нибудь душещипательное, жалобное. Ему удавалось вызвать сочувствие, и он слыл среди взрослых парнем дельным и рассудительным.

Как-то весной Санька зашел к нам и завел с матерью разговор о том, что намерен направиться в богатую деревню и наняться там в пастухи, но для этого ему нужен помощник. Мать давно собиралась определить кого-нибудь из нас на такую нелегкую, но хорошо оплачиваемую работу, чтобы немного поправить наше захирелое домашнее хозяйство.

Тяжело вздыхая, она решила направить с Санькой меня. Я был двумя годами моложе его и не мог знать тогда, что этот труд не каждому по плечу.

Не очень задумываясь над тем, что нас ждет, мы с легким сердцем покинули отчий дом. Однако в первый же день нашей самостоятельной жизни нам предстояло многое испытать...

Пройдя километров тридцать, мы остановились на ночлег у знакомых. Ночевать нас они пустили, но дали при этом почувствовать, чтобы на большее мы не рассчитывали.

В трудную пору войны и сравнительно обеспеченная семья не в состоянии была приютить и накормить даже хорошо знакомого человека. Съестного, которым снабдили нас матери на двухдневную дорогу, нам хватило лишь на первый день путешествия. Знакомые нам сообщили, что в соседней деревне требуются пастухи и что по возрасту мы справимся с этой работой, если только нам ее доверят.

Утром, когда мы добрались до этой деревни, Санька, как старший подрядчик, собрал ее жителей и предложил свои услуги. Около полудня в большой крестьянской избе собрался сельский сход, и мы с Санькой оказались в центре общего внимания. Подавляющее большинство собравшихся составляли женщины и старики, которые бесцеремонно оглядывали нас с головы до ног, придиричиво изучали наши деловые качества.

Словоохотливый и рассудительный Санька во время короткой беседы сумел внушить доверие нанимателям, и они скоро перешли к договору, в котором указывалось количество голов, подлежащих пастьбе, и размер платы за выполненную работу. Величину ее я запомнил, но хорошо помню, что требования к нам предъявлялись довольно жесткие. В трудовом договоре был проставлен размер штрафов из нашего заработка за потраву урожая скотиной. Там же подчеркивалось, что мы несем полную ответственность за сохранность поголовья и своевременное возвращение скота с пастбища.

Со всеми требованиями крестьян мы безропотно соглашались, но наши сердца под их сверлящими взглядами наполнялись безысходной тоской. Мысленно мы навсегда прощались со своей свободой, считая, что обрекаем себя на ежедневные страдания и незаслуженные попреки. Нам было предложено еще раз серьезно обдумать трудовое соглашение и через два дня приступить к выполнению своих обязанностей. Однако мы в душе почему-то сразу невзлюбили этих людей, может быть потому, что они, как нам показалось, покушались на нашу детскую вольность. Мы решили бежать. Наша мечта о хорошем заработке и самостоятельной

жизни лопнула, как мыльный пузырь, не выдержав первой же серьезной проверки. Мы весело зашагали по направлению к дому, радуясь тому, что так легко избавились от пастушьей судьбы, как будто кто-то склонял нас к этому силой.

Но радость наша была недолгой. Пустые желудки напомнили нам, что ни в следующей деревне, ни дома нас не ждут с распростертыми объятиями и следует что-то предпринять. Санька твердо и бесповоротно решил ходить по домам и просить милостыню, предлагая мне свой опыт и поддержку на этом поприще. Делать было нечего — я согласился. Мы зашли в первую избу и с подобострастием, кроткие и покорные, остановились у порога. Санька снял шапку, перекрестился и затянул нараспев молитву:

— Господи, Иисусе Христе, сыне боже, подайте милостыньку, Христа ради!

Стоя позади Саньки, я повторял все его жесты. Меня поразило, что пятью минутами раньше веселый и озорной Санька сейчас до неузнаваемости преобразился. Он пел молитву так трогательно и жалобно, что я не выдержал и громко расхохотался. Хозяйка дома, полная высокая старуха с бородавкой на верхней губе, строго и изучающе взирала на нас. Она подала Саньке картофельную лепешку и, бросив в мою сторону осуждающий взгляд, перекрестилась. Мы вышли из избы: я с пустыми руками, Санька с картофельной лепешкой.

— Чего ржешь, дура! — напустился на меня Санька. — Аль больно весело? Не можешь просить — не ходи со мной! А то из-за тебя и мне подавать не будут.

Он великодушно отломил мне пол-лепешки и один направился в следующий дом просить милостыню. Я присел на завалинку старой избы с ощущением полного одиночества и тоскливой беспомощности. Вокруг собрались деревенские ребятишки и с любопытством стали расспрашивать меня обо всем. Они были моложе меня, и я, наверно, казался им тертым калачом, человеком, много повидавшим на своем коротком веку.

Быстро освоившись в этой роли среди новых знакомых, я стал охотно изображать бывалого человека. Я рассказывал им разные были и небывлицы и даже показал фокус. При исполнении его я должен был втереть в уши и глаза по дробишке, а потом выплюнуть их изо рта. Фокус сошел удачно, и ребятишки, удивленные свершившимся «чудом», стали упрашивать меня показать фокус еще раз. Я дал понять юным зрителям, что фокусники бесплатно не работают и что если они принесут мне по куску хлеба, то я готов показать им кое-что похлеще. Ребята быстро разбежались по домам и через минуту возвратились с карманами, набитыми хлебом. Окрыленный успехом, я деловито сложил хлеб в походный мешок и стал еще ловчее демонстрировать свои способности. Мальчишки с завистью смотрели на меня. Им очень хотелось постичь мое искусство, они умоляли меня раскрыть им мой профессиональный секрет. Я снова напомнил, что такие секреты не раскрываются даром, и они снова кинулись по домам. Когда в моем мешке оказалось килограмма четыре хлеба и еще кое-что на закуску, я открыл ребятам свои «тайны».

Вскоре подошел ко мне, утомленный своей нелегкой работой, Санька, победно размахивая сумкой, набитой подаяниями. В ней оказался хлеб, картофельные лепешки и несколько штук яиц.

— Но ты ничего не получишь! — заявил он мне торжественно, не подозревая, что я за это время тоже успел кое-чем разжиться. — Под лежащий камень и вода не течет, а кто гуляет, тот воду хлебает, — продолжал поучать меня Санька и при этом уминал за обе щеки.

В моем мешке тоже нашлось с полдесятка яиц и даже два кусочка сахара. Когда я показал все это Саньке, он ахнул от удивления и с завистью прошептал:

— Украл?

— Зачем воровать? Люди сами приносят тем, кто умеет работать, — отвечал я с независимым видом.

Узнав о том, за что я получил свой первый заработок натурой, Санька стал относиться ко мне как к равному и даже чуть уважительнее прежнего.

Сытые и довольные возвращались мы домой, радуясь солнцу, птичьему пению, буйной весенней зелени, совершенно забыв о недавних горестях и неудачах.

Дома нас не ждали, но и не очень удивились такому быстрому возвращению: видимо, взрослые понимали всю несостоятельность задуманного нами дела. Мать пожурила меня за легкомыслие, погоревала и оставила в покое. Но недолго пришлось мне жить под родительским кровом...

Эти воспоминания детства нахлынули на меня в пути к новому месту работы. Некоторые люди легко порхают с места на место, для меня же каждый такой переход, а тем более переезд в другой город — суровое испытание.

Да и то сказать, с тех пор как мы с Санькой Маркеловым налегке покинули первый раз родную деревню, много воды утекло.

В поисках лучшей доли многие мои сверстники оставили родные места, некоторые из них поступили в школы фабрично-заводского обучения. Таким же образом началась и моя самостоятельная жизнь.

И теперь, когда у меня семья в пять человек, невольно много дум передумаешь, принимая то или иное решение, и особенно долго прикидываешь все за и против, когда обстоятельства вынуждают тебя круто менять жизнь, перебираться на новые места, в другой город...

Вот так и на этот раз: решение было принято. Я временно оставлял семью в нашем небольшом местечке, а сам уезжал на строительство.

Такое решение пришло не сразу. Предприятие, где я до этого проработал более пяти лет, ликвидировали: истощилась его сырьевая база. Один за другим люди разъезжались. Надо было подаваться и мне с семьей. Но куда? Предварительно побывал у родственников в Балакове, где разворачивалось большое строительство, но степные просторы меня мало привлекали. Хотелось осесть где-нибудь ближе к лесу. К лесу я всегда питал слабость.

В это время приехал в наши места навестить родных Слава Федотов. Довольно долго мы вместе с ним работали на том предприятии, которое он покинул раньше меня, перебравшись на строительство Воткинского гидроузла, куда переезжал потом и свою семью. В своем решении он, по его словам, ни разу не раскаивался, жалел, что не сделал этого раньше.

Побеседовав по душам со Славой Федотовым, я решил отправиться на стройку вслед за ним.

...И вот теперь, несколько подавленный неопределенностью своего будущего, я, погрузившись в воспоминания, подъезжал к незнакомому городу. Ночь. Едва-едва брезжит рассвет. Кругом много огней. За окном автобуса мелькает сосновый лес. И хотя настроение у меня, прямо скажем, неважное, этот пейзаж за стеклами машины — добротные кирпичные здания, прямые широкие улицы молодого города, носящего имя Чайковского, близость леса — все это подействовало успокаивающим образом.

Потом уже и первые неизбежные хлопоты, связанные с трудоустройством, поисками жилья, и прочие житейские невзгоды я сносил сравнительно легко. Тем более что преодолеть их мне помогли мои земляки: Слава Федотов, его жена Галья и никогда не унывающая их бабушка Александра Ивановна (всем им сердечное спасибо!). В трудные для меня дни в своей комнатухе они приютили меня, разделив со мною все, что сами имели.

Вскоре я оформился на стройку плотником-опалубщиком.

ТРУДОВОЕ КРЕЩЕНИЕ

Плотником-опалубщиком я прежде никогда не работал, и работа эта меня мало привлекала, но в других профессиях стройка не нуждалась, пришлось согласиться.

Справлюсь ли я со своей новой профессией? Приживусь ли на новом месте? Однако окрестные места и новый молодой город нравились мне все больше и больше, и я решил одолеть трудности и обосноваться здесь капитально.

Утром мы получили спецовки, рабочий инструмент, и нас направили в бри-

гаду Полянина. Мы — это вновь принятые на работу Иван Юргин, Володя Смуглин и я.

Володя оказался общительным, улыбчивым парнем, который чувствовал себя среди незнакомой публики легко и свободно. При встрече с девушками он так и сыпал шуточками:

— Эй, курносая, а почему у тебя пятки сзади?

«Курносая» показала Володе язык и язвительно ответила:

— Прикрой рот, а то язык обморозишь!

— Ух ты, язва, старшим грубишь! Смотри, замуж никто не возьмет!

— А ты взял бы меня замуж?

— Ну что ты, красавица, так сразу? Сначала надо познакомиться. Где живешь-то?

— Улица имени Труляляева, дом крашенный, ходи и спрашивай!

Володя сразу даже не нашелся с ответом и, догоняя нас, бросил вслед ухаживающей девушке:

— Вечером зайдешь ко мне в кабинет, я с тобой поговорю!..

Нам показали передвижную будку, где рабочие собираются в начале и конце рабочего дня, чтобы решить какие-то производственные вопросы, где отдыхают во время обеденного перерыва и хранят инструмент. Отныне это помещение станет нашим «опорным пунктом».

Иван Юргин вытащил напильник и стал точить ножовку. Ножовки выдали новенькие, «с иголки», а я, к стыду своему, никогда их не точил. Признаться в своем неумении мне почему-то было неловко, но, как говорят, назвался груздем — полезай в корзину. Наблюдая украдкой за работой Ивана, я принимаюсь точить. Напильник часто соскальзывает с одного зуба на другой, оставляя на нем нежелательный след. Иван заметил мою неловкость:

— Ты же неправильно точишь! Не умеешь, что ли?

— Раньше не приходилось, — признался я.

— Так не стесняйся, спрашивай! Мы все не мастерами родились. Но мир не без добрых людей, люди научат. Ножовку держи вот так, — поправил он меня, — и не дави на нее напильником, пусть он ходит между зубьями свободно и прямо. Когда наточишь, разведем зубья. Разводка у меня есть. Без этого ножовка пойдет вкось, будет тяжело пилить...

Я поблагодарил Ивана за науку, и дело вроде пошло на лад.

Не всегда встречаешь людей, которые, владея каким-нибудь мастерством, могут вот так терпеливо, без насмешек и нудных назиданий передать новичку свой опыт. К Ивану Юргину я сразу же проникся уважением, по достоинству оценив его доброжелательность и готовность помочь каждому, кто в этом нуждался.

К началу первого рабочего дня мы не успели. Пока нас знакомили с условиями работы и правилами техники безопасности, бригада оказалась на рабочем месте. Вскоре пришел бригадир Полянин.

— Вот, Елисей, трое новеньких, — представил нас начальник участка, — будут работать в твоей бригаде.

— Не сбегут, как вчерашний новичок? — спросил бригадир, обращаясь одновременно и к начальнику и к нам. — У нас работа не сахар. Часто приходится работать на высоте, где ветер, и мороз, и прочие неудобства. Слабые не приживаются. Вчера тоже был один новенький. Парень вроде молодой, но слабый. Пока поднимался наверх по разным лестницам и переходам, еле отдышался. Стал работать — инструмент уронил, чуть товарища не поранил. И сердце у него заколо, и голова закружилась. Пришлось отправить обратно.

— Попробуем, — ответил за всех Володя. — На ветру и на морозе мы бывали. Наверное, и высоты не испугаемся.

— Ну, на месте виднее будет, — заключил бригадир. — А теперь пора за дело.

Нас расставили по рабочим местам, прикрепив к каждому новичку опытного рабочего. Первый, с кем мне пришлось работать, был Саша Трубин. Это был человек небольшого роста, подвижный и приветливый.

Мы стали устанавливать опалубочные щиты на громадной стене будущего шлюза, которая уже почти на три четверти была одета в бетон, а выше наращивались новые переплеты арматуры. Саша надел предохранительный пояс, обвязался капроновой веревкой и стал спускаться по отвесной стене, цепляясь руками за выступы и переплеты ранее установленных опалубочных щитов. Я остался наверху, наблюдая за спуском Саши, и по мере надобности травил веревку.

Вокруг работали арматурщики, сварщики, в руках которых то и дело вспыхивали ослепительные огни электросварки. Внизу урчали и шипели компрессоры, гремели буры и отбойные молотки, сновали люди, машины, которые с большой высоты казались игрушечными. В сердце нарастало ощущение каного-то большого, неизведанного и радостного чувства.

Между тем краном был поднят первый щит, и Саша, укрепившись на вертикальной стене с помощью пояса и веревки, подхватывал его руками, регулировал подачей, чтобы примкнуть щит к другому, ранее установленному. Опалубочный щит, посаженный на болты, он ловко схватывал гайками, переходя от одного болта к другому, а я поддерживал его веревкой, то ослабляя ее, то натягивая. Со стороны казалось, что Саша выполняет свое дело легко, играючи. Я еще плохо понимал, каких усилий требует от человека эта трудная, опасная работа. Когда Саша поднялся наверх, я увидел, что лицо его горело, на лбу светились капли пота, а натруженные руки нервно подрагивали.

— Ну, как самочувствие?

— Да ничего... дело привычное, — сказал Саша и вытащил из кармана измятую пачку папирос.

Мы закурили. Подошли другие рабочие.

Завязался разговор о погоде, о зарплате, о повышении разряда. Потом кто-то вспомнил минувшую войну, заговорили о разоружении. Один из рабочих заметил:

— Танки, по-моему, даже не надо переплавлять, на них и так можно работать: лес трелевать или землю пахать. Вот пушку приспособить бы куда-нибудь в мирных целях...

— Какую же уйму работы понадобится подыскивать демобилизованным солдатам, — сказал другой.

— Работа найдется: дороги прокладывать, целину распахать.

— А баб-то, баб-то сколько потребуется, когда всех солдат отпустят по домам! — подал реплику подошедший к нам Володя Смуглин и даже крикнул, затягиваясь папироской, а все, кто стоял рядом, засмеялись.

Разговор, однако, пришлось прервать: нас с Сашей бросили на разгрузку машины с пиломатериалами, остальные разбрелись по своим местам.

После обеда мы снова устанавливали опалубочные щиты. Настала моя очередь с помощью веревки и предохранительного пояса работать на отвесной стене. Я начал спускаться не без робости. Казалось, веревка оборвется или случайно выпадет из Сашиних рук. Такое чувство не покидало меня до тех пор, пока не установил первый щит самостоятельно. Потом второй, третий... Дело пошло веселее. Робость постепенно исчезла. Физическое напряжение ослабло. Появилась уверенность в движениях. Однако, несмотря на холодную погоду, рубашка на теле взмокла, со лба градом катился пот, но в сердце нарастало ощущение какого-то единства с моими товарищами. Я увидел неподалеку Володю Смуглина. Он так же, как и я, работал на отвесной стене шлюза, ключом закручивая гайки на установленных ранее щитах. Володя, заметив меня, заулыбался, что-то крикнул, дополняя все это жестами и знаками, но голос его заглушал грохот механизмов. Зато я отчетливо слышал голос Саши.

— Ну как? — спрашивал он.

— Ничего, привыкаю! — отозвался я, довольный тем, что осилил-таки нелегкую и опасную работу.

— Это твое первое трудовое крещение. Экзамен строителя ты, можно сказать, выдержал.

Я был польщен похвалой нового товарища.

Перед самым концом смены нас с Сашей бросили на прорыв. На соседнем блоке, где работали бетонщики, бетоном выдавило опалубку. От свежего раствора шел густой пар, и в его плотных клубах приходилось работать почти на ощупь. Мы сколотили из досок небольшой щит и придавили его распорками к поврежденному месту. Течь бетона прекратилась. Когда мы спустились вниз, ноги подкашивались от усталости. Во рту пересохло. Меня пошатывало.

Домой мы возвращались вместе с Володей Смуглиным. Несмотря на усталость, Володя по-прежнему был разговорчив, шутил, балагурил. Его настроение передалось и мне. На сердце сделалось тепло и спокойно.

Все последующие рабочие дни, казалось, были похожи один на другой, и все же однообразие не чувствовалось. Да, зря я опасался своей новой профессии, боясь, что не справлюсь с ней. Для плотника-опалубщика не так важно само плотницкое мастерство, сколько сила, ловкость и изобретательность. Через месяц работы на шлюзе я умело орудовал ножовкой и топором, отбойным молотком и стальным ломом. Я научился строить опалубку среди множества сплетений арматуры, где надо было работать, согнувшись в три погибели, и где невозможно размахнуться молотком, чтобы свободно вбить гвоздь в доску. Но мы умудрялись это делать, хотя нередко на пальцах рук оставались садины.

Сегодня узнали, что нашу бригаду перебрасывают на новый объект. Мы должны стать не только опалубщиками, но и арматурщиками и бетонщиками.

С ЖЕЛЕЗОМ БРАТСТВУЕТ БЕТОН

Орудя бадью и лопатой,
 Большой бетон спускали сверху вниз.
 И часто раздавалось: «Эй, ребята!
 Подальше отойдите! Берегись!»
 От тяжести болела поясница,
 И тело все горело как в огне.
 И, кажется, уже не отделится
 Рубашка, прикипевшая к спине.

Эти строки сложились у меня как-то сами собой во время перерыва, после четырехчасовой тяжелой работы. Мы бетонировали откосы. Машины с бетоном шли непрерывно, а народу в бригаде не хватало. Пришлось и машины с бетоном принимать, и с бадьей поворачиваться, и вибратором орудовать. И все-таки чаще всего надо было браться за лопату. Без лопаты кузов самосвала не очистить от бетона, особенно если поступает густой бетон, а днище кузова неровное, в выбоинах. В этих случаях в ход идет не только лопата, но и кувалда и вибратор. Но бывает, что кузов поднят до предела, а бетон упрямо не сваливается, тогда помогает и водитель, который раскачивает машину, двигая ее взад и вперед. Володя Смуглин при этом лупит кувалдой по днищу кузова, а мы с Сашей Трубиным лопатами «обхаживаем» прикипевший бетон с боков. Наконец бетонная масса вздрагивает, ползет, с шумом и брызгами низвергаясь на металлическую сетку карты откоса.

После этого снова начинается нелегкая работа лопатами по перекидыванию бетона в незаполненные части карты, вибрирование, прихлопывание и завершающая часть — приглаживание гладилками. Забетонированная, приглаженная карта блестит на солнце, как вороненая сталь. Тело наливаются свинцовой тяжестью, рубашка взмокла, со лба катится пот. Хочется упасть там, где стоишь, и растянуться в сладком полусонном забытьи.

После обеда мы легли возле будки и задремали на солнышке. В эти счастливые минуты душевного расположения мне припомнилось светлое видение детства. Был такой же солнечный весенний день. Я находился в светлой просторной избе дедушки. На чистом белоснежном полу постланы красивые домотканые половики. На столе весело пофыркивает блестящий самовар. В избе по-праздничному прибрано и почти никого нет, но кажется, что сейчас придут какие-то хорошие люди и начнется священнодействие степенного крестьянского чаепития.

Вроде бы ничего особенного. Но почему это светлое видение, этот радостный миг остался в памяти на всю жизнь?

И еще мне почему-то запомнился белый лист бумаги, разлинованный алыми чернилами. Не могу сказать, в чьих руках я видел этот красивый лист, но он мне казался прекрасным, может, потому, что бумаги тогда было мало и очень хотелось ее иметь.

В эти минуты многое казалось прекрасным, наверное, потому, что мое голубое и трудное военное детство не изобиловало радостями. И потому такие сцены, как праздничная изба, залитая весенним солнцем, — все это было преспопнено неповторимой радости бытия. Я робко шагал по чистой светлой избе и благоговейно наслаждался первозданностью торжественного мига.

Погруженный в воспоминания и приятную дремоту, я услышал, как Иван Юргин спрашивал Володю Смуглина:

— Что тебе нужно для полного счастья?

— Чтобы была хорошая квартира где-нибудь рядом с городом. Чтобы в квартире имелась необходимая мебель. И чтобы была хорошая жена да дети — сын и дочь.

— Значит, имея все это, ты будешь счастлив, даже если вокруг тебя будут твориться безобразия?

— Об этом надо подумать, — уже озабоченно отвечает Володя.

Все люди хотят счастья, и это желание естественно, хотя представление о счастье у каждого свое. Но человек не может быть счастлив без общего блага.

«Человеку для счастья многое надо», — говорил один из персонажей кинофильма «Жили-были старик со старухой».

В жизни немало неприятных мелочей, которые способны испортить настроение. Предотвратить эти неприятности подчас не так уж трудно. Нужны только определенные усилия для этого.

Вечером отправились всей бригадой получать зарплату, но, простояв около двух часов, получили всего лишь по десять процентов причитающейся суммы. Вместе с нами стояли люди и со второй смены, которые тоже убили зря два часа рабочего времени, вместо того чтобы отдать их производству. Та же история повторилась и на следующий день. Когда кассирша приехала, то оказалось, что денег она не привезла. Возмущенные рабочие пошли к начальству. Им было сказано, что задержка зарплаты произошла из-за того, что в Госбанк вовремя не подвезли денег. Как будто все ясно, но нам от этого, как говорится, не легче. Володя Смуглин не выдержал и полусерьезно-полусерьезно сказал начальству:

— Из-за вашей неразворотливости я третий день опаздываю на свидание с девушкой. Кого же мне винить, если наша любовь разрушится из-за какого-то презренного металла?

Рабочие захохотали. Но шутками сыт не будешь.

Конечно, случай с зарплатой исключительный. Но и этих издержек при желании можно избежать.

«СИБИРСКИЙ ТЯГАЧОК»

За полгода мы с Сашей Трубиным успели поработать на трех объектах: достраивали шлюз, бетонировали камские откосы, сейчас работаем на водосливе ГЭС. Работать с Сашей мне нравится. Сашу за его веселый, общительный характер, за искренность и честность любят все члены бригады. Некоторые ребята зовут Сашу «сибирский тягачок» за трудолюбие и редкую работоспособность. Он один из тех, кто не жалея себя берется за любую тяжелую работу и в трудную минуту готов прийти на помощь товарищу. Иногда охватывает чувство счастливой гордости только потому, что рядом с тобой работают такие люди, как Саша. Он мал ростом, худощав. Наверное, детство и вся его жизнь не были легкими. Но в этом худом мускулистом теле бьется сердце настоящего гражданина. К сожалению, иногда получается так, что некоторые работники, порхающие с места на место и лучше работающие языком, чем руками, пользуются большими бла-

гами, чем скромный труженик. Они быстрее получают благоустроенную квартиру, а Саша до сих пор живет в бараке, потому что он не любит, да и не умеет похлопотать за себя и никогда не станет лить перед начальством «крокодиловы слезы».

Однако Саша не гнется под тяжестью жизненных неудач и не унывает. Саше около тридцати, но он выглядит моложе своего возраста. И его, как юношу, постоянно одолевают какие-нибудь отвлеченные проблемы. Например, сегодня он вполне серьезно размышляет: «Вот птицы без компаса, а знают куда лететь».

Раньше мне казалось, что при своем отменном трудолюбии Саша получает награды и поощрения. Но когда я однажды заговорил с ним на эту тему, он ответил:

— Наград не имею. Не заслужил... Ничего особенного я в жизни не совершил...

Сказал он об этом просто, в своей обычной шутиливой манере. Только потом я понял, что кое-кому из начальства не очень нравится резкая, беспокойная Сашина натура. На рабочих собраниях он не стесняясь говорил все что думал о недостатках на производстве и о нарушениях норм нашей жизни.

Сегодня на собрании принимались социалистические обязательства. В протокол собрания нужно было внести пункт о том, чтобы администрация своевременно обеспечивала строителей материалами: ведь от этого зависит выполнение производственного плана. Начальник участка предложил формулировку: «Просить администрацию...» и т. д. Саша возразил — почему «просить»? Его поддержали другие рабочие.

— Мы не просим, а требуем! — говорили они.

— Слово «требуем» грубое, — заметил начальник участка.

Рабочие предложили слово «обязать». Но и это слово начальник нашел неприемлемым, говоря, что рабочие не могут обязывать администрацию. Подходящего слова так и не нашлось, но Сашино возражение начальнику участка явно не понравилось.

В школьные годы Саша слыл прилежным учеником и даже мечтал о поступлении в вуз. Однако в послевоенные годы больше приходилось думать не об учении, а о куске хлеба. Мечта казалась неосуществимой, хотя и продолжала жить в сердце. После службы в армии Саша женился, обзавелся детьми, и времени продолжать учение опять не было. Хорошо, что жена ему досталась добрая и чуткая. В юности ей тоже довелось окончить всего семь классов, и потому она поддерживала в муже его давнее желание и сама намеревалась учиться дальше.

В молодом городе, который строили Трубины, есть и вечерняя школа, и техникум, и филиал института — только учись. Но как учиться, если у них трое маленьких детей. И Саша великодушно принял на себя нелегкие обязанности по уходу за детьми, чтобы жена могла закончить вечерний техникум.

— Сначала будешь учиться ты, а потом я, — решительно, как всегда, заключил он.

Жена с благодарностью приняла его предложение.

Вот с каким человеком свела меня судьба в первый же день моей работы на стройке.

«СУВОРОВСКИЙ ПЕРЕХОД»

Мы закончили работу на блоке первого пролета водосливной плотины. Пора было переходить на новое место, на восьмой пролет. Чтобы попасть туда, предстояло обогнуть почти всю ГЭС, а это заняло бы много времени. Есть более короткий путь, но для этого необходимо перелезть через шандору и подняться на верхний бьеф, однако для такого подъема нужна лестница, а ее нет. Кто-то предложил обойти кругом, но бригадир наотрез отказался от этого длинного пути, и мы остановились, задрав головы кверху, рассматривая громадную шандору, прикидывая, как перебраться через нее. Полянин нашел какой-то обрубок лестницы, у которой одна стойка была короче другой, и стал пристраивать ее к шандоре.

Пока он раздумывал над тем, как получше укрепить ее, Володя Смуглин быстро поднялся по ней и, ухватившись руками за верхний край шандоры, вскарабкался на нее. За ним полез Саша Трубин, потом я, но до верхушки дотянуться не смог, пока наконец каким-то образом, подпрыгнув, не уцепился за самый край, а Володя подхватил меня за воротник, и препятствие было взято. За мной вскарабкался Полянин. Внизу остались двое пожилых рабочих — Иван Юргин и Сергей Емельянов, которые не хотели уступать в ловкости молодым, но и не надеялись только на свои силы. Презрение к трусости взяло верх над нерешительностью, и они последовали за нами. С нашей помощью они одолели трудное препятствие, и переход был удачно завершен.

Наблюдать за нашим озорным переходом со стороны было довольно смешно. Снизу кто-то шуточно кричал Полянину, что надо бы нас сфотографировать для стенгазеты за этот своеобразный «суворовский переход». Однако в ответ Полянин только смущенно кашлянул в кулак и ничего не сказал.

Уже по дороге домой я догнал идущего впереди Ивана Юргина. Вместе с ним мы работали на шлюзе, сейчас строим водослив на ГЭС. Это человек вспыльчивый, иногда любит поворчать, но у него добрый и открытый нрав. Ему под пятьдесят, а выглядит он гораздо старше своих лет. Всю войну Иван провел на фронте, дважды был ранен, здоровье его сильно подорвано. По трудовому стажу он давно мог бы быть на пенсии, но по возрасту до пенсии ему еще далеко, а инвалидность сняли. Работа на водосливе трудна и для молодых. Юргину тяжело, однако он не сдается: ворчит, но работает не хуже других. Сегодня мы обшивали изоплитой опалубочные щиты. Володе Смуглину среди множества целых достался надломанный лист. Вместо того чтобы пустить его в дело, он взял этот лист и с лихостью швырнул в воду, весело приговаривая:

— Чтобы я в такой холод возился с обломками?.. Ни за что! Государство богатое... Не хватит целых листов — еще привезут.

Однако Володе пришлось раскаяться в своем опрометчивом поступке. Заметив брошенный лист, Иван обрушился на него со всей прямоотой вспыльчивого характера.

— Государство богатое... привезут еще!.. — кипятился он, передразнивая растерянного Володю. — Ишь ты какой богач нашелся! А чего ж ты обижаешься на заработок? Где же его взять больше-то, если мы строительные материалы так глупо сбрасываем в воду? А ведь каждый лист изготовлен людьми, им за это деньги заплатили.

Володя, виновато улыбаясь, пытался что-то сказать в свое оправдание, но, не встретив поддержки со стороны товарищей, смущенно напел:

— А-а, та-ра-та-та! А-а, та-ра-тат-та!

— Ты до конца эту песню знаешь? — с иронией спросил Трубин

— А что? — улыбнулся Володя.

— Спиши мне, пожалуйста! Она мне очень нравится.

Мы расхохотались. Володе же сказать было нечего...

И вот сейчас, возвращаясь с работы, я с трудом узнал идущего впереди Юргина. Он шел сгорбившись, низко опустив голову, тяжело передвигая натруженные ноги. Мне захотелось как-то ободрить его, сказать ему что-нибудь приятное.

Размышляя над трудной судьбой товарища, я написал стихотворение:

Жить легко беспечным,
Жить легко веселым,
Кто по свету вечно
Ходит новоселом.
Дружба и удача —
Все легко дается,
Никогда не плачет —
Шутит иль смеется.
Ты ж главу седую
Клонишь долу низко,
К сердцу боль людскую
Принимая близко...

Лето еще только начиналось, но уже, говорят, пошли грибы, и после работы, не заходя домой, я отправился в лес. Нашел первый гриб масленок: маленький, скользкий, крепкий. Сразу же охватило знакомое радостное чувство, которое трудно передать словами, но сердце захватила счастливая страсть поиска. Идешь между деревьями по мшистому мягкому покрову, а они тихо раскачиваются и шумят под легким дуновением ветра. Каждая кочка, каждый бугорок между кустами молодых елочек и сосен приковывают твоё внимание, и ты чувствуешь, что где-то рядом должен быть еще один гриб, неизвестно какой, но обязательно молодой и красивый. Уютно в лесу, хорошо! В эти часы счастливого поиска отлично думается. В памяти всплывают давно забытые встречи и эпизоды, от которых на душе светлеет, радость сменяется легкой грустью, грусть новой радостью. Оттого, что пристально всматриваешься в каждый бугорок, холмик, куст, немного устают глаза, потом ноги, но зато из корзины весело выглядывают грибы, источая терпкий аромат родной земли, они переливаются всеми цветами радуги, ласкают взор. Начинаешь чувствовать, что ты проголодался и уже воочию представляешь дымящуюся сковородку, полную жареных грибов...

Хорош отдых в лесу, особенно после тяжелого трудового дня, когда особенно остро ощущаешь, как все вокруг дышит миром и спокойствием, и ничто не омрачает просветленного состояния души.

Несмотря на усталость, я вернулся домой в хорошем настроении. Я радовался не только тому, что насобирав грибов и был полон светлых впечатлений от встречи с природой, но еще и потому, что дела на работе складывались хорошо. А сегодня мы работали с особым вдохновением.

Наша бригада стала инициатором соревнования за десятикратный оборот использования опалубочных щитов. По техническим нормам опалубочные щиты после пятикратного использования подлежали списанию, их выбрасывали. Да и рабочие, зная, что положенный срок щиты прослужат, обращались с ними не бережно: ведь потом привезут новые! Но новых щитов часто не хватало, и нередко бригада простаивала, в то время как где-то рядом лежали штабеля отслуживших свой срок щитов и многие из них снова могли быть запущены в дело после небольшого ремонта. Бригадир Полянин не захотел мириться с подобной бесхозяйственностью и внес в партком предложение о многократном использовании щитов. Предложение нашего бригадира горячо поддержали и решили проверить его на практике. Но когда узнали, что мы у себя в бригаде давно уже пускаем в ход использованную опалубку и ничего худого от этого не произошло, этот метод стали внедрять и в других бригадах. Доброе начинание не только обещало большую экономию средств, но и высвобождало часть плотников для других срочных работ.

Сегодня снова ремонтировали опалубочные щиты и штабелями складывали их возле дороги. Мы работали в паре с Иваном Юргиним, а Володя Смуглин взял себе в напарники вновь принятого в нашу бригаду Ахмета Гараева. Между нами возникло как бы негласное соревнование. Каждая такая пара складывала отремонтированные щиты в отдельные штабеля, и отставать друг от друга не хотелось: выполненная работа была у всех на виду.

— Покурить бы надо,— заметил Володя между делом.

— Вам можно и покурить,— отвечал Юргин.— Вы уже десять щитов отремонтировали, а мы только девять.

— Это у меня Ахмет старается,— подхваливал Володя напарника, подмигивая нам и озорно улыбаясь.— Да и не в количестве дело. Щиты-то повреждены по-разному. И объем ремонта у каждого свой.

Ахмет Гараев, пожилой чудаковатый мужичок небольшого роста, снискал на стройке недобрую славу пьяницы и прогульщика. Он успел сменить много бригад, но от него всюду отказывались как от человека ленивого и ненадежного. Не однажды вопрос о нем обсуждался на собраниях, но каждый раз Ахмет клятвенно обещал исправиться, не забывая поблагодарить собравшихся за правильную и своевременную критику. Его прощали, но держался он на работе до первой лодочки, потом напивался и снова прогуливал. Недавно Ахмета снова уволили

из какой-то бригады за очередное нарушение трудовой дисциплины, даже жена отказалась от него. Заросший, похудевший, он в обеденный перерыв пришел в нашу рабочую обогревалку и после короткой паузы, запинаясь, попросил бригадира:

— Возьми, Елисей, в бригаду, а? Не подведу! Честное слово! А если не сдержу слова, то позорить вас не буду. Сам уйду...

— Ну как, товарищи, возьмем его в бригаду или нет?— обратился Полянин к рабочим.

Рабочие долго молчали, а Ахмет переминался с ноги на ногу и с надеждой ждал окончательного решения.

— Давайте возьмем его с месячным испытательным сроком,— заговорил первым Володя Смуглин.— А если не оправдает нашего доверия, то повяжем ему фартук и пошлем в столовую картошку чистить, посуду мыть. Чтоб не позорил наше мужское звание. Там бабы его быстро выучат...

Рабочие захотали, Ахмет облегченно вздохнул и, благодарно взглянув на Володю, произнес:

— Спасибо! Не подведу!

— Спасибо — слово, как говорят, красиво!— продолжал Володя.— И обещаниям твоим грош цена, если ты не будешь их выполнять. Давай условимся так, что с сегодняшнего дня ты начнешь новую жизнь. В первую очередь надо вымыться, побриться, а потом и за работу возьмешься. Можешь даже одеколоном освежиться. Только не вздумай опять нутро освежать. Тогда пощады не жди!

— Да что ты, Володя! У меня даже на папиросы денег нет,— сказал Ахмет, невесело улыбаясь.

— Нечего сказать, докатился! И что ты нашел хорошего в этом зелье? Вот народ! Деньги пропьют, а потом ходят окурки сшибают. Да и людям отравляют жизнь...

— Знать, здорово они тебе насолили, пьяницы-то, а, Володя?— сказал Юргин.

— Не понимаю я этих «заблудших овец». Выпивают многие при случае. Но порядочные люди, когда выпьют, стыдятся показываться в таком виде. Они помнят, что хмельной трезвым людям всегда неприятен. Но есть и такие, кто, нахлебавшись, обязательно жаждет показать всем свое пьяное мурло, словно бы гордясь своим состоянием.

— Да с чего это ты сегодня разошелся? Какая муха тебя укусила?— снова спросил Юргин.— По-твоему, и в праздники нельзя погулять?

— Гуляй, да людям не мешай!.. Я сам люблю, когда люди весело празднуют. Но плохо, когда с чужого похмелья у соседей головы болят. На днях один тип мне всю ночь спать не давал. Я его вытолкал, а он опять со своими нежностями. Пришлось тряхнуть его как следует, чтоб отвязался...

— Это хорошо, Володя, что ты возненавидел «злодейку с наклейкой»!— довольный его рассуждениями, заключил Юргин.— Но если бы все так к ней относился!..

Володя же, завершая свой монолог, порылся в кармане, достал пятерку и, протягивая ее Ахмету, сказал:

— На вот, держи до получки! И завтра чтоб пришел на работу трезвым и побритым. А пропешь деньги, тебе же хуже!

Рабочие захотали, а Ахмет взял деньги, спрятал их в карман и с чувством поблагодарил:

— Спасибо, Володя! Постараюсь оправдать твое доверие. А если не сдержусь, делай со мной что хочешь. Слова не скажу... Я уж совсем отчаялся. Думал, пропаду...

На другой день Ахмет пришел на работу раньше всех, побритый и посвежевший. Он прибрался в будке, сходил с бачком по воду и стал точить рабочий инструмент. Когда пришел бригадир, Ахмет попросил его:

— Разреши, Елисей, работать вместе с Володей.

— Если он не против, я не возражаю.

— Давай, давай, Ахмет, попробуем, — отозвался Володя. — А вдруг мы с тобой споемся, и настанут в нашей жизни светлые дни. К тому же мы с тобой оба холостяки. Тебя жена выгнала, а я жениться еще не успел. Вот и будем работать — два бобыля. Ты где ночуешь?

— Да у знакомых пока остановился.

— А как жена — любишь ты ее?

— Да баба она справная, только сердитая.

— Поневоле будет сердита, если такого муженька бог послал... Но ничего, Ахмет, не горюй! Вот поработаешь в нашей бригаде, очистишь свою грешную душу от всякой скверны и с повинной явишься к своей хозяйшке. А мы всей бригадой защищать тебя пойдем. Перед коллективом она не устоит, размякнет.

Члены бригады одобрительно посмеивались, а Ахмет, казалось, готов был идти за Володей в огонь и в воду.

МЫ БЕТониРУЕМ ФУндаМЕНТ ДОМА

На больших стройках рабочих, как солдат на фронте, часто перебрасывают из одной бригады в другую. Перебрасывают туда, где образовался прорыв. Таким же образом с участка основных сооружений в управление гражданского строительства перебросили Ивана Юргина, меня и Володю Смуглина. Все это произошло так быстро и неожиданно, что мы не успели попрощаться с товарищами, которых так же спешно перевели на другой объект. С одной стороны, было жаль расставаться со старым коллективом, с другой — хорошо, что будем работать ближе к дому, больше будет свободного времени, часть которого до этого расходовалась на дорогу в оба конца.

И все-таки переход на новую работу всегда связан с определенными трудностями. Нередко прилагаешь немало усилий, чтобы привыкнуть и утвердиться в новом коллективе.

Вот уже четвертый месяц я на новом месте, в новой бригаде. Мы строим дома. Я научился стлать полы, устанавливать двери, рамы и подоконники. Работа серьезная, требует большого опыта, смекалки и плотницких способностей. Больших способностей по этой части у меня нет, однако работа интересная и часто я выполняю ее с удовольствием. Правда, многие сложные операции требуют затраты большого труда. Чтобы не допустить брака и вместе с тем не отстать от других, свою неопытность иногда восполняю удвоенной нагрузкой. Люди в бригаде разные, но интересные. Нравится мне наш бригадир коммунист Виктор Грехов. Он спокоен, скромнен и сдержан. Я никогда не слыхал, чтобы в обращении с рабочими он позволил себе грубость. Дело свое Грехов знает хорошо и часто не в меру горячие головы обезоруживает скромностью, честностью, метким словом. Рабочие относятся к нему с уважением, и это благотворно сказывается на всей атмосфере в бригаде.

Легко управлять людьми на отлаженном производстве, где все рассчитано, предусмотрено заранее, где у рабочих немалый практический навык, гражданская сознательность, где нет недостатка в материалах, инструменте и прочих необходимых вещах. Там и начальники ходят как именники, и рабочие живут веселее. Бытие, как говорят, определяет сознание. Но более всего ценится тот человек, который умеет быть порядочным и в худших условиях. Очень важно, если человек способен понять душевное состояние другого, способен к сопереживанию и умеет быть внимательным к людям. Все эти хорошие черты я неизменно открывал для себя в характере Грехова.

На новостройку Виктор Васильевич Грехов приехал в 1959 году из Удмуртии с дипломом отличника мастера-строителя. В отделе кадров он заявил:

— Пошлите туда, где люди нужны больше всего.

— Город новый будем строить, пойдешь плотником? — спросили его.

Грехов дал согласие, а вскоре его назначили бригадиром.

Много лет прошло с тех пор. Грехов возглавляет ту же бригаду. На первый взгляд как будто ничего не изменилось, а присмотришься — изменения произош-

ли большие. Раньше в бригаду людей посылали отовсюду. У многих отсутствовали самые элементарные понятия о строительстве, а сейчас все сорок человек — хорошие специалисты. И многие обязаны этим Виктору Васильевичу.

— Организовать труд, войти в рабочий ритм — это еще не все, — говорит Грехов. — Надо, чтобы каждый дорожил честью коллектива, а этого добиться нелегко.

Немало пришлось ему повозиться с новичками... С Анатолием Романовым Виктор Васильевич встретился в Ижевске. Парня переводили из бригады в бригаду и считали неисправимым. Недолго он продержался и у Грехова — ушел. Виктор Васильевич часто думал о его судьбе, пытался разобраться в путаном лабиринте Толькиной жизни, но не смог... Несколько лет спустя они встретились в Чайковском. Увидев Грехова, Анатолий протянул ему широкую ладонь и с радостью спросил:

— Виктор Васильевич, возьми в бригаду, а?..

— Ладно, подумаю. — А про себя решил: «Придется с тобой повозиться, но куда тебя не отпущу, пока не станешь человеком».

Анатолий Романов проработал более двух лет в бригаде Грехова. А потом уже вполне определившимся работником уехал строить Саратовскую ГЭС.

Да, умеет Виктор Васильевич глубоко заглянуть в людскую душу. Не случайно в комсомоле он был бессменным комсоргом, а сейчас — председатель цехкома и член партийного комитета Воткинскгэсстрой.

Тысячи туристов приезжают к нам в Чайковский, и все они восхищаются красотой этого города. Грехову он особенно дорог. Все силикальцитные дома смонтированы его бригадой. Не однажды фотография Грехова появлялась на городской Доске почета. А к празднику Октября коллектив строителей поздравил Виктора Васильевича с высокой наградой: ему был вручен значок «Отличник энергетики и электрификации СССР».

Сегодня мы бетонировали фундамент для будущего жилого дома. Работа не из легких. Мы с Юргиным принимаем бетон с машин в бадью и при помощи крана укладываем его в блоки опалубки. Люк одной бадьи открывается туго. Мы изо всех сил дергаем в разные стороны тяжелый, неподдающийся рычаг, но люк не открывается. В спешке я не заметил, что Юргина ударило рычагом по виску и он стал медленно сползать с опалубки. Я успел подхватить его за руки. Вначале мне показалось, что у него обморок от утомления. Когда же он наконец поднялся, я увидел на его виске здоровую ссадину. Думал, что он будет кого-нибудь обвинять, но он, зажав ушибленное место рукой, на все мои тревожные вопросы отвечал:

— Ничего, ничего... пройдет.

Когда бригадир предложил Юргину оставить эту работу и перейти на более легкую, он наотрез отказался, заявив, что от травмы никто не застрахован и что он вполне может справиться со своим заданием.

Трудно было понять, почему Юргин не захотел уйти с этой нелегкой и опасной работы. Думаю, ему просто не хотелось признавать свое физическое недомогание и он старался доказать, что человек он еще сильный и ему по плечу любая работа.

В конце рабочего дня к нам подошел Володя Смуглин. Он весь день орудовал железным ломом, разбирая опалубку на фундаменте другого строящегося дома, и впервые пожаловался на усталость, а больше на то, что работал без напарника и не с кем было перекинуться словом. Володя закурил, рассказывая веселую байку из собственной жизни, а потом перешел на серьезный разговор.

— Хотя и не очень богато живем, а все равно жить хочется. Хочется узнать, каким будет коммунизм-то. Я считаю, что и без денег можно прожить, если в магазинах будет все необходимое. И опять-таки не все ясно: ведь потребности у людей разные. Я, например, не пью, а другому подавай водку. Вот и охота поглядеть, как все это будет выглядеть.

— А что тебе необходимо, чтобы чувствовать себя богатым? — спросил Юргин.

— Ну, на первый случай, скажем, если у начальника легковая машина, то рабочий должен иметь мотоцикл «Урал».

— Вот тут я с тобой не согласен, — возразил Юргин. — Надо поставить дело так, чтобы люди вообще отказались от личного транспорта. И воздух будет чище и жизнь спокойнее. Но этого можно добиться только при четкой работе общественного транспорта. Чтобы без задержки можно было ехать в любом направлении.

— А что в этом плохого, если я люблю технику и хочу иметь личный транспорт? — не отступал от своего Володя.

— Имей, пожалуйста, если ты очень этого хочешь. Но ведь богатство человека не в легкой машине и не в мотоцикле. Немало на своем веку повидал я людей, которые из-за жадности к вещам теряли человеческий облик. У настоящего человека потребности всегда скромные, и он мало озабочен приобретением дорогих вещей, а больше думает о духовных ценностях. А духовно богатая личность всегда выше ценится в обществе в сравнении с теми, у кого на первом месте одни личные запросы.

РОДИТЕЛИ СТРОЯТ...

В пятницу после окончания смены рабочие уходят домой, на двое с лишним суток оставляя строительные объекты без надзора. И когда смолкают их голоса, начинается нашествие подростков. Весело и привольно чувствуют они себя на стройплощадках после ухода отсюда взрослых. Со звоном вылетают стекла из оконных рам и дверей. Ребята научились метко орудовать кирпичами. Иной так «залимонит», что одним разом выбивает стекла в восьми—десяти дверях, сложенных штабелями. Ломаются и выворачиваются оконные ручки и запоры. Рушится и приводится в негодность все, что только под силу сломать юным сорванцам. Трудитесь, папы и мамы, стройте, стеклите! Ваши детки постараются не оставить вас без работы.

После выходных дней строители с горечью восстанавливают испорченные детали. Что же делать с этими озорниками? Некоторые взрослые только ухмыляются, разводят руками. Конечно, дети есть дети, возраст, безусловно, озорной, и в том, что они хулиганят, виноваты в первую очередь мы, родители. Но в какой-то степени и школа. Большинство подростков, лазающих по строительным объектам, — ученики, и преподавателям — так думают и все мои товарищи — нужно уделять больше внимания на уроках вопросам нравственности. Я не вижу большой беды в том, если ученик слабо освоил какой-нибудь школьный предмет. Дело это поправимое. Но если такой юный гражданин равнодушен к людям, если он глух к добру — дело плохо. Ибо высокая нравственность человека всегда была и остается главным богатством нашего общества.

На мой взгляд, было бы иной раз полезнее часть урока посвятить не изучаемому предмету, а поговорить о разбитом стекле. Несмышленный нарушитель зачастую не понимает, что на изготовление стекла затрачены народные средства. На транспортировку тоже. За то, что оно было вставлено в раму, рабочим уплатили деньги. И если кто-то разбил стекло, неизбежны новые расходы. А все, вместе взятое, прямо или косвенно отражается на бюджете каждой семьи. Воспитывать уважение к труду, хозяйское отношение к результату человеческого труда — очень это важно!

Я далек от мысли, что «назидательные беседы» моментально воздействуют на нарушителя, но в чем-то детском сердце это, возможно, и найдет отзвук, доброе начало будет положено.

— Почему люди, видя, как подростки бедокурят, равнодушно проходят мимо, будто они и не замечают, что портится народное добро? — сказал Володя Смуглин, как бы размышляя вслух в один из тех понедельников, когда наша бригада с тяжелым сердцем принялась ликвидировать последствия очередного налета подростков.

— Потому что каждый занят только своим личным делом, — ответил Юргин. — Кто-то действительно в спешке пробегает мимо, не замечая ничего вокруг. Другой же и видит безобразие, но предпочитает не вмешиваться, так как бороться с нарушителями — дело хлопотное и не всегда благодарное.

— Это почему же?

— У такого главная забота — обеспечить себе покой. А глядишь — за душой у такого ничего нет. Быстро выдыхается. Не завидую ему. Жизнь у него пустая, неинтересная... Вот ты задумываешься: почему все великие люди утверждали, что счастье — это борьба?

Рабочие прислушивались к рассуждениям Юргина с большим интересом, а когда он замолчал, Володя спросил его:

— Значит, ты считаешь, что люди, которые вступают в борьбу с нарушителями, хулиганами, более счастливы?

— Я не знаю, счастливее ли они, но то, что они живут иной жизнью, я в этом не сомневаюсь. Конечно, все синяки и шишки достаются в первую очередь тем, кто первым идет на любое трудное дело. Но ведь за одного битого двух небитых дают. Слышал такую поговорку? Ее придумали умные люди. Вернее, не придумали, а выстрадали. Человеку, умудренному опытом, много испытанному в жизни, доступны такие радости, которые трусам и сытым, самодовольным людям неведомы. Ему и солнышко светит приветливее, и природа улыбается веселее.

— Ты, Иван Александрович, умеешь говорить, как поэт, если задеть тебя за живое. Надо почаще тебя расшевелить. А то иногда проживешь с человеком не один год, да так и не узнаешь, о чем он думает, что его волнует. Мне по душе такие беседы, — заключил Володя.

— Все мы немного поэты. Только не каждому дано раскрыть свою душу. Бывает так, что избежит жизнь человека и он замолкает не в силах противостоять обстоятельствам. И иссохнет его душа. И гибнет человек, в сердце которого, может быть, остались нераскрытыми самые лучшие чувства. Когда же ему удастся высказать свое самое сокровенное, то и на душе у него становится светло, — заключил Юргин свою мысль и отправился на рабочее место.

Когда Юргин ушел, улыбающийся и довольный Володя сказал:

— Умный, интересный мужик! Вот у кого есть чему поучиться!

— Заливать он умеет, — неодобрительно процедил Аркашка Бухвалов, бывший бригадир каменщиков, которого недавно сняли с бригадирской должности за пьянство и развал трудовой дисциплины.

— Газет начитался, радио наслушался, вот и морочит нам головы, — подержал Аркашку недавно принятый к нам в бригаду Валеев. — А чего он сам-то добился в жизни, твой умный мужик? Вкальвает вместе с нами. Постарел раньше времени — вот и вся его мудрость.

— Гад ты! — взорвался Володя. — Человек на фронте воевал, дважды ранен и сейчас работает честно, добросовестно, а ты его поливаешь! Значит, по-твоему, рабочим быть плохо?

— Не говорю, что плохо. Знаю только, что эти красивые слова — одно лицемерие. Все люди стремятся для себя урвать побольше — вот и вся их политика.

— Блудливая свекровь никогда снохе не верит. Вот и ты людей на свой кривой аршин меряешь, — резко отчеканил Володя и, повернувшись, пошел вслед за Юргиним.

ССОРА

Валеев уже и до этого разговора успел произвести на кое-кого из нас неприятное впечатление. Холодный, недоверчивый взгляд, внезапные переходы от полной замкнутости в себе к резким вспышкам — все эти черты в его характере как-то настораживали.

Познакомившись с ним поближе, мы узнали, что человек много колесил по стране в поисках теплого местечка, нигде подолгу не задерживаясь. То ему не нравился коллектив, то мал был заработок, то его увольняли как нерадивого

работника. На юге его не устраивала жара, на севере — холод. Так он и метался по всему Союзу то с семьей, то без семьи, расстратив впустую в этих переездах добрую половину жизни.

Разговаривая с кем-нибудь, он любил панибратски похлопать собеседника по плечу, стараясь показать, что он человек бывалый и с ним не пропадешь. Перед нужными людьми старался выслужиться, с теми же, в ком он не видел никакой для себя пользы, держался высокомерно, заносчиво.

Никакой постоянной профессии у Валеева не было. Работал он лесорубом, разнорабочим, спалубщиком. В нашу бригаду его приняли плотником, но и здесь ему не хватало выдержки, профессионального опыта. Если начальство отсутствовало, он мог часами бездельничать. Когда же начинал работать, то делал все на скорую руку, кое-как. Он вечно рассыпал гвозди из своей «переноски» и часто впустую расходовал материалы. На замечания товарищей нередко отвечал грубостью.

Сегодня Валеев резал в обогревалке стекло для своих собственных нужд. На столе и на полу оставил много осколков, которые так и не убрал за собой. Во время обеда Иван Юргин отчитал его за это. Валеев, вместо того чтобы убрать обломки стекла, бросил на них топор, давая этим понять, что никаких замечаний он не потерпит.

Володю Смуглина и прежде не раз возмущали подобные наглые выходки, но он сдерживал себя. А тут вскипел и решительно потребовал:

— А ну подбери стекло!

— Не ори, не испугался! — огрызнулся Валеев.

— Убери стекло! — снова потребовал Володя, подступая к нему.

Тот схватил молоток и с перекошенным от злости лицом угрожающе замахнулся им. Володя сжал его руку и, вырвав молоток, с силой отшвырнул скандалиста в угол, готовясь к новой схватке.

— Убери стекло! В последний раз тебе говорю!

Валеев почувствовал, что начавшаяся ссора не сулит ничего хорошего. Он встал, поправил шапку и уже без прежней наглости сдавленным голосом:

— Чего пристал как банный лист? Я насорил, я и уберу, тебя не заставлю.

— Вот так-то лучше будет, — сказал Юргин, посоветовав сдерживать себя и относиться к своему делу с большей требовательностью.

После ссоры с Володей Валеев работал молча, реже заходил на перекуры, искал уединения.

Должно быть, мало он встречал в своей жизни хороших людей и обыкновенные добрые дела считал просто рисовкой. Но уроки в жизни не проходят бесследно. И он мало-помалу начал понимать, что живет неправильно. И, возможно, ощутил стихийную тягу к другой, честной жизни. Но жить по-иному он еще не умел.

...Вот уже неделю мы в новом доме ведем установку подоконных досок. Каждый подоконник устанавливается с наклоном внутрь комнаты. Валеев же наоборот — делает наклон в сторону оконной рамы. Я указываю ему на допущенный просчет, но он не соглашается со мной, утверждая, что ведет установку подоконных досок по всем правилам.

Убедить его в том, что он допускает брак в работе, может только мастер.

Мастером на нашем объекте работала выпускница техникума Валя Прицелова. На молодую стройную девушку с тайным любопытством поглядывали не только парни, но и солидные мужчины. Грубоватый, не всегда умеющий владеть собой, Валеев при встрече с Валей часто терялся, краснел и, казалось, тайно был влюблен в нее.

Отзывчивая и внимательная одинаково со всеми, Валя не терпела матерщины и пьянства. А с такими постыдными фактами ей в повседневной практике приходилось не раз сталкиваться. Все это сохранилось в бригаде в наследство от Аркадия Бухвалова, бывшего бригадира. Его оставили у нас рядовым каменщиком, но он так и не осознал своей вины, продолжал совращать слабых

людей. Валя предупредила Бухвалова, а он, вместо того чтобы сделать для себя соответствующие выводы, стал настраивать против Вали своих собутыльников.

На первом же бригадном собрании, которое проводилось в присутствии начальника участка и парторга, она сразу же почувствовала недоброе отношение к себе со стороны Бухвалова и его дружков. Свое выступление Бухвалов посвятил попыткам очернить мастера в глазах начальства.

— Мастер Прицелова слабо разбирается в чертежах, — говорил он с нарочитой медлительностью, стараясь подчеркнуть значимость каждого слова, — и нам уже однажды приходилось по ее милости разбирать целых два ряда кирпичной кладки. Кроме того, она мало заботится о снабжении бригады строительными материалами, у нас нередки простои...

Услышав подобные обвинения, Валя растерялась.

Конечно, на первых порах она в чем-то ошибалась, слабовато разбиралась и в чертежах. Но этот этап позади. Теперь она свободно ориентируется во всех чертежах и даже помогает в этом другим начинающим мастерам. Что же касается снабжения бригады материалами, то Бухвалову хорошо известно: решить эту проблему не всегда по плечу даже самому начальнику управления строительства.

Так думала Валя, следя за выступлением Бухвалова. Кусая запекшиеся от волнения губы, она вдумывалась в смысл заключительной сказанной им фразы:

— Для выполнения задач, поставленных перед бригадой управлением, мы в целях производственной необходимости просим перевести мастера Прицелову на другой участок, дав нам более опытного работника...

Валю ввел в заблуждение сам безапелляционный тон бухваловских слов: она, видимо, решила, что все в бригаде настроено против нее и думают точно так же. Поэтому она не знала, что сказать в свою защиту. От собрания Валя уже не ждала для себя ничего хорошего.

Бухвалов же, произнося заключительную тираду, победоносно оглядел присутствующих и сел довольный на свое место.

Но по рядам пронесся неодобрительный ропот. Рабочих возмутило это выступление, возражать Бухвалову, однако, не решались, то ли опасаясь колкостей с его стороны и реплик его дружков, то ли стесняясь своего неумения складно говорить на собраниях.

Валеев вел себя как-то странно в эти минуты. Выражение его лица менялось ежесекундно. Казалось, он так и порывался выступить в защиту мастера, но что-то удерживало его и он с надеждой посмотрел на меня...

После моего выступления он будто воскрес и, не сдержавшись, закричал:

— Правильно говорит! Мастер — хороший человек... Аркашка сам дурак. Зря мастера обижал!

— Правильно! — подхватили другие. — Не мастера надо убирать, а Бухвалова надо выгнать, чтобы он не мучил воду!

Бухвалов скорчил ехидную рожу, попытался улыбнуться, но улыбка получилась жалкой, растерянной.

С заключительным словом выступил начальник участка:

— Товарищи! Мне приятно, что конфликт между мастером Прицеловой и некоторыми рабочими разрешился положительно, без вмешательства администрации. Вы правильно поняли сложившуюся обстановку и высказали свое мнение как о самом мастере Прицеловой, так и о тех, кто пытался очернить ее. Все ваши замечания и предложения мы постараемся реализовать в рабочем порядке. А теперь поговорим о выполнении плана текущего месяца...

После собрания расходились по своим рабочим местам люди с веселыми шутками, озорно подталкивая друг друга. Валя тоже повеселела и, казалось, взглядом благодарила многих за поддержку.

Вечером она долго лазила по этажам строящегося дома, проверяя качество выполненных работ, а потом подошла к нам и сделала замечание о неправильно установленных подоконниках, не подозревая, что из-за этого у нас с Валеевым шла скрытая борьба. Он молчал. Ему казалось, что я выдам его, а опозориться

в глазах начальства ему не хотелось: он подал в квалификационную комиссию заявление на повышение разряда.

Чувствуя, что Валеев испытывает неловкость, я, пообещав мастеру исправить допущенный брак, ушел. Я был готов краснеть за брак в работе, допущенный Валеевым. Мне показалось, что он тем самым глубже осознал собственную вину. Предположения мои вскоре подтвердились.

В выходной день я случайно шел мимо строящегося дома, где большая часть столярных изделий установлена нашими руками. Здесь мне знакома была каждая комната, каждый закоулок. Я помню двери, подоконники, кухонные шкафы — все, что изготовлено моими руками, вплоть до любой случайной отметины на каждом изделии. Поравнявшись с домом, я услышал знакомый плотницкий стук, который доносился из раскрытых окон верхнего этажа. Зная, что у строителей выходной день, я заинтересовался тем, кто же может там постукивать.

Тихо поднимаясь по лестнице, я был почти уверен, что встречу здесь сорванцов-подростков, которые часто околачиваются на строительных объектах в те часы, когда там никого нет. Однако, заглянув в одну из квартир, я увидел Валеева, который старательно трудился, исправляя допущенный брак.

Тронутый этим зрелищем, я поспешил незаметно ретироваться. Я понимал, что в подобном поступке им руководило два противоречивых чувства: с одной стороны, ему хотелось, чтобы обещание, данное мною мастеру, было исполнено точно и в срок, с другой — ложное самолюбие не позволяло ему признать свою вину. Во избежание того, чтобы мое случайное появление Валеев не истолковал превратно, мне не хотелось предстать перед ним. И я правильно поступил, не обнаружив себя: на другой день Валеев ни словом не обмолвился о своем тайном праздничном выходе на работу, хотя результаты этой работы были налицо.

...Как-то в обеденный перерыв я начал мастерить сыну хоккейную клюшку. Валеев долго топтался возле меня, а потом сказал:

— Давай я сделаю тебе клюшку.

Принимать от него услугу мне не хотелось. Казалось, я окажусь у него в какой-то зависимости. К тому же хоккейную клюшку я мог сделать и сам, возможно, даже лучше, чем он. Но пока я раздумывал, Валеев уже вычерчивал на доске клюшку и с готовностью начал выпиливать ее...

Однажды перед началом работы он снял кепку и, показывая на свою голову, сказал:

— Ну, как лежат?

Я не понял, о чем он говорит, но он объяснил, что на ночь он намазал волосы мылом и решил сделать новую прическу. Это меня рассмешило. Рассмешило то, что этот нескладный человек, всегда лохматый, небрежно одетый, наконец-то обратил внимание на свой внешний вид. Возможно, в нем проснулось что-то новое, похожее на чувство добра и красоты.

В конце рабочего дня к нам подошла Валя и весело объявила:

— Валеев, готовься сдавать на повышение разряда! В пятницу тебя вызовут в квалификационную комиссию.

— Спасибо, Валя! — с радостью ответил он, смущенно переминаясь с ноги на ногу и будто собираясь еще что-то добавить. Но зная о своих неладах с русским языком, он растерялся и уже вслед мастеру бросил: — Все сделаю, Валя!.. Любая твоя приказ будет выполнен!

Валя в ответ улыбнулась и направилась к каменщикам.

ОБНОВЛЕНИЕ

После обильных продолжительных дождей ночью подморозило, а утром начался бурный листопад. День выдался солнечный, и люди были рады этому светлому дню как дорогому подарку, как заслуженному вознаграждению за продолжительное ненастье. А листья падали и падали целый день и к вечеру по-

крыли сплошь всю землю. Ребятишки с радостью кувыркались на желто-зеленой листве и сгребали ее в вороха, как волшебные золотые монеты.

Когда видишь это чудодейственное преобразование природы, в памяти всплывают давно забытые видения детства, от которых теплеет в груди, а на сердце тихая радость. Невольно вспоминаются строки Есенина:

Закружилась листва золотая
В розовой воде на пруду,
Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.

Раньше мне казалось, что листва опадает только под действием ветра. Но сегодня полное безветрие, однако листья льются непрерывным потоком, а деревья, сбросив старую одежду, будто приготовились к чему-то важному и стоят не шелохнувшись, задумчивые и торжественные.

В такой погожий солнечный день приятно побыть на улице. Приятно вдвойне, когда выходной не омрачен большими заботами и ты волен распоряжаться своим временем.

Иду на почту, чтобы отправить письмо. Иду не торопясь. Сегодня никто никому не спешит. Да и чего торопиться, когда все вокруг дышит миром и спокойствием, располагает к хорошему настроению. Погода изменчива. Сегодня солнце, а завтра, может, снова завернет ненастье, заморосит осенний холодный дождь, и тогда уже улица станет немила. Тогда все мы будем торопиться к своему жилью, к теплу и уюту. А сегодня еще хорошо! Листья падают, а клены по-прежнему стоят красивые и зеленые. И идут люди, сладко жмурясь от ярких солнечных лучей, идут и смотрят вокруг с радостным чувством, будто впервые видят тронутые багрянцем сухие листья, легко и успокаивающе шуршащие под ногами.

Благодатная пора осени всегда приносит с собой светлое предчувствие встречи с чем-то новым, неизведанным. Но, может быть, тем и прекрасна жизнь, что в природе и чувствах людей вечно происходит этот неповторимый процесс обновления.

Когда я возвращался домой, меня нагнал празднично одетый Володя Смуглин и потянул за собой по направлению к речному вокзалу, куда направлялась праздничная толпа.

Володя полгода назад женился. Жена у него работала и училась в институте на заочном отделении, на днях она уехала в Пермь по учебным делам. Володя без нее заскучал. Сегодня он бродил по городу, пытаясь развлечься, но хорошее настроение к нему не возвращалось. Увидев меня, он обрадовался:

— Пойдем побродим вместе, а то на душе у меня что-то беспокойно.

— Случилось что-нибудь?

— Да ничего особенного, если не считать того, что недавно с женой поссорился.

— Чего вам не хватало?

— И сам не пойму. Даже говорить об этом неловко. А началось все с пустака. Пришла она как-то с работы позднее обычного, а я, дурень, бог знает что подумал о ней. Нагрубил. А потом выяснилось: автобус в дороге сломался и она вовремя приехать не смогла. Трудно понять человека со стороны, если он сам не всегда себя понимает.

— Ты что, перестал себя понимать?

— В том-то и дело. Живешь как будто без чувства большой любви, провожаешь равнодушно, даже немного радуешься возможности побыть одному. Но не прошло трех дней — и на душе почему-то пусто, неуютно. И делать ничего не хочется. До сих пор не могу простить себе, что зря я тогда ее обидел. И уехала она грустная...

— Значит, любишь ты ее крепко?

— Не знаю. Вероятно, у меня просто дурной характер, — сказал Володя.

— Ничего, не горюй! Все наладится. А поскучать друг без друга иногда полезно: встреча будет горячей.

— Может быть! — согласился Володя и улыбнулся своей прежней озорной улыбкой.

Площадь у речного вокзала на берегу водохранилища стала любимым местом отдыха горсжлан. А сегодня в погожий солнечный день здесь особенно многолюдно.

Оказавшись здесь, я будто заново увидел молодой город, который на моей памяти заметно повзрослел и расширился. Еще совсем недавно на берегу был густой лес. Теперь тут выросли многоэтажные дома. Многие возводились при нашем участии. Но на стройке мы последние дни: переходим с Володией Смуглиным на новое предприятие. Строителей не хватает, и нас отпускают неохотно. Но что поделаешь: мы поступили в техникум на электротехническое отделение и теперь нам необходим практический стаж по изучаемой специальности.

Как бы ни складывались обстоятельства, а сердце трудно оторвать от всего того, к чему привык, трудно представить себя в новом коллективе. Жаль, что не пришлось работать дальше с ребятами, судьбы которых стали близкими. Но с Сашей Трубиным мы теперь часто встречаемся в техникуме. Он наконец поступил на первый курс вечернего отделения, давняя его мечта осуществилась.

Приятно было узнать, что Саша получил четырехкомнатную квартиру с удобствами в доме, который они вместе с другими строили по выходным дням, и теперь у него есть условия для того, чтобы нормально учиться и отдыхать.

ДРУГ МОЙ АЛЕШКИН...

Кажется, прошло совсем немного времени с той поры, как я работал на стройке опалубщиком, бетонщиком, легко и привычно орудя топором и ножовкой, отбойным молотком и вибратором, лопатой и железным ломом. Но вот уже в течение полугода орудиями моего труда на новом месте стали микрометр и штангенциркуль, электрическая дрель и отвертка, гаечный ключ, напильник и другие приспособления для ремонта электрооборудования. Если, работая на стройке, я почти не чувствовал каких-то особых специфических запахов, кроме смолистого запаха свежей древесины, то теперь привык и к терпкому аромату трансформаторного масла, и к тому, как пахнет жженный металл, что так хорошо знакомо каждому рабочему заводского цеха. Если на стройке, завершив объект, мы сразу переходили на другой, то теперь наше рабочее место стало постоянным, если не считать командировок в сельские районы, куда мы выезжаем не менее двух раз в квартал ремонтировать оборудование на действующих подстанциях.

Одним из самых близких мне людей на новом месте стал электрослесарь Леонид Алешкин. Он тоже строил Воткинскую ГЭС, но на стройке мы не знали друг друга и познакомились позднее. Алешкин и «сманил» меня к себе, став моим первым наставником в деле освоения новой профессии.

Вот уже неделю наша бригада работает на территории временной подстанции, которая в период сооружения гидроузла чуть ли не одна снабжала строителей электроэнергией. Теперь, когда построен ряд новых подстанций с первоклассным оборудованием, с современной защитой, сигнализацией, временная стала не нужна. Надо было ее демонтировать, освободить место для строительства нового объекта. Нам поручен демонтаж силового трансформатора и подготовка его для перевозки на другую подстанцию. Проще было бы погрузить этот трансформатор мощными подъемными кранами. Но такие краны найти не удалось, и его поднимали вручную гидравлическими домкратами.

Работа эта благодарная и тяжелая. К концу рабочего дня тело наливаются свинцовой тяжестью. А сегодня все мы особенно устали: сегодня народу в бригаде меньше обычного и трудиться пришлось с удвоенной нагрузкой. Видя нашу предельную загруженность, к нам подключился и мастер. Стремясь служить примером для остальных, он первым брался за самую трудоемкую работу и, не-

смотря на возраст, с завидной легкостью орудовал тяжелой кувалдой, заколачивая полуметровые березовые клинья. Его обычно хмурое лицо в процессе работы становилось доступнее, добрее. Прежде, когда рабочие садились отдохнуть, мастер недовольно хмурился. Сегодня он сам стал объявлять перекуры.

— Николай Иванович, что с вами случилось? — шутиливо спросил Алешкин. — Раньше вы никогда не объявляли перекуров...

— То было раньше. А сейчас я тоже покурить захотел, — ответил он, смущенно улыбаясь и вытирая платком раскрасневшееся потное лицо.

— Тяжелый труд взывает к рассудку, — намекая на мастера, сказал Валентин Стародумов, пуская кольца табачного дыма. — Неплохо бы для пользы дела переводить иногда на физическую работу некоторых безответственных руководителей, по вине которых приходится тратить силы понапрасну. Повкалывал бы с нами недельку — стал бы отзывчивым и механизмы нашел бы для загрузки трансформатора. И вообще, Николай Иванович, учитывая наш нелегкий труд, надо бы в конце рабочего дня организовать по бутылке на брата для снятия усталости, — полшутя-полусерьезно заключил Стародумов.

— Кому что, а шелудивому — баня, — парировал мастер. — То-то, я вижу, ты сегодня частенько к воде прикладываешься... С похмелья, наверное?

— Это я рыбы наелся, — ответил Стародумов, лукаво подмигнув Алешкину.

После обеда рабочие принялись играть в домино, Алешкин вытащил из кармана газету и стал читать.

— Ты почему, Леня, в домино не играешь? — спросил Стародумов.

— Ничего хорошего в этой игре не вижу, лучше газету прочитать.

— Ума все набираешься?.. Домино тоже умственная игра. Она среди спортивных упражнений на втором месте, после перетягивания каната, — улыбаясь, заметил Стародумов и, затаившись папиросой, с силой ударил костяшкой по столу...

Мы учимся в вечернем техникуме. Мы — это взрослые рабочие люди, у которых уже дети-ученики. Годы учения многих из нас пришлись на период Отечественной войны, когда наши отцы сражались на фронте. Война лишила нас возможности нормально заниматься: рано пришлось зарабатывать хлеб, помогать матерям-вдовам.

Теперь, в нашем возрасте, конечно, тоже нелегко работать и учиться. Зато по временам бывает интересно и весело. На уроке физики изучаем свет — самый обыкновенный дневной свет, солнечный, электрический. А когда мы его «раскусили», он показался нам не таким уж обыкновенным.

Дома, гордясь своими познаниями, объясняю все это жене, и она меньше ворчит на меня, меньше слышу от нее упреков, что я слабо помогаю ей по хозяйству. Она понимает, что я человек занятой и время в техникуме зря не теряю.

Часто, когда я возвращаюсь домой после занятий, старшая дочь лукаво спрашивает меня:

— Папа, какую оценку получил?

— Тройку, — неохотно и смущенно отвечаю я.

— Эх ты! — осуждающе-весело говорит дочь. — А нас ругаешь, когда мы тройки приносим!

Мне неловко. Ищу подходящие слова в ответ. И, не найдя ничего лучшего, изрекаю в оправдание:

— Вырастешь, будешь иметь семью, может, тоже придется работать и учиться, тогда поймешь, что пятерки в моем положении зарабатывать нелегко.

Однако здесь мне хотелось рассказать не столько о себе и своих занятиях в вечернем техникуме, сколько о моем новом друге Леониде Алешкине, с разговора о котором я начал эту главу.

Человек, о котором я хочу рассказать, Леонид Алешкин, родом из Удмуртии. Биографии у нас во многом схожи, хотя шли мы по жизни разными дорогами. Интересы наши тоже кое в чем расходятся, но для взаимопонимания это не помеха. Работаем электрослесарями. Вместе учимся в вечернем техникуме.

А друзья мы больше по неудачам. Нам, например, часто не дается математика, прямо-таки «грызть» ее приходится. Мы к ней, она от нас. Вся беда в том, что на изучение этого предмета нам не хватает времени, отведенного программой.

По какому-то недоразумению наш мозг устроен по очень странной схеме. Если преподаватель объясняет какой-нибудь математический график, то у нас с Алешкиным возникает много вопросов: кто автор этого графика, какова от него польза народному хозяйству, почему какая-нибудь точка обозначена именно этой буквой, а не другой? И так далее и тому подобное. Мы понимаем, что вопросы эти не к месту, стараемся не задумываться над ними. Иногда нам это удается. Но вот опять какая-нибудь неясная деталь, пытаемся осмыслить ее, а преподаватель тем временем ушел в своих объяснениях далеко вперед, а мы опять отстали. Только и успеваешь с грехом пополам записать изложенное. Дома уже разбираешься что к чему. Иной раз после занятий математикой в голове от перенапряжения такая дребедень, что забываешь, где находишься.

Так, однажды преподаватель послал Алешкина за мелом в учительскую. И он долго не мог найти дверь, хотя в классе она одна. Сначала он открыл дверь книжного шкафа, но, увидев, что там нет выхода, метнулся к двери шкафа с учебными пособиями. Только огушительный хохот товарищей вернул ему равновесие, и он, смущенно улыбаясь, нашел «искомый объект».

Иногда, возвращаясь из техникума, мы невесело признаемся друг другу, что возраст наш для занятий не очень подходящ, что, пожалуй, пора бросить это дело, что проживем мы как-нибудь и так. Но жить «как-нибудь» не хочется, и опять мы набрасываемся на математику, забывая про еду и про сон.

Порой мне кажется, что Алешкин разбрасывается. Он интересуется буквально всем на свете. Часто после работы заходит в книжный магазин и никогда не уходит без покупки: приобретает техническую, агрономическую и прочую литературу. Недавно, например, купил пособие по засолке овощей.

— Для чего? — спрашиваю.

— А как же, буду готовить соленья по всем правилам науки.

И тут же применяет приобретенные знания на практике. В результате до невозможности пересоленные огурцы ему приходится есть одному. Морщится, но ест. Нельзя же, в самом деле, подрывать свой авторитет перед женой.

Сегодня он купил книжку о малярном деле.

— Ну а эту для чего?

— Буду красить в своей квартире пол по науке.

Я улыбаюсь. Улыбается и он, довольный покупкой. Потом с сожалением, серьезно добавляет:

— Как бы научиться жить без сна? Все-таки сон много времени отнимает.

Алешкину в его тридцать семь удалось сохранить прямо-таки детскую увлеченность. В его голове постоянно рождаются самые разнообразные идеи. Сегодня во время перекура он взял карандаш и, вычерчивая что-то на бумаге, восторженно проговорил:

— Думаю сделать из тонких труб батарею и присоединить ее к трубам парового отопления у себя в квартире.

— Это зачем же? — интересуюсь я.

— Положу батарею под матрац и радикулит буду лечить.

Многие фантазии Алешкина смахивают на чудачества. Но в каждой из них есть свое рациональное зерно. Вообще же алешкинская фантазия иногда помогает нам в работе. При ремонте трансформатора, к примеру, нужно было заменить разбитое масломерное стекло. Стекла не оказалось. Достать его поблизости тоже не удалось. Выручил Алешкин: заменил стекло полихлорвиниловой трубкой. И небьющаяся и прозрачная. Уровень масла виден отчетливо.

В текущем году Алешкин сконструировал и самостоятельно построил прибор для установок повреждения в электрических кабелях. Кабели прокладываются под землей, и часто, чтобы найти повреждение, приходится раскапывать большие участки. Аналогичные приборы применялись и раньше, но место повреждения они указывали далеко не точно. В приборе Алешкина устранены эти недостатки.

Преимущество его модели бесспорно: и труд рабочего упростился и экономическая выгода налицо.

Алешкин любит рассуждать. Иные это делают со скуки, повторяя одно и то же. Слушать их бывает скучно. В рассуждениях Алешкина всегда что-то новое, неожиданное.

Как-то мы помогали каменщикам, достраивавшим наш цех. Подносили кирпич. Каменщики ведут кладку. Вот Алешкин и увлекся рассуждениями по поводу преимущества печного дела. Оказывается, в молодости он был неплохим печником. Рассказывал он о сложенной печке красочно и страстно.

Слушая его, я живо представляю, как весело горят и потрескивают дрова в его печке, как красиво вьется голубой дымок над крышей и как при самом минимальном расходе дров такая печь давала наибольшую теплоотдачу. Взволнованный и плененный его рассказом, я сам загорелся страстью к печному делу. И мне захотелось сложить такую же чудо-печку и погреться на ней. Не беда, что Алешкин, увлеченный рассказом, забыл о переноске кирпича и мне приходится подносить его одному. Я боюсь сбить его с мысли и пропустить что-то новое, важное в этом рассказе.

В детстве он мечтал стать врачом. Но мечта так и осталась мечтой. Рано умерли отец и мать, пришлось идти в подпаски. Затем ремесленное училище, потом служба в армии.

В армии Леониду Алешкину навсегда полюбилась специальность электрика. Он готов был целыми днями разбирать или чертить какие-нибудь электрические схемы, но детские мечты о профессии врача не забылись.

Вскрываем трансформатор для ревизии. Осмотр узлов и деталей трансформатора должен производиться чистыми руками, таковы технические правила: влага и механические примеси могут нарушить диэлектрическую прочность трансформаторного масла. Алешкин тщательно моет руки, подвертывает рукава и, приняв позу хирурга, со строгим, как он считает, выражением лица обращается к мастеру:

— Николай Иванович, дайте мне медицинские перчатки и марлевую повязку!

— Какую повязку? — даже задохнулся тот от удивления.

— А вы представьте себе, что сейчас мы делаем серьезную хирургическую операцию. Я подаю команду: «Скальпель! Ножницы!» Вы подаете мне нужный инструмент, я оперирую.

Мастер сердито ворчит, мы хохочем. Операция началась весело. Работа спорится.

Однажды Алешкин подходит ко мне и говорит:

— Пойдем петь песни?

Сначала я подумал, что он шутит, но на всякий случай спросил:

— О каких песнях ты говоришь?

— Пойдем, пойдем! — улыбаясь во весь рот и подергивая меня за рукав, говорит он, радостно объясняя: — Наш коллектив своими силами готовит концерт к празднику. Приглашают всех, кто может с чем-нибудь выступить. Сегодня начинается первая репетиция. Ты поешь, я тоже люблю песни. Пойдем!

Иду за ним, увлеченный его энтузиазмом. В красном уголке люди уже собрались. Есть и руководительница хора и баянист.

— Ну, мальчики, на сцену! — весело, но повелительно приказывает руководительница.

Есть среди присутствующих и мальчики и девочки. Но есть тети и дяди. Но все словно помолодели, загорелись юношеским задором.

Строимся на сцене. Женщины впереди, мужчины за ними. Володя Смуглин развернул баян и, как говорится, «для начала, для порядка бросил пальцы сверху вниз». Начинаем разучивать новую песню. Начинаем робко, неуверенно, но постепенно увлеченные, уже поем в полный голос.

Учительница у нас молодая, но строгая. Зовут ее Валентина Ивановна. Ее подвижное, волевое, чуть нервное лицо меняется мгновенно, судя по обстановке:

то строгое и властное, когда мы невнимательны к ее командам, то доброе и улыбочное, когда она хочет нас ободрить, поднять наше настроение. Мы чувствуем, что концертом занялись серьезно, и стараемся относиться к делу по-серьезному. Репетиция закончилась успешно. Головы наши наполнены песнями.

Как потом выясняется, Алешкин даже во сне несколько раз начинал петь, встревоженная жена будила его и спрашивала:

— Леня, ты здоров ли?

Вечером на бригадном собрании мы принимаем сообразительности ударника коммунистического труда и быта. Перед нами бланки обязательств. Мастер нас поторапливает. Мы размышляем над содержанием этих обязательств, обсуждаем формулировки, стремясь точнее выразить на бумаге основной смысл взятых на себя задач. Алешкин вызывает меня на соревнование, я — его.

Я мысленно сравниваю письменное изложение принятых нами обязательств с действительными поступками в жизни. Оценивая поступки Алешкина, я прихожу к выводу, что он человек передовой. Он искренне заботится о товарищах. То, что хорошо изучил сам, старается передать другому и по-хорошему радуется, если это удалось. Мечтатель? Фантазер? Ну и что? Немало в нашем цехе полезного уже сделано благодаря его «фантазерству».

Или вот хотя бы такая мелочь: по инициативе Алешкина в цехе установили шкафы для хранения спецовок и он первым стал ездить на работу в чистой одежде, призывая к этому остальных.

В свободные минуты он с любовью рассказывает о своих детях.

— У меня сын приключенческими романами увлекся, — сообщает он. — Нет ли у тебя чего-нибудь приключенческого? Надо поддержать его увлечение. А вдруг польза будет?..

Мы с Алешкиным оба любим книги. Я поэтому часто удивляюсь, когда говорят о проблеме свободного времени. У меня его никогда не хватает. Кроме всех домашних, хозяйственных дел, на очереди непрочитанные или недочитанные книги, журналы. Они как бы подманивают меня своей таинственностью или знакомой, давно полюбившейся авторской фамилией и чем-то еще, чего сразу и не выразишь. И я, подобно командиру, оглядываю стройные ряды книг, по-хозяйски приказывая своим любимчикам не смущать меня и терпеливо ждать другого, более подходящего времени. Сейчас мне некогда. Накануне мы договорились с Володей Смуглиным пойти на лыжах, но Володя почему-то не явился к назначенному времени, я стал собираться один.

Солнечное утро зовет на улицу. Голубой залив в красивом снежном одеянье, сказочный, таинственный лес манят воображение, зовут к себе. Итак, на лыжи... Дышится легко, свободно. Свободно скользят лыжи. И воздух, и голубой залив, и тихий настороженный лес — все пребывает в ожидании весны. Март — пора надежд и свершений.

В эту пору не усидит дома ни один любитель-рыбак. Вот и сегодня их на льду множество. Подъезжаю к одному из них и узнаю старого знакомого — Ахмета Гараева. Распластавшись на снегу, лежит пойманная щука, возле нее несколько окуней.

— Клюет?

— Да не очень, — скупко отвечает Ахмет, чтобы не сглазить удачу. — Иногда окунишки клюют, а потом опять куда-то уходят. Но за ними я бегать не буду. Пусть они за мной бегают, — довольный, весело продолжает он.

— А щука-то хороша у тебя!

— Да, вроде ничего. Но пока одна только. Вторую упустил. Здоровая!.. Никак в лунку не пролезала.

Узнав, что мы с Володей Смуглиным работаем на одном предприятии, он попросил:

— Передай ему от меня большой привет и скажи: Ахмет сдержал свое слово.

— Не пьешь?

— Только по праздникам за компанию. Теперь и жена не ругается.

— Помирились вы с ней?

— Давно. Теперь она у меня ангел. Даже ревновать стала, когда я на других баб заглядываюсь. Она-то, голубушка, думала, что Ахмет совсем пропал, что не может он себя в руках держать. Но Ахмет все может, если захочет, дайте только срок, — чуть хвастливо добавил он и хитровато улыбнулся.

Пожелав Ахмету удачи, я тронулся дальше, по направлению к лесу.

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ

Вот и окончен вечерний техникум. Как с высоты, отвоеванной трудным боем, мы с облегчением и теплой грустью вспоминаем прошедшее, и смешными кажутся те минуты, когда мы, отчаявшись, собирались бросить учебу. Позади волнения, связанные с тем, что мы, как юноши, краснели у доски за плохо приготовленные уроки. Особенно трудно нам пришлось при дипломном проектировании, когда каждый старался выполнить свою работу с лучшими результатами. Одним из самых упорных снова оказался Леонид Алешкин.

Но, как и прежде, впереди всех шла наша гордость — Галя Ерохина. Природный ум и завидная интуиция позволяли ей выполнять работу легко и основательно. Со стороны казалось, будто Гале все дается без особых усилий, но когда она оперировала доказательствами, ссылаясь при этом на многие книги, которые помимо учебной программы успела проштудировать, то становилось понятно, какой ценой дается ей эта легкость. Алешкин, так и не сумев догнать Галю во время учебного года, решил не уступать ей первенства при защите дипломного проекта.

Сроки нас подхлестывали. Вместе с Алешкиным мы разобрали много схем релейной защиты, которые всем нам поддавались очень туго. Результаты получились обнадеживающими, но моего друга они не удовлетворили. Он еще раз «прощупал» все приборы релейной защиты, своими неожиданными вопросами ставя в тупик даже опытных специалистов-релейщиков.

Как трудно ни приходилось, дипломный проект Алешкин защитил на «отлично», уступив Гале лишь в том, что ей единственной из всей группы вручили диплом с отличием.

Казалось бы, наступило то желанное время, когда можно отдохнуть и развлечься. Однако вихрастая, тронутая сединой голова Алешкина снова полна идей и замыслов.

...Приятно побыть в весеннем лесу, послушать пение птиц, почувствовать пробуждение природы. Приятно вдвойне, когда выходной день не омрачен заботами и ты волен распоряжаться своим временем. Вчера мы отправились с сыном в знакомое местечко, где много болот, где встречаются тетерева, утки, лоси, рыси и зайцы. Через болото я нес Сережку метров сто на себе. Это болото не высыхает полностью даже в самое жаркое лето, сейчас же, весной, вода достигает коленей. Мы устремились по знакомой просеке, по которой я много раз ходил за грибами. Не каждый рискнет переходить это топкое болото, но за ним — в старом сосновом бору — есть заповедные места, где растут и белые грибы, и волнушки, и грузди.

Мы пересекли еще два небольших болота и увидели впереди крупного лося, который метрах в ста от нас спокойно переходил дорогу. Впервые увидев лесного красавца издалека, Сережка не поверил, что это лось. Однако буквально в десяти метрах от него мы увидели другого лося. Это была крупная самка без рогов, седая и рыжеватая, а голова ее чем-то отдаленно напоминала лошадиную. Она стояла возле дороги как изваяние и смотрела на нас, видимо, не собираясь уходить.

— А если лоси на нас нападут? — прошептал оробевший Сережка.

— Не нападут. Они сейчас мирные.

— А если нападут все-таки?

— Тогда на дерево полезем,— ответил я, и Сережка принялся высматривать подходящее дерево на всякий случай.

Мы присели на сухой полусгнивший ствол и стали наблюдать за поведением лосихи. Долго мы рассматривали и изучали друг друга, а когда лосиха убедилась, что опасность ей не грозит, она стала щипать молодые побеги. Казалось, она забыла о нашем существовании. Но ненадолго. Через короткие промежутки времени лосиха вскидывала свою красивую голову и смотрела на нас, прядая большими ушами: она то прикладывала их к голове, то, как радары, откидывала в стороны и прислушивалась. Мы сидели замерев, боясь неосторожным движением спугнуть дикое животное. Доверчивость и любопытство лосихи, как видно, росли, и она подошла ближе, доброжелательно вытянув красивую морду. Верхняя губа ее подрагивала, и казалось, она детально проверяла наше к ней отношение. Нам хотелось как-то объясниться с ней и доказать свои добрые намерения. Не зная, с чего начать необычное знакомство, Сережка принялся что-то ласково приговаривать. Лосиха будто поняла его, успокоилась и снова стала общипывать кусты. Так мы познакомились с ней в течение пятнадцати минут, а когда пошли, то лосиха вышла на дорогу и долго смотрела нам вслед, будто прощалась и благодарила за добрую встречу...



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЭДУАРД РОЗЕНТАЛЬ

★

ЖАН-ПЬЕР И ДРУГИЕ...

Этого слова нет ни в одном языке. Они изобрели его сами, и оно стало в их глазах олицетворением новой жизни, не похожей на все то, что они видели и знали раньше. С этого слова началось и мое знакомство с ними.

ГОБИДАГОБИДИБУ

— Гобидагобидибу!

Я обернулся. Мой женеvский приятель журналист Жан-Пьер Гом махал мне рукой и улыбался во весь рот. Таким оживленным я его давно не видел.

— Салют, Жан-Пьер! По какому поводу веселье? Получил прибавку? И что это за гоби... гоби...?

— О, это целая история.

...Мы сидели в летнем кафе, и Жан-Пьер объяснял мне, почему он вступил в молодежную коммуну.

— Мне надоела иерархия. Патрон мой бездарь, а я должен писать то, что ему нравится. Только потому, что он за это прилично платит. Деньги — свобода — деньги. Обрыдло. Вот и пошел в коммуну. Это недалеко, в предместье Женевы Труане. Родители Жильбера переехали во Францию, дом оставили ему. Он и организовал коммуну. Там я чувствую себя по-настоящему свободным. Впрочем, всего не объяснишь. Хочешь посмотреть сам?

Конечно же, я хотел. О молодежных коммунах много писали в газетах, они входили в моду, но все это было понаслышке. Хотелось увидеть собственными глазами.

— Ну, вот и хорошо. — Жан-Пьер достал свою визитную карточку и рядом с номером телефона крупно вывел: «Гобидагобидибу».

— Наберешь номер и, когда тебе ответят, произнесешь это волшебное слово, наш пароль, — двери коммуны перед тобой распахнутся настезь.

...Обеденное время по пятницам было отведено в Труане для дискуссий. Суббота — нерабочий день, и можно лечь позже. Мы примостились на табуретках за длинным дубовым столом — четыре женщины и пятеро мужчин, — хлебали какое-то варево: рис вперемешку с мясом и зеленью. Запивали красным бужоле. И говорили, говорили. Точнее, они говорили, а я как гость больше слушал. Говорили о том, что Урсуда в понедельник пересолила суп, а Раймон нечисто вымыл в среду посуду, о войне во Вьетнаме и о палестинской проблеме, о поп-музыке («Потрясающе!», «Мура»), свободной любви («Я — за», «А я — против») и наркотиках («Здорово!», «Отрава», «А почему бы и нет?»).

Урсуда прочитала свое новое стихотворение, которое назвала «Застольная дискуссия»:

Она права,
Он тоже прав,
И у меня свои резоны,
И падают на стол слова
Со звоном.

Сомнения — прочы
И я права,
И правы тот и та,
И все насытились словами
Досыта.

Стихи одобрили, согласились, что споры действительно нередко бывают зряшными. Часы пробили полночь. Вспомнили, что во вторник Лиз взяла для своих нужд автомобиль, в то время как надо было ехать на рынок за продуктами. Лиз осудили, и Жан-Пьер заговорил о необходимости уважать свободу чужого «я», которое преломляется через восприятие собственного «я». Потом ушел в дебри экзистенциализма. За столом позевывали, сначала исподтишка, потом откровенно.

...Жан-Пьер провожал меня, когда на улице уже брезжил рассвет.

— Ну как?

— Откровенно? Не могу понять, что у вас общего друг с другом. Ведь вы все такие разные и интересы, по-моему, у вас абсолютно разные.

— В этом вся соль. Наш общий интерес — не лезть друг другу в душу, уважать и терпимо относиться даже к тем принципам, с которыми ты не согласен. Мы докажем им, — он погрозил кулаком в ту сторону, где была Женева, цивилизация, — что все люди могут любить друг друга.

Встреча с «коммунарами» из Труане, о которой я рассказал, произошла летом 1971 года. И вот много времени спустя я вновь набрал знакомый номер. Ответил мужской голос.

— Гобидагобидибу, — бойко выпалил я.

Ответом было молчание.

— Гобидагобидибу, — повторил я уже менее уверенно.

Он не обругал меня и даже не переадресовал в сумасшедший дом — я всегда говорил, что со швейцарцами приятно иметь дело, — а вежливо объяснил, что «гобида» вся вышла.

Мне все же удалось разыскать Жан-Пьера, и мы снова сидели с ним в кафе, и он снова объяснял мне, на этот раз почему ушел из коммуны.

— Мы действительно оказались все разные. Через какое-то время начали раздражать друг друга. Иногда по пустякам. Да и «свободная любовь» сыграла свою роль. Лиз любила Раймона и уговаривала его не экспериментировать, но он все же убедил ее вкусить плодов от древа свободы. После нескольких сексуальных опытов Лиз порвала с Раймоном и ушла из коммуны; живет у матери, занимается «наивной» живописью. Раймон сошелся с Жанн-Андре и все время сожалел, что расстался с Лиз. Он тоже ушел из коммуны, увлекся живописью, а чтобы платить за студию, сочиняет и поет в бistro песни, в которых иронизирует над буржуазной семьей, протестует против загрязнения природы, высмеивает продажных политиков. Урсула уехала в Соединенные Штаты, вышла там замуж за какого-то актера, разошлась с ним, вернулась в Женеву и работает в библиотеке. По-прежнему пишет стихи. Жильбер сначала сдавал комнаты, потом продал дом и решил основать туристское агентство для хиппи. Вложил пятьдесят тысяч франков в покупку «лендровера» и рекламу своего предприятия, но прогорел. Уехал в Латинскую Америку открывать «новые горизонты».

— Ну а ты сам?

Жан-Пьер невесело усмехнулся:

— Я «обуржуазился». Работаю в международной организации, занимающейся проблемами детского воспитания. Теорию совмещаю с практикой. Обзавелся семьей, воспитываю ребенка... И все же... Впрочем, тебе трудно это понять, я знаю, у вас дух коллективизма не бог весть какая невидаль. А у нас он редкость. Зато эгоизма хоть отбавляй. Так вот, коммуна освободила меня, и надеюсь — надолго, от душевной черствости. И за это я ей признателен. Конечно, все зависит от того, зачем ты идешь в коммуны. Кое-кто надеется укрыться там от бытовых трудностей, найти гарантированный прожиточный минимум. Немало и таких, которые видят в коммуны бесплатный бордель или приют для наркомании.

И все же большинство бежит в коммуны от пошлости и черствости бытия. Урсула об этом неплохо сказала:

Отбрось свое прошлое,
Изваяй себе новое тело,
Вдохни в него новый дух
И праздный возрождение сердца —

Жан-Пьер поднялся. — Ну, мне пора. На службу. — И уже выходя из кафе, обернулся. — Но ты все-таки не суди о коммунах только по нашему опыту. Мы действительно были все очень разные. И коммуна наша была примитивной.

СВОБОДНЫЙ АЛЭН

Я и не судил. К тому же после посещения Труане коммунальный опыт меня заинтересовал, и я познакомился со многими другими коммунами.

...Небольшая ветхая вилла в женевском районе Льотар, неизвестно каким чудом уцелевшая среди современных нагромождений бетона и стекла. Всего пять членов коммуны. Двое — он и она — бывшие хиппи, побывавшие паломниками в Индии. Живут одной семьей.

— Ваши цели?

— Помогать всем, кто в этом нуждается. Наркоманам, например. Тем, кто порвал с семьей. К нам в коммуны постоянно приходят молодые люди. Одни уходят, другие занимают их место. Помимо нас, здесь всегда живут временно еще четверо-пятеро. Трудно сказать, долго ли просуществует наша коммуна, но мы убеждены, что коммунальная форма жизни — это то, что нужно обществу. Она изменяет людей к лучшему. И даже если мы в будущем будем жить вне коммуны, мы все равно уже другие люди, не те, что были до нашего эксперимента.

...Коммуна в зеленом районе Колоньи. Три женатые пары. Все близки по профессии: биолог, зоолог, три врача, логопед.

— Что заставило вас объединиться в коммуны?

— Поиски нового качества жизни, которое помогло бы избежать всеобщей дегуманизации общества. Поиски новых отношений между полами. Уход от изоляции и одиночества, присущих современной буржуазной семье. И главное — попытка по-иному осмыслить процессы труда и свободного времени. Одним словом, вернуть жизни утраченный смысл.

...Коньком коммуны в женевском пригороде Орне был дзэн-буддизм. Здесь группа юношей и девушек, полных молодой энергии, день-деньской занималась умерщвлением плоти. С помощью песнопений, молитв, специальной ходьбы «кин-ин» и монотонного жужжания. «Коммунары» объясняли мне, что выразить истину дзэн словами невозможно, что она открывается лишь в моменты высшего внутреннего озарения. И что в основе дзэн лежит идея спасения, которое достигается путем «слияния с миром» через «смерть собственного «я».

...Из сельскохозяйственной коммуны в пригороде Цюриха мне особенно запомнился плакат, висевший в кухне: «Нет — машинам и химическим удобрениям! Да — лошадям и навозу!» И еще четырехлетний Алэн. Он действительно пользовался полной свободой и, пока я беседовал со взрослыми, делал все что хотел: мазал себе лицо печной сажой, дергал за хвост кошку, выпил из ее блюда молока. А потом куда-то исчез. Мы нашли его в сарае, пристроенном к ферме. Он мирно спал на соломе, а коммунальная коза Амалфея, названная так в честь своей олимпийской прародительницы, вскормившей бога Зевса, лизала его льяные волосы.

Мать Алэна Одиль удовлетворенно резюмировала:

— Мальш совершенно освобожден от буржуазных комплексов.

...Старый дом в местечке Драян. Коммуна «Свободные подмостки». Ее обычный состав — шесть молодых людей, но в комнатах всегда тесно: постоянно в

доме толчется до десятка «приходящих». Повседневная жизнь не регламентируется никакими твердыми распорядками. Никто нигде не работает. Совместно конструируют примитивные декорации, шьют театральные костюмы, пишут пьесы, репетируют их. Время от времени дают спектакли на улице или в каком-нибудь пустующем помещении. Как-то явочным порядком заняли церковь в центре Женевы и дали несколько представлений. Эстетическое кредо — искусство для искусства.

— Каковы источники вашего творчества?

— На первых порах это были мистицизм и религия. Сейчас мы творим под воздействием добровольно принимаемых наркотиков. В основном марихуаны. Без этого нам не удалось бы провести целого ряда смелых художественных экспериментов.

Один из таких экспериментов — раздевание на публике и исполнение театральных инсценировок в чем мать родила.

«Свободные подмостки» просуществовали недолго. После нескольких приводов в полицию коммуны закрыли. Официальная версия — отсутствие гигиены.

Впрочем, и другие коммуны, о которых я говорил, ненадолго пережили «артистическую». Их не закрывали — они полопались сами. Как пузыри на асфальте во время летнего дождя. Но появились другие. Их не стало меньше, о них просто пишут меньше, они перестали быть сенсацией. На газетных полосах рядом с анонсами о продаже недвижимой собственности и предстоящих бракосочетаниях прочно обосновались объявления о том, что такой-то или такая-то в возрасте не старше тридцати пяти лет срочно предлагает желающим (можно с детьми) объединиться на предмет создания коммуны. Иногда ставятся особые условия: желающие должны обладать «глубоким внутренним содержанием» или, на худой конец, просто интеллектом. Некоторые любители экзотики предлагают даже проекты заселения необитаемых островов Тихого океана или Атлантики.

НОВАЯ УТОПИЯ

Молодежные коммуны служат для западных публицистов объектом иронии и насмешек. Часто вполне заслуженных.

Мне самому тоже встречались «коммунары», как две капли воды похожие на Андрея Семеновича Лебезятникова из «Преступления и наказания», «одного из того бесчисленного и различного легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же ополнить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда самым искренним образом служат». Андрей Семенович мечтал об устройстве «новой «коммуны» где-нибудь в Мещанской улице». Или такие, как знакомая Лебезятникова Варенц, которая «двух детей бросила, разом отрезала мужу в письме: «Я сознала, что с вами не могу быть счастлива. Никогда не прошу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня, что существует другое устройство общества, посредством коммун. Я недавно все это узнала от одного великодушного человека, которому и отдалась, и вместе с ним завожу коммуны».

При всем том карикатурные примеры не могут исказить истины. А истина состоит в том, что коммуны — далеко не простая прихоть западной молодежи, как это нередко представляется. По сути дела, это продолжение поисков, начатых в 60-е годы. Исходный момент их совершенно очевиден: значительную часть юношей и девушек не устраивает буржуазный образ жизни с его базовым принципом купли-продажи. Молодые люди недовольны системой образования, готовящей кадры для обслуживания монополий. Они не понимают смысла своего труда, не видят в нем социальной пользы, быстро теряют интерес к работе, цель которой сводится все к тем же деньгам. Сам труд для них теряет всякое творческое содержание и тоже превращается в объект купли-продажи.

На мой вопрос о причине ее ухода из дома Урсула из Труане вместо ответа показала свое стихотворение.

Это горькая исповедь о духовном падении в мире, где выросла она и где необратимо скользила:

К безумному отчаянию
 Все ниже и ниже,
 Все быстрее и быстрее.
 Жизнь убегает от меня,
 И я не могу ее догнать.
 Улыбка становится маской,
 А голова — инструментом труда.
 Лишь душа продолжает кричать:
 Но ведь человек прекрасен!
 Устала я...
 Я снижаю на письменный стол.
 И поздно вечером
 Меня подбирает уборщица —
 Несколько безвольных ключков —
 И бросает в корзину для бумаг.
 Меня больше нет,
 Мой пламень погас...
 Да здравствует Труд
 Ради единственной вечной ценности —
 Ради презренных бумажек,
 О, прости меня, я хотела сказать: денег.

То же самое, только в прозе, я слышал от многих молодых людей в самых различных коммунах. Мишель, с которым я познакомился в 1973 году в одной из французских коммун, сказал об этом, пожалуй, лучше всех:

— Понимаешь, по складу ума я, вероятно, аналитик. И потому не могу не анализировать своей родословной и собственного места в ней. В моем роду все мужчины по отцовской линии — адвокаты. Прапра был приближенным Наполеона. Прадед пользовался большой известностью. Дед был хотя и попроще, но тоже имел свою контору и свободную практику, кого хотел, того и обслуживал. Папа служит боссу и делает то, что тот ему приказывает. Постоянно охает и жалуется на свою судьбу, вспоминает старые добрые времена, но тянет ляжку. По инерции. И потому, что не мыслит себе, как можно расстаться с жизненным комфортом и достатком, особенно в нынешние времена, когда недолго лишиться и такой работы. Что касается меня, то я лучше всю жизнь буду мыть полы в коммуне, чем обслуживать господина патрона. Отец в ужасе и требует, чтобы я объяснил ему, почему удрал из университета. А я вовсе и не удрал, а ушел с высоко поднятой головой. Ему этого не понять. Так же как не понять и того, что, мастера всякие безделушки и продавая их на улице, я по-настоящему счастлив. Потому что свободен и расцоряжаюсь собой сам.

Протест Мишеля — это в чистом виде бунт интеллекта, не всегда ясно осознанный, против процесса растущего отчуждения, падения престижа свободных профессий, превращения врачей, адвокатов, профессоров в наемных прислужников монополий. И не случайны молодые «коммунары», как правило, дети тех же врачей, адвокатов, профессоров, с таким обостренным интересом относятся к художественному творчеству. Во всех без исключения коммунах в большом почете гитары и ударные инструменты, кисти и мольберты.

Характерно и другое: за редким исключением «коммунары» в своих художественных исканиях обращаются к различным вариациям авангардистского искусства. С какими только диовинными «новыми» направлениями творчества я не познакомился в различных коммунах: и с «полигональным», и с «импенетрабельным», и с «семиорганическим», и с «гиперструктуральным». И какой только попузыки не наслушался! Пока наконец не осознал, что все это не случайно и что подобные искусства сродни самой внутренней сущности коммун.

Хорошо известно, что авангардистское искусство — и его представители сами об этом неоднократно заявляли — является протестом против принижения

творческого начала жизни, сведения ее к тупому потребительству. Но протестуя против аморальности капиталистической действительности, художник-авангардист изменяет с помощью различных формалистских трюков не саму действительность, а свое индивидуальное видение этой действительности. Иными словами, борясь (пусть даже искренне, это существа дела не меняет) против капитализма, он практически приспособляется к нему.

Точно так же обстоит дело и с коммунами. Резкий протест «коммунаров», как, впрочем, и предшествующих им хиппи, против мерзостей капитализма не исключает их приспособления к буржуазному обществу. Само возмущение молодежи пронизано характерными чертами буржуазной культуры: оно негативно, эмоционально, индивидуалистично и, как это ни парадоксально, антиинтеллектуально. Протест интеллекта против буржуазного образа жизни и буржуазной культуры оборачивается в коммунальной форме отказом от интеллекта. Рост сознания, развитие интеллекта — необходимое условие успешной борьбы против капитала. Для того чтобы приспособиться к буржуазной жизни, этого не требуется.

Гордо покинув буржуазный университет, Мишель отказался и от радикальных методов борьбы против антиинтеллектуализма буржуазной жизни. Ибо коммунальному движению недостает именно радикализма: оно не требует ликвидации причин, лежащих в основе этого антиинтеллектуализма, а проявляется в индивидуальной эксцентричности, в моде, в сексуальных отношениях, в наркомании, в поисках новой религии, нового искусства. Лозунги на стенах коммунальных кухонь и коридоров ниспровергают буржуазную сытость. «Коммунары» пытаются, выработав новые «правила игры», жить по-новому. Но «новое» за неимением опыта и знаний нередко оборачивается не только старым, но даже и реакционным отрицанием этого старого. «Нет — машинам и химическим удобрениям! Да — лошадям и навозу!»

К тому же — и об этом уже говорилось — коммуны родились не на голом месте, а были продолжением поисков, начатых молодежью Запада значительно раньше, поисков, зачастую тоже неоднозначных и непоследовательных.

Изолированный от массового рабочего движения, анархистский штурм буржуазного общества, предпринятый определенной частью молодежи капиталистического Запада в конце 60-х годов, успеха не принес. И, как это бывает в подобных случаях, на смену ему пришел период разочарований, тяжелых раздумий. Стала модной такая форма протеста, как массовый уход из общества, разрыв с ним. Это был медовый месяц хиппизма с грандиозными фестивалями поп-музыки.

Коммуны — новая форма протеста, вобравшая в себя и элементы студенческого бунтарства и элементы хиппизма. Это еще одна утопическая попытка изменить общество. На сей раз не ломая его и не уходя из него, а создавая эталоны новых социальных отношений внутри самого общества. Не видя ясной цели, молодежь на собственном опыте стремится обрести политическое самосознание, пытается прийти к истине. Поиски эти заканчиваются по-разному.

СМЕРТЬ ЖАН-ЛУИ...

Из всех молодежных коммун, которые я знаю, пожалуй, самой интересной была коммуна в Преверанже, местечке, расположенном в девяти километрах восточнее Лозанны. Я посетил ее и в прошлом году, будучи наездом в Швейцарии.

Опять кухня — неизменное место дискуссий. И широкий стол без скатерти, на котором стояли миски с салатом и ветчиной, бутыл с красным вином и корзина с серым деревенским хлебом.

Из тринадцати членов коммуны в этот вечер в доме были только шестеро: Клод Андре, которого я знал раньше, и его товарищи Клодин, Пьер, Нелли, Марианна и еще один Пьер. Меня интересовала эволюция этой стойкой коммуны,

существующей здесь с 1971 года. Молодые люди охотно отвечали на мои вопросы.

Больше говорил Клод Андре:

— Причина столь продолжительной жизни нашей коммуны в том, что она имеет ясную политическую цель: изобретение нового общества, без угнетения и эксплуатации.

В различных вариациях слово «изобрести» Клод повторил во время своего повествования не однажды: изобрести новый образ жизни, изобрести новую идеологию, изобрести новый тип политической организации...

А начинали «коммунары» из Преверанжа с крайнего экстремизма. В период образования коммуны ядро ее составляли воинствующие гошисты из политической ячейки «Рюптюр». В переводе с французского это означает «разрыв». Разрыв с традиционными буржуазными ценностями, борьба против них. И сейчас еще Клод и его друзья с удовольствием вспоминают, как атаковали в 1972 году здание американского консульства в Берне, швыряли в него бутылки с зажигательной смесью.

Пьер-первый выдавил из тюбика на хлебный ломоть горчицу и смачно произнес, растягивая слова:

— Сто пятьдесят тысяч франков материального ущерба!

Вспомнили демонстрацию протеста в Лозанне против повышения цен на билеты в кино, которая закончилась потасовкой с полицейскими. Клод попал тогда на некоторое время в тюрьму.

Потом вспоминали о периоде увлечения хождением в народ. Интересовались жизнью рабочих, а Пьер-первый, как будущий врач, даже участвовал в разбирательстве дела о производственной травме, полученной испанским рабочим. Тогда же выдвинули лозунг: «Несчастный случай на работе — легальное убийство!» После катастрофы на плотине Маттмаркт, где погибло шестьдесят четыре рабочих, устроили митинг протеста. Одилъ и Клодин несли плакат «Весна! Борьба прекрасна!».

Пьер-второй слушал воспоминания своих друзей молча. Время от времени неодобрительно качал головой. Потом заговорил:

— Все это было пустым балаболом. Лично я не участвовал ни в каких политических группировках и демонстрациях. Меня поражало, как можно раздавать листовки незнакомым людям, абсолютно не интересуясь, что те думают и как воспринимают содержание листовок. Это было своего рода эгоцентризм: думали не о движении в целом, а только о себе в нем. Если хотите, о своем удовольствии. И бунтовали не потому, что понимали, для чего бунтуют, а потому что это было модно и потому что так делали другие. Идиотизм!

Клод отпил глоток вина, вытер салфеткой губы.

— Да... период политической эйфории. Так продолжалось до тех пор, пока из коммуны не ушел Момо и не покончил самоубийством Жан-Луи. С тех пор все пошло наперекокс.

...Жан-Луи, по профессии физик, из всех членов коммуны получал самую большую зарплату и обладал самой хрупкой нервной системой. Он очень остро переживал все перипетии коммунальной жизни, болезненно пытался осознать смысл подобного существования, разобраться в беспорывно возникавших житейских и идеологических противоречиях. Периоды возбуждения и активной деятельности сменялись у него периодами тяжелой депрессии. «Свободная любовь» и наркотики тоже делали свое дело. В период одной из очередных депрессий он написал плакат «Делай все что хочешь!» и выбросился из окна третьего этажа.

Жизнь коммуны была далеко не безоблачной.

...И «ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ» МОМО

С Момо (так в коммуне звали рабочего парня Клода Моттье) я встретился еще до поездки в Преверанж, и он подробно рассказал мне, почему порвал с коммуной.

— Сначала мне было интересно. Мы все вместе пытались осмыслить события, происходящие вокруг нас. Свободные сексуальные отношения казались проявлением личной свободы. К тем, кто курил марихуану, относились вполне лояльно. Но постепенно во мне нарастало непонятное раздражение против такой жизни. Восемь часов я проводил на заводе среди товарищей, которые не выдумывали проблем, а решали действительно важные для них вопросы. И мне было странно слушать, как мои друзья по коммуне, совершенно не знавшие жизни рабочего класса, требовали навязать ему свою точку зрения. Я пытался возражать против этого, говорил, что рабочие даже не захотят с нами разговаривать на эти темы, что им чужда подобная игра в бирюльки. В ответ меня обвиняли в узком синдикализме. Потом... история с американским консульством. Я осудил экстремистские действия, потому что знал: обыватели смотрят на нас как на бандитов и отребье, а это компрометировало идею, что устраивало правых. Клод Андре говорил: плевать, что думают другие, важно то, что мы сами делаем и думаем о себе.

Я чувствовал, что у Момо наболело на душе и он тяжело переживал разрыв с приятелями из Преверанжа. Рассказывая, волновался, тер ладонью лоб, как бы собираясь с мыслями.

— И вот еще. Сам я из простой семьи и чувствую, что мне не хватает знаний, что я мало читал. Хотелось наверстать упущенное. То же видел у моих товарищей-рабочих. А в коммуне происходило что-то непонятное. Жан-Луи, Изалина, Пьер, Клод росли в интеллигентных семьях, были начитанны, им все давалось легко. Особенно выделялся Жан-Люк. Когда мы основали коммуну, он привез в Преверанж массу книг. Он заканчивал тогда философский факультет Женевского университета и читал Гегеля, Хейдеггера, Канта, Бергсона, Маркузе. А в свободное время любил играть на клавишине Шопена, Бетховена. Каждая беседа с ним давала мне очень много. А потом все вдруг изменилось. Во время одной из воскресных дискуссий наши интеллектуалы решили, что их культура буржуазна в самой ее классической форме и что революционерам такое не пристало. Это послужило сигналом к началу «культурной революции». Жан-Люк очистил свою комнату от книг, продал клавишину, заменил очки на контактные стекла и заговорил на ужасном жаргоне. А потом пошли всякие дацзыбао, настенная писанина, где каждый выражал свои особые мысли. Изалина и Жан-Луи взывали в своем плакате к инициативе масс, которая должна проявиться в уборке коридора первого этажа. Другой дацзыбао бичевал Марка, отказавшегося мыть посуду. Марк ответил в своем дацзыбао что-то насчет мазохизма, не помню уже, в чем там была суть. На одном из дацзыбао кто-то анонимно вывел: «Катитесь вы со своим Мао и культурной революцией к...» И вся эта кутерьма громко именовалась прямой демократией и непосредственным участием в революционном процессе.— Клод Момо снова потер лоб и закончил: — Короче говоря, всё начали сводить к абсурду. Игра зашла слишком далеко. И после очередного бурного диспута я собрал чемодан и ушел. В конце семьдесят четвертого года участвовал в учредительном съезде молодых коммунистов Швейцарии. Иногда навещаю в Преверанж, судьба членов коммуны мне не безразлична. Сейчас они ищут новые практические пути и вырабатывают новую маргинальную философию, как они говорят, философию тотального человека.

«НОВАЯ» ФИЛОСОФИЯ

И вот сидя за обеденным столом на вилле в Преверанже, я поинтересовался, в чем же состоит суть этой новой коммунальной философии. Опять говорил Клод:

— Мы хотим революционизировать действительность уже сегодня, немедленно. Коммунисты в теории говорят правильные вещи, но на практике сами исполняют роли, предписанные им организацией, следовательно, они интегрированы в буржуазной системе, в капиталистической структуре.

Клода поддержал Пьер-первый:

— Вот коммунист Форель из Ниона, вы его знаете, лечит бедных и не берет с них платы, но он не ставит под сомнение саму медицинскую систему, не изменяет буржуазных иерархических отношений между врачом и больным, не революционизирует эту систему. Понятно?

— Не совсем. Вы, Пьер, тоже ведь врач. Не правда? И как же вы революционизируете систему и строите свои отношения с вашими пациентами?

— Я еще не совсем врач, без пяти минут, но это не важно. Я хочу, чтобы больной сам понял технику лечения своей болезни и сам же мог ее лечить. Врач и больной должны разрушить иерархические барьеры и общаться на равных.

— Если я вас всех правильно понял, вы не только против капиталистической организации, но и против всякой организации вообще? Против университета, школы?..

— Мы считаем, что всякая жесткая организация неизбежно сводится к бюрократизму, иерархии.

— Какова же ваша позитивная альтернатива?

— Коммуна. Мы маленькая горсточка песчинок в вековой машине угнетения, но ведь и песчинка может остановить механизм. Мы экспериментируем. Любовь, гашиш, труд — все это аккумулятировалось в нашей коммуне. Секс выступает гарантом социального успеха, а политическая экономия находится в прямой зависимости от экономики либидинальной. Наркотики — это оружие освобождения. Они помогают нам распознать, что делается внутри нас. И, как следствие, коснуться механизмов, блокирующих сознание. Здесь, в коммуне, рождается новый тип личности.

Такова эта новая коммунальная философия, в которой политическое самоуправление достигается с помощью трансцендентного подсознания и сексуального инстинкта либидо. Впрочем, никакая она не новая и не коммунальная. Хотя возможно и даже вполне вероятно, что сами «коммунары» считают ее своей. Торопясь изменить действительность, они редко оглядываются по сторонам, чтобы присмотреться к этой действительности. Они — за свержение капитализма, но против серьезной подготовки к этому; за немедленные качественные изменения без накопления количественных. Но подобное возможно только на словах и в воображении.

В свое время Маркс писал: «Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы».

Это верно не только в отношении сил природы, но и сил общественного развития. Непознанные эти силы могут быть преодолены только в воображении и с помощью воображения. Оттого, что к воображению подставляется эпитет «творческое», оно не перестает оставаться иррациональным мифом. Разумеется, творческое воображение необходимо революционеру для преодоления старого социального порядка, для выхода из него. Без творческого воображения нет перспективы. Однако возведенное в абсолют и не имеющее опоры в теории, оно теряет свою силу и изливается потоком словоблудия, в котором потонуло немало прекрасных исторических помыслов.

Испытывая страх перед любой рациональной теорией и политической организацией, молодые «коммунары» все свои планы и надежды связывают с «новой» личностью, свободной от рамок всякой организации. При этом они отвергают не только роли, предписываемые личности капиталом, но и роли, которые в соответствии с коренными изменениями социально-экономической и политической структуры общества устанавливает социализм.

Им и невдомек, что такое огульное отрицание, основанное на искреннем убеждении в приоритете личности перед коллективом, на самом деле приводит не к освобождению личности, а к ее принижению, что анархистская «свобода» уничтожает реальную свободу личности и что они со своей теорией «активной пассивности» служат отличной мишенью для господствующей в мире капитализма идеологии, легкой добычей ее охранителей.

Не имея никакого теоретического багажа, никакой собственной шкалы социальных ценностей, молодые «коммунары» заполняют свое миротворчество ценностями, выклеванными из всевозможных модных книжек и брошюр. Клод Андре употребил именно это слово — «клевать»: «Мы выклевывали из книг два-три элемента, соответствующих нашему образу мышления».

Клевали из модного Герберта Маркузе, не менее модного Чарлза Рейча, гошиста Кон-Бендита, американского «хиппи» Джерри Рубина, из цитатника Мао Цзэ-дуна. Приобщались к их мыслям и к их терминологии. В воскресных дискуссиях все чаще говорили об «одномерном рабочем классе», якобы интегрированном в системе, о «маргинальных интеллигентах», бросивших вызов «репрессивному обществу» и борющихся за «тотального человека», о «трансцендентном сознании», «либидинальных инстинктах», «трансформации сексуальной энергии в политическую», сирессовывали мысли в примитивные дацзыбао и верили, что вырабатывают свою собственную философию, участвуют в революционном переустройстве жизни.

Они убеждены, что создают свой антимир со своей контркультурой. Противопоставляют себя признанному эталону «делового человека», отчужденного, коррумпированного, антигуманного, который тратит жизненные усилия на крысиные гонки за успехом. Облекая свой протест в эстетические и сексуальные формы, они протестуют и против средств достижения «успеха» — холодной рациональности и крайнего индивидуализма. И вместе с тем пытаются изобрести свою параллельную культуру, которая, по их мнению, должна создать нового, гуманного человека и разложить капитализм изнутри. Славные помыслы, негодные средства.

Во всяком случае, глядя на «коммунаров» из Преверанжа и слушая их рассказы о своей жизни, я никак не мог избавиться от ощущения: при всей внешней активности они очень напоминают своих сверстников из коммуны в Орне, которые умерщвляют с помощью дзэн-буддизма собственное «я» и уходят от реальной действительности. Чем не без выгоды для себя пользуются «реалисты», стоящие обеими ногами на почве капиталистической действительности и кровно заинтересованные в ее защите. Как показала практика бурного молодежного десятилетия, капитализм готов принять любое «творчество», абсорбировать любой протест. Лишь бы он не выходил за абстрактно-эстетические рамки. Или за рамки «сексуального взрыва». Такие протесты не опасны буржуазии. Больше того, они служат при случае отличным клапаном, через который можно выпустить пар из чрезмерно накалившегося котла.

МАНИПУЛИРУЕМЫЕ «АНТИМИРЫ»

Как-то в беседе с обитателями одной из женевских коммун я поинтересовался, не кажется ли им, что капиталистические монополии отнюдь не содрожались от их протестов. Что протестуя, в частности, против традиционных семейных канонов или выступая за «раскрепощение секса», они, не замечая того, цитируют модных буржуазных психоаналитиков и сексологов. «Коммунары» искренне удивились подобной постановке вопроса и энергично протестовали.

Труднее поверить в искренность «удивления» по этому поводу людей вполне взрослых и имеющих богатый жизненный опыт. Я имею в виду некоего господина А. О. из солидной швейцарской газеты «Нойе цюрхер цайтунг», который написал пространную рецензию на мой очерк «Хиппи и другие», опубликованный в свое время в журнале «Новый мир»¹. По мнению господина А. О., автор очерка в «Новом мире» «хочет навязать читателю мысль, будто в распоряжении монополий имеется некий дьявольски изощренный механизм, который с помощью легиона социологов и психологов изучает устремления молодого поколения, анализирует их и использует в своих политических и экономических целях». Ну при чем тут, скажите на милость, монополии?

¹ «Новый мир». 1971, № 7.

В самом деле, при чем?

«Вот уже несколько месяцев я занят увлекательнейшим делом. Я пытаюсь разобраться в проблеме, которая за неимением лучшего термина получила название «молодежная революция»...» Эти слова — из американского журнала «Сатердей ревью». А принадлежат они Джону Рокфеллеру-третьему, монополисту и мультимиллионеру.

Исследуют монополии молодежные проблемы. И поощряют такие исследования. «Перед нами открывается уникальная возможность, — говорит далее Рокфеллер, — соединить в одно целое наш возраст, опыт, деньги и организацию с энергией, идеализмом и социальным сознанием молодых».

О целях подобной операции по соединению денег, опыта и организации капитала с социальным сознанием молодых, предлагаемой известным миллионером, догадаться нетрудно. Однако и тут находятся серьезные люди, которые изумленно всплескивают руками. Интерес Рокфеллера к молодежной проблеме отнюдь «не служит доказательством сознательного политического оскопления молодежи». Так утверждает известный западногерманский «советолог» Клаус Менерт в своей книге «Москва и новые левые». Ссылаясь в этой книге на тот же очерк из «Нового мира», Менерт предрекает, в частности, сарказму и осмеянию тезис о направленном манипулировании сознанием молодежи в целях отвлечения ее от политики к проблемам свободной любви. «Словно пелена с глаз упала! — восклицает «советолог» из ФРГ. — Как это нам самим не пришло в голову подобное объяснение?»

Святая простота!

Было бы, разумеется, примитивным считать, что идеологи монополий изобретают для молодежи какие-то специальные, в том числе и сексуальные, потребности. Дело здесь несколько сложнее. Руководствуясь своей классовой интуицией, они улавливают малейшие нюансы молодежных настроений и затем интерпретируют их определенным образом, превращают их в искусственные потребности, осуществление которых компенсирует чувство неудовлетворенности молодых людей.

Так, стихийное и глобальное отрицание бунтующей студенческой молодежью всех авторитетов — отца, профессора, властей — было подхвачено на лету неофрейдистами, которые интерпретировали бурный май 1968 года как проявление эдипова комплекса, как трансформацию ущемленного полового инстинкта в политическую энергию. Согласно этим теориям, все сексуальные нормы до последнего времени носили на себе репрессивный характер и с помощью таких буржуазных изобретений, как семья и брак, подавляли эротическую энергию личности. И служили в руках правящего класса инструментом политического подавления и подчинения масс.

Только разбив оковы сексуальных ограничений, утверждал один из наиболее модных представителей подобных теорий, американский профессор Чарльз Рейч, индивид сможет вернуть себе подлинную свободу действий и одновременно стать «естественным» человеком, который не потерпит над собой никакого политического насилия. Рейч так и говорит, что подлинно свободен только тот, кто может дать полный и свободный выход своим сексуальным инстинктам: труд для него становится удовольствием, а существование — радостью.

Иными словами, это означает, что рост «сексуального потребления» увеличивает степень свободы индивида даже в рамках «репрессивного общества». И в этом смысле коммуны, где молодежь может вовсе предаваться «сексуальной свободе», служат лучшей альтернативой буржуазному обществу. Ведь именно в коммунах такие общественные ячейки, как семья, и такие общественные институты, как брак, теряют смысл.

С точки зрения капитала было бы просто классовым грехом не использовать подобных концепций, отвлекающих внимание от социальных проблем, отводящих недовольство молодежи в русло борьбы за освобождение от сексуальных табу и ожесточающих такую борьбу с подлинной революцией.

«Баррикады на улицах — результат разбаррикадирования сексуальных ин-

стинктов!» Этот тезис сформулирован Клодом Андре. Но помогли его сформулировать ученые интерпретаторы молодежного протеста. Притом без помощи какого-либо «дьявольски изоциренного механизма». Но, разумеется, с помощью крупнейших издательств, редакций газет, радиостудий и телевизионных компаний, которые широко распахнули свои двери перед подобными интерпретаторами.

А почему бы и нет? — возражают буржуазные оппоненты. Что плохого в том, что «свободный» рынок живо откликается на потребности молодого поколения? На то он и свободный, этот рынок. Хотите дзэн? Пожалуйста. Контркультура? Секс? Пожалуйста. При чем здесь направленное манипулирование?

Но часть западной молодежи живо интересуется марксистской теорией. И хочет знать о ней из первых рук, из трудов писателей-марксистов. Вот тут хорошо смазанный механизм «свободного» рынка начинает давать перебои и буксовать. Есть потребность в знании научной теории общественного развития? А так ли это уж нужно? Не лучше ли почитать некоторых модных интерпретаторов марксизма? Пожалуйста. И вновь механизм работает на полных оборотах.

«Интерпретаторы» убеждают молодых людей, что на смену отмирающим концепциям «разума» и «логики» приходят живые понятия «чувств» и «импульсов». Мышление они объявляют поверхностной формой отношения к миру, тогда как подсознательное, иррациональное, вымышленное провозглашают глубоким и истинным.

Книга французского социолога Жана-Франсуа Ревеля «Ни Маркс, ни Иисус» рекламировалась буржуазной прессой как один из бестселлеров века. «Кто говорит «революция», — пишет Ревель, — тот имеет в виду феномен, который невозможно осмыслить, пользуясь старыми концепциями. Основа и залог революционного сознания — это способность к вымыслу, результат коллективного воображения... — И далее: — Мерки XIX века, применявшиеся при делении общества на классы, к нынешней ситуации явно неприменимы». Этим меркам придерживаются лишь «догматики, мыслящие традиционными категориями политической борьбы». В то время как «нам нужна не столько политическая революция, сколько антиполитическая». «Самое неприятное, что может случиться с молодежью, — предупреждает Ревель, — это увлечение идеологиями XIX века», ибо «творческое начало тогда будет подавлено желанием согласовать революционное творчество с концепциями, возникшими в период, который по отношению к современной революции можно считать доисторическим».

Не столь трудно догадаться, против какой идеологии XIX века выступает Жан-Франсуа Ревель. Конечно же, против марксизма. Но что предлагает он взамен? Поскольку, по его мнению, «основным фактором революции, в которой мы сейчас больше всего нуждаемся, должно быть уничтожение патологической агрессивности», постольку молодежь должна «творить революцию, не предаваясь размышлениям и рассуждениям о ней».

Все логично. Раз в основе революционных преобразований лежит вопрос патологический — значит, революционная теория здесь явно излишня. Этот вопрос вполне могут решить за трубкой марихуаны или за совместной мойкой посуды жители коммун.

В коммунах действительно отчаянно бранят капитализм. Только капитализму это не страшно. От трубных звуков стены рушатся только в сказках. Организованному господству капитала страшно не иррациональная болтовня, а организованная сила рабочего класса и всех трудящихся.

Запись из дневника Клода Андре: «От нас ушел Момо, славный малый Момо, честный пролетарский герой, сошедший к нам, быть может, прямо со страниц книги «Как закалялась сталь». Он вернулся к своей партии, партии рабочего класса».

Момо выбрал свою баррикаду, и таких, как он, становится все больше. Жизненный опыт делает свое дело. Многие бывшие члены молодежных коммун осознали, что искать счастье следует не на пустынных островах Тихого океана и не в чаду марихуаны, а в гуще самой жизни, в реальной борьбе на стороне пролетариата и его союзников.

* * *

В декабре прошлого года вместе с А. Чаковским мне довелось участвовать в дебатах, организованных в парижском зале «Мютюалите» Движением коммунистической молодежи Франции. По окончании дебатов молодые люди продолжали задавать нам вопросы, уже не в официальном порядке. Мы тоже задавали им вопросы, интересовались, как они пришли в коммунистическое движение. С одним из них, Жаком Л., я встретился на следующий день. Мы бродили по парижским улицам, беседовали. Еще два года назад Жак был активным членом молодежной коммуны. Подобно «коммунарам» из Преверанжа, участвовал в левых демонстрациях и тоже имел дело с полицией. Но...

— Я обратил внимание, что с нашими манифами флики² обходятся гораздо вежливее, что ли, чем когда дело касается коммунистов. Нам полицейские раздавали легкие шлепки, а против коммунистических манифестаций буквально свирепели. Постепенно я сообразил, что власти боятся не нас, а коммунистов. Значит, решил я, коммунисты — сила. И, значит, мне с ними по пути. Вместе со мной к коммунистам пришел еще один мой приятель. Остальные не захотели. Боятся дисциплины, организованности. Считают, что потеряют свою «свободу». Но я убежден, что рано или поздно те, кто действительно хочет драться за свободу, придут к нам. Правда, они еще немало помыкаются до этого. Осознать мерзости капитализма и эффективно бороться с ним — это вещи далеко не равнозначные. Другие вернутся к буржуазии. У баррикады по-прежнему только две стороны. Третьего не дано. Это я говорю со знанием дела. Сам помыкался, перепробовал многие одежды. И только теперь чувствую себя в собственной шкуре. А главное, это то, что теперь она у меня дубленая. Как я отношусь к своему прошлому увлечению? Теперь-то я понимаю, что годы, проведенные в коммуне, были потерянными временем... — Жак помолчал немного, пожал плечами: — А может быть, и не совсем потерянными. — Поежился. — Давно в Париже не было таких холодов. Скорее бы уж лето.

Женева — Париж — Москва.

² М а н и ф — сокращенно манифестация; ф л и к — полицейский (арго).



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Как обычно, в одном из первых весенних номеров материалы критического отдела посвящаются молодым (а ныне им посвящен и весь номер «Нового мира»). В минувшие годы в статьях М. Чудаковой, А. Марченко, В. Камянова, В. Гейдеко была сделана попытка проанализировать, с какими наблюдениями, темами, выношенными концепциями выходит к читателю новое пополнение нашей литературы, насколько глубоко усваивает опыт старших мастеров, какой мерой гражданской и нравственной зыскательности оценивает поступки своих героев.

Материалы этого номера составили критические работы самих молодых, интересно дебютировавших в недавние времена критиков и литературоведов — кандидата филологических наук Александра Панкова, научных сотрудников Института мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР Виктора Ерофеева и Всеволода Сахарова, преподавателя Михаила Эпштейна, критика Юлия Смелкова, выпускника Литературного института журналиста Марка Анцыферова, студентов Ирины Винокуровой и Андрея Василевского (Панков, Ерофеев, Эпштейн и Сахаров — участники всесоюзных, республиканских и московских совещаний молодых писателей). Как может заметить читатель, в круг их творческих интересов не в последнюю очередь входят работы их литературных сверстников — поэтов, прозаиков, драматургов. Пишут о литературных дебютах и авторы, представляющие более старшее поколение, — Вл. Цыбин, Л. Аннинский, В. Гейдеко, И. Волгин.

Критике, наблюдающей за притоком свежих сил в многонациональную советскую литературу, за характером творческих дебютов, как правило, открывается возможность глубже осознать литературный процесс в целом, характер самого времени. Времени, формирующего эти молодые силы социалистического искусства, дающего их слову и содержание и окраску...

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ

★

ВСЕГДА В ПУТИ

Несколько лет назад один из ветеранов советской литературы, Борис Агапов, сказал о публицистике: «Мало уметь наблюдать жизнь, мало исследовать ее, мало найти правильное решение той или иной проблемы. Необходимо еще у б е д и т ь людей, что оно правильное». Вдумайтесь в эти слова — и вы согласитесь: трудные ступени лежат на пути писателя-очеркиста. Вокруг него бурлит жизнь, на растущих скоростях и с растущими перегрузками несутся в ее потоке люди и события, вспыхивают горячие вопросы — экономические, политические, социологические, нравственные. Они требуют ответа, и притом не поспешно-голословного или сугубо эмоционального, а развернутого, серьезного.

О публицистике, художественном очерке в последнее время сказано немало. Весьма отчетливы требования, предъявляемые к «боевому жанру». Его ключевое качество —

гражданская, общественно-политическая активность. От него ждут злободневных и точных наблюдений, принципиального подхода к проблемам и конфликтам, конструктивной критики общественных недугов, пристального внимания к тенденциям социального развития, изображения реальных противоречий жизни... И конечно же, убежденности и убедительности. С каждым шагом истории эти общие критерии обрезают новые оттенки, живое состояние литературы придает им конкретный смысл и вес.

Мы часто твердим друг другу: публицистика должна быть проблемной! Верно. Суть в том, что иной она и быть не может, если это настоящая публицистика, а не суррогат.

С первых лет существования Советского государства, когда бытие общественное разом устремилось в новое русло, первостепеннейшей задачей публицистики стало

прямое ее участие в народнохозяйственной жизни. Ей предстояло взять на себя труд воспитания масс, увлечь их рассказом о живых примерах социалистического строительства, обобщением реального опыта, откликом на неотложные запросы дня и критикой недостатков. Воспитывать человека значит предлагать ему определенную концепцию жизни, пробуждать сознание общественного долга, гражданской активности, вовлекать его в освоение культуры. Перед человеком раскинулся широкий социальный горизонт, и для него так важно правильно выбрать путевые ориентиры!

Стоит ли удивляться, что сегодняшняя публицистика, вторгаясь в сферу экономики и индустрии, сталкивается с переплетением самых разнообразных культур, ищет комплексного их решения. Человек, читающий публицистику целенаправленно и со смыслом, получает в руки богатейший материал — обширное (и постоянно расширяющееся) социальное исследование. Разные его «главы» несхожи между собой по стилю, масштабу, «повороту» темы, но общая картина от этого не только не страдает, даже выигрывает: сравнение различного дает новое знание.

Чем глубже вникаешь в публицистическое изображение народнохозяйственной жизни, тем яснее: главной темой тут так или иначе становятся проблемы организационные. Идет ли речь о магистральных направлениях экономической политики или о личных качествах рабочего человека, в конечном счете очеркист приходит к разговору о способах общественной организации — будь то организация коллектива, предприятия, деятельности материальной или духовной. Задача дальнейшего совершенствования всей системы управления экономикой решительно выдвинута XXIV съездом КПСС и как эстафета передана съезду XXV. Тем любопытнее присмотреться, как познает этот наисложнейший процесс публицистика, какие мысли накапливает, в чем старается убедить читателя.

Герой документальной повести Р. Дорогова и А. Злобина «Город на главной улице» — первый начальник Сталинградгидростроя Федор Георгиевич Логинов. Памятник этому человеку стоит ныне на одной из площадей города Волжского, отметившего в 1974 году свое двадцатилетие. Люди помнят: своим рождением город на Волге во многом обязан Логинову, его воле и энергии. Потому и повесть о строительстве

столь естественно сплелась с судьбой Логинова.

Приехав на стройку (а дело было на рубеже 50-х годов), Логинов удивил всех заявлением: «До укладки бетона еще далеко. Раньше мы намерены построить тылы стройки и город». Он предлагает заложить жилой массив на новой территории, в голой степи за рекой, чтобы с самого начала избавиться от временок и халуп, вести строительство по единому и широкому плану. Ему возражают сторонники иного плана действий. «Страсти разгорелись. Члены бюро переговаривались, пожимали плечами, слышались даже возгласы: «Утопия! Проектерство!»

Для читателя горение страстей — всегда полезный урок. Логинов настоял на своем, а время подтвердило его правоту, оправдало упрямство и смелость.

В повести отразился опыт жизни и деятельности человека незаурядного, способного на крупные свершения и, разумеется, по-своему сложного. Вместе с волжанами авторы чтят память строителя, бережно, по крупицам воссоздают его путь. Причем именно уважение к прошлому заставляет их рисовать события по возможности полно. Последнее очень важно. Ведь только тогда очерковые картины и портреты героев вызывают доверие, убеждают, когда выявлено многообразие, реальная сложность духовных и социальных обстоятельств.

Рассказывая биографию Логинова, авторы подчеркивают его природную недюжинность, силу души и широту социального кругозора. Судьба героя полна случаев, когда приходилось разрешать, казалось бы, неразрешимые затруднения. Правда, за находчивость и «самоуправство» Логинов получает порой выговоры. Он принимает их вроде бы безропотно, но про себя, упорный человек, твердит: права не дают, права берут.

Подобно многим директорам и руководителям он идет на личный риск, поскольку верит: его инициатива направлена на пользу стройке. Подлинная забота об общей пользе — определяющая черта Логинова-организатора. В разговоре с главным инженером он формулирует свой основной жизненный принцип: «Не признаю разрыва между словом и делом... Начнем работать, а споры я не боюсь. Особенно если они на пользу делу».

Спорит Логинов постоянно. Ведь он любит идти на риск и брать на себя ответствен-

ность за очень серьезные решения, а в таких случаях взгляды на «пользу дела» у разных людей и ведомств не всегда совпадают. Не всегда в этих спорах он, Федор Георгиевич, выходит победителем. Случается, его правота подтверждается лишь задним числом. Иногда он совершает ошибки, но непременно старается отыскать их корень и избежать повторений. Но выжидать «безошибочный» момент не в натуре Логинова. Приехав в Сталинград, он примеривается: «На Волге они размахнутся широко. Надо преобразовать весь уклад жизни товарищей по профессии — строителей». Ставить себе целью преобразование «уклада» свойственно не всякому!

И по должности своей и, главное, по характеру Логинов — преобразователь и организатор. Активность его достает на все — от широких «стратегических» планов до вполне реальных кубометров земли, штук кирпича, квадратных метров жилья... Нельзя не симпатизировать герою повести, в судьбе которого просвечивают черты времени, и авторы помогают нам эти черты понять через характер активного, энергичного организатора.

Вот Логинов доказывает главному инженеру, что надо избежать зависимости от чужих поставок: «Все должно быть в своем кулаке. Отвечать — так за все!» Это его обычная реакция на «объективные условия», на которые он привык воздействовать, а не сылаться ради самооправдания. Он зачастую проводит свой корабль там, где другие попадают на мель. Так получилось, например, с начальником отделочных работ Горкиным: «...кинулся он проводить в жизнь самую передовую технологию... а заниматься пришлось мелочами. Терок не хватает. Раствор привозят с опозданием. Плохо со спецовками...» Способный инженер, Горкин не сумел тем не менее наладить контакт с людьми. На участке возникает конфликт, и не очень складная инициатива Горкина оборачивается его поражением. Обыденный случай. Однако опять начинается спор между главным инженером и Логиновым. А в чем виноват Горкин? Не слишком ли лихо решает Логинов судьбы людей?.. Спор не проходит бесследно для Логинова. Вот он возвращается в машине после дневных трудов, и его преследует «неясное чувство, беспокойство, что не так что-то сделалось». И это умение критически анализировать свои действия куда как ценно!

К проблемам строек и строителей советская публицистика обращается издавна. Это неудивительно. Размах строительных работ в нашей стране огромен. Не буду перечислять новейшие стройки и напоминать о выездных «постах» наших газет и журналов — о них хорошо известно. Скажу о другом. Следя за возведением заводов, гидростанций, строительством дорожных магистралей, публицистика находит для себя поистине неисчерпаемый материал, настолько сложный, многогранный, что перед писателем открывается возможность говорить о наиважнейшем: о замечательных достижениях народа, о героических делах, о подлинных радостях и подлинных трудностях бытия и быта.

Что касается проблем управления, организации, то именно на стройках эти проблемы раскрываются в полном своем объеме. Вернусь еще раз к повести «Город на главной улице»: «Логинов только что расстался с тремя столичными корреспондентами. Много пишут о стройке. Героика будней. Трудовой подвиг советских людей. Героюю всегда на большом ищут. В повседневности вроде для нее нет места. На Гидрострое — другое дело. Тут место подвигу открыто. Тут... А только и тут простая обыденность. Квартиры нужны. На работу на грузовиках с деревянными кузовами возят. Зарплату неверно вывели... А героика?..»

Примеры дел героических множатся каждодневно. И подлинными героями наш советский мир не скудеет. И памятники им ставят, как Логинову. Только вот истинную цену их поступков по-настоящему поймешь лишь через знание «простой обыденности», в условиях которой Логиновы проявляют свой организаторский и рабочий талант.

Новому поколению тружеников посвятил свой недавний цикл очерков «Гвардии строители» А. Медников («Москва», 1975, №№ 2, 4, 7). Автора привлекают люди деловые, думающие, самобытные. «У меня есть личное отношение к проблемам», — поясняет Масленников, работник одного из управлений строительства. Личное отношение к проблемам... То же могли бы сказать о себе и другие герои А. Медникова — бригады Суровцев, Логачев, их коллеги из ГДР и Венгрии. Как направить коллективную деятельность в наиболее рациональное, экономически эффективное русло? Как создать из монтажников, фундаментчиков и транспортников «организационный сим-

биоз»? Решение подобных задач насущно, и бригады, рабочие все острее чувствуют это. Передовые «гвардии строители» беспокоятся, ибо им лучше других известны резервы производительности, использовать которые можно с выгодой и для рабочих и для государства. Раскрывая желание людей «сделать так, чтобы работа лучше спорилась», А. Медников справедливо замечает: все это, вместе взятое, есть «черта государственного мышления рабочего человека».

Если государственное мышление становится сегодня одним из определяющих качеств нашего передового рабочего, то серьезная публицистика вообще без него обойтись не может. Между тем это ведь очень высокие и ответственные слова — «государственное мышление». Они обнимают собой целый комплекс гражданских и личных свойств — как сочетание умной осмысленности и смелости, научный расчет, практический, даже инженерный подход к вопросу экономичности и целесообразности конкретных решений, умение осознавать исторически назревшие нужды общества, а главное, смотреть на ближайший факт с высот наших общих целей.

Легко заметить: наша «экономическая» публицистика постоянно обращается к конфликтам, происходящим внутри организаций (учреждений, ведомств, предприятий), а равно «межведомственным». Причем на поверку оказывается, что столкновения «внутренние» во многом подстегнуты столкновениями «внешними». Этой теме посвящены, скажем, очерки А. Нежного «Столкновение» и «Круг Снежногорска» («Звезда», 1973, № 7; 1974, № 7), уже привлекая к себе доброжелательное внимание критики. Произведения А. Нежного — это, если хотите, добротный «экономический детектив». Автор, как истинный знаток, дотошно ведет следствие, докапывается до причин, ставит вопрос за вопросом, проникая в «простую обывденность», где проблемам несть числа. Иной читатель может даже и возроптать: а не слишком ли много их, проблем этих? Однако проблем бояться — в публицистику не ходить.

По концентрации документального, информационного материала очерки А. Нежного, на мой взгляд, стоят иных повестей, даже романов на индустриальную тему, в коих публицистическое по смыслу содержание подвергается беспомощной беллетристической «обработке». В очерке «Круг Снежногорска» мы встречаем героя — чело-

века беспокойного и неутомимого, наделенного большим творческим потенциалом и запасом энтузиазма. Гражданская устремленность и человеческая неповторимость героя очерка архитектора Шипкова, воюющего за принципиально новый проект дома-комплекса для Севера, запечатлены автором выразительно и определенно:

«Сейчас он уже не думал о том, что его положение противоестественно. Почему он — автор проекта, проекта, по мнению авторитетов, отличного, — должен что есть сил «продавливать» свою идею? Почему везде и всегда должен доказывать, что белое — это белое, а черное — черное? Почему, наконец, он должен быть постоянным барометром министерской атмосферы, и чуть что не так, чуть выше или ниже нормы становится давление — почему сразу же, бросив все дела, он должен стремиться в Москву, чтобы выправить положение?»

Обо всем этом не думал Шипков, ибо теперь одно только волновало его: быть или не быть Снежногорску. Не за себя было Шипкову больно, хотя ему, создателю, хотелось увидеть то, что он создал, не на бумаге, а там, на Севере, на скалистом берегу стремительной Хантайки. Больно было ему оттого, что заботы дня закрывали от людей, решающих судьбу проекта, нечто гораздо более важное: интересы страны...

Здесь-то как раз и обнаруживает себя «государственное мышление». То, что оно сопряжено в данном случае с немалой болью, лишь подчеркивает его органичность.

«Круг Снежногорска», однако, не только об энтузиасте-«новаторе», пробивающем препоны «консерватизма». Он и о многом другом. О том, скажем, что проблему Севера «надо рассматривать с точки зрения широкой экономики, во времени и во всех связях».

К слову сказать, А. Нежный тут не одинок. Вот он, например, доказывает, что неразумная экономия на старте строительства оборачивается крупными потерями в масштабе народного хозяйства. Аналогичную же «калькуляцию» произвел и Ю. Скоп в интересной книге «Открытки с тропы», изданной «Советским писателем» в 1975 году. Опыт трасс Абакан — Тайшет и Тюмень — Сургут дает ему повод сказать: «Предварительная смета стоимости дороги, перед тем как ее утверждать, обсчитывается до копейки, причем экономится в это время (обратите внимание — умозрительно!) по-страшному на всем — лишь бы конечная цифра не

доводила до обморока... После же, когда дорога пойдет в запуск, на ветер — да-да, на ветер — полетят миллионы...»

Обратимся теперь к очерку «Столкновение». Автор отсылает нас к обыденному событию — два предприятия выясняют взаимные претензии перед лицом Госарбитража. Истец, ответчик, суд. Один завод не выполнил поставок, другой понес убыток, не вытерпел и потребовал возмещения согласно договору. Сугубо экономический факт. Глубина его «вспашки» как раз и позволяет судить о глубине государственного мышления публициста, о его «человековедческих» устремлениях.

В очерке дана скрупулезная анатомия столкновения, его причин. Мы видим длинную их цепочку и убеждаемся, что «причина, из-за которой возник процесс, кроется совсем не в том, что ответчик недобросовестно отнесся к своему слову». Причина в неыверенности самого механизма экономического взаимодействия предприятий.

Сегодня экономическая и организаторская интуиция, которая верой и правдой служила Логиновым, все менее надежный «инструмент». Все больше энергии, нервных затрат требует задача координации экономических усилий в определенной «точке» народного хозяйства. Потребность в бесперебойности, четкой отлаженности такой координации ощущается на всех «этажах» индустрии.

Директор комбината Ещенко в очерке А. Нежного признается: во время простоя «люди в цехах нервные ходят, спрашивают — в чем дело, когда порядок будет...». Причем директор довольно точно знает, что нужно для нормальной, ритмичной работы: «Стабильный план, твердые договоры и сырье...» Вот они, внешние связи. Кажется, как обыденно просто!

Когда публицистика уясняет смысл фактов, когда распутывает причины происходящего, она выполняет задачу экономического воспитания, завещанную ей В. И. Лениным. Анализируя живую экономическую ситуацию, опытные очеркисты высказываются конкретно, компетентно, партийно. Как и героя очерка «Круг Снежногогорска», как и Федора Георгиевича Логинова, их заботит польза общего дела, интересы народа и страны. А на интересах этих держится судьба каждого отдельного человека.

И все же самая трудная ступень для творческой, конструктивной публицисти-

ки — это поиск решений, поиск ответа на конкретный вопрос: что и как сделать?

«Да как же, как снять с председателя этот груз «фуражных перегрузок», как сделать так, чтобы он, разумеется, выполнивший свой план урожайности, мог без нервотрепок и без всяких там «перебьемся» по плану, по рационам кормить скот, давать молоко, мясо и не обивать зимой и весной пороги снабженческих и иных контор в поисках корма? Как это сделать?» — спрашивал, нет — страстно вопрошал публицист Георгий Радов.

В книге Г. Радова «Не упустить талант!» есть небольшой очерк под названием «Как сделать голову!..». Перед нами запись беседы автора с колхозным механиком, состоявшейся, в общем-то, почти случайно во время одной из «районных» командировок. Ситуация оказывается на редкость занимательной и поучительной. Речь идет о колхозных председателях, и в частности об одном из них, коего собеседник очеркиста по-своейски называет Филей. История Фили — это история о том, как пришел в трудном пятидесят третьем году в колхоз «справедливый мужик», о том, как не за страх, а за совесть принялся он налаживать колхозное хозяйство, о том, сколько сметки, ума да и смелости понадобилось ему проявить, чтобы добиться своего, вывести колхоз вперед, исхитрившись «соблюсти» при этом как государственный, так и «личный» интерес. Но дело даже не в самом Филе. Главное, что привлекло к себе Г. Радова, это взаимоотношения председателя и колхозников, для которых «справедливый мужик» не только руководитель, но и «свой человек». Идея очерка кристаллизуется постепенно, ненавязчиво. Мы, в частности, уясняем, что колхозники не просто дорожат своим председателем, но и по-своему «растят» его, предостерегая от ошибок. «Так мы его и воспитываем,— говорит собеседник очеркиста,— держим в вожжах. Человек-то дорогой, наша, одним словом, общая собственность...»

Тут слышится крестьянская рачительность, голос большого жизненного опыта.

Писатель прекрасно понимает, сколь значителен в социально-нравственном и экономическом отношении этот случай коллективного воспитания.

Г. Радов в своих работах прослеживал судьбу председательского «корпуса» от прошлого к настоящему, зная ее досконально, вникая в ее «секреты» и перипетии. Пробле-

мы, которые им подняты, и актуальны и, так сказать, «перспективные» с экономической точки зрения. Это снабжение, поиск материальных и моральных стимулов, отношения колхозов с партнерами и с руководящими инстанциями. Подход же к теме у Г. Радова всегда свой, личный.

Было у очеркиста любимое словцо — «зависимость». Оно своеобразный знак диалектичности его мышления, зоркого интереса к связям причин и следствий, взаимообусловленности локальных и общеэкономических процессов. Чем глубже проникал Г. Радов в практический опыт, тем более тщателен становился он в рекомендациях, предложении организационных мер. «Я не даю рецепт для всех, а просто излагаю опыт подмосковного совхоза «Константиново», в котором бывал не раз», — не преминет обронить он. Реплика не случайна. Долгая работа очеркиста склоняла к выводу, что одним всеобщим рецептом дела не поправишь. Писатель даже посмеивался над охотниками до универсальных «секретов» урожайности и становился на сторону председателя Ивана Тимофеевича: «Один прием, сколь ни был он сильным, еще урожая не делает! Все достигается совокупностью приемов, на первый взгляд обычных...»

В последних очерках — «Человек на службе», «Безнаказанность», «Инерция», «Не на месте...» — Г. Радов заметно усилил акцент на моментах нравственных. Для него становилось все более важным, что реализация общих установлений и инструкций осуществляется человеком, находящимся на своей службе и своем месте. Что от этого человека, от его деловых и душевных качеств зависит очень многое в процессах управления и исполнения. Тогда-то в очерках Г. Радова и появились несколько новые для писателя интонации. «...как с помощью машины управлять самолюбиями?.. сшибка самолюбий в ущерб делу — явление не столь уж редкое, чтобы сбрасывать его со счетов!» — обращался он к ученым-кибернетикам, налаживающим автоматическое управление. Признавая, что часто производственные противоречия возникают там, «где устаревшая инструкция... давно не соответствует изменившимся обстоятельствам», он выражал беспокойство: «Сколько уж раз мы, остро столкнувшись с каким-то отрицательным явлением, начинаем заново изобретать велосипед, выдумывать некое «новое» организационное противоядие. А законы у нас и без того хорошие. И если порыться в

справочниках, можно найти «статьи» и против безответственности, и бесхозяйственности, и халтуры, и волокиты, не говоря уж о браке и воровстве. Но, конечно, совершенствовать и управление и порядок личной ответственности полезно...»

Г. Радов отлично понимал, что неорганизованность, безответственность, бесхозяйственность и т. п. можно объяснить как личными нравственно-психологическими качествами людей, так и объективными условиями, в рамках которых люди действуют. В число условий входят в немалой степени те самые инструкции, правила, нормы... Как же быть в конкретном случае, при очередной неудаче? Апеллировать к конкретным лицам, их винить в происшедшем и взывать к ответственности либо объяснять все «объективными условиями» и искать «панацею» в сфере административных мероприятий? Именно к последнему решению склонялся один из радовских персонажей, который, «чтоб навести порядок у себя, ждал некоего «всеобщего усовершенствования»...»

Рассматривая эту дилемму, Г. Радов делал упор на значении личной совести и гражданской принципиальности, подчеркивая одновременно подлинную «глубинность проблемы». Это проблема закономерностей управления человеческой деятельностью и ее институтами, где все зависит диалектически и от конкретной личности и от системы социальных норм, отношений, поведение этой личности регулирующих.

«Лучший способ угробить почин — объявить его панацеей»; «Я говорю себе: почин хорош уже тем, что он, как прожектор, осветил снизу несовершенства организации наших строек. Зачем применяться к беспорядку, когда нужно наводить порядок». Эти выписки сделаны мной из книги другого автора — «Хозяев» А. Аграновского («Советская Россия». 1973).

В репликах известного публициста нетрудно угадать знакомые ноты. Впрочем, по порядку...

Из многочисленных произведений А. Аграновского хотелось бы особо выделить два очерка — «Хозяева» и «С чего начинается качество». В первом речь идет о бригадном подряде, во втором — о путях повышения качества продукции, то есть о проблеме перестроенной важности.

Здесь очевидна переключка с произведениями, о которых говорилось выше. А. Аг-

рановский чутко улавливает диалектику объективных и субъективных факторов производственной, экономической деятельности, личных мотивов и внешних условий труда. Наблюдая очередной экономический факт, он стремится вычленив в нем тот «уровень», где «начинается сознание». Очеркист стремится подобрать такой «ключик» к объективным факторам, чтобы за ними открылись факторы субъективные.

Речь у А. Аграновского может идти о мерах контроля на производстве, о распределении прав и обязанностей по «горизонтали» и «вертикали», о необходимости прямых и обратных связей между звеньями управления, производства и потребления. Но в любой из «деловых» выкладок очеркиста пульсирует мысль о людях — о том, каким будет их нравственное и деловое самочувствие в случае организационных усовершенствований, что произойдет с «простой обывательностью» на очередном этапе социально-экономического развития.

«Нужен порядок», — подчеркивает А. Аграновский. И, подробно рассмотрев механизмы и «стыки» производственных систем, резюмирует: «Стало быть, я не буду оригинален, не машина главное, а человек».

Выводы А. Аграновского во многом совпадают с радовскими: «Объективные причины всегда можно сыскать, но, по трезвым оценкам сотрудников Госстандарта СССР, семьдесят пять процентов недоброкачественных изделий выходят из-за самых тривиальных нарушений трудовой и технологической дисциплины, из-за обыкновенной разболтанности». С разболтанностью можно справиться только при помощи гибкого, конкретного контроля, причем сама система этого контроля должна по идее также быть управляемой, гармонично вписываться в сеть прямых и обратных административно-производственных связей. Тогда справедливым станет и тезис о том, что «формалистами», «скрупулезно, безукоснительно соблюдающими законы и инструкции, должны стать государственные контролеры качества, и надо им помочь, их поддержать, если действительно мы хотим эту проблему решить».

Читаем, следим за мыслью писателя — стоп! А как же быть с человеком? Ведь автор только что ополчался на разного рода формализм, тормозящий хозяйственную деятельность. Да и замечено: чем формальнее организация человеческих отношений, тем чаще отдельному человеку приходится сталкиваться с ситуацией, когда устарев-

шие инструкции не совпадают с «нестандартными» обстоятельствами.

Но Аграновский потому и Аграновский, что слушает прибой этих вопросов. Со скрупулезностью инженера перебирает он винтики и колесики индустриального агрегата, чтобы нащупать подступы к идеалу. На возможное наше недоумение очеркист отвечает так: «...ощутив себя ответственными товарищами, люди соединили в себе исполнителей и творцов. Вот этого не заменишь никакой кибернетикой»; «Цель всех «секретов», существо, сердцевина всех мер, которые ныне проводятся в жизнь, в том состоят, чтобы создать человеку условия для хорошей работы»; «...попросту говоря, человеку должно быть во всех смыслах выгодно работать хорошо и во всех смыслах невыгодно работать плохо».

Публицист заставляет думать над большими проблемами, по-настоящему волнующими советских людей — рабочих, инженеров, ученых, служащих. Знание, приобретенное публицистом, его убеждение в необходимости активного гражданского действия — немалый вклад в наше общее дело.

Наиболее существенная сторона работы современных публицистов — именно постановка масштабных и актуальных проблем. Читая очерки талантливых писателей, мы не обретаем благодушной успокоенности. Публицистика остерегает нас и скажет: оглянись, поразмышляй, расширь горизонты своего сознания... Именно такое ощущение рождается, в частности, от очерков А. Иващенко «Земля без плуга» и «Сотворение хлеба» («Наш современник», 1975, №№ 6, 7).

Если искать среди очерков последних лет те, что отмечены активным «организаторским» пафосом, то выступления А. Иващенко попадут, на мой взгляд, в первый ряд. Методы агротехники здесь не только разобраны «по косточкам», но и соотнесены с программой их освоения. Перед нами как раз тот случай, когда публицист подходит к экономической теме во всеоружии научного и практического опыта. И на твердой «опытной» основе ставит вопросы практического управления и организации.

Завоеванием последних десятилетий стала мысль: преобразование природы нужно строить на принципе бережного отношения и воспроизводства, на принципе приспособления искусственных индустриальных систем к системам естественным. Иначе природный мир сурово отомстит человеку.

О том, как следовать такой тактике, и пишет А. Иващенко. «...о большой и трудной проблеме, о проблеме Человек и Земля, пойдет здесь разговор», — предупреждает публицист.

Разговор вышел действительно большой, нужный. И вот один из важнейших выводов очеркиста: «...сейчас назрела нужда в разработке широкой общегосударственной программы защиты земель европейской части страны».

В очерках идет речь и о вопросах сугубо конкретных — об отказе от глубокой вспашки полей плугом, и оптимальной технике сева, и... Но вновь хочу обратить внимание на ту их грань, где, помимо специальных хозяйственных тем, проступают существенные черты «государственного мышления» современной публицистики.

Пожалуй, главный пафос произведений А. Иващенко — в защите убеждения: будущее во многом зависит от умения людей разумно и своевременно влиять на условия и структуру собственной деятельности.

Эти очерки настраивают на творческое отношение к сложившимся, традиционным формам производства. В глазах многих людей, в том числе авторитетных ученых и хозяйственников, идея «земли без плуга» выглядела «прожектом» — нечто вроде города Валажского. Сила инерции была слишком велика, чтобы люди могли непредубежденно, «иными глазами посмотреть на то, что от века творит человек на земле, вспахивая ее под хлеба и выпахивая черные бури, оставляя после себя иссохшие речки и мертвые пески».

Очерки не дают забыть о том, что искусство общественной организации и реорганизации — наитруднейшее, но современному человеку никуда не уйти от необходимости учиться этому искусству, дабы поспеть за бегущим днем.

Какая бы проблема ни попала в свет публицистического прожектора — частная или глобальная, — за нею всегда скрыт жизненный конфликт, скрыты людские судьбы.

Современная публицистика (имею в виду лучшие образцы) ощущает дыхание времени. О каких бы «специальных» материях ни шла речь в очерке, в центре его обязательно скрещиваются вопросы нравственные, философские, социальные. Исследовать «не сами по себе проблемы технологии и экономики... а людей, решающих эти проблемы», призывал Г. Радов в статье «Что может публицистика». Интерес к человеку и его

интеллектуальному облику побуждает проникать в нравственно-психологические глубины «простой обыденности», обнаруживать в ней залежи проблем мировоззренческих и социально-педагогических. Своими раздумьями о них публицистика делится с читателями.

В 1842 году молодой Маркс, коснувшись спора о том, уместно ли обсуждать в газетах философские вопросы, сделал вывод: «Если такие вопросы интересуют публику уже как вопросы повседневной печати, то, значит, они стали вопросами дня».

Сегодня, в условиях научно-технической революции, окрепла взаимосвязь публицистики со сферами философской и научной мысли. Появились книги, неожиданно сближающие границы искусства, публицистики, научной популяризации, например последняя прижизненная монография Б. Агапова «Взбирается разум». Сам автор нередко называл такие произведения научно-поэтической публицистикой. Б. Агапов здесь обращается к наследию Лукреция Кара, разбирается в архитектонике наивно-диалектической научной поэзии. Лукрецию, отмечает писатель, присуще глубинное сочетание «общего» и «единичного» в мышлении. «...чувство целого, общая картина мира, которая так красиво сверкает со страниц поэмы, сопряженность каждой научной темы с жизнью — все это черты личного отношения автора к теме». «Лукреций широко пользовался примерами из окружающей жизни».

Хотя сегодня, говорит затем Б. Агапов, писать, как Лукреций, невозможно, чувствуется, что собственная манера агаповского письма сложилась не без влияния «научного поэта» античности. Но, конечно же, писателя прежде всего интересуют актуальные вопросы нашего дня. В главе «Художник и наука» он как бы очерчивает различные области и объекты научного познания — клетку, космос, атом, кибернетику. Обзорение превращается в емкий, наглядный «портрет» мировоззрения, культуры, эпохи (пользуюсь словами самого Б. Агапова).

Рассказывая о «постижении человечеством мира, природы», Б. Агапов свободно использует разнообразные художественные, публицистические средства и приемы. Он легко переходит от изящного пейзажа к популяризации, от лирических воспоминаний о собственной юности к интервью с известным ученым, от публицистического памфлета на вояк, надзиравших за Оппенгейме-

ром и Эйнштейном, к этюду о жизни и исканиях Иммануила Канта. Самое замечательное — это то, что все фрагменты сохраняют внутреннюю слитность; сферы художественного, публицистического и просветительского слова пронизаны единым ритмом, интонацией. Главный же «герой» книги — это сознание современного человека, устремленное к тайнам и загадкам бытия.

Гегель настаивал: чтобы узнать, является ли данный человеческий поступок добрым

или злым, надобно иметь отчетливое понятие о добре и зле как таковом.

Переживая новые и новые «бумы», современный человек все острее ощущает потребность в познании, усвоении ключевых норм и ценностей общественной морали.

Едва найден ответ на один вопрос или группу вопросов, как жизнь ставит другие, новые. Ищут люди, реальные прототипы очерков, ищет публицистика. Всегда — в пути.



Ю. СМЕЛКОВ



ОБНОВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА

Заметки о современной драматургии

Я бы мог назвать немало пьес, написанных в не столь давние времена, где положительный герой, молодой герой современности, на глазах зрителя боролся со своим противником и антагонистом; последний быстро опознавался и очень наглядно получал по заслугам. И с ним надо было бороться. Подросток Олег Савин («В поисках радости» В. Розова) рубил отцовской саблей дорогую мебель, сокрушая таким образом мещанство, пролезшее в его честную трудовую семью. Доктор Зеленин (инсценировка аксеновских «Коллег») точным ударом посылал в нокаут бандита Федьку Бугрова, а друг Зеленина Максимов обличал приспособленца и любителя легкой жизни Столбова. Перед Славой Завариным («Неравный бой» В. Розова) во всей своей омерзительности выросло «мурло мещанина», его собственного дяди, шел «неравный бой» с ним и ему подобными за человеческое достоинство любимой девушки... Простая и четкая схема: герой — антагонист.

Времена, однако, меняются. Виктор Розов в одном из телевизионных интервью полупуштя-полусерьезно сформулировал характер перемен следующим образом: раньше молодой человек боролся всеми доступными ему способами за право возвращаться домой поздно, но, как правило, до получения разрешения все-таки возвращался в назначенный ему час; сегодня же он чаще всего не борется и не воюет, но возвращается тогда, когда считает нужным...

В одной из последних розовских пьес, в «Ситуации», мы сталкиваемся с коллизией, для этого драматурга необычной, неожиданной и в первых его пьесах, пожалуй, невоз-

можной. Есть положительный герой, есть отчетливо обрисованный антагонист, есть, наконец, насущная необходимость борьбы с этим антагонистом — и вдруг в решающий момент герой объясняет, что бороться ему неинтересно, что у него другая цель жизни и она кажется ему более важной.

Напомню существо дела. Рационализатор Виктор Лесиков должен получить за свое изобретение крупную премию. Мастер Игнат Кашин считает, что четверть этой премии не худо бы отдать ему — он помогал, проталкивал и так далее. Виктор человек отнюдь не жадный (только что придумывал, кому какой подарок сделать, и мастера, разумеется, не забыл), но такая наглость его возмущает. Обиженный Кашин распускает по цеху слух, что премию полагалось бы разделить на всех, но Виктор жадничает. Друг и соавтор Виктора Антон встает на защиту правды и обличает мастера. Сам же Виктор от борьбы уклоняется. В кульминационной сцене все требуют от него: иди к директору, расскажи, в чем дело, не позволяй подлецу и хапуге торжествовать. Требуется мать, любимая жена, друг, совместными усилиями они почти выталкивают Виктора из квартиры, а он идет на улицу и, пройдя несколько метров... возвращается. И заявляет, что к директору не пойдет, поскольку хорошо помнит один эпизод из своих юношеских лет: «Когда я хлопотал, по инстанциям бегал (тоже, заметим, с благородными намерениями.— Ю. С.), я вдруг какую-то злобу на людей начал чувствовать. Все для меня в черном-пречерном свете видеться начало, вся жизнь. Мне всем только одного зла хотелось... Я уже не я был... Когда в себя-то пришел, думал: что

же это со мной было? Я ведь таким мог и остаться. Такой-то я кому нужен! Такому уж надо самому с собой решать... (Пауза.) Ты прикинь, Антон: уж в какие времена жили Галилей, допустим, или Архимед...

Антон. Я тебе не Галилей...

Виктор (улыбаясь). Ну не Галилей, так Галилейчик, Галилеенок маленький, не все ли равно. Представь себе, они бы главное свое дело забросили и только, как ты, бегали бы да бегали, высунув язык. Что бы от них осталось! Пшик!.. Нет! Если они боролись, так себя не теряли. Да мир-то не на одних Галилеях вертится. Он и на галилейчиках держится... И если их много... Маленьких, хороших... А эта ерунда, которую Игнат Васильевич заварил, пройдет. И люди, надеюсь, в конце концов найдутся, все на место поставят».

До этого монолога конфликт развивается по привычному образцу, и нерешительность Виктора воспринимается всего лишь как интересный сюжетный ход. Однако нет, перед нами позиция осознанная и мотивированная: герой не вступает в борьбу с антагонистом, поскольку считает, что это помогает ему заниматься «главным своим делом», творчеством.

В результате непорядочный мастер все-таки посрамлен — Виктор придумал, что делать с втулкой, из-за которой давно лихорадит цех, снова стал героем дня, и козни Игната Кашина сами собой должны расточиться, как дым. То есть на антиобщественный поступок отрицательного героя положительный отвечает творческим успехом, как бы нейтрализующим действия противника. В фундаменте необычной (для Розова) коллизии в конечном счете обнаруживается уже знакомая схема конфликта: герой — антагонист. Отметим, что и развитие этого конфликта начинается с предложения мастера отдать ему четверть премии — именно Игнат Кашин запускает механизм действия.

Впрочем, интересно не столько то, в чем Розов верен себе, сколько то, в чем он от себя прежнего отступает. Его герой, всегда утверждавший свои нравственные принципы не только в полемике со своим антагонистом, но и в поступке, в деянии, непосредственно и недвусмысленно против него направленном, отказывается и от полемики и от прямого столкновения, а действует, так сказать, в совершенно иной плоскости. Кажется, напиши Розов эту пьесу лет восемь—десять назад, центральным ее персонажем

был бы не Виктор, а правдоискатель Антон; Виктору же, возможно, крепко досталось бы от автора за пассивность. Сейчас же драматург относится к Антону хотя и с несомненной симпатией, но несколько иронически: взбешенный пассивностью Виктора, Антон... бросается душить его. Эпизод написан в откровенно комедийной интонации, но для Розова такой подход принципиально нов — впервые он взглянул на своего излюбленного героя с той точки зрения, с которой можно различить не только его благородство, искренность, честность, но и узость и «догматизм наизнанку». Антону хапуга мастер заслоняет весь свет, разоблачение Игната становится чуть ли не единственным делом его жизни — а Виктор в это время придумывает новую втулку. Намечается своеобразное «разделение труда» — один творит, другой оберегает творца от житейских неприятностей и организационных неурядиц.

Сам же Виктор интересен Розову отнюдь не тем, как он борется (или не борется) с Игнатом — тут, в сущности, все просто: порядочный человек против непорядочного. Вмешательство искусства требуется в данном случае только для того, чтобы обрисовать ситуацию, дальше она будет развиваться сама собой, и финал продиктует жизнь. Но вот об отношениях Виктора с женой этого не скажешь — оба они хорошие люди, любят друг друга, а жить вместе им весьма трудно по многим причинам. Тамара уже уходила от мужа, Виктор страшно боится потерять ее, даже пытается переломить себя, пойти к директору, когда она грозит снова уйти, и все-таки не может. Правда, и Тамара, надо полагать, никуда не уйдет, но до полной семейной гармонии супругам все же далеко — линия эта остается незавершенной. Розов устраивает шумный финал, усаживает всех за праздничный стол (в одном из вариантов Виктор и Антон садятся в это время за стол рабочих — изобретать втулку) — своего рода антракт между двумя этапами супружеской жизни Виктора Лесикова.

О том, что было дальше, рассказывают другие драматурги в других пьесах. На недавнем совместном заседании коллегии Министерства культуры СССР и секретариата правления Союза писателей СССР была отмечена активная роль в формировании репертуара наших театров таких писателей, как Г. Бокарев, М. Рощин, Р. и М. Ибрагимбековы. Их имена появились на театраль-

ных афишах примерно в одно время, но объединяются многие молодые драматурги отнюдь не только этим.

Прежде всего обращаешь внимание на то, что персонажи, которых принято называть отрицательными, занимают в их пьесах несвойственное им прежде весьма скромное положение — их роль скорее служебная, второстепенная, нежели конфликтобразующая. Происходят драмы, переламываются судьбы — но не в результате их козней. Они помогают одним, мешают другим — но мало что определяют в течении сюжета, в развитии действия.

В пьесе «Валентин и Валентина» Михаила Рощина все на первый взгляд привычно и просто. Молодые люди любят друг друга, а мать Валентины против этой любви, поскольку оба, с ее точки зрения, слишком еще молоды, и никакая это не любовь, и вообще Валентин — жених бесперспективный, материально не обеспеченный, да к тому же, вполне вероятно, рассчитывающий на жилплощадь жены. Валентина отчаянно борется со своим семейством (бабушка и сестра поддерживают мать) и в конце концов побеждает.

Коллизия почти розовская, но время вносит в нее одну существенную поправку — она может исчерпаться и завершиться уже в первом акте. Конфликт Валентины с собственным семейством разрешается так, как он и должен разрешиться — раз она уверена в своей любви и своем Валентине, то, конечно же, они будут вместе. Но почему влюбленные соединяются только под занавес, а не в самом начале? Мешает мать Валентины? Так она мешает и в первом и в последнем актах, она не меняется. Меняется Валентина: в последнем акте она поступает так, как хочет сама.

Происходит, в сущности, то же, что и в «Ситуации», — центр тяжести драмы смещается в направлении от внешнего к внутреннему конфликту. К такому, в котором личность героя обрисовывается иначе и иными способами, нежели в прямом противопоставлении плюса и минуса.

Разумеется, классический конфликт героя и антагониста не отменяется, не угасает ни в жизни, ни в драматургии. Наблюдая за противоборством добра и зла, мы определяем свои нравственные позиции, внимаем в суть жизненных обстоятельств, определяющих течение и исход этого противоборства. Нет противоборства — нет и конфликта, нет драматического действия. Поэ-

тому драматург обычно и выводит на сцену того самого «антагониста», поведение которого заметно отклоняется от общепринятых социальных и нравственных норм. Поскольку такие отклонения еще, как говорится, имеют место в действительности, поскольку необходимо исследовать их психологические и социальные корни, коллизия остается вполне «работоспособной».

Однако в практике современной драматургии мы все чаще обнаруживаем ситуации, где по-особому отчетлив интерес к характерам, в которых нет отклонения от нравственных норм (или есть, но незначительные, так сказать, укладывающиеся в допуски). Если бы в розовской «Ситуации» не было истории с премией, если бы мастер оказался порядочным человеком, главной стала бы линия Виктора и его жены — людей, любящих друг друга, но очень разных и вынужденных во имя своей любви преодолевать свою несовместимость. Тут свои драмы, свои конфликты, и разобраться в них тем труднее, что симпатии зрителя распределяются между героями поровну или почти поровну. Кто герой, кто антагонист? — конфликт теряет четкую, явственно выраженную полярность. Однако при этом он не становится менее напряженным, не размывается, но, напротив, обогащается. В подобных коллизиях возникает целый спектр позиций и точек зрения, жизненная проблем рассматривается широко и много-сторонне.

Необходимо еще раз подчеркнуть: такой принцип построения конфликта, конечно же, не универсален. Традиционный конфликт, предполагающий четкое противостояние героев-антагонистов, продолжает служить надежным средством драматургического выявления реальных жизненных коллизий. Но сейчас я обращаю внимание читателя на конфликты и драматургические построения иного типа.

В той же «Ситуации» Игнат Кашин одинок, сторонников среди персонажей пьесы у него нет, оттого «центр тяжести» драматического действия смещается от проблемы осуждения и разоблачения антагониста (тут, собственно, и проблемы нет — конечно же, он человек недостойный) к более сложным человеческим отношениям, к людям, у каждого из которых есть своя правда, причем правда эта и в нас находит отклик и понимание.

Примерно то же в пьесе Рощина. Противопоставив Валентину и ее мать, драматург

создает и поддерживает сюжетное напряжение — и ничего более. Мать хочет, чтобы дочь была счастлива, она права даже в неправоте своей, ее можно и понять и в какой-то мере простить. И написана эта драма отнюдь не для того, чтобы показать родителей, притесняющих детей, но для того, чтобы выяснить, что представляют собой сами молодые герои, как они выглядят «на randevu». Да, конечно, они на словах и на деле не приемлют неискренности и практицизма в любви — но что есть в них кроме искренности и непрактичности, качеств прекрасных, однако порой с годами исчезающих? Розовский Слава Заварин отчаянно сражался за право иметь собственный ключ от дома — мы понимали его, сочувствовали ему, но как герой драмы он был интересен почти исключительно тем, что у него возникла настоятельная потребность этот ключ получить. Когда он добивался своего, пьеса завершалась, его функции исчерпывались.

У Роцина напряжение борьбы исчезло (или весьма существенно уменьшилось) — что осталось?

Валентина — о том, что говорят мать и бабушка: «А они правильно говорят». Валентин рассказывает ей, как в старину женились по приказу родителей, — она: «Не знаю, может, и хорошо». Потом ему: «Нет, ты лучше скажи: ты уверен? Точно?» С матерью она говорит по-другому: «Ну, хватит! Я не маленькая!»

Подхлестывает азарт борьбы, все кажется ясным и определенным. Но когда не с кем спорить, появляется неуверенность, приходят сомнения: «Ведь они и вправду меня любят, и я их люблю». И снова: «Ты правда меня любишь?.. Первая любовь всегда плохо кончается... Она такая, что мне страшно».

В опубликованной на страницах «Известий» рецензии о постановке «Валентина и Валентины» в «Современнике» Татьяна Тэсс писала, что пьеса Роцина — это «большой взволнованный спор, в котором участвуют люди очень разные, с разными точками зрения, сближенные по замыслу драматурга одним: для каждого из них решение спора жизненно важно, зависит от этого решения многое, а для некоторых действующих лиц — и вся их дальнейшая жизнь». Можно добавить, что самые важные и самые острые споры в пьесе — это те, что герои ведут сами с собой, заглядывая в себя, осознавая себя. Когда ты знаешь, что можешь поступить как хочешь, возникает вопрос:

а как же, собственно, ты хочешь поступать и что ты собой представляешь? Все сравнительно ясно, когда перед тобой конкретный противник и ты уверен, что он не прав и многие на твоей стороне, но наступает момент, когда нет противника перед тобой и исход дела зависит отнюдь не только от твоего умения спорить.

Драма Валентины — это драма начального испытания жизнью. Мать играет здесь роль второстепенную — на первом плане сомнения самой Валентины, ее полудетский страх перед переменами, перед самостоятельностью в конечном счете. Могут сказать — инфантильность, и тут же обобщить, распространить эту характеристику на многих. Точнее, на мой взгляд, все же другое слово — взросление. Движение пьесы определяется взрослением героини — она уходит к своему Валентину не для того, чтобы поставить на своем, но потому, что понимает — иначе уже нельзя, перемена необратима. Инфантильность? Но вот выходит на сцену моряк Саша Гусев и размышляет: «А разве я в восемнадцать лет был не человек? И разве не знал, чего хотел?.. Я был заводной малый, я больше всего на свете любил море и корабли. Я думал: этого хватит на всю жизнь... У меня гениальная квартира, гениальная служба, вот такие друзья, у меня все!.. Но знаешь, чего мне хочется больше всего? Чтобы пришел человек и взял все это как подарок. Любовь — это когда хочется все отдать, когда ходишь и ждешь: кто возьмет, кому отдать, что еще сделать?» Гусев — сверстник розовских героев двенадцати-пятнадцатилетней давности, он в восемнадцать лет знал, чего хотел, уверенности ему хватало. Если бы тогда на его пути возникли препятствия — конечно, он преодолел бы их. Инфантильности в нем не было, но по прошествии времени выясняется, что хотел человек, в общем-то, немного и доступного, путь был слишком прямым и цель, к которой он шел, оказалась близкой и не главной. Гусев слишком быстро повзрослел, сомнений и неуверенности у него не было — сейчас пришла расплата.

Роцин написал пьесу о том, что стать самим собой можно только тогда, когда тебе известно, что ты собой представляешь. Его герои всматриваются в себя, прежде чем сделать свой первый самостоятельный шаг. И делают этот шаг более осознанно, чем их предшественники, повинувшись не логике конфликта, но собственным характером.

При всем том финальная ремарка звучит многозначительно: «Они смеются, еще не зная, какая жизнь ждет их впереди. Но первую победу они одержали». Дальше придется одерживать новые и новые победы, и опять-таки прежде всего над собой. Пьеса М. Рощина «Муж и жена снимут комнату» начинается с того, чем кончилась «Валентин и Валентина», — с первой победы. И кончается первым поражением.

Впрочем, побеждать в данном случае совсем уж некого — никто не мешает Алеше и Алене любить друг друга, жениться и быть счастливыми. Иногда кажется, что какой-нибудь враг был бы просто необходим им — на него можно было бы все свалить или заняться борьбой с ним и в этой борьбе обрести счастье свое. Но нет — ее родители, его родители, друзья, подруги, даже прежняя возлюбленная Алеши — словом, решительно все только и думают о том, как им помочь, как сберечь их любовь. (Само собой, родители Алени беспокоятся сначала о ней, а потом уж об Алеше, а его мать — в первую очередь о нем, но это же естественно, об этом, в сущности, и говорить не стоит.) Люди, окружающие Алену и Алешу, конечно, не лишены недостатков, порой весьма существенных, но к молодым супругам все добры. Так что судьба молодых в их собственных руках. Привычный конфликт здесь рассеялся, уничтожился — что пришло ему на смену?

На первый взгляд может показаться, что Рощин написал пьесу о том, как быт съел любовь, как она расточилась по мелочам в повседневных заботах и мелких неурядицах: нет квартиры, не хватает денег, ребенок мешает учиться и тому подобное. Эта цепочка микроконфликтов движет пьесу — можно сказать, что быт занял в ней место отрицательного героя. Что ж, бороться с ретроградом и межданином, конечно, благороднее, чем с сосисками, к которым намертво прилип целлофан: борьба за принципы возвышает, возня с целлофаном унижает, ибо, даже одолев эту проклятую пленку, ты все равно будешь выглядеть смешным. Но быт — это не только сосиски, это и выговоры, которые получает Алеша от начальника за то, что слишком много думает о доме, слишком мало о работе. А он, между прочим, свою работу любит, «пять лет учился, мечтал, настраивался». Так что тут не просто быт — тут жизнь становится бытом, превращается в быт. И любовь тоже. Алеша исповедуется другу: «Мы даже в по-

стели — извини — продолжаем думать о своих заботах — и уж что за радость!» Рощин пишет о процессе этого превращения — исследование процесса представляется более плодотворным, чем констатация «первой победы», ибо, завершив ею пьесу, драматурги не всегда учитывают, что за ней неминуемо должна идти вторая, третья и так далее, в противном случае и первая обернется поражением. В цепочке микроконфликтов, тянущейся через пьесу, герои чаще побеждают, чем проигрывают: несмотря на трудности, Алена заканчивает институт, и с квартирой более или менее налаживается, и вообще все помаленьку устраивается. Но какой ценой? — беда не в быте, а в том, что герои пьесы душу тратят на этот быт. Потому-то после очередной победы над обстоятельствами любви становится чуть меньше, точнее — она играет в их отношениях чуть меньшую роль: любовь минус квартирный вопрос, потом любовь минус заботы о ребенке и еще и еще маленькие минусы, которые складываются в один большой... Быт не съедает любовь — она-то как раз выдерживает если не все, то многие испытания и продолжает удерживать Алену и Алешу вместе. Быт отгесняет ее, оставляет для нее все меньшее и меньшее место в их душах, в их жизни — любовь как бы загоняют в тесный угол, откуда выпускают погулять ненадолго, в часы относительного благополучия и хорошего настроения. Но там-то, в углу, она жива, бьется, требует своего — иначе супруги просто-напросто посмотрели бы друг другу в глаза в один прекрасный день и, не тратя понапрасну ни слов, ни эмоций, разошлись бы почти безболезненно. Рощинские герои пуще всего боятся именно такого финала, им душу хочется сохранить, они не хотят, чтобы любовный союз сменился деловым партнерством, корректным сожительством. Они, в сущности, максималисты, им нужен не десяток маленьких побед, а одна большая, окончательная. Душу освободить от быта — он, конечно, никуда не денется, все заботы и хлопоты останутся, но им хочется добиться того, чтобы заботы были сами по себе, а любовь сама по себе; ведь возможно же такое, ведь есть такие, кому это удается...

В пьесах, где борьба шла с конкретным антагонистом, отстаивающим резко означенную «антипрограмму», одержать такую победу вряд ли было возможно. О ранних

розовских пьесах я уже говорил, сейчас есть смысл вспомнить сравнительно более позднюю, «В день свадьбы», и ее героиню Нюру Салову, нашедшую в себе мужество отказаться от любимого человека после того, как она узнала, что он любит другую. В этой драме отрицательного героя не было, конфликт развивался в душе Нюры от «мой он, мой!» до «тебя люблю — не себя»; прочие персонажи по-разному влияли на нее, но в решающий момент она оставалась наедине с собой и вся тяжесть выбора ложилась на ее плечи. Однако блестящая нравственная победа, одержанная Нюрой, неокончательна. Да, была минута высокого торжества, подлинного счастья: смогла отпустить, смогла стать выше самой себя (она кричит свое «отпускаю!» уже после загса, на людях, когда гости уселись за свадебный стол). Но минута пройдет, и останется впереди целая жизнь — с жадной любви и семьи, с чистотой, не позволяющей сойтись с кем попало; сейчас ей двадцать шесть, годы бегут быстро... Возможно, самым интересным был бы третий акт этой пьесы, если бы Розов написал его.

Драматурги нового поколения создают своего рода третьи акты к пьесам своих предшественников, пытаются ответить на вопрос: что происходит с их героями после первой победы? В финале пьесы «Муж и жена снимут комнату» звучит надежда, но и неопределенность тоже: Алена встречает вернувшегося из поездки Алешу (ездил он на заработки), «они говорят, смеются, а со всех сторон движутся наши персонажи со стульями в руках. После всех с маленьким стулом выходит совсем крохотная девочка. Или кто-то выносит последним стул, на котором красуется яркий детский горшок». Драматург предоставил право вывода режиссерам, которые будут ставить пьесу: в финале с равными основаниями можно продемонстрировать и крушение и новое обретение любви, все зависит от того, как будет сыграно все предыдущее. Если быть совсем точным, то и в этой немой сцене и в коротком диалоге супругов, за которым она следует, различима интонация «счастливого конца», но автор на нем не настаивает, справедливо полагая, что конец тут может быть всякий — ему хотелось бы, чтобы все кончилось хорошо, но для оправдания «хэппи энда» нужны точнейшие театральные мотивировки, право героев на счастливую судьбу театр в данном случае должен доказывать, оно не бесспорно.

Благие намерения героев несомненны, они понимают, как должно жить, но смогут ли жить так, как должно?

Пожалуй, было бы чрезмерным педантизмом требовать от драматурга определенного, четкого и однозначного ответа на такой вопрос. Алеша и Алена — обыкновенные, обычные молодые люди, добрые, честные, неглупые. Средние в том смысле, что ни его, ни ее не назовешь яркой индивидуальностью — похожие на очень и очень многих. Любовь в их представлении — нечто прекрасное, идеальное, такой она и была в первые дни и месяцы. Драма состоит в том, что в душе вот такого обыкновенного, доброго и порядочного человека идеал сталкивается с действительностью — тут и в самом деле трудно предугадать, чем это столкновение кончится, все зависит от конкретных обстоятельств, от оттенков и деталей. Однозначный финал в данном случае означал бы задним числом вынесенный авторский приговор своим героям, а вот этого-то Рошин и не хочет, ибо не располагает достаточными основаниями ни для обвинительного, ни для оправдательного вердикта. Можно столкновать этот финал как вторую победу Валентина и Валентины, но тогда автору придется писать еще одну пьесу. Можно и по-другому — как капитуляцию перед бытом, но тогда театр будет обязан найти причину духовной несостоятельности героев. Финал остается открытым, на мой взгляд, потому, что поколение, о котором пишет Рошин, еще в движении, в становлении, подводить итоги преждевременно. Способно ли оно сократить расстояние, отделяющее действительность от идеала?.. Конечно, можно было бы найти облегченный путь к утвердительному ответу, но ведь именно этот коренной вопрос героям необходимо решить для себя, в применении к себе. Рошинских героев мы застаем в тот момент, когда они в первый раз сталкиваются с этой необходимостью, — они малы, у них есть время и силы для новых и новых попыток.

Герой пьесы Рустама Ибрагимбекова «Похожий на льва» поставлен автором в более сложную и острую ситуацию.

Выше я говорил, что иные пьесы последних лет можно рассматривать как своего рода финальные акты, дописанные к произведениям драматургов предыдущего поколения. Интереснейший опыт такого «дописывания» мы находим в пьесе Рустама Ибра-

гимбекова. В сущности, первые два ее акта представляют собой завершенное произведение, которое очень органично подверстывается ко многим пьесам десяти-двенадцатилетней давности. В этих двух актах повествуется о том, как Мурад полюбил Лену, но не смог разорвать круг привычной, устроенной жизни, повседневных забот и отношений и отказался от любви, предал ее. Можно было бы поставить точку или закончить пьесу эпилогом, изображающим, скажем, духовно опустившегося Мурада и страдания преданной им женщины.

Однако в третьем акте происходят неожиданные. Во-первых, в жизни Мурада все же кое-что изменилось — он остался в семье, но решился наконец сменить перспективную и дающую возможность безбедного существования научную тему, над которой работал, на тему любимую. Во-вторых, Лена вовсе не страдает, она вернулась к своему прежнему мужу, Рамизу, человеку грубоватому, но по-своему надежному, который любит ее и заботится о ней.

Все, казалось бы, возвратилось на круги своя, и лихорадочный монолог Мурада о непрощедшей любви прозвучал вроде бы впустую — Лена немного погрустила («Мы должны были встретиться с тобой десять лет назад...»), а Рамиз вволю поиздевался («На жалость работаешь, на сострадание...»). Рамиз откровенно презирает Мурада: «Люблю! Умру! Страдаю!» Да что ты, сороконожка, знаешь про любовь?! Ты же от одного вида крови сознание теряешь, наверное, а болтаешь о смерти, о любви... (Неожиданно.) А я тебя убить могу из-за этой женщины, понимаешь — убить!.. Хотя ей ни разу не говорил, что люблю ее».

До сих пор, даже осуждая Мурада за слабодушие, автор понимал его, сочувствовал ему: ну не смог человек решиться на поступок, сам себя за это казнит — стоит ли бить лежачего? Но в словах Рамиза есть своя правда, к которой нельзя не прислушаться: «Ничего в тебе своего нет — все синтетика. И жизнь прожил липовую, ничего настоящего не было — ни женщин, ни друзей, ни врагов, ни крови, ни злости, ни войны, ни смерти — все липа... Один раз в жизни настоящего человека встретил — и то струсил, страшно стало...» Дело не только в том, что автор посчитал нужным вынести приговор одному своему герою устами другого, — в словах Рамиза обнаруживается нравственная позиция, которую Мураду не

так-то легко опровергнуть: если полюбил женщину, сделай ее счастливой.

Мурад не может сделать счастливой ни ее, ни себя. Но тут и происходит главная неожиданность — он оказывается способен наполнить самым что ни на есть реальным смыслом истершиеся от частого употребления слова «я жить без тебя не могу»: поняв, что потерял Лену навсегда, он... умирает. Умирает от любви, потому что жить без нее не может. И наметившееся было противопоставление простого надежного парня и слабодушного интеллигента (с явным преимуществом первого) разрушается — речь идет уже не о том, кто лучше, Рамиз или Мурад, но о сложнейшем нравственном двуединстве: один способен убить во имя любви, другой — умереть во имя любви. Кто из них герой, кто антагонист? Мурад? — но ведь он так и не смог решиться уйти от нелюбимой жены, остался с ней, отлично понимая, что губит себя и, может быть, Лену. Рамиз? — но не слишком ли прямолинейна его сила, не мешает ли она ему быть добрым? Разрушив простое противопоставление, Рустам Ибрагимбеков получил возможность оценить каждого из этих персонажей как бы с точки зрения другого — недаром же Рамиз в финале «совершенно ошарашен случившимся. И впервые в жизни не пытается это скрыть. Способность Мурада умереть из-за любви к Лене опрокинула вдруг весь его жизненный опыт и представление о людях. Он всегда знал, что можно победить ценою жизни, но никогда не верил, что на это способны люди типа Мурада». Теперь, когда в слабости Мурада обнаружилась своя сила и своя правда, мы можем вспомнить о том, что он все-таки занялся своей научной темой, перестал делать то, что выгодно и удобно. Финал оставляет проблему неразрешенной, открытой (при том, что сюжет завершен драматургически эффектной «точкой») не потому, что драматург хочет уйти от ответа, но потому опять-таки, что любая попытка однозначного, окончательного ответа выглядела бы недопустимым легкомыслием. Попробуем представить себе хотя бы Рамиза, безразличного к случившемуся, по-прежнему несокрушимо уверенного в себе, в своем праве презирать людей «типа Мурада», — страшно-вато получается, поскольку такой Рамиз без особых раздумий претворит свое претворительное отношение в прямое действие: «А ну-ка, повтори за мной: я — сороконож-

ка. (*Протягивает ладонь с растопыренными пальцами к лицу Мурада.*)»

Изменения в структуре конфликта в данном случае особенно наглядны, ибо Рустам Ибрагимбеков до самого финала строго придерживается жанровых канонов мелодрамы; три акта озаглавлены «Любовь», «Семья», «Смерть». Создается стандартная любовная ситуация, на нее накладывается столь же стандартное противопоставление слабодушного интеллигента и простого надежного парня, но в финале отчетливо проявился новый характер ситуации; оттого отступление от привычного канона художественно эффективно.

В недавнем прошлом, когда Рамизу и Мураду было примерно столько лет, сколько нынешним героям Рощина, они, вполне вероятно, довольствовались первыми победами; в иных пьесах тех лет молчаливо предполагалось, что итог окончателен и будущее героя и его антагониста — прямое продолжение настоящего. Но оказалось, что это не совсем и не всегда так, что нерассуждающая цельность может обернуться жестокостью, а причиной нерешительности может оказаться и душевная чуткость. Взаимодействие личности и времени — процесс сложный, «многоканальный»; в «Традиционном сборе» Виктора Розова выпускники одной из московских школ, собравшиеся двадцать с лишним лет спустя, убеждаются, что стали они не совсем такими или даже совсем не такими, как казалось в десятом классе. Но все-таки у Розова личность жестко детерминирована исходными качествами и средой. Что же касается драматургии последних лет, то здесь все более очевидна неоконченность всяких итогов, ее герои более подвижны, более подвержены переменам, более разнообразно отзываются на происходящее вокруг них. Драматургия настойчиво пытается разомкнуть финал драмы, распахать ее в жизнь, продемонстрировать не завершенность, а, напротив, неисчерпанность ситуации и ее нравственных аспектов.

Изменения в самой драматургической структуре упомянутых здесь пьес говорят о дальнейшем углублении социально-нравственной проблематики современной драмы, о ее движении от частных конфликтов и коллизий к более общим, от анализа явлений — к исследованию процессов. За трезвым отношением к очередной «первой победе» все более отчетливо просматриваются попытки обнаружить, открыть тот главный

импульс, который побуждает человека не довольствоваться пусть даже немаловажным, но частным успехом.

Герой современной драмы настойчиво ищет гармонию между бытом и бытием, интересами дня и нравственным идеалом. Поиски эти нелегки, порой мучительны; Мурад в пьесе Рустама Ибрагимбекова жизнью платит за то, что не смог, не осмелился обрести гармонию.

Процесс поисков гармонии, движения личности к нравственному идеалу отчетливо прослеживается в творчестве Александра Вампилова.

В «Прощании в июне», своей первой «полнометражной» пьесе, начинающий драматург остается в рамках готового канона. Есть герой положительный, хотя и не без недостатков, — студент Колесов: талантлив, жизнерадостен, обаятелен и несколько легкомыслен. Есть антагонист — ректор университета Репников: бездарен, завистлив и непорядочен. Колесова любит дочь Репникова Таня, а недовольный этим ректор предлагает герою выбор: Таня или диплом. Колесов выбирает диплом, потом раскаивается, рвет диплом, после чего Таня прощает ему это маленькое предательство.

Несколько необычной была, пожалуй, легкость, с которой совершались метаморфозы Колесова. Он мгновенно соглашался на предложение Репникова, от диплома отказывался тоже без особых раздумий. Герой поворачивался то так, то этак — могло показаться, да, пожалуй, так оно и было, что драматурга интересовал не столько человек, сколько ситуация, испытание нравственных качеств личности. Сначала эта личность испытания не выдерживала, потом исправляла ошибку, но возможны были и другие варианты. В одной из позднейших редакций финал был изменен — Таня не прощала Колесова. Пьеса от этого не становилась намного лучше, но для понимания эволюции Вампилова такой финал существует: «хэппи энд» завершает пьесу, ставит точку, новый же финал представляет собой многоточие, ибо завершение сюжета не исчерпывает нравственную проблему.

Впрочем, проблема — это в данном случае, пожалуй, слишком громко сказано. Сподличал человек, вскоре одумался — о движении к нравственному идеалу здесь говорить еще рано, пока что герой движется всего лишь от непорядочного поступка к порядочному, причем первый вроде бы не

оставляет никакого следа ни в его душе, ни в душе его возлюбленной. Облегченность такого решения Вампилову стала ясна очень скоро — уже в следующей пьесе, комедии «Старший сын». Колесову был нужен диплом, герою «Старшего сына» Бусыгину требуется всего лишь ночлег (проводил с приятелем девушек на окраину, опоздал на последнюю электричку). Колесов ради диплома предаст любимую девушку, Бусыгин же ради ночлега придумывает, казалось бы, почти невинный обман: является в дом старого музыканта Сарафанова и выдает себя за его сына. Ему даже кажется, что он имеет некоторое право на такую злую шутку, поскольку его собственный отец бросил семью: выходит что-то вроде «переадресованной» мести. Однако сразу выясняется, что Сарафанов — чистый человек, он не только верит Бусыгину, но и проникается к нему искренней любовью: мнимый сын становится ему чуть ли не дороже его настоящих детей. Бусыгин попадает в сложное положение: не сознаться в обмане нельзя, сознаться тоже нельзя, не причинить боли другому. Бусыгин осознает ответственность за поступок — это уже не Колесов, который с одинаковой легкостью грешит и кается; обмануть Сарафанова было легко, покаяться намного труднее. Правда, автор пришел на помощь герою, устроив комедийную суматоху с пожаром, во время которой признание Бусыгина проходит почти незамеченным; Сарафанов по-прежнему любит своего новоявленного старшего сына.

Дебют Вампилова не остался незамеченным (хотя пьесы его не сразу пробили себе дорогу на сцену). Александр Штейн писал в «Правде»: «Явился перед нами талант действительно незаурядный, художник, умеющий чутким, все фиксирующим ухом слушать нынешнюю речь и нынешнюю речевую интонацию, ее тончайшие оттенки и нюансы, нынешнюю жизнь, ее пульсацию и — людей нынешних, делающих ее».

Герой Вампилова вырос — выпускник университета Колесов стал инженером Зиловым («Утиная охота»), потом юристом Шамановым («Прошлым летом в Чулимске»); Зилову под тридцать, Шаманову за тридцать. Героини оставались теми же — восемнадцатилетними: Ирина в «Утиной охоте», Валентина в «Чулимске». С течением времени выяснилось также, что Колесов хотя и самый безответственный, но и самый безвредный из вампиловских героев: Таня все простила и снова поверила ему. Другим

пришлось намного тяжелее. Причем вот что интересно: такого открытого аморального поступка (Колесов на глазах зрителя выслаживает предложение Репникова и прогоняет Таню) вампиловский герой себе больше не позволит. Зилов тоже отталкивает влюбленную в него Ирину, но все-таки не так цинично, — ну, наболтал человек глупостей под пьяную руку, оскорбил девушку, но потом кается и напряженно ждет, не позвонит ли она. Она не звонит, уезжает из города, и мы можем понять, что душа ее ранена хамством гораздо тяжелее, чем душа Тани предательством Колесова. Сможет ли Ирина быть счастливой? Вероятно, да, когда-нибудь в будущем, но такие травмы оставляют след в душе надолго.

Шаманов не предаст и не оскорбляет Валентину — просто до него, занятого своими проблемами и неурядицами, как говорится, не сразу доходит, что Валентина любит его. Он чуть-чуть, буквально на какой-то час, опоздал прислушаться к ней, понять ее, но за эту его небрежность Валентина расплачивается тяжелой ценой...

Вампилов набирал высоту стремительно — «проходных» пьес у него нет, каждая новая работа становилась этапной. Т. Чеботаревская в «Литературной газете» отмечает: «Год за годом путь, проходимый писателем, все сложнее. А приемы изложения все неистовей». И от пьесы к пьесе становится все более отчетливым один из интереснейших парадоксов вампиловской драмы — чем незначительнее вина героя, тем тяжелее последствия. Нарушается обычная причинно-следственная связь между поступком и последствием, расплата за грех несоразмерна греху, причем расплачиваются не грешники, а праведники (пользуясь определениями В. Соловьева, автора опубликованной в «Авроре» статьи «Праведники и грешники Александра Вампилова»). Парадокс этот нуждается в объяснении, ибо через него открывается важнейшая особенность драматургии Вампилова.

По В. Соловьеву, вампиловские праведники не совмещаются с окружающей их реальностью и либо утрачивают свою «ангельскую» сущность, либо начинают притворяться, что они как все, не лучше других. Происходит это, естественно, под влиянием и при прямом участии грешников. Такая антиномия действительно обнаруживается у Вампилова, но рассмотрение его театра с этой точки зрения не позволяет понять природу конфликта, драматического действия в

его пьесах. Ибо праведники любят грешников, а те, в свою очередь, полны глубочайшего уважения к праведности. Добро и зло как будто не выходят к барьеру, не сталкиваются к конфликте.

Таня прощает Колесова.

Бусыгин выдает себя за сына Сарафанова, но потом становится ему чуть ли не роднее собственных детей.

Ирина любит Зилова, правда не зная, что он собой представляет, а Валентина — Шаманова, которого знает достаточно хорошо. Как отмечает В. Соловьев, грешники тянутся к праведникам, но и праведники никак не могут без грешников.

Чего, казалось бы, проще — противопоставить душевно опустившегося Шаманова или изовравшегося Зилова чистым и прекрасным душам, Валентине и Ирине, и таким образом обнажить всю их никчемность и несостоятельность. Но вампиловские героини присутствуют в пьесах как неизменяющаяся данность, они вне конфликта. Все происходящее в конечном счете отражается на них болезненно или трагически, но сами они как бы в стороне. Валентина все время чинит забор, через который удобнее пролезать посетителям чайной, — когда привыкнут ходить через калитку, она посадит на затоптанном месте цветы. Чинит в начале пьесы, чинит в конце — из этого забора можно было бы сделать то ли символ, то ли принцип. Шаманов спрашивает ее, зачем она это делает.

«Валентина. Но... Разве непонятно? (Шаманов качает головой: непонятно.) И вы, значит, не понимаете... Меня уже все спрашивали, кроме вас. Я думала, что вы понимаете.

Шаманов. Нет, я не понимаю.

Валентина (весело). Ну, тогда я вам объясню... Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый».

«Понятно», «непонятно», «понимаю», «не понимаю»... Трудно, трудно разгадать такую простую вещь, куда легче было бы, если бы Валентина, подобно своим сверстникам из пьес десяти-пятнадцатилетней давности, подвела под свою деятельность, так сказать, принципиальную основу. Тогда бы ее ментально поняли. А так... все как-то слишком просто, нет конфликта.

В вампиловской драме эти девушки существуют как некий нравственный эталон, неизменный и непреходящий. Ирина и Валентина тяжело оскорблены, но грязь к ним

не пристаёт, они остаются такими же, как были.

Противопоставление вампиловских героев и их возлюбленных ничего не дает, кроме констатации общеизвестной житейской истины: одни люди такие, а другие вот такие. Шаманов и Зилов раскрываются в иных коллизиях и сопоставлениях.

О том, насколько непросты эти коллизии, как трудно сориентироваться в них, дает представление одно из суждений А. Демидова, автора напечатанной в «Театре» статьи «Заметки о драматургии Вампилова»: «...все случившееся, даже действительно пережитые страдания, никакого следа, кажется, не оставило в душе героя. И теперь мы еще яснее понимаем цену драм Зилова, а в трезвом, рациональном официанте и вовсе начинаем различать черты неплохого парня. В конце концов нам ясно, что Зилов, по пьянке проведший блестящую обличительную сцену в «Незабудке» со срыванием всех и всяческих масок, никакого права на красивые жесты не имел, а что касается доброго малого, официанта, давшего герою в морду, то мы целиком принимаем справедливость этого поступка, ибо вряд ли Зилов, назвавший его лакеем, заслуживал лучшего».

В сцене, о которой пишет А. Демидов, пьяный Зилов высказал своим приятелям и знакомым все, что он о них думает, высказал, в общем, вполне справедливые вещи. И старого приятеля, официанта Диму, с которым ездит на утиную охоту, назвал лакеем. Далее официант, после того как все ушли, подходит к окончательно опьяневшему Зилову, «толкает его в бок, поднимает ему голову.

Официант. Я — лакей?

Зилов (смутно). В чем дело?

Официант. Я спрашиваю: я — лакей? Зилов. Ты?.. Конечно, а кто же ты еще?

Официант оглядывается, потом бьет Зилова в лицо. Зилов падает между стульев. Официант безо всякого перерыва начинает убирать со стола».

Наутро протрезвевший Зилов звонит официанту: «Слушай, не ты ли это двинул мне вчера по скуле?.. Да вот никак не вспомню... Да нет, при чем тут подозрения, просто спрашиваю... Ну, если б знал, не спрашивал бы... Ну извини, не придавай этому значения...» — то есть официант еще изображает возмущение и обиду, а Зилов еще и должен

извиняться. Трезвым и рациональным такое поведение назвать можно — в определенном, именно лакейском смысле, — но черты неплохого парня и доброго малого в человеке, бьющем беззащитного, а потом становящемся в позу «как ты мог подумать?», мы, пожалуй, все-таки не различаем. Все проще: лакей обиделся, что его назвали лакеем, и отомстил по-лакейски.

Однако в «неплохие парни» официант произведен не случайно. Тут есть своя логика, и выглядит она примерно так. Зилов — персонаж, наделенный многими чертами отрицательного героя. Он плохой работник, он обманывает жену, оскорбляет своих друзей и влюбленную в него девушку. По логике привычной схемы, такой человек может быть выведен на сцену, да еще поставлен в центр драмы с одной лишь целью: разоблачить, осмеять его, продемонстрировать читателю и зрителю его ничтожество. Следовательно, всякий персонаж, делающий такому Зиллову что-нибудь плохое, тем самым противопоставляется отрицательному герою в качестве более или менее положительного. Потому-то можно и не заметить, что поступок официанта выглядит подловато, и даже различить в нем черты доброго малого и неплохого парня.

Но для разоблачения Зилова драматургу не нужен антагонист, у официанта в пьесе другие функции. Вампилов идет более сложным путем: чтобы показать степень душевного омертвения своего героя, он находит точное и изящное драматургическое решение. Зилов, стараясь помириться с женой, заставляет ее вспомнить прошлое, лучший в их жизни вечер. Он добивается своего, Галина вспомнила — но сам он вспомнить не может решительно ничего. Начинается с реплики Зилова: «Вспомни-ка, что ты тогда сказала»; кончается отчаянным криком Галины: «Вспомнишь ты или нет?»

Но далее следует еще одна реплика: «Зилов (с искренним огорчением). Ну вот... Вспомнили молодость».

Так и движется этот характер в пьесе: вспышка искренности, человечности гасится цинизмом или душевной усталостью, драматические интонации снимаются фарсовыми — и все-таки остается какая-то нотка горечи, вовсе, казалось бы, неуместная, когда речь идет о таком человеке. Суть в том, что Зилов не любит свое мелкое, непорядочное, светливое существование, оно ему самому невыносимо. Он пытается вырваться из него, рассчитаться с ним. И с близ-

кими тоже. Даже с Ириной — оттого и оскорбляет ее. У него всегда так — благие порывы оборачиваются злом и для него и для окружающих. Попытка вернуть прошлое, вспомнить лучший в жизни вечер не удается, потому что Зилов не способен быть таким же взволнованным, каким был тогда: он вспоминает, кто что сказал и где сидела Галина, но вернуть ощущение не может. А на утиной охоте он, наоборот, чересчур взволнован, потому и возвращается ни с чем. Официант (этот добрый малый — отличный стрелок) поучает: «...в охоте главное — это как к ней подходить. Спокойно или нет. С нервами или без нервов... Спокойно, ровненько, аккуратненько, не спеша». Зилов пытается возражать: «А влет? Тоже не спеша?» Официант: «Зачем? Влет бей быстро, но опять же полное равнодушие... Как сказать... Ну так, вроде бы они летят не в природе, а на картинке».

Но, оказывается, для Зилова, страстного любителя охоты, важно, что «они не на картинке. Они-то все-таки живые». Вот так все и идет — когда нужно быть спокойным, человек волнуется, когда, казалось бы, нельзя не взволноваться, холоден. Говорит правду людям — и попутно клеветает на прекрасную девушку. Объясняется в любви жене — но ее нет за дверью, она ушла, и слова любви слушает Ирина, считая, что это говорится ей. Все невпопад, все не так, пьеса и ее герой балансируют на грани фарса и трагедии. В начале пьесы Зилов получает... веночек с надписью: «Незабвенному, безвременно сгоревшему на работе Зиллову Виктору Александровичу от безутешных друзей». Потом приходит телеграмма подобного же содержания: обиженные приятели решили подшутить. А в конце Зилов собирается выстрелить в себя — подробное описание приготовлений говорит о серьезности намерения. Не получается — приходят приятели, отнимают ружье. Качается маятник — от фарса к драме, от искреннего страдания к мелкому вранью, и после неудавшегося самоубийства Зилов собирается на утиную охоту. На ту самую, где он ни в одну птицу ни разу не попал — волновался. А может быть, теперь попадет, может быть, уже не будет волноваться, научится не обращать внимания на то, что утки — живые? Если бы знать... Б. Соловьев отмечает в упоминавшейся статье, что Вампилов «был искусным мастером таких неопределенных, колеблемых, вариативных концов». Думаю, все же не в мастерстве здесь дело (оно несомненно), но в том, что определенный,

однозначный финал (все равно с каким знаком, плюсом или минусом) свел бы драматическую коллизию к частному случаю: вот этому человеку в конкретных обстоятельствах его жизни удалось (или не удалось) духовно возродиться, преодолеть в себе цинизм и равнодушие. Такими финалами завершались первые вампиловские пьесы, герои которых еще целиком были послушны воле автора; нравственный итог этих пьес имел чисто прикладную ценность. В «Утиной охоте» драматург прокладывает путь к более общим и более сложным закономерностям, здесь важен не только результат, но и сам процесс исследования, его начало, ход и итог.

Сначала мы застаем Зилова в состоянии сравнительного благополучия или того, что он сам считает благополучием: получил квартиру, с женой отношения более или менее нормальные, да к тому же есть еще одна женщина нестрогих правил, на работе тоже все в порядке, хотя и весьма относительно. И еще есть утиная охота, и еще Зилов получает незаслуженный подарок — любовь Ирины. Кончается же все полным крахом, попыткой самоубийства. Исследуя характер своего героя, драматург обнаруживает, что этот человек, казалось бы вполне довольный своим существованием, этот уклад, его же собственными усилиями созданный, не переносит... Вроде бы неплохо устроился — а жена ушла, Ирину он сам оттолкнул, приятели (им самим сообразно собственным вкусам и запросам подобранные) оказались мелкими пакостниками или неумными шутниками. Человек, придумавший себе удобную и необременяющую мораль «на каждый день», в конце концов мучительно осознает убожество этой морали, ее несоответствие истинной нравственности, и осознание этого несоответствия ввергает его в отчаяние, и рука тянется к ружью. Тут уже не автор приводит героя к крушению, тут самодвижение личности.

Герой вампиловской драматургии — это человек, искренне верящий в справедливость высших нравственных принципов, искренне стремящийся на их основе построить свою жизнь. Но принципы эти он еще не способен принять в себя, они как бы вне его, поэтому появляется возможность их обойти, ими поступиться для достижения какой-либо житейской цели. Однако безнаказанно обойти не удастся, поскольку человек, как было сказано, верит в их справедливость. Конфликт в вампиловских

драмах возникает на основе принципов, которые человек принимает, но жить в соответствии с которыми не умеет. Герои этих драм отличаются от своих возлюбленных как раз тем, что нравственный принцип — неотъемлемая, органическая часть их личности, то, о чем не говорят, не спорят, что не нуждается в декларациях и доказательствах («Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый»).

Вампилов избрал весьма сложный предмет исследования; коллизии, скажем, роцинских персонажей в сравнении с конфликтами его драм могут показаться простенькими, легкоразрешимыми. Вряд ли кто-нибудь из героев Роцина может поменять любимую на диплом или зло подшутить над стариком. Впрочем, в комедиях А. Вампилова, где происходят подобные события («Прощание в июне» и «Старший сын»), с помощью автора все кончалось благополучно и однозначно. Но потом вампиловскому герою стало тесно в рамках комедии — начались драмы с неопределенными финалами; конфликт человека и нравственных принципов усложнялся и становился все более драматичным и напряженным. В «Утиной охоте» и «Прошлым летом в Чулимске» автор относится к своему герою более жестко — ничего ему не прощая, но и не лишая нас надежды на его духовное возрождение. Зилов уже болезненно ощущает свою раздвоенность: жить, как получится, он не хочет, жить иначе... способен ли?

Шаманову в «Чулимске» как будто удаётся избавиться от раздвоенности — в финале пьесы он собирается лететь в город и выступить на суде (когда-то его, преуспевающего следователя, отстранили от того самого дела, которое сейчас должно слушаться, он воспринял это как крушение справедливости и уехал в Чулимск, где и прожил, так сказать, без всяких духовных запросов). Можно бы порадоваться — очнулся все-таки человек от душевной спячки. Но пробуждение явилось результатом той цепи событий, которая привела не только к возрождению Шаманова, но и к трагедии Валентины — слишком дорогая цена уплачена за то, что герой решается выполнить свой даже не столько человеческий, нравственный, сколько профессиональный долг.

Весьма существенно, что Шаманов не только не желает зла Валентине (как, впрочем, и никому другому), но уже почти любит ее. Извлечь из «Чулимска» всеупотреб-

бительную мысль о том, что равнодушие к людям порой губит людей, значит недопустимо упростить смысл пьесы. Более того, чуть ли не все персонажи пьесы относятся к девушке примерно так же, как Шаманов, зла ей никто не желает. Дело здесь, конечно, не в одном Шаманове, но в более общем несоответствии той самой житейской, «на каждый день» нравственности с высшим нравственным принципом; в Шаманове это несоответствие лишь наиболее очевидно.

Однако трагедии могло не быть — недаром же непосредственным поводом ее драматург делает случайность, перехваченную записку: мотив условно-театральный. Исследуя закономерность, Вампилов оставляет место тем случайностям, которые привносит в нее течение жизни, оставляя место самой жизни. И Шаманов в результате случившегося все же делает шаг по пути к новой цельности души и личности — пусть с опозданием, пусть опять же не очень большой шаг, но делает все-таки. У «Чулимска» открытый финал, судьбы героев не подытожены. Возможно, в какой-то из последующих пьес А. Вампилова (тех, что, к нашему горю, уже не будут написаны) мог осуществиться синтез — расстояние, отделяющее его героя от нравственного идеала, Вампилов считал преодолимым. Поэтому можно согласиться с Олегом Табаковым, писавшим на страницах «Правды», что «герои вампиловских произведений... привлекают своим стремлением встать выше житейских обстоятельств, жаждой бороться за право человека активно, творчески влиять на все происходящие вокруг него события».

Рассуждая о «вариативном» финале «Чулимска», В. Соловьев пишет: «Может быть, дело в том еще, что драматург пошел по совершенно новому, неизведанному (или забытому?) пути, показывая человеческие драмы, которым нет ближайшего разрешения?» Именно так, это и обусловило отход от привычной схемы конфликта, ибо она по самой природе своей предполагает тем или иным способом разрешенную, завершенную коллизия.

Как известно, новое — это чаще всего хорошо забытое старое. Вероятно, именно этот афоризм имел в виду В. Соловьев, помещая в скобках «забытое». Однако путь, которым пытаются идти драматурги нынешнего поколения (Вампилов был, пожалуй, последовательнее других), нельзя назвать забытым — просто он труднее других, боль-

шего требует от писателя. Это следование чеховской традиции, чеховской поэтике драмы. Ее никто не забывал — но надо было дорасти до нее. (Нужно ли оговариваться, что речь идет не о прямом сравнении двух драматургов, но об использовании Вампиловым некоторых существенных принципов чеховской поэтики драмы?)

Да не сочтется слишком рискованной параллель, но ведь и Чехов шел от «Иванова», почти полностью умецающегося в рамках традиционной поэтики, к «Трем сестрам» и «Вишневному саду». И Чехов искал «вариативные» финалы; «кто изобретет новые концы для драм, тот откроет новую эру» — замечание оказалось пророческим, чеховские пьесы стали этой новой эрой в мировой драматургии. В драмах, которым нет ближайшего разрешения, чеховские герои думают о том, что будет через двадцать — тридцать или через двести — триста лет. «Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить...»

Изобретая «новые концы», Чехов впервые в мировой драме уничтожил подразумевавшийся до него знак равенства между завершением событийного ряда и решением проблемы. Уходит полк, гибнет Тузенбах, дом Прозоровых захватывает Наташа, но жизнь продолжается с той же тоской по будущему, с теми же страданиями в настоящем, с тем же мучительным, но неотменяемым долгом: «...умей нести свой крест и веруй». Рубят вишневый сад, кончается эпоха, но звучат слова: «Здравствуй, новая жизнь!»

Чехов видел неизбежность этой новой жизни — но и невозможность устроить ее сейчас, сегодня. Необходимо изменить жизнь и невозможно изменить ее сейчас — драматическое напряжение возникает из неразрешенности проблемы и насущной потребности в ее разрешении. Новаторство Чехова в том, что он сделал предметом драмы для жизни процессы общественной жизни, итога которых не мог предугадать и не считал себя вправе его предугадывать.

Современная драматургия обратилась к принципам чеховской поэтики драмы именно тогда, когда в сферу ее внимания включились длящиеся процессы. Разумеется, содержание этих процессов совсем не то, о котором писал Чехов, но найденный им принцип оказался сегодня эффективным; известно, что те или иные элементы, приемы

какой-либо поэтики или стиля порой обретают известную самостоятельность, возвращаются и применяются для раскрытия нового, подчас не имеющего ничего общего с первоначальным содержанием. В чеховских пьесах «открытые» финалы свидетельствуют о неразрешимости конфликта в данных социальных условиях, в современной драме — о его незавершенности («драмы, которым нет б л и ж а й ш е г о разрешения»).

Длющиеся процессы наблюдаются, конечно же, не только в мире человеческой личности, но и в общественной жизни.

В так называемых производственных пьесах, где герой стремится к новому, а антагонист старается ему помешать, позиции привычного конфликта казались прочными; правда, нередко мотивы поступков антагониста выглядели не очень серьезными — консерватор и ретроград выполняли свои функции скорее по сюжетной необходимости, чем по внутреннему убеждению. В современных «производственных» пьесах, затрагивающих актуальные проблемы научно-технической революции, резко выраженные консерваторы и ретрограды встречаются не столь уж часто. Поворотным пунктом стала широко известная пьеса Игнатия Дворецкого «Человек со стороны», но драматург оказался не вполне последовательным, ибо противники Чешкова, если рассматривать их с чисто деловой стороны, все-таки ярко выраженные консерваторы, не научившиеся работать по-новому, без качек и авралов. Однако Дворецкий сделал их... хорошими людьми, подробно рассказал об их славном боевом прошлом, показал на отдыхе, в дружеской компании. Так что в конфликте сталкиваются не положительный Чешков (он-то как раз человечески не очень приятен) и его отрицательные противники, но принципы, стиль руководства, и у сторонников каждого из них — свои аргументы и резоны. Чешков говорит бывшему начальнику цеха Грамоткину, что цех работал плохо. Грамоткин отвечает, что нужно было платить зарплату рабочим; понятно, что такой разговор ни к чему не приведет — Чешкову не нужен Грамоткин (о чем он и заявляет), Грамоткин не понимает Чешкова. Однако ж этот не приспособленный к новым методам руководства Грамоткин... стрелял в себя из-за того, что подвел родной завод, не сумев наладить работу цеха.

Дворецкий прибегает к таким сильнодействующим и нарочитым приемам, чтобы отделить мысль: дело не в личных качествах

людей, но именно в принципах. У Чешкова, в сущности, нет противников — все заинтересованы в том, чтобы цех наконец заработал на полную мощность, пошла во имя этого даже на нарушения традиций, доверились человеку со стороны, к тому же непозволительно молодому. Ему уступают, до поры до времени в его действия не вмешиваются. По меркам не столь давнего прошлого Чешков — новатор, почти все остальные — консерваторы, но консерваторы несколько странные: помогают новатору и терпят его не столь уж безобидные выходки и афоризмы.

Если же участники сюжета придерживаются одних и тех же принципов и драматург противопоставляет их только по чертам характера и личности, то обнаруживается явная «недостаточность» конфликта. Фарид Салаев, герой пьесы Рустама Ибрагимбекова «Своей дорогой» («Неопубликованный репортаж»), посылает в Госплан телеграмму: по его расчетам, план нефтедобычи занижен, область может дать намного больше. Посылает сам, от своего имени, ни с кем не согласовывая новую цифру. Конфликт? Какой именно? Противники Салаева не занижают искусственно план, не отказываются от передовых методов — словом, не делают ничего такого, что положено консерваторам. У них тоже цифры, серьезные обоснования, расчеты, исходя из которых они и определяли план. Не человек против человека, не принцип против принципа, но расчет против расчета. Салаеву говорят: докажи, что твой вернее. Вот и все — д о к а ж и.

Как видим, здесь, в сущности, нет столкновения новатора и консерватора — и Салаев и его противники стоят на одних позициях, только цифры у них получаются разные, так как пользуются они разными методами. Выяснить, чей метод вернее, не дело искусства. Однако логика, которой пользуется Рустам Ибрагимбеков, приводит его к такому выводу: раз Салаев требует увеличения плана — значит, его метод вернее, а сам он положительный герой, новатор, а его противники, соответственно, отрицательные, консерваторы; очень просто и удобно. Такой спор решается не противоборством принципов, но вычислительной техникой.

Рустам Ибрагимбеков пытается установить связь между этой вызвавшей скандал телеграммой и совершенным Салаевым несколько лет назад открытием сибирской нефти. Возникает такая последовательность: в прошлом он ослушался прямого приказа

и отправился не в тот район, куда ему было велено, а в тот, где рассчитывал найти нефть. И нашел. А теперь тоже уверен в себе, потому и телеграмму послал.

Но тогда он ничего не мог доказать. Была интуиция, талант геолога-разведчика, вера в себя (и расчеты тоже, но приблизительные, ориентировочные) — подкрепить все это, доказать свою правоту можно было только бурением. Он и отправился бурить. Сейчас интуиция на третьем плане, человек, на расчеты которого опирается Салаев, даже не геолог, а математик (которого, кстати, план нефтедобычи не особенно интересует, ему важен сам математический аппарат исследования). Так что связь между поступками есть: и тот и другой совершены решительным человеком. Однако во втором случае решительность сильно отдает волюнтаризмом.

В споре о цифре истина рождается сегодня с помощью ЭВМ, а не благодаря тому, что один из спорящих не боится риска, в то время как другой боится. Поэтому драматургу приходится доказывать «положительность» своего героя примерно теми же средствами, которыми пользовался Дворецкий, изображая противников Чешкова. На сцене появляется персонаж, выведенный специально для того, чтобы рассказать о Салаеве как можно больше хорошего. Это, естественно, ничего не меняет. Когда же герой раскрывается не в восторженных рассказах о нем, но непосредственно в действии, то нимб, нарисованный вокруг его чела, заметно блекнет.

От Салаева (еще тогда, в прошлом, когда он только начинал) уходит женщина. Можно было бы зачислить ее в разряд эгоисток, не понимающих своих мужей-подвижников, и в этом качестве осудить, но сначала слушаемся в то, что она говорит, расставаясь с любимым: «Ты весь поглощен собой и видишь только то, что тебе хочется видеть. А все остальные люди должны выполнять обязанности, которые ты на них возложил, у каждого есть своя функция, чтобы у тебя было все, что тебе хочется иметь. И семья, и любовь, и работа, и друзья, и последователи, и подражатели. И все должно вертеться вокруг тебя. Я тебе нужна как пример, как образец человеческой доброты. Тебе нужна вера в людей, и это поручено мне... Я должна любить тебя бескорыстно и беззаветно, потому что это приятно твоему мужскому самолюбию, люди должны следовать за тобой, потому что у тебя есть цель...

А ты не подумал ни разу, что мне обидно быть символом каким-то, олицетворять нужные тебе человеческие качества, быть только такой, какой ты меня вообразил?.. И я не хочу, чтобы только я была для тебя, но чтобы и ты был для меня».

А вот что отвечает на это Салаев:

«Я не знал, что тебе так плохо. Мне казалось, что ты счастлива со мной, ты ведь никогда ни на что не жаловалась...» Мы еще могли сомневаться в правоте слов женщины — мало ли что можно горько сказать в такую минуту, — но первой же фразой Салаев подтверждает справедливость ее упреков: если уж любимая должна специально жаловаться, если уж человек без слов не может понять, что женщине, живущей рядом с ним, плохо, то она права: Салаев поглощен не делом, а собой, перепраливая слова Станиславского, любит себя в деле, а не дело в себе. Он продолжает: «Я же говорил тебе тогда, что тебе будет трудно. Я же предупреждал тебя», — так сказать, снимает с себя ответственность. Впрочем, тут же снова возлагает ее на себя: «Я же знал, как трудно тебе придется, и должен был помнить, что ты не выдержишь». Однако помог ли он ей выдержать? Нет, наоборот: «Я всегда чувствовал, что нужно сказать или сделать, чтобы понравиться тебе больше, чем нравился. И сейчас тоже я могу удержать тебя, я знаю, что надо сделать для этого. Но я никогда этого не сделаю. Я ничего не сделаю специально для того, чтобы сохранить тебя. Ничего! Потому что тогда это буду не я. А мне нужно, чтобы ты любила меня...» Современная вариация на классическую тему «полюбите нас чернышками» плюс элементарное хвастовство, от века герои драмы стремились заслужить любовь, стать достойными ее, некоторые чудаки даже мучились, считали ее небесным даром, случайно доставшимся им, а тут выходит человек и спокойно объясняет, что он слишком хорош, чтобы что-то еще заслуживать.

Можно было бы предположить, что драматург пытался создать сложный и противоречивый характер: да, в работе Салаев такой, в любви — такой, и ничего тут не поделаешь, его недостатки являются продолжением его достоинств. Однако недостатки тут продолжение недостатков: после той самой телеграммы его справедливо упрекают в самоуверенности и стремлении к показухе.

Цельный человек, последовательный по-

своему,— непонятно только, почему он занимает в пьесе место положительного героя. А занимает он именно это место, хотя его поведение «на randevу» свидетельствует о духовной бедности, о дешевой жажде самутверждения. (Я не говорю здесь о несомненной одаренности Салаева-геолога — профессиональные способности, как известно, прекрасно могут сочетаться почти с любыми свойствами личности.) Из рассказов же о нем рождается светлый образ человека решительного и целеустремленного, всей душой преданного делу (мы видели, за счет чего достигается эта преданность). И окончательный вывод, авторский итог может быть сформулирован примерно так: да, конечно, не идеален этот человек, но такие нам нужны, ибо движут вперед научно-технический прогресс. Все было бы прекрасно, если бы не вспоминать о том, что прогресс должен совершаться для человека и во имя человека, а Салаев именно человека, как мы видели, порой ни в грош не ставит.

Возникает резкое противоречие между общественной функцией героя и его реальным человеческим содержанием. Оно остается не снятым, двойственность — непреодоленной. Думаю, дело тут в инерции схемы «новатор—консерватор», где Салаеву может быть отведено только место новатора, а его противники, соответственно, автоматически зачисляются в консерваторы; реально же намечающаяся драматическая коллизия в эту схему не укладывается. Причем в пьесе легко различима грань между теми ситуациями, в которых эта схема «работоспособна», и теми, где она отказывает. Первая — столкновение Салаева с Голубым, законченным бюрократом, живущим только очередным указанием вышестоящей организации; это вопреки его указанию Салаев перебрался в Тургут, где и была открыта нефть. Тут все ясно: у новатора — расчет, интуиция и вера в себя, у консерватора — только нерассуждающая исполнительность. И вторая — та самая история с телеграммой, где противостоят друг другу самоуверенный Салаев и люди, не имеющие права, доверяясь только его интуиции, вносить существенные поправки в государственный план (к тому же, как справедливо замечает один из руководителей, добывать обещанную нефть будет не Салаев, не его главок).

Сегодня за ситуациями первого рода все более отчетливо просматриваются иные конфликты и возможность иных решений. В пьесе Максуда Ибрагимбекова «Мезозой-

ская история» ученый Таиров приходит к начальнику управления Морнефти Бадинову. Бадиров показывает Таирову документ, в котором значится некая, надо полагать, значительная цифра, и говорит: «...эта сумма средств, отпущенных на твои поиски мезозойской нефти в течение пяти с половиной лет. А завтра у меня спросят, не слишком ли дорого обходится государству наш уважаемый товарищ Таиров?» Таиров ведет себя соответственно — как проситель: обещает, что средства окупятся, «выбивает» аппаратуру и оборудование и даже сулит Бадинову звание Героя Социалистического Труда за участие в открытии. Бадиров позволяет себя уломать — хотя большое судно-катамаран и не дает, но соглашается предоставить катер.

Еще одно столкновение смелого ученого и узкопрактического хозяйственника? В том-то и дело, что нет,— Бадиров сам ученый, обоснованность таировских прогнозов ему ясна, он бы с дорогой душой обеспечил Таирова всем необходимым, но с него тоже требуют, причем требуют немедленной отдачи от вложенных средств, «спрашивают до того, как все начинает окупаться». Он, если хотите, между Цицлой и Харибдой, он старается, чтобы и волки были сыты и овцы целы. Возникает проблема, которую, казалось бы, кому и решать, как не этим двум умным, знающим, заслуженным людям. Проблема управления, проблема точных пропорций между прикладными, сулящими немедленную отдачу исследованиями и дальним поиском. Ею бы и заняться автору, тем более что оба его героя имеют для этого кое-какие возможности: один — руководитель крупнейшего предприятия, другой — ученый с мировым именем. Вот тут и мог бы завязаться конфликт совсем иного уровня и характера. Однако второй выключает у первого катер, и на этом все кончается. Впрочем, нет, не все — в финале Бадиров резко меняет позицию и активно поддерживает идею поисков мезозойской нефти. Но именно здесь мы опять возвращаемся к схеме, ибо перемена во взглядах Бадирова связана... с женитьбой на юной и прекрасной Нармине: он, так сказать, воспрянул духом, помолодел и снова готов к риску и смелым решениям. То есть нам демонстрируют очередной «утепленный» вариант той же схемы: исправившийся и осознавший свои ошибки консерватор.

По общему признанию, новый этап в «производственной» драме начался с «Чело-

века со стороны». Новизна этой пьесы состояла, между прочим, еще и в том, что инженер Чешков принципиально не допускал взаимопроникновения «делового» и «личного». У него умерла жена, он полюбил женщину — на его отношении к делу это не отражалось, принципы управления производством не менялись (это и вызвало в свое время множество упреков в излишнем рационализме и душевной черствости). Представить себе, что Чешков, женившись, стал работать по-другому, невозможно. «Мы не ссоримся», — говорит он инженеру, которому только что объявил выговор. Он действительно ни с кем не хотел ссориться, его противниками были не конкретный Яков Ильич или Валентин Петрович, но принципы, которым следовали эти и другие инженеры двадцать шестого цеха; если бы люди сменили принципы, а во всем остальном остались такими же, Чешков был бы счастлив. Пожалуй, новизна пьесы в том и состояла, что те или иные деловые качества ее героев не соотносились напрямую с чертами их характеров — Чешкову противостояли не карьеристы, не жулики, не плохие работники, но вполне хорошие люди, только привыкшие к определенному стилю работы. А он боролся не с отрицательными чертами характеров, но именно с этим стилем. В результате появилась возможность снять знак равенства, нередко возникавший между понятиями «плохой работник» и «отрицательный персонаж»; выяснилось, что человек может работать плохо не только в силу тех или иных свойств своего характера, но и по причинам гораздо более общим и глубже лежащим.

Столкновение принципов попытался продемонстрировать и Г. Бокарев в пьесе «Сталевары», осложнив к тому же принципиальный конфликт дружескими отношениями между двумя противостоящими героями: сначала Лагутин выручил Хромова в уличной драке, потом Хромов Лагутина в трудный момент, потом получилось так, что Лагутина предложили занять должность сталевара, которую, казалось, должен получить Хромов, а к финалу обнаруживается, что оба они любят одну женщину. Однако, завязав столь сложный конфликтный узел, Г. Бокарев не смог драматургически точно завершить все линии пьесы, ограничившись чисто событийными связками. В то же время развитие этих линий занимает значительную часть пьесы, а столкновение принципов долго остается на втором плане и до-

стигает кульминации лишь перед самым финалом: рабочие, которых Лагутин осуждал за рвачество и отсутствие чувства ответственности, в решающий момент выручают его. Такой финал эффектен, но наиболее трудно решаемая часть проблемы остается «за кадром», за пределами пьесы — по сути, перед нами очередная «первая победа». Молодого драматурга подвело неумение отделить главное от второстепенного.

В рассмотренных здесь пьесах привычного противопоставления антагонистов, как выясняется, в конечном счете нет. У молодых рошинских героев сходное понятие о том, что такое любовь и счастье; к одним и тем же целям стремятся Чешков и руководитель Нерезжского завода, Салаев и его противники. Поэтому конфликт «новатор—консерватор» попросту не завязывается, а попытка драматурга «упаковать» в эту схему новый жизненный материал, как в пьесе «Своей дорогой», приводит к неудаче.

Я бы сказал, что цели эти более социальны значимы, что герой современной драмы предъявляет к себе и к жизни более высокие требования, чем его предшественники. Инженеру Чешкову мало просто выполнять план — ему нужно создать в своем цехе такие условия, которые в принципе исключали бы возможность невыполнения плана и нерентабельности производства. Причем нужно это и лично ему, он, в сущности, добивается гармоничного сочетания интересов человека, работника с интересами общества. (Ибрагимбековский Салаев не может стать с ним вровень именно потому, что все его честолюбивые помыслы сосредоточены на плане, на цифре, а гармония личности и общества его нимало не занимает.) Социальная и нравственная позиции героя совпадают, оказываются тождественными. Он стремится выработать твердые нравственные принципы, применимые во всех сферах жизни. При этом надо отметить, что драматургия стала строже к своим героям, прочность их социально-нравственных позиций испытывается многократными нагрузками: авторы опасаются поверхностного оптимизма, не делают далекоидущих выводов из очередной «первой победы».

В центре их внимания — дрящиеся социальные процессы и процессы нравственного развития личности; в этом и следует искать причины обновления конфликта, обращения к чеховским принципам построения драмы. Такие разные драматурги, как Ро-

щин, Вампилов, Дворецкий, закономерно пришли к «открытым» финалам, подчеркивающим неисчерпанность конфликта, необходимость дальнейшего движения. Пример «Человека со стороны» в данном случае особенно нагляден — пьеса завершается не тем, что цех, возглавляемый Чешковым, наконец-то выполняет план (еще не выполняет), но будничным утренним рапортом. Продолжается жизнь, продолжается научно-техническая революция, и подводить ее итоги было бы преждевременно. Да и Чешков думает отнюдь не только о том, чтобы вытаскивать из прорыва цех, повторяю: у него гораздо более значительная цель — создать, укоренить систему производства и человеческих отношений на производстве, которая исключала бы возможность плохой работы. Точно так же и в пьесах Рощина — не в том дело, что влюбленные, преодолев препятствия, соединяются или супруги мирятся, но в том, что эти эпизоды личной жизни рассматриваются автором как начало пути к гармонии житейских дел и высоких целей, прозы жизни и поэзии любви; разумеется, трудно поручиться, что им непременно удастся обрести ее, но важна и сама цель, направление движения. Точно так же и в драмах Вампилова — с той разницей, что драматург пишет о людях, позволивших житейской суете поглотить себя, однако и они мучительно осознают свою нравственную

вину и делают важные шаги к обретению утраченного идеала.

Вампилов обращался к коллизиям наиболее сложным и трудноразрешимым, к внутренним конфликтам особенно острым и драматичным. Оттого его драмы, вроде бы фиксирующие течение будничной, обыденной жизни, так часто взрываются событиями, для будней необычными, чрезвычайными; оттого так неокончательны итоги, открыты финалы. Но тем дороже надежда, звучащая в этих финалах, — через невозвратимые потери, через драмы, но вампиловские герои делают шаг к духовному пробуждению или, по крайней мере, осознают необходимость изменить жизнь.

В последние годы неоднократно отмечалось углубление исследовательских, аналитических тенденций в нашей прозе. Пьесы, о которых шла речь, писались или появлялись на театральных афишах в то время, когда в центре внимания критики оказывались «городские» повести Ю. Трифонова, рассказы В. Шукшина, повести В. Распутина, «Южно-американский вариант» С. Залыгина, «Заводской район» А. Каштанова. Можно найти множество параллелей между прозой и драматургией (одна из них — интерес к «сценам частной жизни»), однако главным мне все-таки представляется не сходство тем и мотивов, но единство социально-нравственных исканий.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Вл. Цыбин. Зерна таланта.— **Л. Аннинский.** У бывших романтиков.— **Ирина Винокурова.** «Люблю я этот мир земной...» — **Вик. Ерофеев.** Когда герои меняются местами.— **Вс. Сахаров.** Возвращение замечательной книги.— **М. Эпштейн.** Всечеловечность русской классики.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Мор. Летопись великой жизни.— **Ю. Каграманов.** Насилие: проблема старая или новая?

Литература и искусство

ЗЕРНА ТАЛАНТА

Владимир Шириков. Пятое время года. Рассказы, повести. М. «Современник». 1974. 176 стр.

Владимир Крупин. Зерна. Рассказы и повести. М. «Современник». 1974. 206 стр.

Первые книги нередко вырастают на почве непосредственного, чисто «биографического» опыта. Еще не окрепший талант питается из запасов прошлого. Можно писать о прошлом как о настоящем, сообщая воспоминаниям живость непосредственных наблюдений. И тогда рождается проза, подобная рассказу Владимира Ширикова «Ни разлюбить, ни позабыть». И хотя рассказ этот построен на истории горемычной любви героини — Анны Михайловны, все же эмоциональное присутствие «наблюдателя», лирического героя Анохина, ощущается постоянно. Он как бы берет интервью у Анны Михайловны. И она добросовестно повествует о своей любви: «Частенько думала про себя, что Миша ко мне вернется. Вздрогну — что это я, вслух оговорю себя, что нехорошо, а внутри все равно верю...»

Героиня рассказывает историю своего чувства. Рассказывает, но не пытается и столковать его; наше представление о героине ограничивается, кажется, только этой историей. Но странно: читаешь еще второй, третий рассказы — «Письмо», «Долгая душа» — и видишь, как они выстраиваются в какой-то единый образный ряд, слов-

но все это написано про одного человека, об одной судьбе. И выходит, что писатель через одну точку, говоря языком геометрии, проводит множество жизненных «плоскостей».

И Вегин, когда-то мечтавший стать певцом, да так и не ставший им, и Сережа Чулков, принявший из-за своей застенчивой гордости чужую вину на себя, и учитель Иван Ильич, который тщетно пытается доказать судьбам, что Сережа Чулков невиновен, — все они, если можно так сказать, люди одного толка, одной нравственной породы.

Вот ничем внешне вроде бы не примечательный Шапкин, стесняясь за свою «обыденность», выдумывает, на мгновение озаренный мечтой, как служил в войну матросом на тральщике... И случайный собеседник, капитан 3-го ранга, верит ему! Может, потому, что это мечтание так органично, так правдиво «вписывается» в быт, в воспоминания повествователя о войне, о том, кто жив, а кто умер.

«— Бабка, — вновь окликает он. — А ведь в деревню к нам после войны только Петро Анфисин вернулся да Вася Фролов...»

- Иван еще, председателей сын...
- Да он уже умер...
- От ран помер через год.
- Да, — вздыхает Шапкин...»

Владимир Шириков написал первую свою книгу, но уже ярвенно обозначился в ней стиль — не столько литературный, сколько «стиль» его мышления о жизни (что, по-моему, важнее первого). Это стиль, остро просвечивающий внешне разрозненные подробности, но связанный друг с другом духовным родством ищущих героев.

Правда, порой кажется, что поискам своих героев писатель не может найти истинного исхода. Такие герои, как Венька из повести «Хлеб детей твоих», Иван Ильич из рассказа «Письмо», Андрей Замахин из повести «Пятое время года», — натуры творческие, одержимые, писатель словно наделяет всех их своим творческим восприятием окружающего. А оно нередко только подчеркивает внутренний разрыв между мечтой сердца и прозой характера. Ведь чем, например, мучится Замахин? Только ли поисками своего художественного стиля? Нет, ему нужна вера в себя, и писатель хорошо это почувствовал, когда вот так определил «климат» души Андрея: «В глубине души Андрей еще не верил в себя полностью. Для веры требовалось признание». Есть мука души, но всегда ли сам писатель видит ее исход?

Достоинство книги «Пятое время года» Владимира Ширикова в том, что он остро чувствует «драматургию» характеров, что бытописательство не заслонило «судьбописательства», что герои его произведений страстно ищут внутренней опоры, а точнее — веры в себя. Питает же она многое, в том числе и память...

Я подумал, что, пожалуй, также «приговорены» к своей памяти и герои книги Владимира Крупина «Зерна», ее лирический герой. Особенно это чувствуется в рассказе «Варвара», построенном на воспоминаниях деревенской старухи Варвары, которая теперь работает дежурной в гостинице; вот она вспоминает, как отменили после войны карточки, как готовили тягло для пахоты и кольца быкам в ноздри просовывали... Воспоминания свои она перемежает бесхитростными притчами, основанными на житейских наблюдениях (вроде: «...корову выгустишь в новое стадо, сразу все на нее. Если даст отпор — примут, и будет как своя. Нет — все лето будут шпынять. Кто как себя поставит...»). От слова к слову, от одной пришедшей на память истории к другой яв-

ственно очерчивается круг жизни, чувствуется, прожитой не зря. Здесь тоже, как и у Владимира Ширикова, свой ряд, своя цепочка образов. Так и кажется, что мы изучаем жизнь и людей не по большой карте, а по «трехверстке» — настолько много у Крупина «местных подробностей», так органично и постоянно соседствуют быт и лирика. Вот он пишет: «Когда вспыхивал сразу гаснущий, изогнутый след звезды, он возникал так сразу, что заученное наизусть желание: «Хочу, чтоб меня любила...» — отскакивало. Я успевал сказать только, не голосом — сердцем: «Люблю, люблю, люблю!»...»

Это из цикла миниатюр «Катина буква». Вообще лирическая миниатюра фрагментарна. Картина, наблюдение, штрих всегда как бы случайны, но, как в дневниковых записях, есть в них своя психологическая достоверность и всегда что-то от нежности воспоминания.

Движение этих миниатюр видишь и в рассказе, отчего он движется словно бы рывками: вместо живого плавного развития — пунктир. Перед нами, в сущности, не сюжет, а его эмоциональные наметки. А это требует от автора особо точного чувства композиции. Даже крупная вещь «Ямщицкая повесть» Владимира Крупина, как мне видится, построена по «эмоциональным законам» поэмы. Главные действующие лица повести — ямщик Шатунов и мятежный «радетель за народ» Степачев — каждый ищет свою правду; действие повести, в сущности, ограничивается их внутренним противостоянием. В этот уже очерченный круг вводятся — миниатюрами — судьбы других персонажей: Захара, Анны, Толмачева. Автор убеждает нас в правомерности такой композиции. Жаль только, что временами повесть словно не хватает твердой опоры — первоначально достоверного житейского материала, вещь написана словно «по чужой памяти»; есть в ней знакомые подробности революционных лет, но нет примет лично пережитого времени. Ведь и писатель-историк должен писать не от имени очевидца, а как очевидец...

Владимиру Крупину не следует ни в коем случае отказываться от найденной им манеры письма, как ни спорна она, — со временем, возможно, вырастет свой интересный, «крупинский» стиль. Чутье на слово у молодого писателя завидное, это верно отметил Владимир Тендряков в предисловии к книге. И еще он написал, что «бесхитростные истории, рассказанные от лица автора или от

лица старой женщины-матери, рассказы, миниатюры, — не просто повествование, но и оценка, и анализ жизни, часто своеобразный моральный кодекс, преподнесенный мимоходом и неназойливо».

Очень похожие мысли мы встречаем и в предисловии Василия Белова к книге Владимира Ширикова «Пятое время года». В. Белов отмечает у автора «знание быта, жизненный опыт», умение нравственно и зрело относиться к людям, о которых он пишет.

И это совпадение не случайно. Потому что Владимира Ширикова и Владимира Крупина сближает не только определенная общность в видении мира, не только родство жизненных наблюдений, но и пристальная

любовь к своей земле и, казалось бы, неприметным внешне людям, многие из которых недавно пришли в город из деревни. И главное, герои, о которых пишут оба молодых автора, люди своикие, родные, вызванные памятью на страницы книг; но писательская память никогда не бывает «просто воспоминанием», если она совестлива, целеустремленна. Потому герои и Владимира Ширикова и Владимира Крупина остаются в нашей памяти как люди, вославленные мечтой, поиском еще не осуществленных творческих дел. Люди пусть еще не с большаков нашей жизни, но с ее добрых и поэтических проселков.

Вл. ЦЫБИН.



У БЫВШИХ РОМАНТИКОВ

Инга Петкевич. Большие песочные часы. Роман. Л. «Советский писатель». 1975. 248 стр.

Звучит в КБ. Иду. Хотя по первой фразе чувствую, что все это не так просто. Первая фраза такая: «Мне давно хотелось рассказать о нашем коллективе. Коллективе одного КБ, где я работаю вот уже более десяти лет...» Тут, конечно, все видно — и что бесхитростность рассказа мнимая, и вовсе не «рассказать о коллективе» вам хотят, а развернется здесь глобальное исследование «города и мира», лишь условно заземленное на «наше КБ», а за доверительным простодушием («Я не писатель, я инженер. Я просто хочу рассказать») таится сигнал: следите за подтекстом! за интонацией! за улыбкой! Словом, повеяло «молодой прозой» прошлого десятилетия.

Все это я уловил. И все-таки пошел за автором в КБ. Больно уж соблазнительно: инженеры, физики, герои века, ведущие теноры эпохи НТР. Интересно!

Нормальное любопытство современного читателя к работе современных инженеров до некоторой степени удовлетворяется и романом Инги Петкевич. Сектор системы уплотнения зоной связи ничем не хуже иных игрилиц конструкторского разума, описанных, скажем, Д. Граниным или И. Грековой, — здесь тоже есть своя «КБ-мифология», свои гении и свои тупицы, свои возвышенные чудачки и свои желчные скептики, аромат прокуренных коридоров, ядовитые споры, дальние командировки («Мы ехали в Сибирь корректировать НУПы, то есть необслуживаемые усилительные пункты...» и т. д.). И вы с интересом отправля-

етесь в Сибирь вслед за инженером Антоном Гавриловым, которому доверил автор «рассказать о нашем коллективе».

Правда, вас все время что-то притормаживает. Какая-то внутренняя неслаженность текста. Первое и простейшее объяснение на поверхности: образ рассказчика двойится. Я никак не могу заставить себя поверить, что вся эта тонкая ткань действительно соткана Антоном Гавриловым, мужеска пола, тридцати лет от роду. Не только потому, что портрет Инги Петкевич на второй странице книги начисто, так сказать, опровергает объявленную «художественную условность» и все эти «я пошел», «я подумал», «я знал» (или, как любит выражаться Антон Гаврилов, «где-то я знал») оставляют впечатлительные специальной и довольно тяжелой стилистической работы. Нет, тут двойится и сдвигается сам тип повествования. У Антона Гаврилова острый и безжалостный взгляд, но видит он недалеко и как-то мозаично. Посреди сугубо интеллектуального разговора (поэзия, гидропоника, антибиотики, телемеханика, политика, супербомбы — джентльменский набор) вдруг отметит, сколько стоит кофточка на собеседнице. Или угадает и сообщит нам, где и почем купил детские сандалии. Или, мечтая о «какой угодно работе», неосмотрительно проговорится: «...вымыть пол, разобрать шкаф...» Или о своей красоте подумает, о том, замечают ли другие эту красоту. А когда в разгар таежных приключений наш мужественный Антон, ликуя, сообщает: «...ночью нас

вытащил какой-то трактор», — тут уж мне хочется припереть Антона к стенке и спросить словами старой доброй повести: «Корнет, вы—женщина?!»—и, убедившись в этом факте, облегчить ему, то бишь ей, задачу, сказав: зачем гримироваться? Ведь это сколько сил надо — так себя и других переубеждать! Лучше уж рассказать все как есть, не изобретая героев!

Но раз есть герои, разберемся с героями.

Герои Инги Петкевич — умники, погруженные в свои раздумья; время от времени они возвращаются к делу, решают очередную конструкторскую проблему и вновь погружаются в свою рефлексию. Они гении, они скептики, они устали. Противостоят им умные женщины, иронические, изверившиеся в мужском благородстве и как бы назло этим умникам делающие глупости. Идет состязание утомленного духа с изысканно-бездумной плотью, и в этой борьбе герои оказываются разительно похожи друг на друга. Полина, Графиня, Маленькая, Дина — варианты обиженной и мстящей за обиду женской натуры. А вот и зачуханные гении: шеф, Фаддей, сам рассказчик Антон Гаврилов и даже Поленов — главный герой романа, вокруг которого и разыгрываются все бури.

Действительно бури! Я прослежу сейчас первую сцену, где старожил института Гаврилов знакомится в столовой с новичком Поленовым. Гаврилов в смятении. Поленов тоже — он похож на вора, пойманного с поличным. Летит на пол посуды. Поленов бежит. Гаврилов гонится. Это описано подробно, на двух страницах. «Берегись!» — орет Гаврилов. Он в ярости. Он готов подать заявление об уходе с работы! В скандал втягиваются все. Обвиняют Поленова. Защищают Поленова. Влюбляются в Поленова. Бьют Поленова. «Скандал принимал катастрофические размеры, — торжественно итожит автор, а я никак не пойму, из-за чего горит сыр-бор, и возвращаюсь к истоку «катастрофы», и перечитываю сцену, с которой начинается эта погоня, эта титаническая вражда, эта борьба миров, — я никак не соображаю, что же такое учинил этот Поленов. «Схватил со стола бутылочку кефира, потряс ею над стаканом, и кефир выплеснулся из стакана на скатерть», — жалуется Гаврилов. Буря в стакане кефира. Скажите, читатель, если ваш визави в столовой прольет кефир, вы станете из-за этого преследовать его по коридору и строить планы увольнения? Сторожить его около лифта? «Чувствовать себя смертельно оскорбленным»?

Короче, не ищите в романе Инги Петке-

вич реальных мотивировок — они у вас на глазах растворятся в воздухе. В обыденности. В тусклости будней, когда сослуживцы от нечего делать сжигают друг друга со свету. Или думают, что сжигают. Ключ к прозе Инги Петкевич вовсе не в буднях реального КБ, о «коллективе» которого нам собрались «рассказать». Ключ — в беспокойном проницании сквозь подвижные психологические покровы, в бесконечном ввинчивании повествователя в собственную душу: откуда она, что в ней, что с ней? Прелесть и трудность такого повествования в том, что все написанное об этом текучем биении души мгновенно застывает в слове, живая же истина опять оказывается далеко. Толстой и Достоевский, как известно, дали в этой диалектике гениальные образцы. И. Петкевич хочет следовать великой традиции, но это не простая задача, потому что душевная суть трудновыразима и вроде бы гаснет в любом внешнем действии, и чем больше думает об этом герой-рассказчик, чем больше слов пишет, тем больше чувствует, как ускользает суть. «Наконец-то я достиг дна. В этот момент снизу постучали», — сказал об этом один юморист. Инга Петкевич не пытается спастись с помощью юмора — она патетически размышляет о том, что современные философы называют феноменом человека, отчаянно пытаюсь поймать неуловимое: динамику его души...

Лет семь назад критик И. Золотусский сказал о такой стилистике — «острие внутрь». Тогда стараниями Андрея Битова, вышедшего из недр «молодой прозы», это направление только начиналось. Теперь у Битова есть последователи. Вл. Гусев, например. Каждый раз, когда я их читаю, когда я слежу за этими мучительными попытками исчерпать душевный импульс, за этим бесконечным сниманием слов (ждешь — вот суть, а обнаруживаешь «очередной слой»), меня одолевает одна и та же мысль: господи, как быть нам с этим богатством? куда идти с этим изошренным инструментарием, с этим опытом тончайшей душевной хирургии? что делать с этой литературною роскошью, с этим воспарением исследующей самое себя мысли?

Тревога одолевает меня и теперь, когда я читаю «Большие песочные часы» Инги Петкевич. КБ, «наш коллектив», инженерия, весь реальный план, характеры, связи, сюжетные положения — все зыблется, все непрочно, и всего этого лучше не касаться скальпелем критического анализа. Но ведь и речь не об этом! А вот зыблется, бьется,

мечется, ищет себя душа, ее смутная тревога сквозит в фантастических видениях, и уловлен тут действительный драматизм современной личности, которая силится не потеряться среди пресловутых скоростей XX века. Сильнее всего Инга Петкевич там, где она не строит «событийных» декораций, а прямо пишет о видениях своей души: «Мне сбилось...»

Попробую передать один такой эпизод, хотя понимаю, что для этого надо бы выписать минимум три страницы, ибо в прозе решают не детали, а дыхание. Но попробую.

...Снилась эвакуация. Цепочка детей, которых ведут через поле. «К нашим рукам были привязаны бирочки из клеенки, где фиолетовыми чернилами были написаны наши имена и фамилии. Она почему-то стеснялась своей бирочки и все время прятала ее под рукав... я осторожно косил глаза, чтобы узнать, как ее зовут...»

«— На, смотри, смотри! — выкрикивала она. — Раз тебе так этого хочется, то смотри! Что же ты не смотришь? Боишься?..»

Но я упрямо отворачивался и закрывал глаза руками...

— Ах так, — наконец сказала она. — Тогда я ее съем.

Я обернулся и с ужасом увидел, как она действительно сунула бирочку в рот, с ожесточением начала жевать ее и наконец проглотила...

— Теперь ты никогда ничего не узнаешь, — устало прибавила она, — а когда спросишь... тогда я совру... Так что ты никогда не узнаешь правды, даже если это будет правда...»

По-моему, сильное место... Философ увидит в нем этюд о неverifiedируемости (непроверяемости) «последней истины» в условиях информационного взрыва. Психолог увидит этюд об упрямстве современной личности, утверждающей себя «от противного». Историк нравов — этюд о детях военных лет... о бирочках с именами... об этих сиротских колоннах... об отчаянии маленького существа, не уверенного, что его имя — это действительно его имя: война убила родителей, перервала все связи — как найти себя, как вернуть себя крошечному существу, когда сдвинулись миры?

...Этот этюд емко, как всякая художественная удача. И такие удачи там и сям блестящими рассыпаны в романе Инги Петкевич. Что-то брезжит, что-то чувствуется. Что же — никак не уяснишь. Все крутится около этого новичка Поленова, а вы никак не поймете, в чем дело. Призрак какой-то,

фантом, а вам предложено его разгадывать. Его все ненавидят, а вы не сообразите за что. То он дьявольски проницателен, «угадывает чужие чувства и настроения». То пошло туп, раздражающе слеп. То «жесток». То, как теленок, безволен. Когда вы устаете разгадывать эти ребусы, автор великодушно приходит вам на помощь, объясняя, что и ему ничего не понятно, ибо какой человек «на самом деле» — выяснить вообще нельзя. Но раз так, тогда зачем эти хоровады вокруг пустого места? Зачем беспощадная проницательность? Она что, самоцель?

Три четверти романа медленно прошел я, томимый подобными недоумениями, силясь углядеть цель рассказа о «нашем коллективе». Наконец в последней четверти объяснилось.

Дело в том, что, шеф, которому надоела мышинная возня в секторе уплотнения зонной связи, взял да и загнал главных взаимоненавистников в долгуя сибирскую командировку. Поехали все: гениальный Фаддей, несносная Графиня, утомленный рефлексией Антон-рассказчик, в конце концов и сам шеф и, разумеется, этот необъяснимый Поленов. Перед героями раскинулись грандиозные стройки, на них обрушились трудности, их из таежной хляби как-то раз даже вытащил какой-то трактор. И истина открылась.

Она открылась в облике рыбака Степана, у которого «не было одной руки и было восемь человек детей». И, наблюдая его спокойную, прочную, далекую от пустой рефлексии жизнь, герои поняли: вот истина! «Потому что живет он», Степан. «Не борется с жизнью, не использует жизнь, а живет, не соизмеряя и не сравнивая свою жизнь с другими жизнями и никому не завидуя».

И тут все стало ясно с этим проклятым Поленовым. «Знаю, — сказал я... Ты романтик, а романтики не живут, а все ждут настоящей жизни. Повседневная жизнь кажется им ничтожной и обиденной. И все им мерещится, что где-то в другом месте или в будущем для них припрятана иная, полная содержания и смысла жизнь... Романтика возникла от неполноценности...»

Ну вот, теперь все понятно. «Катяка подралась с Петькой... все бросились их разнимать»¹, и бывший романтик Поленов со своей выдуманной жизнью стал смешон.

¹ К вопросу о достоверности деталей: не думаю, чтобы в большом семействе рыбака Степана так уж и бросались бы ежесекундно разнимать детей в мелких ссорах; но в свете глобального крушения поленовского романтизма это, надо думать, «мелочи».

Против такой идеи в принципе возражать смешно. В конце концов, и Лев Толстой преклонился перед Наташей, когда та вышла из детской и показала умным людям пеленку с желтым вместо зеленого пятна. Что же до Поленова, то хорошо уже то, что в мозаике «корректных» гадостей, которые так долго делали друг другу члены «нашего коллектива», выявился высший смысл — изживание пустой, далекой от жизни, выдуманной романтики.

Это дело реальное. И роман Инги Петкевич не случайное явление в современной нашей прозе, а весьма красноречивое и показательное явление. Перед нами поздний вариант (суховатый, тронутый скептическим самоанализом «питерский» вариант) «молодой прозы» прошлого десятилетия, то есть прозы романтической в самой своей основе. Порожденная психологией городских послевоенных мечтателей и расцветшая в начале 60-х годов, эта проза к концу десятилетия вошла в тяжелый кризис, в ходе которого она, в сущности, и кончилась как направление. Эта рефлектирующая проза не выдержала сравнения с той простой и полной жизнью, которую выдвинула в тот период как идеал наша литература, в частности «деревенская».

Но эта «молодая проза» попыталась овладеть новыми ценностями. Очистить себя в присутствии рыбака Степана и выбросить за борт умника Поленова в качестве искупительной жертвы. Роман Инги Петкевич есть одна из попыток такого самоочищения «молодой прозы». Попытка нащупать почву, найти корни.

«Дом. Где он, мой дом? Я его себе не построил, не умел строить, не было навыка... Моя цепь была уничтожена войной, я оди-

нкое звено неведомой мне цепи... Я... как манекен, без своего стиля и почерка, без характера...»

«Шеф... происходит из добротной крестьянской семьи...»

«Даже самый пустой, никчемный и захудалый предок — это уже что-то, есть хотя бы чему сопротивляться... есть точка отсчета...»

«Я растяпа, растеря, я потерял самого себя...»

«И мы все бесимся потому, что не можем проникнуть до конца в тайну...»

«Где жизнь, записанная в моем наследственном коде?!»

«Так что ты никогда не узнаешь правды, даже если это будет правда...»

Драматичная попытка. Беззащитен человек, пытающийся поднять себя за волосы. Но я не склонен иронизировать над ним. Я слишком хорошо его понимаю. Я сам из недр «молодой прозы». Из этого поколения романтиков.

И последнее. Имеет ли какое-нибудь значение для сегодняшнего дня нашей литературы самопреодоление вчерашних ее героев?

Может иметь. Инструментарий там выработан отличный: психологический, рефлексивный, медитативный. Вопрос в том, хватит ли у этого изошренного сознания сил для контакта с новой реальностью, с новым человеком, не похожим на прежнего героя.

«Мое бессилие перед ним я сформулировал так: к человеку, как к живописи, нельзя подходить слишком близко — распадается на составные элементы».

Хорошо сказано, Антон Гаврилов!

Л. АННИНСКИЙ.



«ЛЮБЛЮ Я ЭТОТ МИР ЗЕМНОЙ...»

Константин Ваншенкин. Избранные стихотворения в двух томах. М. «Художественная литература». 1975.

Однажды к старому поэту пришел молодой почитать свои стихи. Поэт слушал терпеливо, но вдруг остановил его неожиданным вопросом: «А что это у вас с носом?» Молодой человек испуганно схватился за нос, а поэт продолжал: «Ведь у вас в стихах нет ни одного запаха...»

В стихах Константина Ваншенкина соблюдено живое равновесие запахов, красок, звуков. Поэт слышит жизнь, видит ее и ощущает ее запах.

Пахнет свежей щепой в мастерской плотника и сиренью в провинциальном городке, где переливается она через каждый забор, «как через край кастрюли молоко...». Стелется над землей «неробкий» запах дыма, когда осенью жгут костры из листьев, поднимается где-то из памяти «горьковатый запах тополиный».

Однако над этими острыми, хмельными ароматами преобладает терпкий запах хвои, смолы. Зима у Ваншенкина — «мелькающий

запах сосны», лето — «стоят раскаленные сосны, расплавленной пахнут смолой...». Зима ли, лето, осень или весна — есть некая «постоянная величина» в его стихах — негустой подмосковный сосновый лес:

Этот лес у меня на примете,
Где за тусклой полоской села
Поднимаются сосны из меди
И от жара стреляет смола.

Где крепки, будто кованы в горне,—
Ты и сам спотыкался о них! —
Выпирают сосновые корни —
Эти ребра тропинок лесных.

Я стою возле края дороги,
Только-только с автобуса слез,
Так и хочется вытереть ноги.
Перед тем как входить в этот лес.

Сравнение леса с домом вообще характерно для поэта. Ваншенкину нравится соединение двух начал — природы и цивилизации. В сельский пейзаж уютно вписывается огромный мост с мчащимися грузовиками. В другом стихотворении он заявляет: «Мир с трубами, с речной лукой, естественен и органичен...» И хотя представление о красоте, казалось бы, связано у него с живой природой — с вечерним озером, соснами над ним, лесной просекой,— Ваншенкина правильнее было бы назвать поэтом пригорода. Он любит лес «хоженный», светлый, чтобы вдалеке виднелись дома.

Пожалуй, образ этот «лес-дом» смыкается со знаменитым бунинским: «Лес точно терем расписной — лиловый, золотой, багряный...» Традиция Бунина-поэта в творчестве Ваншенкина очевидна. Она и в строгости, простоте формы, и, главное, в склонности к эпичности повествования, насколько это допустимо для лирика.

Мир «независим» от мыслей, чувств, настроения поэта. В свое время критика писала о Буине: «Он описывает факт, а из него уже сама, органически, рождается красота...» То же можно сказать и о Ваншенкине. Вот, к примеру, начало стихотворения «Лес после дождя»:

Играя тысячью огней,
Переливаясь и сверкая,
Упала капля. А за ней
Уже готовится другая.

И у щегленка интерес,—
Он хочет склонить каплю эту.
Сияет лес. Дымится лес.
Неудержимо рвется к свету.

Немногими словами, крупно давая подробности (капля — огромна!), поэт создает настроение.

Но если «красоту» Бунина называли «белой», потому что его любимый цвет белый, серебряный, серебристый, то у Ваншенкина (поэта-живописца!) нет цветовых пристрастий. Он послушно следует природе, не навязывая ей ничего своего: «Смотрим мы зелеными глазами в зелень вод. Смотрим голубыми-голубыми в небосвод. Серыми на серую, литую смотрим сталь...»

Даже известная колористическая игра, если она встречается в стихотворении Ваншенкина, не прихоть поэта, а оптический эффект: «Зарю опаленный холодный край небес. Наш ближний лес зеленый и дальний синий лес...»

Ваншенкин стремится максимально точно передать, зафиксировать все цвета, все оттенки живой природы. Когда он описывает закат, или вечернюю воду, или предгрозовое освещение, его палитра весьма разнообразна:

Предельно четки ощущения.
Покою в сердце больше нет.
Предгрозовое освещение,
Где воедино мрак и свет.

Оно бывает очень спорным —
Порой глядишь и видишь вдруг,
Как то оранжевым, то черным
Все заливается вокруг,

То сизым, то червонно-красным...

Волнение не деформирует мир, слезы не застилают глаза. Наоборот — «предельно четки ощущения...». Таково свойство поэтического темперамента Ваншенкина, внешне всегда «эпически спокойного». Голос его не сорвется, не дрогнет, слова не побегут, торопливо перегоняя друг друга. Поэт медленно ведет повествование, обстоятельно заносит в стихи все подробности, все детали, задумываясь над возникающей ассоциацией.

В одном из стихотворений Ваншенкина есть такая строчка: «Луна похожа на луну и ни на что иное...» — она запоминается своей нехарактерностью для него. Поэт любит сравнивать между собою вещи — в его стихотворении одно сравнение следует за другим:

В отдаленье, где речки полоска,
Костерок под защитой раки,
Как притушенная папироска,
Тонкой сизой струйкой дымит.

За полями и рощами следом
Белый дом над оградкой витой
Наполняется медленным светом,
Как бутылка родниковой водой...

Отсюда и ощущение наглядности поэзии Ваншенкина.

Но читатель не только «видит» стихотворение Ваншенкина, но и слышит в нем саму жизнь. В его стихах «гудит электросварка», «прочитают горло» рабочие гудки, буксует машина и проносится поезд, причем поэт обязательно уточнит какой — скорый или грохочущий на стыках товарняк.

Ваншенкин не любит мертвую, «стерильную» тишину, что стоит иногда зимой над лесом, отсюда и постоянные метафоры для скованной морозом природы — «наркоз», «анестезия», «летаргический сон». Обычно же тишина наполнена для него множеством звуков — веселым хрустом шагов по снегу, дальней гармоникой, глухим стуком падающих яблок.

А иногда лишь один какой-нибудь звук резко, больно рассекает воздух. Вот идет солдат по замершей деревне — все остановилось, глядя на него. «Мир ждал в молчанье напряженном». Лишь «при каждом шаге котелок надсадно бился о лопатку...».

Ваншенкин слышит даже то, что невозможно передать обычными словами, а только поэтической строкой. Как осенью «закручивался лист каленый и чуть звенел...», как «ночами тихо дышат паровозы, причмокивая изредка во сне...».

Кстати сказать, это тот редкий случай, когда ощущение пропускается Ваншенкиным через лирическое «я». Как правило, он старается быть подчеркнута объективным — жизнь сама по себе стоит того, чтобы петь ее такой, какая она есть, не принося в нее ничего субъективного.

Эту особенность его поэзии, надо думать, прежде всего объясняет биография. Война. Из десятого класса в училище, потом фронт — воздушный десант. «Парашют ПА-41 разве я когда-нибудь забуду?..»

В военных стихах Ваншенкина все заполняет собой событие. Атака, гибель друга, окружение, прыжки с парашютом, наряд в очереди, ночлег в пути.

Война своими потрясениями как бы засломила живой мир с его красками, запахами, звуками. Ваншенкин не мог бы написать о себе так, как Межиров, например: «Ничего мне не надо лучшего, кроме этого — чем живу, кроме солнца в зените колодего, густо впутанного в траву. Кроме этого тряского кузова...» — Ваншенкин не

помнит таких минут на фронте, он помнит другое:

Все различимо, как на плане,
Но видишь ты не лес, не луг,
Не крыши в утреннем тумане,
А лишь один раскрытый люк.

Это чудовищное напряжение не отпускает поэта не только перед прыжком, когда

Отпало все, что было ложно,
Недавний гонор твой облез.
О прошлом думать невозможно,
Поскольку времени в обрез,—

но и на привале: «На пол сесть, привалюсь к порогу, и разнежиться, и зевать (а оружие понемногу начинает отпотевать). Дочь хозяйская — фу-ты ну-ты, что-то мне говорит она, но немислаимо ни минуты для нее оторвать от сна...» Солдат на посту не замечает красоты зимней звездной ночи, она скользит как-то мимо его сознания — равнодушно констатируется: «И лишь холодные созвездья вращаются вокруг штыка...»

Но вдруг среди суровых строк — лирический заповедь: «...и зацветет, и зацветет...» Нет, это не о черемухе весной, а о картошке в голодный год.

Должно было пройти время, поэт должен был, подобно «бывшему ротному» из своего стихотворения, отоспаться прямо на влажной, рыхлой, пахучей земле. Пробудившись, он крупно увидел траву, звезды. Услышал заводской гудок и соловья — и звуки эти показались ему одинаково прекрасными. Так Ваншенкину как бы впервые открылась «земная красота». Красота неброская, будничная, но накрепко запавшая ему в душу. Он пишет: «Я еще потом воскресну снова и умру от этой красоты...»

А образы войны не тускнеют в памяти. Сначала (я имею в виду ранние стихи) в глаза бросалась внешняя похожесть предметов: «...и шлагбаум, поднятый вдали, — наподобье крохотной зенитки». Затем ассоциации становятся глубже: «...и вновь душа моя живая, как роща та прифронтонная, простреливается насквозь...»

Но как не уходит от поэта война, так же не оставляет его и то, первое, послефронтонное удивление перед миром. Удивление, сделавшее его поэтом.

Ирина БИНСКУРОВА.

КОГДА ГЕРОИ МЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ

В. Мазаев. Грозовая аномалия. Повесть. «Звезда», 1975, № 11.

О литературных дебютах можно было бы написать увлекательнейшую книгу.

Яркие, волнующие истории о ранней славе, фейерверках литературных открытий, сенсаций, бурных читательских восторгах перемежались бы в ней с рассказами о фантастических неудачах, чудовищных ошибках, ложных шагах. Это была бы сентиментальная, юмористическая, дидактическая и отчасти драматическая книга.

Но какой, интересно, материал могли бы дать для такой книги литературные старты нескольких последних лет?

Сейчас в моде тихие, плавные начала.

Прозаики (сосредоточимся на них) усвоили правила «хорошего тона». Они стали изысканно благовоспитанны; они входят в литературу, как в гости к чужим важным людям: робко и скромно, иногда чуть ли не на цыпочках... Вот стоит китайская ваза. Как бы ее не разбить ненароком! Как бы кого не задеть локтем! Посмотришь иной раз на такой «выход», на такой «первый бал» — и как-то невольно подумаешь: нет, литература — это все-таки не обед с благотворительными целями. В ней навыки светского комильфо не самое надежное подспорье.

При всем том я вовсе не против «тихих» начал, в них порою, как в тихих омутах, черти водятся — «черти» таланта и веселой творческой дерзости, но я решительно против скучных, в которых все черти дохнут.

Так вот, водятся ли «черти» в недавнем дебюте В. Мазаева, который выступил со своей первой повестью «Грозовая аномалия»?

Не будем спешить с ответом. Скажем лишь сразу, что в повести В. Мазаева есть одна привлекательная «странность», которая может сделать разговор о повести небезынтересным. «Странность» заключается в том, что персонажи повести как бы меняются своими местами и в конечном счете оказываются на местах, которые им вроде бы занимать не положено; иными словами, происходит своеобразная рокировка.

В. Мазаев пишет о молодых геологах. Пишет со знанием дела. Он человек посвященный — в их рабочие будни, проблемы, заботы и страсти. Тема требует достоверности, но требует и свежего взгляда, ибо не раз «перепахана». В какой-то степени В. Мазаев нашел способ уклониться от

трафарета — от коллективных пеней под гитару и иных «обязательных» аксессуаров бивачной прозы. Он вывел основной конфликт из сферы узкопрофессиональных дел в сферу широких интересов, вывел и предоставил читателю право судить о нем самостоятельно.

В самом деле, едва читатель окунется в повесть, едва успеет сделать в ней несколько первых «плавательных» движений и, сосредоточенно щурясь, начнет оглядываться и соображать, в какой стихии он очутился и чего здесь следует ожидать, как главный герой повести Анатолий Овчинников скажет ему решительно, определено: «Я хотел бы изложить всю историю холодно и бесстрастно. Однако холодность и бесстрастность — достоинство судей. Я же ни в коем случае не хочу быть судьей. Этого еще не хватало!»

Это авторитетное заявление. Оно сделано человеком, которому автор, так сказать, передал бразды правления — повествование ведется от его лица. Несмотря на то, что заявление страдает некоторым внутренним логическим изъяном (прочтите его еще раз), следует признать, что оно полно благородства. Обладать прерогативой на «вынесение приговора» и не злоупотреблять ею — это серьезное достоинство. И добавление к этому заявлению также радует: герой оговаривается, что его объективность может «кое-где давать осечку», ибо он «живой человек».

В этом «семейном и положительном» человеке (как он характеризует себя заодно со своими друзьями) есть немало хороших качеств. Он действительно очень трогательно, хотя с некоторым налетом сентиментальности, относится к своей жене Ветке и сыну Данилке; он инициативный руководитель, любит свое дело и любит природу: печется о каждой рябинке и даже не позволяет срубить дерево, мешающее входу в его контору... Но вот в добродушном подпитии герой пускается философствовать. Например, о женщинах... «За классическими формами красоты чаще всего кроется душевная схема», — изрекает он, добавляя в скобках: «Этот глубокомысленный вывод (самоирония, к сожалению, здесь не спасет) я дарю всем тем, кто моложе меня». Или еще: «Искусство естественности — большое искусство, а косметика хороша та, которая незаметна». Ловишь себя на

мысли, что подобное высказывание могло бы украсить «женский уголок» стенной жэковской газеты...

После таких сентенций как-то не верится, чтобы наш герой сам обладал «искусством естественности». И действительно... Вот он танцует с Алисой (женой его друга Вовки, о котором чуть позже) «умопомрачительный медленный» танец, и Алиса прижимается к нему, да так, что «даже сквозь платье» он чувствует ее «горячее, тугое тело». «Но меня это не волнует,— с некоторой меланхолией отмечает герой.— Хотя,— добавляет он,— танцевать с молодой стройной женщиной приятно, кто спорит». Не волнует, но приятно — какая-то конфузливая форма. Может быть, оттого, что «конфуз» был?

Однажды, вернувшись из экспедиции, герой вошел в квартиру и услышал шум воды в ванной. Заглянул. Под душем стояла Алиса, разумеется голая. И — что поразительно! — никак не прореагировала на его непредвиденное вторжение, «только слегка повернулась корпусом». Тогда герой вынул пачку сигарет и стал закуривать, не удаляясь, но и не приближаясь к подруге, однако закурить не удалось: от волнения выронил сигарету на мокрый пол. Поднял и снова стал закуривать. А Алиса все продолжала «оглаживать свое блестящее в струящую воду тело» и наконец «тихо, вызывающе» произнесла:

«— Ну и что?»

...— Запираться надо, вот что! — бросил герой и, «выйдя, с демонстративным стуком притворил (со стуком притворил?) дверь».

Ну хорошо. Не все же казановы! Однако Алиса ничего не желала знать. Ей было недостаточно случайного банного сеанса и соблазнительных прижиманий. Уже очутившись на Топханском хребте, где герой руководит поиском магнитных руд, она в отсутствие мужа приглашает Анатолия в гости. Встречает его в домашнем халатике, кормит вкусными зразами и ждет... пока в повести не погаснет свет по причине грозы. Вдвоем они садятся на раскладушку...

«— Лисанька, ты думаешь, я железный?»

— Ты деревянный! — отвечает Лисанька, и вскоре после этого вспыхивает лампочка, выводя героя из затруднительного положения. Но слово остается: деревянный! Да, пожалуй, так.

В добродетельности героя незримо присутствует какая-то внутренняя фальшь, и я, признаюсь, не слишком удивился, когда Овчинников заговорил другим языком. Это

случилось тогда, когда Алиса уже была беременной (не беспокойтесь — от мужа), что, впрочем, не помешало ей накормить собравшихся друзей своими фирменными зразами. И тогда, за ужином, наклонившись к Алисе, Овчинников произнес:

«На аэродроме ты сказала, что решилась.— Я указал глазами на ее живот.— Выходит, восемь лет, которые вы живете, вы, как это сказать, сдерживались?»

«Она смотрела на меня ласково-укоризненно (укоризненно, но все-таки ласково, хотя наш герой х а м и л ей самым форменным образом), как на мальчика, пытающегося заглянуть в тайну деторождения».

И герой, не понимая, что он говорит, продолжает: «И вы ни разу не ошиблись?»

Ах, Алиса, почему ты ему не сказала: «Толик, мы ошиблись с Вовкой два раза, и сейчас я тебе расскажу, когда и при каких обстоятельствах...»? Интересно, какая физиономия стала бы у этого «семейного и положительного» хама? Или, может быть, это привилегия чистых мужчин — задавать женщинам такие вопросы? Но ты предпочла обидеться.

«Толик, лапа,— протянула она обидчиво.— Ты лучше выпей».

Да уж, действительно в таком случае лучше выпить...

Но здесь мы оставим Алису, которая невольно помогла нам лучше понять Анатолия Овчинникова и которая, несомненно, при всех своих «порочных» наклонностях куда лучше двух других жен друзей-геологов, Ветки и Наташи (те на протяжении повести почти что ни слова не произнесли по той причине, что сказано-то им особенно нечего), и обратимся к ее мужу, Вовке Канончику.

Вовка — «светлая голова». В профессиональном отношении он явно сильнее своих друзей Анатолия и Бронислава, в известной мере «двойника» главного героя. Он требователен к себе, придирчиво самокритичен. И танцует он лучше друзей, и играет, «несчастный маэстро», на пианино, и первый бросается в драку выручать незнакомого парня и разъясняет шпане «кодекс чести», и дерется лучше всех (потому что борьбой занимался). Правда, афоризмы его тоже несколько плоски...

В кардинальном вопросе о первооткрывательстве в геологии друзья стоят на диаметрально противоположных позициях. Овчинников — человек трезвый, он знает, что

«время открывателей-одиночек прошло». К тому же он «никогда не страдал... излишком самолюбия» и для него не важно, кто открыл. «Дело сделано, а это главное».

«Чепуха! — страстно спорит с ним Вовка Канончик. — Или ты меня разыгрываешь, или в самом деле ты протак... В нашем деле не мечтать о первооткрывательстве — значит, публично признаваться в своей посредственности и серости».

И Вовка мечтает, но это не пустые мечты. Он убежден, что на Топханском хребте есть ртуть. Однако вместо поиска киновари на хребте организуется поиск магнетитовых руд. Вовка прилетает работать в эту партию, под начало Овчинникова. И, отработав смену, ходит в горы искать ртуть в одиночку. Эти экспедиции доводят его до истощения и жесточайшего суставного ревматизма. Более того, они опасны для жизни, а Вовка «на всякий пожарный» просит друга отмечать за ним на карте те участки, которые он уже исследовал... Но все-таки Вовка родился под счастливой звездой, потому что, едва не погибнув, он в конечном счете ртуть нашел.

Однако за первооткрывательство Канончик заплатил не только ревматизмом, но и тем, что оставил своих друзей в дураках...

Как? Почему?

В порыве откровенности (инспирированном, впрочем, автором не совсем ловко) Вовка выкладывает друзьям, что он давным-давно установил: на Топханском хребте нет и не может быть залежей магнетитовых руд. Но он не выступил в управлении с этими соображениями, не стал мешать организации поисковой партии. Стало быть, предприятие Овчинникова оказалось лишь «плацдармом» для его собственных поисков.

После Вовкиных признаний Овчинников растерялся. «Я просто не знал, — говорит он, — как мне с ним (то есть с семейством Канончиков) себя вести, о чем разговаривать». Но мы уже привыкли к его приступам растерянности и нам не стоит ему подражать. Посмотрим на дело непредубежденным взглядом.

В геологическом «макиавеллизме» Вовки Канончика есть своя жестокая красота. Это красота крупномасштабного риска, красота смелого вызова одиночки «коллективному разуму», который, как он утверждает, может порою быть «коллективной глупостью». В повести Вовка играет роль сильной личности (в меру своих возможностей и возможностей дебютирующего автора), для которой уж лучше погибнуть, нежели прозя-

бать в кругу «посредственности и серости». Жертвуя жизнью, он получает в известной степени моральное право на свой рискованный эксперимент, а добровольное признание в своем «макиавеллизме» лишь укрепляет это право. Размах и значительность личности Канончика — в рамках повести — способствует тому, чтобы он стал ее героем, чтобы «отрицательный» Вовка совершил рокировку с «положительным» Овчинниковым.

Этой рокировке, конечно, противится сам Овчинников. Он обещал «не судить», но все-таки пытается оказать влияние на мнение читателя. Он стремится привести такой пример, который бы как можно более красочно проиллюстрировал то, что Вовка обманул не только его, но и строителей поселка.

Овчинников рассказывает о летчике, который на вертолете перевозил двигатель для электростанции (от этого двигателя зависела нормальная жизнь в поселке). Сначала он отказывался его взять, потому что в дизеле было сто пятьдесят килограммов лишку, а потом все-таки взял и... чудом оторвался от земли и чудом долетел до поселка, а там Овчинников признался ему, хотя летчик и без того понял, что весит дизель значительно больше... Неужели этот адски рискованный полет летчика, перед которым теперь Овчинников готов опуститься на колени, был напрасным?

Подводя читателя к этому «опасному» для Вовки вопросу, удивительным неадекватным Овчинников даже не замечает, что пример его неудачен: ведь тот самый злосчастный двигатель, который чуть было не погубил летчика с его вертолетом, был доставлен в поселок на обмане. Но если здесь обман и риск дозволены, то почему не дозволен Вовкин обман?

Суд над Вовкой не состоялся не из-за благородства Овчинникова, а из-за его беспомощности. Вопросы этики, как известно, не могут решаться абстрактно. Процесс самоутверждения сильной личности нередко происходит за счет других, но мера этической «неблагонадежности» в каждом конкретном случае различна. Сильной личности Вовке Канончику можно бросить упрек (обман произошел, и он за него в ответе), но для этого нужно самому быть личностью, нравственной личностью, а не «деревянной» безличностью.

Известную дискредитацию посредственного, среднестатистического героя, «желез-

тысячи» (по собственному уверению Овчинникова), я считаю удачей автора. Но хотел ли сам В. Мазаев этой дискредитации? Не знаю... И здесь я теряюсь, как его герой перед ванной с моющей Алисой, и, должен

признаться, эта растерянность мешает мне с достаточной точностью определить в повести количество тех «чертей», о которых шла речь в начале рецензии.

Вик. ЕРОФЕЕВ.



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КНИГИ

В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Серия «Литературные памятники». Издание подготовили Б. Ф. Егоров, Е. А. Маймин, М. И. Медовой. Л. «Наука». 1975. 320 стр.

«Обыкновенно думают, что от книг переходят мысли в общество. Так! Но только те, которые нравятся обществу; не нравящиеся обществу мысли падают незамеченными. Большею частью книги (кроме книг гениальных, весьма редко появляющихся) суть лишь термометр идей, уже находящихся в обществе».

Эти слова замечательного русского писателя и философа Владимира Федоровича Одоевского (1803—1869) многое разъясняют в его собственной литературной судьбе, и прежде всего в трудной судьбе главной его книги — «Русские ночи» (1844). При своем появлении «Русские ночи» были встречены недоуменными рецензиями, и трезвые люди 1840-х годов, обнаружив в этой «странной» (Белинский) книге спор со многими своими любимыми идеями, единодушно признали ее несвоевременной и несвоевременной. Лишь из Сибири прозвучал одобряющий голос Вильгельма Кюхельбекера: «Книга Одоевского «Русские ночи» — одна из умнейших книг на русском языке... Сколько поднимает он вопросов! Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то, что они подняты — и в русской книге!» И затем для «Русских ночей» настала пора забвения.

И вот эта забытая книга перед нами. Она с должной тщательностью прокомментирована и издана в солидной, популярнейшей серии «Литературные памятники», причем в это издание вошли и произведения Одоевского, так или иначе связанные с замыслом «Русских ночей». Книга эта побуждает нас подумать о ее судьбе, о жизни и мыслях ее создателя, ибо за ней — достаточно идей и проблем, отнюдь не ставших историей.

Издание «Русских ночей» в серии «Литературные памятники» весьма примечательно: книга В. Ф. Одоевского — именно памятник, ценнейший документ, последнее слово, сказанное целой эпохой русской жизни о самой себе. Эпоха эта — 20—30-е годы прошлого столетия, пора напряженнейшего интереса наших романтиков к германской

философии, к учению Шеллинга. Молодые шеллингианцы, возглавлявшиеся Одоевским и именовавшие себя любомудрами, вознамерились создать целостное знание о мире, науку наук, управляющую всеми областями бытия. И как это часто бывает в таких случаях, они нашли не то, что искали. Но их открытия и мысли многое определили в развитии нашей культуры. «Эта эпоха имела свое значение; кипели тысячи вопросов, сомнений, догадок — которые снова, но с большею определенностью возбудились в настоящее время; вопросы чисто философские, экономические, житейские, народные, ныне нас занимающие, занимали людей и тогда, и много, много выговоренного ныне и прямо, и вкривь, и вкось, даже недавний славянофилизм, — все это уже шевелилось в ту эпоху, как развивающийся зародыш», — вспоминал позднее В. Ф. Одоевский об этом времени.

И действительно, его «Русские ночи» переполнены проблемами и суждениями, являют собой непрерывный спор о судьбах русской культуры, о взаимоотношениях России и Запада, о состоянии наук и искусства, о природе таланта и т. д. Но книга писалась в те годы, когда романтическое шеллингианство уже уходило: «Время фантазии прошло; дорого заплатили мы ей за нашу к ней доверенность...» И поэтому «Русские ночи» не только элегическое воспоминание о светлой эпохе веры и исканий, но и книга итогов и великих сомнений. Прав был Кюхельбекер: это именно книга вопросов и точного, прозорливого названия проблем, многие из которых не решены и по сей день.

Владимир Одоевский был одним из образованнейших людей своего времени, и сам Шеллинг, беседуя с ним в Берлине, удивлялся уму и знаниям русского философа. Но именно уникальные познания и высокая культура мысли и чувства давали Одоевскому право на сомнение. Именно на сомнение, а не на скептицизм, ибо автору

«Русских ночей» слишком ясна была вся необходимость утверждений, испытанных в горниле отрицания.

Более всего Одоевского волновала судьба современной ему науки, ее специализация, непрерывное дробление единого знания о жизни. В черновике предисловия к «Русским ночам» сказано: «Разделение работ в нашем веке, столь спасительное в механическом мире, столь убийственное в духовном, раздробило науку на части». Разъединенные науки часто не понимают язык друг друга, и в качестве примера Одоевский приводит состояние математики: «Ее точный, единственно верный язык остается для нее одной; тщетно другие науки выпрашивают несколько формул от роскошного стола ее выражений: она считает цифры, а внутреннее число предметов остается для нее недостижимым». Выход он видел в объединении наук в единый стройный организм, в живую общую теорию, где логическое познание соединялось бы с поэтическим проницанием, с этическим элементом.

Можно, конечно, сколько угодно спорить со многими утверждениями Одоевского, да и сам он отлично это делает с помощью других своих героев, рассматривая явления с разных точек зрения и не превращая суждений скептика Фауста, главного героя «Русских ночей», в абсолютную истину. Недаром о Фаусте потом было сказано: «Если иногда он и устранился от положительного и единственно верного пути для человеческой науки, то это не мешало ему провидеть до некоторой степени будущие ее фазы». Да и иные предвидения самого Одоевского ныне сбылись, и важнейшие открытия часто делаются именно на стыке нескольких наук, подтверждая мысль об объединении различных областей знания. Поэтому современному читателю, и прежде всего ученым, интересно следить за целеустремленной работой этого мощного ума, столь легко и смело отбрасывающего все привычные оговорки и наивный академизм и прорывающегося к подлинному знанию о мире.

Дореволюционные исследователи и зарубежные толкователи творчества В. Ф. Одоевского создали ему довольно устойчивую репутацию мистика и идеалиста, и потому не сразу становится ясно, что мышление автора «Русских ночей» весьма реалистично и социально. Одоевский был знатоком политической экономии. Более того, он знал и ранние работы Маркса и Энгельса, привез

из Германии брошюру молодого Энгельса «Шеллинг и откровение» и способствовал ее переводу и опубликованию в «Отечественных записках». Это, разумеется, не превращает Одоевского в марксиста, но тем не менее свидетельствует о широте его интересов и знаний.

Увлечение Одоевского социальными проблемами видно и в «Русских ночах». Одним из первых у нас он указал на классовую природу теорий английских политэкономов Адама Смита, Иеремии Бентама и Томаса Мальтуса. Но критика их учений в «Русских ночах» принимает особую форму: писатель создает две повести, «Город без имени» и «Последнее самоубийство», где показывает общества, развивающиеся по реакционным теориям Бентама и Мальтуса. И художественное повествование о гибнущих цивилизациях куда более убедительно и зримо, чем ученая статья. Это красноречивое и беспощадное разоблачение антигуманности этих теорий.

Впрочем, необходимо отметить, что, не смотря на всю глубину познаний автора, «Русские ночи» отнюдь не превратились в скучную ученую книгу. Это именно литературный памятник эпохи. Здесь мы встречаемся с классической русской прозой пушкинской школы. Примечательно, что Пушкин приветствовал появление в печати «Последнего квартета Бетховена», первой повести цикла «Русские ночи». Этих писателей связывало литературное сотрудничество, постепенно перешедшее в дружбу. И Одоевский-прозаик многим был обязан автору «Повестей Белкина»: «Форма — дело второстепенное; она изменилась у меня по упреку Пушкина о том, что в моих прежних произведениях слишком видна моя личность; я стараюсь быть более пластичным — вот и все...» Пластичной, четкой, скупой на словесные украшения и фигуры прозой написаны повести, составившие основу «Русских ночей».

Для русской прозы книга Одоевского уникальна по своему жанру. Отчасти схожа с нею форма лермонтовского «Героя нашего времени», но там в центре внимания — главный герой. Одоевский находит свое решение: «Автор почитал возможным существование такой драмы, которой предметом была бы не участь одного человека, но участь общего всему человечеству ощущения, проявляющегося разнообразно в историко-символических лицах; словом, такой драмы, где бы не речь, подчиненная минут-

ным впечатлениям, но целая жизнь одного лица служила бы вопросом или ответом на жизнь другого».

В центре «Русских ночей» — мысль об ущербности современной Одоевскому жизни и о необходимости ее совершенствования. Писатель делает героями своих повестей самых разных людей — от Баха и Бетховена до несчастного импровизатора Киприяно, — и все персонажи страдают от внешней и внутренней дисгармоничности. На нескольких страницах Одоевский сумел показать трагедию Бетховена, потерявшего способность выражения своих колоссальных замыслов на языке музыки. «Себастьян Бах» — печальное повествование о судьбе гения, знавшего только одно свое великое искусство и превратившегося в «церковный орган, возведенный на степень человека».

Повести о музыкантах и художниках и сегодня поражают глубиной проникновения в духовный мир этих изнемогающих в борьбе с собственным гением людей. Тут Одоевскому пригодились и знания и талант музыковеда, и немалый опыт сочинения и исполнения музыки, и постоянный интерес к тайнам человеческой психики. В его черновиках сохранилась любопытная запись: «Была минута, когда Шекспир был Макбетом, Гёте — Мефистофелем, Пушкин — Пугачевым, Гоголь — Тарасом Бульбою; из этого не следует, что они такими и остались; но чтобы сделать живыми своих героев, поэты должны были отыскивать их чувства, их мысли, даже их движения, их поступки в самих себе». И этот дар понимания, духовное сродство со своими героями позволили Одоевскому создать интереснейшие портреты художников, своего рода «биографии талантов» (Белинский). И европейская литература, уже обладавшая такими шедеврами, как «Кавалер Глюк», «Дон Жуан» и «Крейслериана» Э. Т. А. Гофмана, признала всю не-

заурядность творений В. Ф. Одоевского: многие его повести, в том числе и из «Русских ночей», были переведены на немецкий и французский языки и ими восхищались такие знатоки, как германский литератор Фарнгаген фон Энзе и французский писатель Альфред де Виньи.

«Русские ночи» были для Владимира Одоевского вершиной писательского пути, исповедью, изложением верований и убеждений. И потому это красноречивая, вдохновенная, глубоко искренняя книга. Недаром ее автор сказал: «Перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить хотя бы несколько капель собственной крови». Одоевский начинал свой путь защитой «Горя от ума» и помощью сосланным декабристам, а в конце жизни много сделал для отмены крепостного права и развития науки и искусства в России. И в этой честной, трудовой жизни, всегда переполненной самыми разнообразными занятиями, «Русские ночи» занимают достойное место. Это не только мудрая, пророческая книга, но и поступок честного человека и талантливого литератора.

В обширнейшем архиве В. Ф. Одоевского сохранилась грустная запись: «Библиотека — великолепное кладбище человеческих мыслей... На иной могиле люди приходят в бешеное; из других исходит свет, днем для глаза нестерпимый; но сколько забытых могил. сколько истин под спудом...» Новое издание «Русских ночей» извлекло из забвения одну из интереснейших книг отечественной литературы. К этому голосу писателя прошлого столетия, сообщающему нам живые, нестареющие истины, современный читатель, бесспорно, прислушается с должным вниманием и многое из этой книги извлечет.

Вс. САХАРОВ.



ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТЬ РУССКОЙ КЛАССИКИ

Н. Я. Берковский. О мировом значении русской литературы.
Л. «Наука». 1975. 184 стр.

Книга Н. Я. Берковского построена как диалог отечественного исследователя с зарубежными истолкователями русской классической литературы — диалог, в котором есть моменты согласия и спора, но который все время сопрягает две точки зре-

ния: внутреннюю, порожденную самобытным развитием русской словесности, и внешнюю, учитывающую ее западноевропейское восприятие. Не случайно в авторской рукописи работа имела два заглавия, поправляющих друг друга и устанавливаю-

щих объем темы: «Русское национальное своеобразие в литературе» и «О мировом значении русской литературы». Этой своей двойственной, диалогической установкой труда Н. Я. Берковского отличается от известных в нашем литературоведении работ Т. Л. Мотылевой и Б. И. Бурсова, где та же самая тема берется либо в плане зарубежных откликов на русскую литературу, либо в плане ее внутреннего самоопределения. Работа Н. Я. Берковского — это отклик на отклики, как бы ответ самой русской литературы на суждения о ней в западноевропейской критике (преимущественно последних десятилетий XIX и первых десятилетий XX века). По словам автора, «огромная уже к сегодняшнему дню «Rossica» нуждается в «нашей встречной мысли», «нашей проверке». Для этой встречи и проверки нужно было широкое знакомство исследователя с европейской литературой и глубокое ощущение литературы родной, внимательное отношение и к чужому и к своему. Ко времени написания этой книги (1945—1946) Н. Я. Берковский имел опыт литературного критика, деятельно участвовавшего в культурной жизни 20-х годов, и историка западноевропейских литератур, включившегося в 30-е годы в спор о творческом методе, реализме и романтизме. Но потребовался еще и живой исторический опыт Великой Отечественной войны, чтобы до конца осознать все возможности, которые таит в себе национальная самобытность для мирового развития. Книга Н. Я. Берковского, написанная на исходе войны и сразу после завершения, не стоит особняком в своем времени: примерно тогда же с публичными лекциями и популярными брошюрами о мировом значении русской литературы выступили такие видные литературоведы, как Н. К. Гудзий и Д. Д. Благой. Однако у Н. Я. Берковского была особая задача: не просто подтвердить вывод о всемирном признании русской литературы, но раскрыть причины ее всемирного призвания, постигнуть ее иноземную судьбу как выражение ее собственной сути. Поэтому книга вызывает у сегодняшнего читателя самый живой и насущный интерес. Русская литература берется в постоянной переключке с литературами западноевропейскими, отсюда возникает широкая перспектива совместного становления этих литератур, их взаимной открытости и вовлеченности, а именно в этом видел Н. Я. Берковский «высшее честолюбие и высшую задачу» историка литературы: «...изучением

чужих литератур и изучением родной принести данные для познания того, что такое родная литература и что она значит в кругу и в среде мировой словесности».

Дело, конечно, не только в профессиональном честолюбии, но и в научной целесообразности. Само изучение западноевропейских литератур ставит перед вдумчивым исследователем такие проблемы, для решения которых он вынужден обращаться к опыту русской литературы. В XIX веке литература западного мира проходит путь от романтизма к натурализму (первый достигает кульминации в Германии, второй — во Франции), и само наличие этих двух крайностей заставляет задуматься о естественной логике их преодоления. Если в романтизме главное — выражение, то в натурализме — описание; в одном случае человек уходит в себя, живет только жизнью собственного сердца и своим бесконечно мечтательным превосходством над окружающим миром; в другом случае он покорно уступает свое место фактам и вещам, устраняется перед ними и предоставляет им полное господство над собой. Так образуется мир самодельной свободы, которая довольствуется областью чистого духа и знает реальную действительность только как помеху парению или почву для отталкивания, и мир бесконечной необходимости, где среда грубо угнетает человека, механически или биологически обуславливает его поведение, не оставляя ему места для возвышенного дерзания и самоосуществления. Натурализм конца века в западноевропейской литературе является своеобразной расплатой, возмездием за романтизм в начале века: покинутый свободной душой мир превращается в нагромождение вещей и законов, мало-помалу приобретающих власть над человеком. Вот почему первое, что бросилось в глаза ранним западным критикам русской литературы, — в центре ее всегда человек. «Русские сводят мир к человеку», — формулирует это мнение западноевропейцев Н. Я. Берковский, посвящая «антропоцентризму» русской литературы всю вторую главу своего исследования. В произведениях русских писателей нет самодовлеющих описаний (как у Флобера и особенно у Золя), в которых отсутствовал бы человеческий голос или взгляд. Читая Достоевского или Л. Толстого, мы всегда в слове узнаем рассказчика, в картине — созерцателя, в фабуле — деятеля; вещи, краски, звуки очеловечены в этом мире, нужны кому-то, осмыслены кем-

то. Это проявляется и в отношении автора к своему герою: по словам одного из французских критиков, книги Тургенева в отличие от лучших произведений западной литературы «не жестки к человеку». Они не сводят его к «бесконечно малым», к «микробу», но говорят о нем такую правду, которая его не сковывает, не обрекает на бессилие, а позволяет быть шире всех своих обстоятельств, превосходить их в меру проникновения в них. Своею человечностью русская литература противопоставляет натурализму с его «искусством без людей», с одними только «наблюдаемыми» микробами.

Но есть и другая опасность, избежать которую необходимо для достоинства искусства: это ничем не ограниченный субъективизм и произвол, отрицающий всякую определенность и действительность и переходящий в дурную бесконечность самолюбования. В природе русского национального быта и самосознания, утверждает Н. Я. Берковский, заложено бодрое и здоровое начало коллективизма, которое предохраняет литературу от бесплодной мечтательности и болезненного романтизма. Это «могучее и живое сознание совместной жизни людей» захватывает всю отечественную литературу, не давая писателю замыкаться в ней для самовыражения, а герою — для самоутверждения.

Герой русской литературы склонен даже отвергать свое ближайшее, теснейшее «я» ради поиска того общего миропонимания, в котором он может быть предельно честен с самим собой и одновременно объединиться со всеми другими людьми. Действие в русском романе происходит на тесном просторе нации и семьи, откуда выходят и куда возвращаются герои. Н. Я. Берковский тонко замечает, что семья и нация в русской литературе — это не категории ограниченности, которой будто бы недостает общечеловеческих начал, а категории спаянности, которая предполагает более тесную, теплую, кровную связь людей, чем если бы они объединялись отвлеченной и обезличенной принадлежностью к человеческому роду. Не семье пожертвовать человечеством, а человечеству стать семьей — вот к чему призывает русская литература. Ларины, Гриневы, Ростовы, Болконские, Левины, Щербацкие, Иволгины, Епанчины — все эти семейные гнезда в русской литературе, как доказывает Н. Я. Берковский, дают лишь наглядный способ изображения кровной близости и личной взаимозависимости людей, где свой-

ства одного немного иначе обнаруживаются у другого и тем самым намекают на какие-то неиспользованные возможности, непрожитые судьбы; все эти отношения, замещения, подстановки, встречи, узнавания, родства, поруки служат лишь постоянному душевному сцеплению всех персонажей, которые только вместе, сообща проживают свою судьбу и в своем единении образуют живую душу народа. Не случайно слово «душа» наиболее часто употребляется знатоками и ценителями русской литературы, тогда как применительно к немецкой и французской обычно говорят о «духе» и «разуме». Н. Я. Берковский приводит характерное мнение Вирджинии Вульф: «Душа — действительно главное в русской литературе... Душа переливается через край, все затопляет, она смешивается с душами других». Душевное бытие людей текуче, пронизуемо, открыто, сочетает выразительность и восприимчивость, но лишено односторонней волевой или познавательной направленности (таков в контексте русской литературы смысл устойчивых выражений «твердый духом», «быстрый разумом», «широкий душой»). Душевность — это прежде всего сочувственное и участливое расположение к другому, готовность принять его как своего, быть «сосудом», по выражению В. Вульф, или, по более точному образу Л. Толстого, «рекой».

Выходя за пределы своего «я», человек из русского романа или повести встречает не обездушенный, презренный им вещный мир, который мстит ему своей тупой и безличной властью над его духовными порывами, а встречает человека же, в котором находит свое продление, отклик, понимание или усилие понять — внимательное и отзывчивое «ты». «В европейской критике, — пишет Н. Я. Берковский, — русский «антропоцентризм» и русская коллективность стоят друг против друга. На деле они друг друга не исключают, но взаимны, невозможны порознь, продолжают друг друга, взаимно друг друга поощряют и воодушевляют». Мысль глубокая: нельзя ставить человека в центр искусства без того, чтобы рядом с ним в такой же точно центр не был поставлен другой человек; без этой коллективности пропадает сам «антропоцентризм», потому что другие превратятся для единственного в чужих и посторонних, в вещьподобных нечеловеков, если им не будет предоставлено равное право единственности, центральности. «Многоголосие» в романах Достоевско-

го, множественность точек зрения в романах Л. Толстого — все это выражение одновременно «антропоцентрического» и «коллективистского» мирозерцания, для которого каждый человек в жизни и каждый персонаж в искусстве говорит всем другим и всех других слышит, является и средоточием, и посредником, и средой. Задача художника — найти общую перспективу для всех этих входящих друг в друга, сквозных, открытых, просвечивающих голосов и сознаний; выполнение этой задачи постоянно облегчается и предусматривается исторической перспективностью самой коллективной жизни.

Проблеме личности и ее нераздельности с народом Н. Я. Берковский уделяет особую главу, где подводятся итоги и намечается смычка двух предшествующих глав — об антропоцентризме и коллективности. Русской литературе одинаково чуждо и воспевание сверхчеловека, и любование посредственностью, и индивидуализм, и мещанство. Недаром в самом определении «лишние люди» высказано пожелание вовлеченности, причастности этих людей к общей жизни и сознание той неполноценности, на которую обрекает их разрыв с обществом. Н. Я. Берковский полемизирует с Ницше: Онегин, Печорин, Раскольников, которые в философской системе последнего могли бы сыграть роль «сверхчеловеков», изображаются русскими писателями как люди, в чем-то потерявшие себя, чуждые жизни, не умеющие соединиться с миром. С другой стороны, «маленькие люди», социально неполноценные, не достигающие среднего уровня сытости, обеспеченности, устроенности, приспособленности, несут в себе что-то героическое, «сверхчеловеческое»; таков Евгений в «Медном всаднике», бросающий вызов царственному истукану, и даже Акакий Акакиевич в «Шинели», из которого после жалкой смерти выходит грозный мститель. Но если «сверхчеловек» оказывается «лишним», а «маленький человек» — достойным, значит, в русской литературе принята совсем иная система нравственных ценностей: добродетель не в том, чтобы превосходить других людей, и позор не в том, чтобы чего-то не иметь по сравнению с другими людьми, жить беднее, застенчивее. Нужно стремиться к общечеловечности, но она далека от обывательства, включает в себя материальный низ и духовный верх, которые движутся навстречу друг другу, минуя мещанскую середину. «В русской литературе, — пишет Н. Я. Берков-

ский, — рядом с Белкиным стоит необычный Сильвио, рядом с Максим Максимовичем — лермонтовским Белкиным — Печорин... Незаурядное возникает из заурядного... Гения, великого человека у нас охотно представляли со слабостью, с недоконченностью — как Пушкин Петра в повести об Арапе или Моцарта в маленькой трагедии — и вовсе не затем, чтобы понизить его, это была его милая сторона, та его зазубринка, на которую должна была прититься зазубринка кого-то другого, намека на то, что нужны еще и иные люди, это было распространение теплоты вокруг гения и величия, теплоты общения с другими». Н. Я. Берковский выдвигает понятие родового, где личность и общество образуют кровный, согретый интимностью и родственностью союз, восходящий от самого малого к самому большому. Это прямо противоположно такому соотношению индивидуальной особенности и житейской обыденности, которое у англичан получило название *humour* и проникает всю литературу сентиментального реализма: индивидуальности отводится маленькое место в мире, где она сочувственно изображается и оправдывается в какой-то своей прихоти, причуде, но при этом с грустной улыбкой, поскольку мир оставляет ей мало надежд на полноту самоосуществления, и с этим ничего не поделаешь. Сантименты сантиментами, а реальность реальностью. Задача состоит только в том, чтобы действительность почаще щадила людей, устраивала им счастливые случайности, помогала их своеобразию сохраниться, процвести в каком-нибудь маленьком капризе, невинном чудачестве. У Диккенса и Теккерея (как раньше у Байрона) разрешение вопроса о личности и мире часто сводится к тому, чтобы позволить ей быть большей индивидуальностью, сбегать ее непохожесть, своеобразность, «зазубринку», вовсе не требуя ее выхода к другим людям и переустройства мира на общих началах. Для русской литературы личность осуществляется в живой связи всех людей через общение и наследование; дело идет не о самосохранении индивидуальности, а о самораскрытии рода. По мнению Н. Я. Берковского, в этом состоит сущность всякой большой, не ущемленной, не подавленной позиции. «Ведь образ лишь тогда и поэтичнее безобразного, когда восхождение от частного к общему не есть обыкновенная логическая операция, где менее общее подводится под более общее, но подьем от низшего к высшему, от худшего к лучшему... Русский

способ изображать всякое жизненное явление «на миру», в общенародном кругу, «соборно» есть и способ наиболее поэтический. Особенность национальной жизни России истолковывается как своеобразие ее литературы, самого способа художественного отображения и преображения мира: образ — это постоянный подъем от единичного к общему, от личного к родовому, который совершается в искусстве тем успешнее, чем более полно он осуществлен в действительности.

Если начальные три главы книги (после вступительной) посвящены жизненному наполнению русской литературы, то последние три главы имеют в виду прежде всего ее художественное исполнение. Основной вопрос, встающий при этом, — особое соотношение и единение правды и красоты, прозы и поэзии, реализма и романтизма в искусстве. Форма у русских не гнетет содержания, но позволяет выжаться ему свободно, даже противоречиво. «Святая русская литература!» — этот отзыв Т. Манна (устами одного из его любимых героев, порабощенных самовластьем искусства) помогает понять в русской литературе ее особое свойство: вечное предпочтение жизни, отказ ради нее от всяких условностей ремесла. «Реализм «живой жизни» — называет Н. Я. Берковский нашу литературу, поскольку она всегда стремилась перестать быть только литературой, переступить грань «изящной словесности», стать пророчеством, «заражением», служением, священнодействием, «учебником жизни». Русской литературе мало было описывать действительность и выставлять идеал, ей страстно хотелось еще и изменять эту действительность в соответствии с идеалом, и ради этого она часто отрекалась от лучших своих художественных достижений (вспомним поздний, «покаянный» период Гоголя и Л. Толстого) — вся в усилки перейти без остатка в жизнь, раствориться в ней и пополнить ее собою. Ей всегда было мало создавать отвлеченную, законченную в себе красоту, которая существовала бы своим отрывом от жизни и противоположностью ей. «Святость» в отличие от «искусности» требует не только индивидуального дара и профессионального мастерства, но и человеческого служения и сверхличного предназначения, не только красоты, но добра и правды. Русская поэзия, замечает Н. Я. Берковский, всегда вырастала из прозы жизни, питалась ею и питала ее. Знаменательно, что основополагающие произведения русской словесности —

это роман в стихах («Евгений Онегин») и поэма в прозе («Мертвые души»). Поэзия стремится приблизиться к прозе, вобрать ее тягучесть, приземленность, будничность, разделить ее интерес к подробностям и отступлениям, взять на себя трудность проникновения в быт и преодоления быта; с другой стороны, проза хочет сродниться с лирикой, возвысить житейские частности до поэтического значения, воспеть будущее и преобразить настоящее. Особенно интересно у Н. Я. Берковского рассуждение о сказе — очень распространенном в русской литературе (и редком на Западе) способе воспроизведения устной речи рассказчика, чаще всего человека из народа. «Сказ — неотделенность производителя от произведения, желание... захватить вместе с растением также и землю при его корнях», наглядное претворение прозы в поэзию, обыденного говорения в художественную речь.

В связи с проблемой творческого метода Н. Я. Берковский говорит о пограничности в русской литературе реализма и романтизма. Любовь к правде действительности сочетается с верой в ее «обещания», которые в избытке предоставляла Россия, идущая к революции. «Романтизм питался... всем нашим развитием — необычайно быстрым», — пишет автор. Западные критики часто сетуют на «бесформенность» русской литературы, во многих произведениях которой словно бы отсутствуют начала и концы, характеры намечены, но не доведены до резкости и отчетливости типов, пугают или пленяют неожиданным проявлением, ломкой. «Русский хаос — это безобразность, мерцание, у которого нет ни контуров, ни направления» — на это типичное зарубежное высказывание Н. Я. Берковский отвечает словами Герцена: «В России нет ничего оконченного, окаменелого: все в ней находится еще в состоянии раствора, приготовления... Да, всюду чувствуешь извест, слышишь пилу и топор». Что же такое «бесформенность», «хаотичность», как не расчет на творческие силы самой жизни, которые продолжают дело литературы и приведут его к завершению, к форме более могучей, контурам более стройным, чем предполагалось заранее? Русский писатель, замечает Н. Я. Берковский, никогда не считал себя законченным профессионалом, который должен полагаться только на свое усердие и талант: он всегда надеялся на кого-то еще — на читателя, который поможет ему завершить труд по преобразованию жизни, начатый в книге. Всего нельзя досказать — слово дол-

жен взять другой человек; вокруг книги, словно бы недописанной, вырастает связь людей, доделывающих ее своей жизнью.

Все эти особенности русской литературы, которые побуждают некоторых критиков на Западе говорить о ее чуждости сообществу европейских литератур, в действительности, как показывает Н. Я. Берковский, делают ее самой многосторонней и всечеловечной литературой XIX века, воскрешающей дух и смысл европейского Ренессанса. Единство «антропоцентризма» и коллективизма, личности и рода, культуры и народности, красоты и правды, поэзии и прозы, романтического и реалистического предстает в ней нерасчлененным: на всех уровнях сохраняется та целостность жизненных предположений и художественных устремлений, которая была постепенно утрачена в развитии западных литератур, разбилась на отдельные «черты», «течения» и «направления». Наша литературная классика действительно уникальна в Европе XIX века, но это как раз в силу своей универсальности, бывшей достоянием более молодой, более органичной Европы. «Под своеобразием понимают род узости, уклон, специализацию. Наше своеобразие было в нашей универсальности, в нашем собирательном духе по отношению к мировой цивилизации» — этот вывод достойно увенчивает всю книгу.

Есть в ней и некоторые недочеты, которые трудно отделить от достоинств. Книга написана столь ярко, что подчас ей не хватает оттенков; обобщенность суждений иной раз не пострадала бы от определенных оговорок. В частности, речь все время идет о западноевропейской (или даже вообще западной) литературе и критике в целом, тогда как в разных странах отношение к русской словесности вовсе не было одинаково и могло бы дать повод для содержательных разграничений и уточнений (показательно, например, что французские источники цитируются в книге почти в два раза чаще, чем немецкие и английские). Во мнениях западноевропейцев совсем не было единодушия относительно русской литературы, их отзывы необязательно повторяют или продолжают, но часто и опровергают друг друга, и полемика в их среде интересна не только сама по себе, но и как свидетельство тех противоречий, которые русская литература возбудила за своими пределами.

Подчас превосходство отечественной литературы над западноевропейскими утверждается как-то слишком категорично и безусловно, тогда как рассуждения автора ограничиваются в основном тематикой второй половины XIX века и из его же собственной концепции вытекает, что по достоинству Пушкина и Гоголя, Л. Толстого и Достоевского следует оценивать в сопоставлении не с временем Золя, а с веком Шекспира в Англии, Сервантеса в Испании, Рабле во Франции, Гёте в Германии. Не вполне выдержано композиционное членение работы, так что некоторые ее темы повторяются в разных разделах. Большей частью все эти недостатки вызваны условиями появления книги в свет без участия автора; но следует поблагодарить редакторов за то, что они, судя по всему, сохранили в неприкосновенности блестящее своеобразие авторского стиля, резко отступающего от устойчивых канонов учено-академического (или наукообразного) изложения. Манера Н. Я. Берковского настолько индивидуальна, что ее можно узнать по одной фразе, даже по некоторым словосочетаниям (вроде «милая сторона» великого человека, его «зазубринка», «распространение теплоты вокруг гения» и т. п.). Обиходный и специальный язык, разговорная интонация и теоретическая установка сплаваются воедино; повседневные слова употребляются с принципиальностью терминов, а термины приобретают смысловую емкость символов; каждое обобщение находит для себя точный и ясный образ, способный к саморазвитию. Перед нами литературоведческий сказ, претворяющий прозу понятий в поэзию мысли. Речь льется легко, непринужденно, в ней трудно выделить паузу и поставить точку — настолько это сплошной, безудержный поток, размывающий всякие синтаксические и смысловые членения (несколько длинных предложений, идущих друг за другом через запятую, не поддающихся замыканию и отсечению, — выразительная черта этой прозы; этим же объясняется некоторая расплывчатость, неотчетливость переходов между отдельными главами и фрагментами). Как бы видишь перед собой живого собеседника, свободно творящего свою речь. В этом Н. Я. Берковский уже не только обобщает опыт русской литературы, но и наследует ему.

М. ЭПШТЕЙН.



Политика и наука

ЛЕТОПИСЬ ВЕЛИКОЙ ЖИЗНИ

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Политиздат. Т. 1. 1870—1905. М. 1970. 628 стр.; т. 2. 1905—1912. М. 1971. 720 стр.; т. 3. 1912—1917. М. 1972. 646 стр.; т. 4. Март—октябрь 1917. М. 1973. 460 стр.; т. 5. Октябрь 1917—июль 1918. М. 1974. 740 стр.; т. 6. Июль 1918 — март 1919. М. 1975. 666 стр.

«30 томов произведений Ленина... даты жизни, письма к родным, ряд многочисленных фото дают возможность хорошо изучить Ленина как человека и революционера»¹.

Когда Н. К. Крупская писала эти строки, читатель располагал тридцатитомным собранием сочинений В. И. Ленина второго и третьего изданий. Сегодня ему доступны уже пятьдесят пять томов Полного собрания сочинений, которые, помимо законченных произведений, содержат различные подготовительные материалы: конспекты, планы, наброски, тезисы плюс к этому письма, записки, телеграммы и др. Тома произведений сопровождаются разделом «Даты жизни и деятельности В. И. Ленина».

В полном, пятом по счету, издании этот раздел охватывает около восьми с половиной тысяч дат и фактов, значительно больше, чем в предыдущих. Но и здесь не исчерпан огромный материал, собранный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Начиная с 1970 года этот богатейший материал публикуется в объемистой «Биографической хронике». В результате кропотливого исследования произведений и переписки В. И. Ленина, фондов центральных и местных архивов, мемуаров и периодической печати, в том числе и иностранной, уже выпущено шесть книг, охватывающих период с 1870 года по март 1919 года.

Достаточно сказать, что в первом томе количество фактических данных по сравнению с соответствующими по хронологической канве томами Полного собрания сочинений возросло почти в два раза, в третьем — в три раза, в шестом — в семь раз. В научный оборот введено множество ранее неизвестных документов. Например, только в пятом томе приведено (целиком или частично) свыше трехсот, а в шестом — около семисот новых ленинских документов: писем, записок, телеграмм, распоряжений, конспективных записей.

Факты, в своей совокупности составившие это уникальное издание — а в первых шести

его томах почти четыре тысячи страниц, — словно из мозаики отдельных дел и дней, а иногда и часов, воссоздают величественный, удивительный по динамизму, живости и цельности образ пролетарского вождя. Знакомясь с «Биографической хроникой», прежде всего поражаешься нечеловеческой напряженности, вместительности, спрессованности ленинских суток. Событие за событием, факт за фактом создают яркую панораму нарастания революционного натиска. Вместе с тем зримо вырисовывается титанический труд великого революционера — мыслителя и организатора, встающего во всей полноте и многообразии его связей с жизнью рабочего класса.

Н. К. Крупская, советуя изучать произведения Ленина, знакомиться с его жизнью, подчеркивала: «Важно только рассматривать все статьи, все высказывания Ленина в их исторической перспективе, во всех связях и «опосредованиях». Без этого не понять до конца ни Ильича, ни его учения»².

Значение «Биографической хроники» в том, в частности, и состоит, что она помогает читателю отчетливее увидеть эту историческую перспективу, позволяет воспринять жизнь Ленина и его труды в неотрывной связи с эпохой, лучше постичь время с его крутыми переломами в конце XIX — первой четверти XX века.

Сведения и ссылки, приведенные в издании, побуждают любознательного читателя тянуться к книжной полке, снова вчитываться в, казалось бы, хорошо знакомое произведение и с вершины накопленного обществом опыта находить новые, ранее не замеченные оттенки и грани. Таким образом, знакомство с «Биографической хроникой» помогает глубже проникнуть в творческую лабораторию ленинской мысли, способствует обостренному постижению Ленинианы.

Так возникает волнующая сопричастность к делам и дням, продиктовавшим ту или иную книгу, статью Владимира Ильича, письмо, доклад, речь, реферат... Говоря словами Маяковского,

¹ Н. К. Крупская. О Ленине. М. Политиздат. 1960, стр. 85.

² Там же.

По тому,
 работа движется как,
 видна
 направляющая
 ленинская мысль,
 видна
 ведущая
 ленинская рука.

Отнюдь не только академическим целям служат указатели, помещенные в конце каждого тома. Они ориентируют в необозримом материале. За именами сотен и сотен людей, с которыми встречался и разговаривал Ленин; за названиями географических местностей, которые Ленин посетил в России и Западной Европе и где участвовал в партийных съездах и международных социалистических конференциях, присутствовал на совещаниях, собраниях, митингах, выступал с докладами и речами, разъяснял, доказывал, спорил, убеждал; за названиями книг и статей, которые он прочитал, штудировал, сам написал,— за всем этим динамика революционной мысли и революционного дела.

И так год за годом, десятилетие за десятилетием.

Осенью девятьсот пятого года, когда под ударами российского пролетариата сотрясались устои царского самодержавия, Владимир Ильич писал: «Революция есть удел сильных!.. Свобода достается только сильным»³. Сила революции концентрировалась в натуре самого Ленина.

Откроем страницы «Биографической хроники», относящиеся к ноябрю 1905 года. 8 ноября⁴ Владимир Ильич прибывает в Петербург и сразу же с головой погружается в работу. С вокзала он направляется на Можайскую улицу, дом 8, на квартиру сестры встретившего его члена боевой технической группы при ЦК большевиков Н. Е. Буренина; на Можайской беседует с членом ЦК А. Б. Красиным и другими соратниками. Через несколько часов Ленин перебирается на квартиру члена ЦК П. П. Румянцева (10-я Рождественская, дом 1/41). Отсюда он едет на Преображенское кладбище почтить память жертв Кровавого воскресенья. С кладбища на Николаевскую улицу, дом 33; здесь на квартире зубного врача была явка ЦК большевиков; на явке Ленин встречается с В. А. Шелгуновым и М. Н. Лядовым, беседует с ними, приглашает их на расширенное заседание редакции большевистской

газеты «Новая жизнь». Но на этом рабочий день Ленина не кончился. Он еще поехал на Суворовский проспект, дом 4, где в здании бывших Рождественских курсов лекарских помощников и фельдшерниц состоялось расширенное заседание Петербургского комитета; на заседании Владимир Ильич выступил с речью об отношении большевистской партии к Советам рабочих депутатов.

В «Биографической хронике» среди других фактов, относящихся к осени пятого года, приведен и следующий: 13 ноября департамент полиции своим циркуляром предложил всем начальникам губернских жандармских управлений, охранных отделений и пограничных пунктов тщательнейшим образом следить за появлением в России Ленина и других эмигрантов, а буде их обнаружат, немедленно донести департаменту и установить секретное наблюдение. Между тем Ленин уже пять дней находился в Петербурге.

В хронике (берем данные до конца декабря) перечислены дни, когда он менял ночлег, и адреса, по которым проживал: меблированные комнаты «Сан-Ремо» на Невском проспекте, дом 90; Греческий проспект, дом 15/8; Бронницкая улица, дом 7; Надеждинская угол Бассейной, дом 28/13; Караванная, дом 28/66.

Меблированные комнаты, квартиры, улицы, проспекты... За частой их сменой угадывается бытовая неустроенность, отсутствие условий для отдыха, постоянное нервное напряжение. И при всем этом неизмерная работоспособность. Владимир Ильич редактирует «Новую жизнь», пишет для нее статьи на самые злободневные темы⁵, участвует в заседаниях ЦК, ПК, Петербургского Совета рабочих депутатов, выступает на партийных и рабочих собраниях, беседует с товарищами из МК, с руководителями боевой технической группы при ЦК, ведет занятия кружка аграрников-марксистов...

На ноябрь пятого года приходится личное знакомство Ленина с Горьким. В хронике названа дата: 27 ноября. Под ней два сообщения: «Ленин и А. М. Горький впервые встречаются в редакции газеты

⁵ «Биографическая хроника» перечисляет эти статьи. Вот некоторые из них: «О реорганизации партии», «Пролетариат и крестьянство», «Партийная организация и партийная литература», «Войско и революция», «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти», «Социализм и анархизм», «Социализм и религия».

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 331.

⁴ Здесь и дальше (до февраля 1918 года)— по старому стилю.

«Новая жизнь» после приезда Горького из Москвы». И второе: «Ленин участвует в совещании ЦК РСДРП (Знаменская ул. (ныне ул. Восстания), угол Ковенского пер., д. 20/16, квартира А. М. Горького и К. П. Пятницкого), на котором обсуждаются вопросы вооруженного восстания, дальнейшего укрепления состава редакции «Новая жизнь» и об издании в Москве большевистской газеты «Борьба». Присутствовали А. А. Богданов, Л. Б. Красин, П. П. Румянцев, а также А. М. Горький и В. А. Десницкий».

По своему характеру всякая хроника скупа. Она сообщает только факты, не передавая ни обстановки, ни эмоциональной атмосферы события. Тут на помощь читателю приходят другие источники, включая мемуарные.

Петербург бурлит. Дата: 13 ноября. Под ней краткая заметка: «Ленин выступает на заседании Петербургского Совета рабочих депутатов в здании Вольного экономического общества по вопросу о мерах борьбы с локкаутом, объявленным капиталистами в ответ на введение рабочими явочным порядком восьмичасового рабочего дня, и предлагает написанную им резолюцию по этому вопросу».

Грозовую атмосферу тех дней, реакцию слушателей на речь Владимира Ильича ощутимо передает в своих воспоминаниях М. М. Эссен: «И вот выступил Ленин. Весь зал насторожился и притих. Повисло настоящим воздухом революции, будто раздвинулись тесные стены зала заседания и перед нашими глазами развернулся безбрежный мир огромных революционных перспектив... Выступление Ленина, его насыщенная революционным энтузиазмом речь назлектризовала весь зал, а когда он развернул перед слушателями четкий, ясный план и программу действий дальнейшего развития революции, в зале пронесся гул одобрения, переросший в бурную овацию... На лицах радостный восторг, который охватывает всех и роднит с Лениным аудито-рию»⁶.

Каждый из первых трех томов «Биографической хроники» содержит данные о нескольких годах. Дальнейшие тома охватывают всего по несколько месяцев — столько обнаружено фактов. Хронологические рамки четвертого тома — месяцы, отделявшие Октябрьскую революцию от Февральской. В этом томе в отличие от других не только

упоминаются названия написанных Лениным работ, но даются аннотации на них. В пятом и шестом томах показан начальный этап социалистических преобразований и организация защиты Страны Советов от злейших врагов пролетарской революции. Это были годы невероятных трудностей, смертельной опасности и одновременно небывалого революционного энтузиазма и самоотверженности трудящихся масс города и деревни, поднятых Коммунистической партией на строительство новой жизни.

11 марта 1918 года в поезде, по дороге из Петрограда в Москву, Владимир Ильич написал статью «Главная задача наших дней». В ней подведены итоги великих свершений года, прошедшего после падения царизма, и сформулированы предстоящие задачи: надо было изо дня в день терпеливо и настойчиво собирать «камень за камушком» прочный фундамент социалистического общества. История, писал Ленин (и в этих словах прозвучала глубочайшая вера в творческие силы народных масс), «летит теперь с быстрой локомотива», историю творят теперь «самостоятельно миллионы и десятки миллионов людей»⁷.

Позднее, осенью 1921-го, Владимир Ильич скажет: в царских тюрьмах нас не учили ни управлять государством, ни военному делу, ни хозяйственному⁸. Вершить же эти дела требовалось безотлагательно, начиная с исторического дня 25 октября 1917 года, дня великой пролетарской революции.

Гениальность Ленина — хроника ярко показывает это — проявилась и в том, что уже на следующий день после провозглашения власти Советов он предстал перед всем миром как государственный деятель, способный решать самые сложные вопросы, находить выход из, казалось бы, самых безвыходных положений.

Фиксируя все заседания Совнаркома начиная с первого исторического, состоявшегося в Смольном 27 октября, хроника дает читателю представление о многогранной деятельности возглавлявшегося Лениным рабоче-крестьянского правительства. С 27 октября 1917 по 16 марта 1919 года Совнарком собирался 261 раз и обсудил 2447 вопросов. 30 ноября 1918 года ВЦИК учредил другой высший правительственный орган — Совет рабочей и крестьянской обороны, призванный руководить всем делом укреп-

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 80, 82.

⁸ См. там же, т. 44, стр. 216.

ления Красной Армии, мобилизацией людских и материальных ресурсов, необходимых для разгрома армий белогвардейцев и интервентов. До середины марта 1919 года Совет обороны — его председателем был тоже Ленин — заседал 24 раза и рассмотрел 450 вопросов.

На заседаниях Совнаркома и Совета обороны Ленин делал доклады, выступал в прениях, составлял проекты постановлений, вносил поправки, дополнял повестку дня, вел списки ораторов, обменивался записками. В «Биографической хронике» воспроизведено множество таких записок.

А. П. Спундз, нередко присутствовавший на заседаниях СНК, писал в своих воспоминаниях, что Ленин постоянно поддерживал «в большевиках дух коллектива добровольных единомышленников-революционеров», что при обсуждении декретов и постановлений «во взглядах... любого товарища он искал элементы наиболее правильного решения» и «следил за тем, чтобы все члены коллектива... на деле находились бы в одинаковом положении, чтобы ничья инициатива не подавлялась, не заглушалась». Авторитет Ленина был общепризнанным, но он «не допускал и намека на то, чтобы вносимые им предложения считались правильными лишь в силу того факта, что они исходили от него, Ленина. Решали только доказательство». Случались горячие споры. В подавляющем большинстве случаев принимались предложения Владимира Ильича, «но так как это происходило без малейшего привкуса какой бы то ни было монополии, то принятые решения воспринимались как наилучшие решения, достигнутые коллективом»⁹.

Именно таким был стиль работы Ленина.

Он обладал еще одним ценнейшим свойством души — революционным мужеством, хладнокровием, бесстрашием перед лицом опасности. Отвечая на анкету Института мозга, Н. К. Крупская писала о нем: «Очень хорошо владел собой»¹⁰. А. В. Луначарский, восхищаясь поразительной жизненной стойкостью Владимира Ильича, говорил: «В самые страшные минуты, которые нам приходилось переживать, Ленин был неизменно ровен...»¹¹.

Эти свойства ленинского характера проявились в полные драматизма дни августа — сентября восемнадцатого года. Эти дни отображены в шестой книге «Биогра-

фической хроники» с помощью сведений, взятых главным образом из газет того времени, московских и петроградских.

30 августа (после 18 часов 30 минут) Ленин по путевке МК выступил на многотысячном митинге рабочих бывшего завода Михельсона (3-й Щипковский переулок). Тема речи — «Две власти (диктатура пролетариата и диктатура буржуазии)». По окончании митинга, когда Ленин приблизился к своему автомобилю, в него несколько раз в упор выстрелила эсэра-террористка, нанеся две тяжелые раны отравленными пулями. Газета «Беднота» в номере за 1 сентября писала: «Когда раздались выстрелы, окружавшие Ленина рабочие на миг растерялись... Ленин, уже раненный, воскликнул: — Товарищи, спокойствие!.. Держитесь организованно...»

В 22 часа 40 минут ВЦИК в связи с покушением на Ленина принял обращение: «Всем Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, всем армиям, всем, всем, всем»; подписанное Я. М. Свердловым, обращение было передано по радио всему миру. В 23 часа вышел первый бюллетень о состоянии здоровья Ленина. Он обдумывался очень тщательно: «...ведь, — писал потом лечивший Ленина профессор В. Н. Розанов, — нужно было опубликовать перед народом и миром горькую правду... но это нужно было сказать так, чтобы надежда осталась». Составив бюллетень, участники консилиума вернулись к Ленину. «Около него сидела Надежда Константиновна. Владимир Ильич лежал спокойно, снова наша настойчивая просьба не шевелиться, не разговаривать. На это — улыбка и слова: «Ничего, ничего, хорошо, со всяким революционером это может случиться». А пульса все нет и нет»¹².

Как явствует из «Биографической хроники», 31-го Ленин потребовал газеты. Врачи ответили категорическим отказом, как отказали и в просьбе кратко докладывать ему дела. Ленин шутил, держался бодро и сказал, что «теперь не такое время», чтобы не думать о делах.

Сильный организм и душевная стойкость Ленина позволили ему перебороть болезнь. 5 сентября Я. М. Свердлов сообщил в Петроград: «Самые трудные дни позади... Жизнь Ильича спасена» (сообщение это было напечатано в «Петроградской правде»)¹³.

Уже 16 сентября Ленин участвовал в за-

⁹ «Новый мир», 1967, № 10, стр. 194.

¹⁰ «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 1, стр. 616.

¹¹ Там же, т. 2, стр. 139.

¹² Там же, т. 3, стр. 314.

¹³ «Биографическая хроника», т. 6, стр. 120.

седании ЦК РКП(б), а 17-го председательствовал на заседании Совнаркома. Вновь потекли полные напряжения трудовые будни. Неотъемлемой их частью была громадная литературная и теоретическая работа, тоже зафиксированная хроникой.

Известны слова, оброненные Владимиром Ильичем в разговоре с Крупской: «Надо посоветоваться с Марксом». В самые трудные периоды гражданской войны, когда каждый день был, казалось бы, до предела насыщен чрезвычайно важными делами, Ленин тем не менее нередко урывал время, чтобы углубиться в произведения великого основоположника теории научного социализма, черпать в них новые идеи, искать ответа на сегодняшние вопросы, сопоставлять те или иные ситуации, искать их сходство и различия и на основе научного анализа противоречивой действительности приходиться к нужным теоретическим и политическим выводам.

В пятом томе «Биографической хроники», например, сообщается, что Ленин, заново просматривая книгу «Государство и революция», на некоторых страницах (указано на каких) делает подчеркивания, отчеркивания, вносит исправления, а на обороте последней страницы текста приводит на немецком языке выписку из письма Маркса к Вейдемейеру от 5 марта 1852 года. В ноябре восемнадцатого года, подготавливая второе издание «Государства и революции», Владимир Ильич дописывает к книге добавление: «Постановка вопроса Марксом в 1852 году». Ключевая мысль добавления: «Марксист лишь тот, кто распространяет признание борьбы классов до признания диктатуры пролетариата»¹⁴.

И — составная, органичная часть его многогранной и кипучей деятельности: постоянные встречи с рабочими, крестьянами, красноармейцами, партийными, государственными, военными работниками, учеными, писателями. Беседы с ними составляли характерную черту ленинского стиля работы, выражали истинный демократизм Владимира Ильича, его стремление всегда держать руку на пульсе жизни.

Ленин еще лечился после ранения, врачи не разрешали ему выходить, а у него уже побывали Н. Л. Мещеряков (он рассказал о своей двухмесячной поездке в Англию через скандинавские страны с целью озна-

комления иностранных рабочих с положением в Советской России), А. М. Горький (разговор шел о классовой борьбе в Советской республике, о роли крестьянства в революции, о политике советской власти по отношению к крестьянству, об интеллигенции¹⁵), руководитель русского народного хора М. Е. Пятницкий.

Или возьмем, тоже в качестве примера, последние числа октября восемнадцатого года. Ленин беседует с делегатами Иваново-Вознесенской губернии (они рассказывают о тяжелом продовольственном положении), с представителями московских организаций (по тому же вопросу; в конце этой беседы Ленин отправляет записку заместителю наркома продовольствия Н. П. Брюханову, в которой, в частности, пишет: «Я думаю, надо помочь им... Надо придумать, как это сделать. Сегодня напомните мне в СНК»¹⁶), с группой рабочих Выборгского района Петрограда, командированных на Южный фронт.

Фактический материал, заполнивший пятую и шестую книги «Биографической хроники», показывает, что Ленин был тысячами нитей связан с народными массами, что он как бы аккумулировал в себе бесценный практический опыт миллионов борцов за социализм.

В журнальной рецензии немислимо дать сколько-нибудь полное описание «Биографической хроники». Можно лишь попытаться — и мы это стремились сделать — отдельными штрихами показать необычайное богатство издания, выпуск которого продолжается.

Закончим одним пожеланием составителям. При подготовке «Биографической хроники» к печати им удалось уточнить многие факты и даты. Например, в предисловии к четвертому тому читаем: установлено и уточнено время написания более чем 160 ленинских произведений; в предисловии к пятому: заново установлены даты многих событий и фактов из жизни и деятельности Ленина. Понятно, что это далось ценой значительного труда. Но непонятно, почему в издании не оговаривается каждое такое уточнение; ведь такого рода указания, крайне необходимые читателю, дело простой редакционной техники.

Н. МОР.

¹⁴ Горький описал этот разговор в очерке «В. И. Ленин» (см. «Воспоминания о В. И. Ленине», т. 2, стр. 257—258).

¹⁵ «Биографическая хроника», т. 6, стр. 185.

¹⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 34.



НАСИЛИЕ: ПРОБЛЕМА СТАРАЯ ИЛИ НОВАЯ?

В. В. Денисов. Социология насилия (Критика современных буржуазных концепций). М. Политиздат. 1975. 213 стр.

Вальтер Холличер. Человен и агрессия. З. Фрейд и К. Лоренц в свете марксизма. М. «Прогресс». 1975. 131 стр.

Можно поспорить о том, что вызвало на Западе к жизни новую междотраслевую дисциплину, названную «вайоленсологией», то есть «наукой о насилии» (английское «violence» — насилие). Действительно ли обнаружился на стыке ряда наук некий подлежащий заполнению теоретический вакуум? Или ее появление форсировано обстоятельствами, типичными для буржуазного общества и его культуры?

Так или иначе, но отрасль знания с этим неблагозвучным для русского уха названием с некоторых пор существует и даже опережает по объему выходящей литературы все прочие разветвления общественных наук (данные ЮНЕСКО). А потому назрела необходимость в критическом изучении современных буржуазных концепций насилия, в полемике с ними на теоретическом уровне. Эту задачу в определенной мере выполняют рецензируемые книги, впервые у нас обобщенно трактующие проблему насилия.

Вайоленсология обычно уравнивает все проявления насилия в обществе независимо от их природы и формы, независимо от масштаба — является ли их субъектом или объектом индивид, государство или класс. Что это — академизм? Да, конечно, но, кроме того, вероятно, кое-что другое, совсем ему противоположное. Живая жизнь, «просеянная» через буржуазные средства информации, предстает неким хаотическим зрелищем разнонаправленных насильственных актов. Дюжий полицейский зверски избивает беззащитного демонстранта; горящим факелом орудует отчаявшийся негр из гетто; какие-то не то экстремисты, не то гангстеры расстреливают из автоматов каких-то заложников; пылающие автомашины, разбитые витрины; крупным планом кровь, гримасы боли. Вся эта лавина страха каждодневно обрушивается на поживающегося в уютном кресле обывателя, и весьма часто вопрос о том, «кто», «кого» и «за что», для него если и не пропадает совсем, то отодвигается куда-то на задний план, а на переднем остается насилие само по себе, оторванное от всех причинно-следственных связей, что является результатом сознательного расчета, умысла хозяев «масс медиа». Причем «экран мира» оказывает определенное воздействие не только на обы-

денное сознание, но, как установлено, и на сознание теоретическое.

Следовательно, В. Денисов прав, когда он отмечает среди основных пороков буржуазных теорий насилия «неправомерное отождествление качественно разнородных по своему социальному содержанию и направленности насильственных действий». В противоположность западным авторам он предлагает четкую типологию насилия: 1) насилие сверху, осуществляемое буржуазным государством в отношении трудящихся, а также используемое им во внешней политике; 2) разнообразные проявления революционного, антиимпериалистического насилия; 3) уголовное насилие.

Первый вид насилия буржуазные ученые называют узаконенным. Большинство из них всячески его оправдывает, не признавая за ним классового характера. В наукообразной трактовке оно именуется «функциональным» в противоположность «дисфункциональному», идущему снизу. Насилие сверху может быть и «скрытым»: различные формы экономического и духовного подавления — это формы того же насилия, хоть и без рукоприкладства.

Буржуазные теоретики весьма решительны в своем неприятии насилия снизу, хотя последнее осуществляется обычно только в ответ на репрессию власть имущих. Речь идет об организованном насилии революционных масс и о стихийном бунтарстве. Марксистский подход к этому вопросу хорошо известен: революционное насилие становится необходимым, если оно оказывается целесообразным в данной конкретной исторической ситуации; коммунисты рассматривают его как вынужденную форму классовой борьбы против «насильников над народом» (Ленин). Вооруженное насилие — момент в революционной борьбе пролетарских масс. гуманистической по самому своему существу. Как подчеркивал В. И. Ленин, «в нашем идеале нет места насилию над людьми».

Подробнее необходимо остановиться на третьем виде насилия, который у В. Денисова назван уголовным. Уголовщина — это только макушка айсберга, это зримое проявление того, что можно назвать атмосферой насилия и что устанавливается в других

измерениях и масштабах. Проблема насилия в этом аспекте, конечно, по своей значимости уступает проблеме политического насилия (с которым она, однако, сложным образом связана), но сейчас именно данный аспект привлекает и озадачивает буржуазных теоретиков и даже часто заслоняет для них все остальные.

«Буржуазные идеологи, — пишет В. Денисов, — пытаются доказать, что общество столкнулось сейчас с каким-то совершенно особым, принципиально новым и трудно-объяснимым феноменом насилия». Слов нет, буржуазные идеологи немало позаботились о том, чтобы запутать вопрос о насилии в его исторической перспективе, однако едва ли стоит утверждать, что ничего принципиально нового в этом смысле на Западе не происходит. Все говорит за то, что концентрация насилия в тамошней повседневной жизни достигла в последние годы некой качественно новой степени.

За это говорит, кричит небывалый, катастрофический рост преступности, организованной и неорганизованной. Есть показания и иного рода — те, что приносит глубинный зондаж общественной психологии, каковым являются литература и искусство. Они, литература и искусство Запада, свидетельствуют: «что-то случилось» промеж людьми в недрах буржуазной действительности, взаимоотношение подошло к какой-то уже опасной грани. «Немотивированные преступления», особо симптоматичные в этом отношении, не выдумка романистов, а распространенный жизненный факт. Как никогда ослабло тормозящее действие древних «не убий», «не посягай» и т. д., необычайно легко подымается своевольная рука на ближнего.

Чем же все-таки буржуазные идеологи объясняют «взрыв насилия»? Причин называют множество: это и «перенаселенность», и урбанизм, и НТР, это (как их последствия) стрессы и, с другой стороны, «избыток благосостояния» и свободного времени — все это ведет к утрате индивидом «внутренней стабильности», вызывает у него «невротический протест». «Наша цивилизация, — подытоживает французский социолог Э. Морин, — вступила в полосу жестокого кризиса, который обусловил небывалую активизацию проявлений естественных инстинктов человеческой природы... Проблема современного насилия — это проблема не социального, а психологического порядка». Мы еще вернемся к выяснению социальных причин роста насилия, пока же последуем за бур-

жуазной наукой, куда она нас зовет — в довольно туманную пока область «человеческой природы».

Проблеме «человеческой природы» посвящена значительная часть книги В. Денисова и целиком очерк В. Холличера. Авторы выделяют среди буржуазных концепций «агрессивного человека» два направления — биогенетическое и собственно психологическое (оба обращаются к психологии человека, но рассматривают разные ее уровни). У В. Денисова охват концепций и теорий более широкий, тогда как австрийский философ-марксист Вальтер Холличер сосредоточивается на главных представителях названных направлений — своих соотечественниках З. Фрейде и К. Лоренце.

Фрейдовская идея главенства бессознательного овладела умами нескольких поколений буржуазных теоретиков, занятых «проблемой человека». Основные положения Фрейда — в частности, о природе мотиваций (либидо и инстинкт смерти) и об «инстанциях души» («Я», «Сверх-Я» и «Оно») — спекулятивны и либо остаются бездоказательными, либо прямо опровергаются данными современной науки. Тем более несостоятельным признан «социальный фрейдизм» с его психологизацией всей общественной жизни. Поэтому современные психоаналитики, оставляя примат за биологическими инстинктами, стремятся дать им новые обозначения и толкования (подменяя, например, либидо «вitalностью» или «стремлением к эксперименту» и т. д.). Кроме того, для неофрейдистов в целом характерны попытки как-то восполнить вопиющую в «классическом» психоанализе недооценку социальных и культурных факторов, некоторые из них (Э. Фромм, например) даже пытаются «сочетать» фрейдизм и марксизм — учения в корне несоединимые.

Возникновение и распространение психоанализа, пишет В. Холличер, может быть понято только на фоне кризиса буржуазной идеологии. Постулат о пробивающих себе дорогу первозданным инстинктам, и в частности о непреодолимом «влечении человека к агрессии и к самоуничтожению», угрожающем, по утверждению Фрейда, самому существованию цивилизации, мог иметь успех лишь в атмосфере упадка, породившей расхожий образ «человека-зверя». Фрейд уловил в окружающей его публике некую «расположенность» чувств и, в свою очередь, заворожил публику своими, как пишет В. Холличер, «сказками» из жизни «венского (первобытного) леса».

Биогенетическая интерпретация насилия находит свое выражение главным образом в так называемой социальной этологии, связанной с именем биолога и социолога К. Лоренца. В отличие от психоанализа это течение пытается опереться на экспериментальные и теоретические данные ряда конкретных наук: биологии, генетики, нейрофизиологии, и в первую очередь этологии (наука о сравнительном поведении животных, основы которой заложены Лоренцем примерно четверть века назад). Но как ни свежи порою научные достижения, которые призываются на помощь, это течение не выходит из русла, проложенного социальным дарвинизмом.

Исследованиям Лоренца в области этологии специалисты обычно дают высокую оценку, хотя некоторые его принципиальные положения встречают возражения. Особенно это относится к утверждению Лоренца, что у животных «спусковой механизм» внутривидовой агрессии приходит в действие спонтанно, независимо от внешних раздражителей. В этом случае, как и в некоторых других, замечает В. Холличер, Лоренц повторяет мальтузианские ошибки Дарвина.

Свое видение животного мира, в значительной мере обусловленное человеческой «зверскостью» периода деградирующего капитализма, Лоренц вновь переносит на человеческое общество. У него получается, что человек — это существо жестокое и драчливое, несущее в себе тяжкий груз наследственности, привязывающий его к животным предкам: таким он был и в каменном веке, таким он пребудет еще долгое время. Лоренц не прав, пытаясь представить жестокость «извечным» явлением: известны примитивные общества, совершенно не знающие человекоубийства и в которых «внутривидовое» дружелюбие является нормой; есть данные, что «институт взаимоубийства», то бишь война, родился только в эпоху неолита. Агрессивное поведение homo sapiens — феномен иного сравнительно с поведением животных рода. Хотя животное начало всегда присутствует в человеке и его нельзя недооценивать, его поведение в целом глубоко «обработано» культурой, чья роль в данном отношении все возрастает. Фактом, пишет В. Денисов, является прогрессирующая способность человека контролировать, ограничивать и подавлять нежелательные проявления своей естественной «природы».

Итак, у Фрейда и Лоренца, как и у их последователей, душа человеческая являет собою удручающее зрелище какого-то дико-

го поля, дремуче заросшего сорняком, где тысячелетия культуры оставили лишь робкие следы. Фрейд не признавал за цивилизацией способностей укрыть сию первозданную стихию; единственно живой силой, могущей противостоять будто бы свойственному человеку инстинкту саморазрушения, он назвал «Эрос». Лоренц, объявивший себя, как и Фрейд, гуманистом, смотрит на положение вещей несколько более «оптимистично»: инстинкт агрессии, говорит он, все-таки-де способствует сохранению вида в «борьбе за существование», крайние же его проявления со временем могут прекратиться под влиянием благородных чувств, воспитанных поэзией, музыкой и т. д., а также из-за «растущего могущества юмора». Каковы бы ни были их субъективные намерения и весьма наивные благие пожелания, пишет В. Холличер, созданный Фрейдом и Лоренцем «портрет человека» (Menschenbild) в нынешней кризисной ситуации выполняет функцию «эраза-идеологии», сваливая все порожденные капитализмом беды на «несовершенство человека».

Марксизму вовсе не свойственно приписанное ему Фрейдом идиллическое представление о человеке. Нисколько не отрицая сложностей человеческой природы, Маркс акцентировал в ней ее динамизм, ее «открытость», пластичность. Человек, по Марксу, становится творцом самого себя, участвуя в историческом процессе, воздействуя на мир и изменяя его.

Возвращая проблемного человека из некоего лабораторного вакуума в исторический процесс, конкретизируем и вопрос об индивидуальном насилии. Буржуазные «насилиеведы», как это справедливо замечает В. Денисов, экстраполируют его на весь современный мир, пытаясь объяснить его в абстрактном плане: человек и НТР и т. д. Порою, как мы уже видели, экстраполяция совершается и в прошлое — преувеличивается момент насилия в истории, даже евангельский зачин переиначивается по-новому: «вначале была сила» и «вначале было оружие» (Р. Ардри). Помимо прочего, в таком подходе есть элемент сознательного камуфляжа, нежелание затронуть самый корень зла.

А корень зла — в капитализме, в созданном им социальном типе личности. Капитализм, пишет В. Денисов, уродует и развращает сознание человека, отчуждает и духовно калечит человеческую личность, извращая понятия и чувства, воспитывая в людях

порочные наклонности, побуждая людей к взаимной розни.

И все-таки приведенный ответ нельзя считать исчерпывающим. Он относится ко всей истории буржуазной морали и не объясняет особенностей ее нынешнего зигзага. Капитализм с самого начала воспитывал в людях взаимное отчуждение и рознь; Макиавелли, Гоббс, культ силы, «война всех против всех» — все это ведь было уже на раннем его этапе. «Взрыв насилия» — в этом выражении эмпирически зафиксирована некая трансформация, и надо бы глубже разобраться в ее причинах.

Ответ, очевидно, заложен в сфере общественной психологии, в структурах социальных характеров. На этом уровне — уровне социальных характеров — также порой происходит смешение понятий: иные из буржуазных теоретиков усматривают первоисточник агрессивности в самой личности как таковой (индивидуализированной личности в противовес члену первобытного коллектива, крестьянской общины и т. п.) с ее стремлением к самоутверждению, каковое-де в определенных условиях оборачивается насильственными действиями. Действительно, всякая личность нуждается в самоутверждении, но в чем оно выражается, зависит от характера общества; оно может осуществи-

ться и в соревновании, в сотрудничестве, наконец, в самопожертвовании. Так что индивидуальность сама по себе никаких роковых потенций в себе не заключает. А вот буржуазный индивидуалист — тот действительно стремится утвердить себя в ущерб другим и делает это, смотря по обстоятельствам, более или менее обнаженно. Насильник всегда дремал в его душе; что же сегодня изменилось в нем, так это, видимому, чувство уверенности в существующем порядке, в собственной правоте, как говорят американцы, «сползает с седла», отчего и нарастает озлобленность, ожесточение¹. Происходит нечто вроде психологического срыва в масштабе класса, культуры.

Можно указать на неполноту книги В. Денисова, но следует подчеркнуть другое: автор первым взялся писать на сложную тему, а первому приходится особенно трудно. Разговор о насилии при капитализме необходимо продолжить.

Ю. КАГРАМАНОВ.

¹ Об «агрессивности на почве бессилия» и «самоутверждении через жестокость» писала, анализируя искусство и жизнь Запада, М. Туровская в статье «„Преступления века“ и „массовая цивилизация“» («Новый мир», 1968, № 7).



КОРОТКО О КНИГАХ



Л. ЛЕОНОВ. К. ФЕДИН. М. ШОЛОХОВ. Слово к молодым. М. «Молодая гвардия». 1975. 112 стр.

Эта книга легла на столы участников VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Сборник включает в себя материал разнообразный — статьи, беседы, выступления, интервью. Однако составлен он так, что производит ощущение тематической цельности и единства.

«Слово к молодым» — пример доброго писательского наставничества, органически сочетающего заботу о росте творческой сменy с высокой мерой требовательности. «Художника создает труд» — эти слова Леонида Леонова — лейтмотив всего сборника. Настойчиво авторы его предостерегают молодых от легковесного, облегченного подхода к литературе. «От Пушкина до Льва Толстого, от Некрасова до Блока каждый наш литературный талант стремился подражать этим гениям в образе жизни, и каждый писатель мог бы начертать в своем жилище девиз из одного слова — труд», — говорит Константин Федин.

Другая опорная, ключевая проблема сборника — социальная активность таланта. Здесь словно в фокусе сходятся все слагаемые творческого успеха: одаренность, труд, культура. Авторы «Слова к молодым» не закрывают глаза на распространенную опасность, присущую начинающим литераторам: робость социального мышления, заведомая облегченность задач, которые ставит перед собой автор первой или второй книги. Михаил Шолохов с присущим ему юмором, метафоричностью мышления внушает вступающим на писательскую стезю: «Не оставяйтесь в литературе до старости в детских коротких штанишках!» В другом своем выступлении М. Шолохов напоминает о том, как учит летать своих птенцов беркут, заставляя их набирать все большую и большую высоту. И вместе с тем, делает важную оговорку писателю, «беркут не ломает крыльев своим птенцам, не умеющим или боящимся на первых порах подняться на должную высоту». Доверие и зыскательность — диалектическое сочетание этих двух принципов неизменно подчеркивают авторы «Слова к молодым».

Не хотелось, чтобы о сборнике сложилось впечатление как о своде императивных, безапелляционных по тону суждений.

Нет, в нем господствует атмосфера свободных и непринужденных высказываний, «мыслей вслух». Такая интонация особенно характерна для страниц, где идет разговор о сугубо профессиональных вопросах. Возможность приподнять завесу над творческой лабораторией автора увлекательна и поучительна одновременно. И в небольшом по объему сборнике сконцентрирован заряд бесценного художнического опыта Л. Леонова, К. Федина, М. Шолохова. Авторы приводят веские аргументы в пользу тех или иных своих положений. Они облечены, как правило, в яркую, афористически точную форму, неотразимы по своей убедительности. И все-таки, пожалуй, самым красноречивым аргументом, подтверждающим мудрость советов, плодотворность позиций выдающихся советских писателей, служат их книги, их творчество, вся жизнь, безраздельно отданная партии и народу.

В. Гейдеко.



СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН. Станционная ветка. Стихи. М. «Молодая гвардия». 1975. 32 стр.

Эта небольшая книга вышла в известной молодогвардейской серии «Молодые голоса» и, несомненно, привлечет к себе внимание читателя.

Сергей Мнацаканян начал печататься в 1968 году, и с тех пор его стихотворения, отмеченные искренней взволнованностью, естественностью поэтической интонации, появляются в периодических изданиях и сборниках. В предисловии к книге Николай Старшинов пишет, что перед читателем «не сборник разрозненных стихотворений, а маленькая лирическая повесть, исповедь молодого человека семидесятых годов». Напряженный драматизм и ощущение цельности мира видит Николай Старшинов в стихотворениях Мнацаканяна. Оценка, ко многому обязывающая молодого поэта и во многом оправданная. Мнацаканян эмоционально пишет о внутреннем единстве природы и человека: «Я говорил: «Ты, Дерево, пойми, тревожно чуя ветками своими, что в жизни основное — быть живыми, а мы с тобой живые, черт возьми»; о сложности наших отношений с природой: «Нас не оставляет тепло и участие полевой полуденной пыльной земли, а мы ее страсти, не-

настья, несчастья пока что понять и принять не смогли». Результаты целенаправленного человеческого труда видятся С. Мнацаканяну отнюдь не противопоставленными природе. Железная дорога изображается автором как своеобразный живой организм:

Словно соки по стволу,
в дали мировые
уносились в снег и мглу
поезда ночные.

И металась синева,
вьюга порошила,
стыли ветви-рукава
с рельсами прожилок.

Заросли путей стальных
с перспективой далей
и корнями узловых
крупных магистралей.

К сожалению, молодому автору не всегда удается удержаться на уровне им же декларированного критерия: «...может быть, веселье, а вдруг — кручина, только не бес-смысленный шепоток...» Рядом с серьезными, далекими от поверхностного оптимизма стихотворениями вдруг начинают звучать и другие ноты: «...ну а если приснилось плохое, ты рукой на плохое махни...», «...и, рукой махнув, все печали отведуем, словно дым от лица». Право, не нужно объяснять, насколько эта неожиданная легковесность не вписывается в «исповедь молодого человека семидесятых годов».

Дело не только в том, можно и нужно ли «махать рукой на плохое», но и в абстрактности этого «плохого». Такая тенденция, прослеживающаяся в творчестве С. Мнацаканяна, свойственна не ему одному. Как часто «боль», «надежда», «тревога», которыми полны, казалось бы, милые и изящные стихотворения, остаются для читателя нерасшифрованными «болью вообще», «надеждой вообще», «тревогой вообще» — на уровне эмоциональных раздражителей. Причина, видимо, кроется в непродуманности непосредственных, конкретных переживаний, что сводит поэзию иных молодых авторов к бесплодному версификаторству. «Что, мой ровесник, с тобою творишь? И самому непонятно пока», — пишет Мнацаканян. В какой-то степени это относится и к самому автору. Но верится, что не это будет в дальнейшем определять характер его поэзии. Лучшие стихотворения «Станционной ветки» — убедительный тому залог.

А. Василевский.



Е. С. КУЛЯБКО, Е. Б. БЕШЕНКОВСКИЙ.
Судьба библиотеки и архива М. В. Ломоносова. Л. «Наука». 1975. 227 стр.

В 1972 году в печати появилось сообщение о том, что советские ученые обнаружили в фондах библиотеки Хельсинкского университета несколько книг, принадлежавших великому русскому ученому М. В.

Ломоносову, чья библиотека считалась утраченной.

Тщательно изучив все сохранившиеся в литературе и архивах Москвы и Ленинграда известия, авторы восстанавливают необыкновенно трагичную судьбу библиотеки и архива Ломоносова. В последние годы жизни, будучи тяжело болен и стеснен материально, ученый был вынужден продать библиотеку своему меценату графу Г. Г. Орлову, фавориту Екатерины II. После смерти Орлова его книги приобрела Екатерина II и подарила своему внуку князю Константину Павловичу. В 1832 году внебрачный сын Константин П. К. Александров подарил университету в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) часть библиотеки Мраморного дворца, в составе которой находилась большая часть книг из собрания Г. Г. Орлова. Скрупулезное изучение «Орловского каталога» и других материалов, а также просмотр Ю. П. Тимохиной орловского собрания в библиотеке Хельсинкского университета позволили найти 57 томов с характерными пометами самого Ломоносова. Кроме того, было найдено еще 80 книг, которые, по косвенным данным, могут быть с достаточным основанием отнесены к его библиотеке.

Изучая историю библиотеки Ломоносова, Е. Кулябко и Е. Бешенковский проследили также судьбу архива ученого. Они пришли к выводу, что вместе с книгами Ломоносова в библиотеку Г. Г. Орлова поступил и его архив, который позже погиб. В результате небрежного отношения Орловых архив Ломоносова был завален кучей строительного мусора, и значительная часть рукописей утрачена. Авторы полагают, что какую-то часть своего архива Ломоносов уничтожил сам незадолго до смерти, не желая, чтобы некоторые из его рукописей и материалов попали к его врагу А. Л. Шлецеру. Некоторое количество рукописей своих трудов Ломоносов также подарил ученикам, друзьям и знакомым.

Благодаря разысканиям Е. Кулябко и Е. Бешенковского современные исследователи богатого наследия М. В. Ломоносова получают возможность не только более полно представить состав его библиотеки и круг чтения ученого-энциклопедиста, но и глубже заглянуть в творческую лабораторию великого русского мыслителя и поэта, проследить, как возникали замыслы многих его научных трудов, поэтических произведений, переводов.

Как хорошо показали авторы, между библиотекой и архивом Ломоносова существовала органическая связь, причем библиотека «является частью творческого архива» великого ученого. На многих книгах сохранились маргиналии Ломоносова — собственноручные приписки пером или карандашом против текста, привлекающего его внимание. Нередко Ломоносов на полях книг излагал планы и наброски своих научных и литературных работ. Благодаря этим находкам значительно пополнен корпус помет и приписок Ломоносова, характеризующих различные стороны его творческой деятельности, отношение к крупнейшим представителям естествознания, литерату-

«Поэт деревни» — говорим мы порой о том или ином стихотворце. Но поэтов только о деревни в природе не существует (как не существует и поэтов только города). Ибо поэзия вмещает в себя весь мир. Тот самый, о живой причастности к которому Геннадий Бубнов заявил своей первой книгой.

Игорь Волгин.



Л. ТАГАНОВ. На поэтических меридианах. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1975. 112 стр.

Думается, что некоторую поспешность, с которой составлена эта книга, можно оправдать. В самом деле, критик регулярно публикуется в центральных изданиях, к его мнению прислушиваются. Вопрос о первой самостоятельной книжке возникает поэту вполне естественно и закономерно. Однако критик уже по самой природе своего мышления органически не может составить из всего написанного им прежде некую «сборную солянку», пристегнуть общую обложку и представить на суд читателей. Начальным импульсом, который возникает у читателя критической книги (первой книги молодого автора тем более), становится выявление ее идеологического стержня, композиционной доминанты, сквозных идей и концепций.

«Статейный» принцип построения своей книги Л. Таганов констатирует уже в предисловии к ней. Более половины ее составляют статьи, публиковавшиеся ранее в периодике или коллективных сборниках. Насколько же правомерно их нынешнее соседство и имеем ли мы основания утверждать, что одна статья дополняет и развивает другую?

Наиболее привлекательной и продуктивной идеей, сквозь которую Л. Таганов пытается посмотреть на творчество интересующих его поэтов и которую он проводит через всю книгу, стала идея искусства — жизнотворчества, идея «непререкаемой цельности» судьбы, личности художника и его произведений, «земли» и «неба» поэзии. Поверяя этой идеей дореволюционное творчество Блока и Маяковского, автор приходит к заключению о том, что эти поэты, «пытаясь развить ту или иную тенденцию модернистского искусства как искусства подлинного, не замыкающегося в самом себе, пришли к противоположным, по сравнению с модернизмом, выводам», что их поэзия «свидетельствовала всей своей «строчечной сутью» о необходимости коренных жизненных перемен, наступления такой эпохи, где искусство, сохраняя все лучшее, сумеет объединить личное и общее в органичном единстве». Реализация этого единства в творчестве советских поэтов убедительно раскрывается в статьях Л. Таганова «Второе рождение» (о зрелом творчестве Н. Асеева), «„Земля“ и „небо“ Николая Майорова» и «Возраст поэта» (о лирике А. Межирова).

Книга в целом обнаруживает неслучайность литературных привязанностей ее ав-

тора, их полное соответствие с системой его гражданских и художнических убеждений. Правда, выражаются эти привязанности подчас весьма специфично. Я имею в виду те моменты, где автор всуе козыряет именами и цитатами из Блока, Асеева и других поэтов в контексте, весьма отдаленном от их творчества. Без этого литературоведческого щегольства позиция критика отнюдь не стала бы менее ясной. Здесь же следует сказать и о так называемом опорном цитировании, к которому прибегает автор в ряде своих статей. Так, сквозь статью «„Земля“ и „небо“ Николая Майорова» вторым планом проходит публикация Л. Аннинского «Глубина фронта», а сквозь статью «Вокруг «Лирической обложки» — выступление А. Межирова в «Литературной газете». Вряд ли имело смысл столь обстоятельно подтверждать правоту своих умозаключений высказываниями авторитетных литераторов. Это не лучший из способов снискания читательского доверия. Видимо, здесь вступает в действие тот самый «парадокс эклектизма», который не без основания — и не без остроумия — находит Л. Таганов у иных поэтов.

Попытка частичной систематизации современного литературного процесса, предпринятая в статье «Вокруг «Лирической обложки», безусловно заслуживает особого внимания. Здесь смущает лишь недостаточная продуманность терминов и формулировок. Ведь «парадокс эклектизма» вкупе с его разновидностью — «парадоксом двойничества», по всей вероятности, было бы точнее именовать парадоксом подражательства, эпитонства. К сожалению, в книге это далеко не единичный случай невыверенной терминологии. Достаточно вспомнить «руссоизм» Велимира Хлебникова, «трагическую проблемность» Блока и Маяковского, «оксморонность» Анны Барковой, которые так и остаются для читателя непонятными. Да и само понятие «Лирической обложки» лишено мотивировки.

Возвращаясь к статье «Вокруг «Лирической обложки», хочется отметить, что она несомненно наиболее удалась автору книги «На поэтических меридианах» и свидетельствует о большом критическом потенциале Л. Таганова. Его отчетливо ощущаешь в первой книге критика.

М. Анцыферов.

Иваново.



Н. ВЕЛЬМИНА. Ледяной сфинкс. М. «Мысль». 1975. 252 стр.

Смелая, решительная женщина и скромный, застенчивый паренек отправляются в глубь якутской тайги в поисках разгадки тайны вечной мерзлоты, которую один из первых ее исследователей назвал «русским сфинксом». Казалось, много ли привлекательного для широкого круга читателей в этой неброской и специальной теме. Но вот открыта первая страница — и багровый отсвет «красного солнца, наколотого на строгие черные ели», освещает начало полного

приключений, порой драматических, а порой и комических ситуаций трудного и захватывающего пути.

Принято считать, что литература путешествий манит любознательных возможностью познать неизведанное, необычное; в научно-популярной, тем более в научно-художественной книге мы ценим умение автора поднести читателю научные понятия в доступной и увлекательной форме. Книга Н. Вельминой в полной мере отвечает не только этим требованиям, но и взыскательным критериям художественной прозы. Сколько, например, поэтичности и вместе с тем строгой журналистской достоверности в следующем описании: «Игарка — совсем необычный город, она действительно золотая — от свежей желтизны досок и бревен, из которых она срублена как единый громадный терем, будто одним заходом, от света, который излучает дерево домов, заборов, мостовых и тротуаров... После дождя Игарка похожа на бревенчатую чисто вымытую горницу». Книга вся из таких картин — четких, лаконичных, исполненных словно в традициях классической графики.

Автор умело ведет нить рассказа и делает читателя соучастником на редкость интересного в познавательном отношении маршрута. Здесь и речные переправы, и ночевки в редких таежных зимовьях, и быстрые краски приискового быта, и чудеса северной природы: черная вода, «пьяный» лес, «кипящие» реки и, конечно, мерзлота во всех ее проявлениях — от истине «вечных» миллионолетних льдов до не замерзающей при отрицательных температурах воды, так называемой жидкой мерзлоты.

К мерзлоте у автора особое отношение, почти как к живому, лукавому и озорному существу, способному на множество проделок. То она в буквальном смысле взрывает почву, то оборачивается извержением ледяного «вулкана», то превращает в глыбу льда бревенчатую русскую баньку. Мерзлота — неисчерпаемое природное хранилище, естественный музей, в котором терпеливый исследователь найдет и микроскопические бактерии, и вымершие виды насекомых, и гигантских мамонтов — современников последнего оледенения Земли.

А сегодня, когда на сибирской земле встают сотни нефтяных вышек, когда студеную землю Севера пронизывают новые рудничные стволы норильского комбината, а стройка века БАМ пробивает первые сотни километров в забайкальской тайге, — сегодня вечная мерзлота не просто забавный и загадочный парадокс. Это либо грозный враг, либо союзник, нрав и характер которого нужно хорошо знать и с которым необходимо постоянно считаться. Именно в этом огромное народнохозяйственное значение исследований мерзлотоведов.

Говоря о серьезных и, в общем-то, скучных для неспециалиста вещах, автор находит приемы, которые позволяют непосвященному легко уловить суть явления и его значимость, а бесспорное художественное

дарование автора делает читателя настольно-ко сопричастным к описываемым событиям, что, закрывая книгу, еще долго видишь себя в дивной стране Севера с его суровой, величественной, неповторимой красотой.

А. Курячий.



МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ. Воспоминания советских добровольцев — участников национально-революционной войны в Испании. М. Политиздат. 1975. 287 стр.

В июле этого года исполняется сорок лет с тех пор, как антифашисты из многих стран мира, среди них советские добровольцы, впервые скрестили оружие с фашизмом на фронтах войны в Испании. Контрреволюционный мятеж генералов-фашистов, восставших против законного республиканского правительства Народного фронта, вскоре перерос в национально-революционную войну испанского народа против внутренней контрреволюции и германо-итальянской интервенции, унесшей миллион человеческих жизней. Фактически там, в Испании, началась вторая мировая война.

Национально-революционной войне испанского народа посвящено немало книг, написанных советскими людьми — непосредственными участниками боев. Но тема эта далеко не исчерпана, к ней по-прежнему проявляется большой интерес, особенно среди нашей молодежи, стремящейся узнать как можно больше о героическом прошлом своих отцов. Все, что связано с участием советских добровольцев, выполнявших на фронтах Испании свой интернациональный долг, в представлении молодежи окутано революционной романтикой.

Среди двадцати трех авторов этой небольшой книги военные советники, летчики, танкисты, моряки и переводчики. Сборник открывается прекрасно написанными воспоминаниями одного из прославленных советских военачальников, дважды Героя Советского Союза, генерала армии П. И. Батова. Сорок лет тому назад Батов по зову сердца отправился в Испанию и был там советником 12-й интернациональной бригады, которой командовал известный венгерский писатель Мате Залка, по Испании — генерал Лукач, геройски погибший там в июне 1937 года под Уэской.

Трудно особо выделить воспоминания кого-либо из авторов сборника — все они одинаково впечатляющи и ценны, как бы дополняют друг друга и дают достаточно полное представление об участии советских добровольцев в испанской войне. Так, в своих правдивых воспоминаниях советский летчик-доброволец штурман К. Т. Деменчук, один из первых советских летчиков в Испании, рассказывает о воздушных боях в начальный период войны, когда противник количественно значительно превосходил республиканскую авиацию. С волнением читаешь воспоминания недавно умершего Героя Советского Союза генерал-пол-

ковника М. С. Шумилова, бывшего старшим советником при командующем Мадридским фронтом. Шумилов одним из последних покинул Испанию в феврале 1939 года, когда генералы Миаха и Касадо изменили республике и пошли наговор с Франко. Он вынужден был перелететь во Французское Марокко, так как все другие пути были отрезаны. Содержательны воспоминания С. С. Рамишвили, бывшего морским советником и в исключительно сложных условиях сражавшегося на кораблях республиканского флота.

Несомненный интерес представляют воспоминания фронтовых переводчиц, молодых в то время девушек-комсомолок, стойко и скромно выполнявших свой долг в боевой обстановке: воспоминания И. Н. Гоффе, М. И. Зайцевой, Э. А. Вольф, С. М. Брейдабард, С. М. Александровской и А. К. Стариновой. Воспоминания последней стоит, пожалуй, отметить особо, так как Старинова была переводчицей в разведывательно-диверсионном отряде, действовавшем в тылу у противника.

Выпуск Политиздатом еще одной книги воспоминаний советских добровольцев — участников войны в Испании следует всячески приветствовать. Сборник прочтут и высоко оценят читатели разных возрастов, рассказанное в нем вызовет законную гордость советских людей за героизм и самоотверженный подвиг, совершенный старшим поколением в далекой Испании.

Л. Василевский.



П. А. ИГНАТОВСКИЙ. Общественное производство советской деревни. М. «Мысль». 1975. 343 стр.

В последнее время экономическая наука все чаще анализирует глубокие изменения, происходящие в сельском хозяйстве. Среди литературы на эту тему рецензируемый труд выделяется тем, что в нем сделана попытка комплексно исследовать современное состояние важнейшей отрасли народного хозяйства, выявить органические взаимосвязи не только между ее звеньями, но и с динамикой экономики страны в целом. Книга П. Игнатовского многопланова, в ней затрагиваются такие актуальные вопросы, как роль сельского хозяйства в социалистическом расширенном воспроизводстве, основные направления развития производительных сил села, пропорции между промышленностью и сельским хозяйством.

Обращаясь к документам XXV съезда КПСС, мы видим, что партия, как и прежде, уделяет огромное внимание развитию сельского хозяйства. В десятой пятилетке значительно увеличиваются капитальные вложения, поставки селу техники, минеральных удобрений, в широких масштабах будет продолжена мелиорация земель. Документами съезда намечены и пути для решения ответственных задач, поставленных перед сельскими тружениками. Один из магистральных среди них — осуществлять «дальнейшую специализацию и концентра-

цию на базе межхозяйственной кооперации, создания аграрно-промышленных объединений и предприятий».

Что стоит за этой формулировкой? Вернемся к труду П. Игнатовского. Автор сравнивает два производства: «...если на птицеферме многоотраслевого хозяйства колхоза имени XXII партсъезда Тамбовской области в 1972 г. имелось только 614 голов птицы и от несушки в среднем получено в году по 60 штук яиц, то на Никифоровской межхозяйственной птицефабрике, где насчитывается 37,6 тыс. голов птицы, продуктивность курицы-несушки в среднем в 2,5 раза выше. Затраты на корма на колхозной ферме в 3 раза выше, чем на специализированной птицефабрике, а затраты труда на единицу продукции в 13 раз выше...»

Выгоды специализации очевидны не только на примере птицеводства, то же самое можно сказать о других отраслях сельского хозяйства. Специализация позволяет хозяйствам повышать рентабельность продукции, их денежные доходы, а это мощный материальный стимул увеличения объемов продукта, в чем так заинтересовано общество.

Обратим внимание на то, что в приведенном выше примере колхозная ферма сравнивается с межхозяйственной птицефабрикой. Межхозяйственные предприятия, аграрно-промышленные объединения — все чаще слышим мы эти названия. Автор дает теоретическое обоснование наметившемуся в последнее время процессу: «Итак, если в прошлом развитие производительных сил деревни вызвало ускорение концентрации колхозного и совхозного производства путем укрупнения хозяйств, в результате чего была достигнута более высокая ступень обобществления сельскохозяйственного производства, то в настоящее время дальнейшее обобществление на этих путях невозможно. Его развитие выходит за пределы сельского хозяйства, охватывая межотраслевые связи между промышленностью и сельским хозяйством... Более высокое обобществление производства обусловлено новыми возможностями научной организации труда, управления производством, эффективного использования земли, производственных фондов и рабочей силы на основе применения достижений науки и передовой практики».

В Тамбовской области действует откормочник-автомат, в котором содержится 15 тысяч свиней. Затраты труда на производство центнера свинины здесь в 25—30 раз меньше, чем в неспециализированных хозяйствах, себестоимость здесь ниже в 3—4 раза, а привесы вдвое больше. Кого же не привлечет столь высокая эффективность? Но далеко не каждому колхозу и совхозу по карману сооружение подобного предприятия. Поэтому силы объединяются, производство решительно переступает межхозяйств.

Разумеется, было бы неправильно полагать, что все в перестройке идет гладко, без сучка и задоринки. Еще продолжительное время существенное значение сохра-

няют обычные животноводческие фермы, хотя они также будут технически переоборудованы. Промышленности, снабжающей село машинами и оборудованием, предстоит постоянно наращивать выпуск продукции, улучшать ее качество, повышать надежность. Многие предстоит сделать проектными организациями. Не отлажены еще экономические взаимоотношения хозяйств, вступающих в кооперативные связи.

Об этих и других насущных проблемах роста говорится в книге П. Игнатовского.

Охватить в короткой рецензии весь круг тем, затрагиваемых в «Общественном производстве советской деревни», невозможно. Заинтересованный читатель, даже не обладающий специальными знаниями, может смело обратиться к первоисточнику.

А. Яковенко.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин, КПСС о работе партийного и государственного аппарата. 623 стр. Цена 5 к.

Борьба идей в современном мире. В 3-х тт. Под общей редакцией Ф. В. Константинова. Т. 1. Основные линии и коренные проблемы идеологической борьбы. 319 стр. Цена 1 р. 41 к.

Э. Лисавцев. Религия в борьбе идей. («Библиотека атеиста») 64 стр. Цена 12 к.

Н. Ознобин. О работах В. И. Ленина «Великий почин» и «Как организовать соревнование?». 55 стр. Цена 10 к.

Советский Союз. Политико-экономический справочник. Составитель В. А. Голиков. 432 стр. Цена 1 р. 85 к.

А. Тэнасе. Культура и религия. Перевод с румынского. Вступительная статья В. А. Карпушина. 128 стр. Цена 46 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Алексеев. Ивушка неплакучая. Роман. Книга 2. 359 стр. Цена 76 к.

Я. Белинский. Ярмарка чудес. Книга стихов. 224 стр. Цена 54 к.

Х. Берулава. Снежный день. Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. 232 стр. Цена 93 к.

Д. Гранин. Выбор цели. Повести. 344 стр. Цена 80 к.

Н. Задорнов. Симода. Роман. 464 стр. Цена 86 к.

В. Землян. Лебединая стая. Роман. Перевод с украинского. 288 стр. Цена 64 к.

Ю. Зубнов. Герой и конфликт в драме. Статьи о современной драматургии. 280 стр. Цена 90 к.

Ц. Кин. Итальянские светотени. Заметки о литературе и культуре современной Италии. 510 стр. Цена 1 р. 39 к.

Б. Лихарев. Мой отыщется след. Избранные стихи. 288 стр. Цена 74 к.

Молодой Ленинград. 1975. Литературно-художественный альманах молодых писателей. 392 стр. Цена 89 к.

А. Радищев. Стихотворения. («Библиотека поэта». Большая серия.) 271 стр. Цена 1 р.

Р. Хакимов. Радостный край. Очерки. 336 стр. Цена 71 к.

Ю. Черниченко. Яровой клин. Очерки. 328 стр. Цена 71 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

М. Алигер. Стихи и проза. В 2-х тт. Т. 2. Странствия и встречи. 398 стр. Цена 94 к.

Д. Бонкаччо. Малые произведения. Перевод с итальянского. 607 стр. Цена 1 р. 41 к.

Голоса вершин. Стихи киргизских поэтов. Переводы. Составитель С. Куняев. 299 стр. Цена 1 р. 38 к.

И. Гончаров. Обломов. Роман. 238 стр. Цена 92 к.

И. Уткин. Избранные стихотворения и поэмы. 398 стр. Цена 65 к.

М. Т. Цицерон. Избранные сочинения. Перевод с латинского. («Библиотека античной литературы». Рим.) 454 стр. Цена 1 р. 18 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Григорьев. Уильям З. Фостер. («Жизнь замечательных людей») 208 стр. Цена 65 к.
С. Капутиян. Верность. Стихи. 160 стр. Цена 39 к.

Л. Кутаков. Вид с 35 этажа. Записки советского дипломата. 207 стр. Цена 60 к.

Т. Леонтьева. Рассказы о коммунистах. 288 стр. Цена 66 к.

О. Обичкин. Молодежи о партии. 144 стр. Цена 28 к.

В. Фирсов. Избранное. Стихи. 320 стр. Цена 1 р. 28 к.

«СОВРЕМЕННОК»

В. Дягилев. Змея и чаша. Повесть. 174 стр. Цена 30 к.

Д. Кугультинов. Разнотравье. Стихи. Перевод с калмыцкого. («Библиотека поэзии «Россия») 367 стр. Цена 1 р. 27 к.

П. Плуиш. С. Н. Сергеев-Ценский — писатель, человек («Любителям российской словесности») 237 стр. Цена 83 к.

ВОЕНИЗДАТ

П. Загребельный. Шепот. Роман. 374 стр. Цена 81 к.

История второй мировой войны. 1939 — 1945. В 12-ти тт. Т. 5. Провал агрессивных планов фашистского блока. 511 стр. Цена 2 р. 80 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андроников. Великая эстафета. Воспоминания. Беседы. 303 стр. Цена 96 к.

А. Барто. Твои стихи. 383 стр. Цена 2 р.

Н. Внуков. Четыре рассказа о войне. 80 стр. Цена 79 к.

Граница бытия. Повести. Сборник. Перевод с польского. 207 стр. Цена 51 к.

Детская литература. 1975. Сборник статей. 192 стр. Цена 61 к.

В. Захарченко. Моя земля — мой дом. Хроника десяти фестивалей. 207 стр. Цена 92 к.

Круглый год. Рассказы, стихи, сказки, загадки. 336 стр. Цена 1 р. 17 к.

Ю. Муранов. Дождевая россыпь. Короткие рассказы и миниатюры. 96 стр. Цена 26 к.

Р. Погодин. Повести и рассказы. 284 стр. Цена 68 к.

А. Чапковский. Пароходный дилижанс. Историческая повесть. 96 стр. Цена 26 к.

«ИСКУССТВО»

Антер в кино. Сборник. Составитель Е. Захаров. 303 стр. Цена 1 р. 35 к.

Ю. Давыдов. Эстетика нигилизма. Искусство и «новые левые». 272 стр. Цена 1 р. 31 к.

Короткометражка. Юморески, сценки, миниатюры, стихи. Сборник. 111 стр. Цена 26 к.

Б. Павловский. Декоративно-прикладное искусство промышленного Урала. 131 стр. Цена 7 р. 43 к.

Карл Иванович Росси. 1775—1849. К 200-летию со дня рождения. Каталог архитектурных проектов. 111 стр. Цена 1 р. 18 к.

турных чертежей и проектов предметов прикладного искусства. Составление и вступительная статья Н. Никулиной и Н. Ефимовой. 176 стр. Цена 1 р. 68 к.

Д. И. Фонвизин. Недоросль.— **А. С. Грибоедов.** Горе от ума.— **А. С. Пушкин.** Маленькие трагедии.— **Ж.-Б. Мольер.** Скупой. Мещанин во дворянстве. 351 стр. Цена 54 к.

«ПРОГРЕСС»

Бессмертие. Писатели мира о Владимире Ильиче Ленине. Составитель **Е. Витковский.** Вступительное слово **С. Дангулова.** 495 стр. Цена 3 р. 1 к.

Р. Вейман. История литературы и мифологии. Очерки по методологии и истории литературы. Перевод с немецкого. 344 стр. Цена 1 р. 75 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Н. Атаров. В эпоху секунды. Публицистические очерки. («Писатель и время») 93 стр. Цена 12 к.

А. Коваленков. Сорок лет. Избранные стихи. Составление и предисловие **С. Коваленкова.** 175 стр. Цена 40 к.

В. Красильщиков. Хлеб-соль. Очерки. («Писатель и время. Письма с заводов истроек») 79 стр. Цена 11 к.

Музейное дело в СССР. Сборник статей. Ответственный редактор **Ф. Кротов.** 224 стр. Цена 1 р. 19 к.

В. Потанин. Память расскажет. («Писатель и время. Письма из деревни») 93 стр. Цена 13 к.

«НАУКА»

Г. Бабёф. Сочинения. В 4-х тт. Т. 1. Перевод с французского. Ответственный редактор **В. Далин.** 391 стр. Цена 1 р. 97 к.

Амир Хосров Дехлеви. Избранные газели. Перевод с персидского **Д. Седых.** Подстрочный перевод и предисловие **Г. Алиева.** 271 стр. Цена 45 к.

Лачплесис. Латышский эпос, воссозданный по народным преданиям. Издание подготовил **Я. Рудзитис.** Перевод **В. Державина.** 351 стр. Цена 1 р. 74 к.

Н. Петрова. Международные производственные связи рабочего класса СССР. 1959—1970 гг. 304 стр. Цена 1 р. 23 к.

Л. Черейский. Пушкин и его окружение. 519 стр. Цена 3 р. 12 к.

«МЫСЛЬ»

Марксистско-ленинская философия. Исторический материализм. 440 стр. Цена 65 к.
Н. Асоян. Восточная Африка. Очерки географии хозяйства Кении, Уганды, Танзании. 53 стр. Цена 1 р.

ПРОФИЗДАТ

Д. Абдуллаханов. Ураган. Роман. Перевод с узбекского **Ю. Смирнова.** Последействие **З. Османовой.** 255 стр. Цена 66 к.

М. Иванова. Гласность социалистического соревнования. 47 стр. Цена 12 к.

В. Степаненко. Где ночует зимний ветер. Роман. Предисловие **И. Падерина.** 319 стр. Цена 68 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

В. Похлебнин. СССР—Финляндия. 260 лет отношений. 408 стр. Цена 1 р. 63 к.

«ЭКОНОМИКА»

Ю. Черняк. Системный анализ в управлении экономикой. 191 стр. Цена 54 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Адамович. Асия. Последний отпуск. Повести. Минск. «Мастацкая литература». 192 стр. Цена 74 к.

Э. Алто. Переулками на свет. Повесть. Петрозаводск. «Карелия». 152 стр. Цена 17 к.
Ф. Ерманов. Путь удмуртской прозы. Очерки. Ижевск. «Удмуртия». 141 стр. Цена 34 к.

Н. Заболотный. На двух Арагах пели соловьи. Стихи о Грузии. Грузинские поэты. Переводы. Тбилиси. «Мерани». 228 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Липатов. Самолетный кочегар. Рассказы. «Московский рабочий». 175 стр. Цена 30 к.

Лирика фронтовых лет. Избранные стихотворения, написанные в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск. Западно-Сибирское книжное издательство. 335 стр. Цена 1 р. 16 к.

М. Садыхов. Очерки русско-азербайджанско-польских литературных связей XIX в. Баку. «Азернешр». 183 стр. Цена 67 к.

М. Сысоев. Круговорот. Стихи разных лет. Петрозаводск. «Карелия». 167 стр. Цена 51 к.

Главный редактор С. С. Наровчатов

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 21/1 1976 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/III 1976 г.
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09130. Тираж 185.000 экз. Зан. 292.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 01528

Цена 70 коп.

70636